

НОВЫЙ МИР

М.
178462

llb

10-11

МОСКВА

1943

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1943 г.

№ 10—11

Год издания XX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — Из фронтовой хроники, стихотворения	2
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Жена, повесть	5
НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ — Воспоминания, стихотворение	47
ХАМИД АЛИМДЖАН — Зейнаб и Аман, поэма	48
С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙН — Иван Грозный, кино-сценарий	61
ИВАН НОВИКОВ — Пушкин на юге, роман. Окончание	109
—	
В. ЩЕРБИНА — Сергеев-Ценский	122
Е. ТРОЩЕНКО — Поэзия поколения, созревшего на войне. Статья третья: Евгений Долматовский	164
С. РЕЙСЕР — Тургенев и Запад	172

БИБЛИОГРАФИЯ

В. КРАСИЛЬНИКОВ — «Боевая молодость»	179
Б. СЕРГЕЕВ — «Сталинское племя»	181
З. ПАПЕРНЫЙ — «Гордая фамилия»	183

ИЗ ФРОНТОВОЙ ХРОНИКИ

Стихотворения
А. ТВАРДОВСКИЙ



САПОЖНИК В ЛЕСУ

В лесу, возле кухни походной,
Как будто забыв о войне,
Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне.
Сидит без ремня, без шилотки,
Орудует в поте лица.
В коленях сапог на колодке,
Другой — на ноге у бойца.

И няньчит, и лечит сапожник
Сапог, что заляпан такой
Немыслимой грязью дорожной,
Окопной, болотной, лесной, —
Не взять его, кажется, в руки.
А доктору все нипочем,
Катает, согласно науке,
Да двигает лихо плечом,
Да шуруется важно и хмуро,
Как знающий цену себе.
И ухарски важно окурок
Висит у него на губе.

Все точно: движенья со счету,
Удар — где такой, где сякой.
И смотрит боец за работой
С одною босою ногой.
И хочет, чтоб было получше
Сработано — чтоб в аккурат.
И скоро сапог он получит,
И — топай обратно, солдат.

Кто знает — армейской подковки,
Подбитой по форме под низ,
Достанет ему до Сычевки,
А, может, до наших границ.

И, может быть, думою сходной
Он занят, а может быть, нет..
И пахнет от кухни походной,
Как в мирное время, обед.

И в сторону гулкой, недалекой
Пальбы — перелет-недолет,
Спокойно, как будто похвально,
Кивает сапожник:

— Дает..
— Дает, — отзывается здраво
Боец. И не смотрит: война.
Налево война и направо,

1942. Ноябрь.

Война поперек всей державы,
Давно не в новинку она.

У Волги, у рек и речушек,
У горных далеких дорог,
У северных хвойных опушек,
Теснится колесами пушек,
Милльонами грязных сапог.

Наломано столько железа,
Напорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.

А сколько разрушено крова,
Потрачено жизни самой,
Иной — хоть живой и здоровый —
Куда он вернется домой?

Найдет ли окошко родное,
Куда постучаться в ночи?

Все прахом, все пеплом-золою.
Сынишка сидит сиротою
С немецкой гармошкой губною
На чьей-то холодной печи.

Поник журавель на колодце
И некому воду носить..
И что еще видеть придется,
Само не пройдет, не сотрется,
За все это надо спросить..

Привстали, серьезные оба.

— Кури,
— А давай, закури,
— Великое дело, брат, обувь.
— Молчи, я и то говорю.

Беседа идет, не беседа,
Стоят они, курят вдвоем.
— Шагай, брат, теперь до победы,
Нехватит — еще подобьем.

— Спасибо. — И будто бы другу,
Который его провожал,
Товарищ товарищу руку
Внезапно и крепко пожал.

В час добрый. Что будет, то будет.
Бывало! Не стать привыкать.
Родные великие люди,
Россия, родимая мать..



НЕМЫЕ

Я слышу это не впервые,
В краю, потоптанном войной,
Привычно молвится: немые, —
И клочки нету им иной.

Старуха бродит нелюдимо
У обгорелых, черных стен.
— Немые дом сожгли, родимый,
Немые дочь угнали в плен..

Соседи мать в саду обмыли,
У проба сбилися в кружок.
— Не плачь, сынок, а то немые
Придут опять. Молчи, сынок...

Голодный люд на пепелище
Варит немолотую рожь.
И ни угла к зиме, ни пищи.
— Немые, дед? — Немые, кто ж!

Немые, темные, чужие,
В пределы чуждой им земли

1943. Август.

Два только года — или двести
Жесточих, нищих лет прошло.
Но то, что есть на этом месте —
Ни город это, ни село.

Пустырь угрюмый и безводный,
Где у развалин ветер злой
В глаза швыряется холодной
Кирпичной пылью и золой.

Где в бывшем центре иль предместье
Одна в ночи немолчна песнь:

1943. Ноябрь.

Какой-то немец в этом доме
Сушил над печкою носки,
Трубу железную в проломе
Стены устроив мастерски.

Уютом дельным жизнь-времянку
Он оснастил как только мог,
Где гвоздь, где ящик, где жестянку
Служить себе приладила впрок.

И в разоренном доме этом
Определившись на постой,
Он жил в тепле и спал раздетым
И мылся летнею водой..

Пускай не он разрушил город,
Другой, что вместе убежал, —
Мне жалко воздуха, которым
Он год иль месяц здесь дышал.

1943. Декабрь.

Они учить людей России
Глаголям виселиц пришли.

Пришли и ног не вытирали,
Входя в любой на выбор дом.
В доме, не спрашивая, брали,
Платили пулей и кнутом.

К столу кидались, как цепные,
Спешили есть, давясь едой,
Со свету не-люди. Немые, —
И клочки нету им иной.

Немые. В том коротком слове
Живей, чем в сотнях слов иных,
И гнев, и суд, что всех суровой,
И счет великих мук людских.

И, немоты лишившись грозной,
Немые перед тем судом
Заговорят. Но будет поздно:
По праву мы их не пойдем..

★

Гремит, бубнит, скребет по жесту
Войной оборванная жесть.

И на проспекте иль проселке,
Что меж руин пролеет, кривой,
Ручные беженцев двуколки
Гремят по древней мостовой.

Дымок из форточки подвала,
Тропа к колодцу в дикий ров..
Два только года. Жизнь сначала —
С огня, с воды, с охапки дров.

★

Мне жаль тепла, угла и кровя,
Дневного света жаль в дому,
Всего, что, может быть, здорово
Иль было радостно ему.

Мне каждой жаль тропы и стежки,
Где проходил он по земле,
Заката, что при нем в окошке
Играл вот так же на стекле.

Мне жалко запаха лесного
Дровец, наколотых в снегу,
Всего, чего я вспомнить снова,
Не вспомнив немца, не могу.

Всего, что сердцу с детства свято,
Что сердцу грезилось светло.
И что навеки без возврата
Тяжелой черною утратой
Отныне на сердце легло.

★

БОЙЦУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Друг-товарищ,

Оглянись, где ты вновь
На привалах кашу варишь,
В деревянх прызешь морковь.

Снова воду привелось
Из какой черпать реки!
Где стучат твои колеса,
Где ступают сапоги!

Где в короткой обороне
Нынче ищешь ты ночлег.
Где, понюхав землю, кони
Чуют нынче первый снег!

Оглянись, как встал с рассвета
Или ночь не спал, солдат,
Был иль не был здесь два лета,
Две зимы тому назад.

Вся она — от Подмосковья
До Днепра и Заднепровья
В пол-Европы сторона,
Прежде отданная с кровью,
Кровью добыта она.

Вновь отныне это свято:
Где ни свет, то наша хата,
Где ни дым, то наш костер,
Где ни стук, то наш топор,
Что ни Форд катит куда-то,
Наш мотор и наш шофер.

И такую-то машину,
Где гони, гони машину —
Есть где ехать вдаль и вширь,
Ты пешком — не вполовину,
Всю промеряя, богатырь.

Богатырь не тот, что в сказке —
Беззаботный великан, —
А в походной заповеске
Человек простой закваски —
Что не чужд в бою опаски, —
Федор, Прохор иль Иван,

Когда пройдешь путем колонн
В жару и в дождь, и в снег,
Тогда поймешь,
Как сладок сон,
Как радостен ночлег.

Когда путем войны пройдешь,
Еще поймешь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.

Когда пройдешь таким путем
Не день, не два, солдат,
Еще поймешь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят.

1943.

Путь, солдат, прошел ты добрый,
Воз немалый протащил,
Холод рвал тебя за ребра,
Летний жар тебя душил.

Труд войны, — его измерьте! —
Он гудит в твоих костях.
Может, сотни раз у смерти
Ты бывал уже в гостях.

Побывал, назад вернулся,
Отставать — беда! — не смей,
На ходу переобулся,
И опять туда, где смерть.

Шел, шагал, порой без пищи,
Без воды, а то в воде,
Знал — война — с нее не взыщешь
Ни в каком уже суде.

И десятки лет минуя
С полковой семьей своей,
Может, ты семью иную
Встретить ждал, — жену, детей.

Хоть соседа, хоть соседку
Или просто земляка,
И бывает так нередко:
Не встречал еще пока.

Не увидел крыши дома,
Не прошел того крыльца..
Что ж, и это все знакомо
И понятно для бойца.

Целый край в борьбе жестокой
Ты прошел за пядью пядь.
Нет цены такой высокой,
Чтоб за Родину не дать..

Настает за все расплата,
И хотя война войной,
За Днепром оно, ребята,
Веселей, чем под Москвой...

★

Когда, науку всех наук,
В бою постигнешь бой,
Еще поймешь,
Как дорог друг,
Как дорог каждый свой.

И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить,
Они в тебе,
Какой ты есть,
Каким лишь можешь быть.

Таким, с которым коль дружить
И дружбы не терять, —
Как говорится —
Можно жить
И можно умирать.

Ж Е Н А

Повесть

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



Памяти Евгения Петрова

I

Грузовик прыгал по разбитой дороге. Снаряды стучали в ящиках. Мне приходилось все время напрягаться, чтобы не вылететь за борт. От встречных и попутных машин над дорогой стояла густая пыль. Мы мчались в ее душных облаках, черных в середине. Шинель, накинутая на голову, несколько не защищала от пыли. Под ней было еще жарче. Пот лился из-под козырька и щекал брови. Я видел свой почерневший нос. При каждом толчке с высохших березовых веток маскировки в глаза летели хлопья пыли.

Небо было затянуто сухими, серыми тучами, тонкими и жаркими. Вокруг до горизонта стояла очень высокая и необыкновенно густая рожь, уже побелевшая сильно и казавшаяся еще белее на фоне аспидного неба. Во многих местах она была повалена и раскидана вокруг свежих воронок, покрытых внутри сизой окалиной.

Иногда в небе появлялись шестерки или девятки немецких бомбардировщиков. Тогда наш водитель — молодой и сердитый ефрейтор с медалью за Сталинград — высовывался из окна кабины по пояс и задирали лицо вверх. Со сдержанной яростью он рвал рычаг скоростей, нажимал изо всех сил на газ. Машина как будто делала прыжок и еще быстрее неслась вперед. А взрывная волна жарко била сзади, валяла на пол, и взрывы один за другим зловеще вставали над рожью в стороне от дороги.

Когда машина останавливалась и водитель со злым лицом наливал из ведра в кипящий радиатор воду, на западе слышались слитные раскаты оружейной пальбы.

Был третий день нашего наступления на Орел. Я вышел из штаба танковой ар-

мии после обеда и рассчитывал на одной из попутных машин засветло добраться до передовой. Но так как армия все время находилась в движении, то маршрут мне дали самый приблизительный, а карты у меня не было. Машин по дороге шло очень много, но подходящей для меня не попадалось. Машины забирали меня, вели километра два-три, а потом сворачивали в сторону, так что я опять оставался один на перекрестке и стоял с поднятой рукой, нетерпеливо поджидая подходящую машину. Таким образом я уже переменял четыре машины, а в промежутках между ними прошел километров шесть пешком. Наконец, мне повезло. Подвернулась колонна со снарядами. Она шла именно туда, куда мне было нужно.

Между тем начинало смеркаться. Чем ближе к передовой, тем мрачнее становился пейзаж. На каждом шагу виднелись ужасные следы вчерашней битвы. Ветер нес с вытоптанного поля, смрад неубранных трупов, невероятно быстро разлагавшихся от июльской жары. Возле брошенных среди поля немецких пушек и обгорелых зарядных ящиков валялись кучи пустых гильз. Иногда в поваленной ржи виднелось исковерканное туловище юнкера с желтыми и черными крестами и высоко поднятым, большим легким хвостом с мельничкой свастикой. Всюду лежали раздавленные каски, пулеметные ленты, простреленные железные бочки. На черном от пыли придорожном бурьяне висели лохмотья серо-зеленой одежды. Не было вокруг ни одной пяди земли, на которой бы война не оставила своего мрачного отпечатка.

Но особенно запомнился мне небольшой клочок земли на выезде из одной, сожженной до тла деревни. Пепел еще курился, под его толстым, серым слоем дышал и нежно просвечивал бледнорозо-

вый жар. Обычно из пожарища торчат только трубы. Но здесь не было даже труб. Все сравнялось с землей. Лишь одно обугленное дерево косо стояло над печным мусором. Но на том клочке земли, который я увидел на выезде из деревни, не было даже пепла. Можно было подумать, что на этой земле вообще ничто уже не может существовать, даже огонь. Это была абсолютно мертвая земля, превращенная в черный камень, вся как бы облитая лавой. И на этом мертвом камне лежало два немецких трупа, раздувшихся, опалывших, как будто сделанных из смолы, с белыми лопнувшими глазами и рыжими, обгоревшими волосами, прикипевшими к земле. Четыре разбитых танка в разных положениях стояли близко друг к другу — три немецких и один наш, из развороченного люка которого торчала наружу нога в сапоге, подбитом светлыми гвоздями. Немецкая обозная кляча, покрытая зелеными мухами, стояла на дрожащих ногах с крупными разбитыми копытами. Белая, слепая, она стояла посреди дороги, как привидение. Она не в состоянии была двинуться с места, и машины ее объезжали.

Трое крестьян — старик, старуха и молодая с ребенком за пазухой — торопливо гнали корову и толкали тележку на маленьких железных колесиках, нагруженную узлами. Косясь на трупы и переступая через них, они почти бежали по этой мертвой зоне.

Тотчас за выездом был перекресток, и на нем с поднятой рукой стояла молодая, миловидная женщина с портфелем. На ней было хорошо шитое синее пальто с широкими внизу рукавами, а на голове надет модный клетчатый платок. Она резко бросалась в глаза несоответствием своей внешности и места, где она находилась. Если бы не пыль, покрывавшая ее с ног до головы, то можно было бы подумать, что она стоит в Москве, где-нибудь на площади Свердлова, и дожидается троллейбуса.

Водитель не склонен был лишний раз останавливаться. Он сделал вид, что не замечает, и хотел проскочить. Я постучал кулаком в кабину. Водитель затормозил.

Она подошла к борту машины и попросила ее подвезти.

— А куда? — спросил я.

— Видите ли, — сказала она с растерянной улыбкой. — Теперь я уже, собственно, и сама не знаю куда. Я разыскиваю одну воинскую часть. Но сейчас все в движении, никто ничего не знает. Я еду с самого утра и никак не доеду. Может быть, вы знаете, где воинская часть? — и она назвала номер полевой почты.

— К сожалению, не знаю.

— Так что же мне делать? — сказала она почти с отчаянием.

— Вы, вероятно, вольнонаемная? Едете к месту службы?

— Нет. Я разыскиваю могилу своего мужа. Он погиб на фронте в марте прошлого года. До сих пор его могила была на территории, занятой немцами. А теперь, когда началось наступление, я надеюсь..

— Пропуск у вас есть?

— Ах, простите. Я все забываю.

Она привычным движением достала из сумочки бумажку и протянула мне. Это был формальный пропуск, выданный штабом фронта на имя Нины Петровны Хрусталевой.

— В порядке. Что же это за воинская часть, куда вы едете?

— Истребительный авиационный полк, которым командовал мой покойный муж. Там у меня есть друзья. Мне бы только до них добраться, а там уж.. Как же быть? Ужасно дикое положение!

Она посмотрела вокруг прекрасными, светлосерыми зеркальными глазами, в которых было больше горечи, чем страха.

— Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?

— Единственное, что я могу вам предложить, — это довести вас до командного пункта той части, куда я сам еду. Возможно, что там знают позывные вашего истребительного полка и можно будет созвониться. Им известно, что вы едете?

— Конечно. Они меня ждут.

— Так вот. Решайте.

— Хорошо.

Она решительно подобрала пальто и поставила ногу на колесо. Я протянул руку и втащил ее в машину. Она села рядом со мной на свой портфель, уперлась спиной в кабинку, а ногами в ящик со снарядами, и мы поехали, подсакивая на колдобинах. Стемнело. Желтая луна слабо и душно светилась в пыльном небе. Со всех сторон на горизонте стали видны пожары. Горели деревни и хлеба, подожженные отступающими немцами. Вместе с запахом гари ветер продолжал нести удушающую, фосфорную вонь трупов. Но иногда в нее врывалась нежная, прохладная струя совсем другого воздуха. Это был легкий, прелестный дух цветущей гречихи.

— Вы посмотрите, — вдруг сказала Нина Петровна громко, желая быть услышанной за прохотом машины. — Ведь это наша, родная, орловская земля. Сердце России. Вдумайтесь только в это. Поймите. И вдруг — немцы. Что-то чудовищное. Почему они здесь? По какому праву? Нет, с этим невозможно примириться. Без ярости об этом нельзя поду-

мать. Что они только сделали с нашей землей, эти мерзавцы!

Она сжала кулаки возле рта. Ее прелестное лицо, серое от пыли, смотрело на меня неподвижными глазами, в которых зеркально отсвечивало зарево пожаров.

— Ну, я им не завидую, — сказала она сквозь стиснутые зубы. Быстро вынув из сумочки платок, она стала с силой вытирать лицо, как бы стараясь стереть под глазами пыль. — Они нам за все за это заплатят. Абсолютно за все. За каждый клочок нашей испоганенной ими земли. За каждую нашу слезу. Будьте уверены. За каждую!

II

Небо непрерывно светилось. В тучах судорожно подергивались багровые слюхи. Необыкновенно яркие, желтые люстры светящихся бомб висели над всем западным горизонтом. Линия фронта тянулась и блестела, как ярко иллюминированное шоссе.

Мы повернули и стали спускаться в темную балку, где шло какое-то быстрое, тайное движение множества людей, пушек и танков.

Скоро грузовик остановился.

— Как будто здесь, — сказал водитель, выходя из кабины и осматриваясь.

Мы вылезли, разминая сомлевшие, гудящие ноги. К нам тотчас подошли три темных фигуры с автоматами на шеях. На миг нас осветил электрический фонарик и погас.

— Комендантский патруль, — сказал негромкий голос. — Пропуск?

— Затвор, — сказал я.

— Куда следуете, товарищ подполковник?

— В хозяйство Нечаева.

— Тут.

— Проводите меня к начальнику штаба.

— А женщина?

— Со мной.

Небо заметно расчистилось. Луна светила довольно ярко. Левая сторона балки во всю длину была освещена луной. Правая — тонула в тени. Нас повели по теневой стороне. Потом мы стали подниматься по отлогому склону, упиравшемуся в лунное небо, покрытое остатками дневных облаков. На середине склона перед нами вырос большой темный куст. В кусте бегло и четко хлопала пишущая машинка, отзванивая концы строчек. Неторопливый голос диктовал:

— ..и, запятая, обойдя названную высоту с северо-востока, запятая, продвинулись до полотна железной дороги, запятая, где обнаружили..

Патрульный постучал в какую-то дверь.

Она приоткрылась. На нас упала полоса затемненного света. Патрульный стал на подножку автобуса, со всех сторон заставленного срубленными сосенками. Он вполголоса доложил о нас.

— Через одну минуту, — сказал голос и быстро додиктовал: — ..где обнаружили три непригодных танка и две самоходные пушки, запятая, прикрывавшие левый фланг отступающего противника. Точка. Войдите!

Мы вошли в автобус, где под крошечной затемненной лампочкой, за столиком сидела девушка в пижаме, положив русую голову на громадную каретку своего ундервуда, и уже спала, воспользовавшись минутным перерывом.

— Только, пожалуйста, проходите скорее и закрывайте дверь, а то тут, знаете, и днем и ночью летают, — сказал начальник штаба в габардиновой гимнастерке стального цвета, с двумя орденами — Ленина и Красной Звезды — и танками на широких полевых погонах. Он погладил себя по мясистой, круглой, наголо выбритой голубой голове, крепко зажмурился и протянул руку за моим удостоверением. Он взял его, приблизил к лампочке под фунтиком из газетной бумаги, надел круглые роговые очки, отчего его темное, красное от загара лицо стало вдруг старым и добрым, и, не торопясь, прочитал его два раза от доски до доски. После этого он аккуратно сложил бумагу вчетверо и вручил мне.

— Я знаю, — сказал он. — Мне уже сообщили из штаба армии. Как доехали? Благополучно? По дороге не бомбили? А на нас вчера налетело на марше двенадцать. Вывели из строя шесть человек и одну легковую машину. Начал проявлять активность. Товарищ — с вами?

Нина Петровна вынула из сумочки и подала свой пропуск. Полковник прочитал его так же внимательно, затем сложил в четыре раза и вернул, сказав:

— Как же это вы к нам попали? Заблудились? Бывает.

Она коротко рассказала свою историю. Полковник покрутил ручку штабного телефона в кожаном желтом футляре и сказал в трубку:

— Дайте туберозу. Это тубероза? Говорит седьмой. У вас уже есть какая-нибудь связь с Енисеем? Так давайте. Ну, как в Москве? Художественный театр уже возвратился? — обратился он ко мне и сейчас же, не дожидаясь ответа, сказал в трубку: — Это Енисей? Седьмой у аппарата, Это кто? Здравствуйте. Вы уже переселились? Ну так с новосельем. Слушайте, вот какое дело. Вы к себе никого в гости не ожидаете из тыла? Ждете? Так посылайте машину ко мне, она сидит у меня в автобусе и слушает, как рвутся мины. Некрасиво. Нина Петровна, совершенно точно. Эх, вы, джентльмены!

Не знаю, как это случилось. Вам лучше знать. Хорошо. Передам. У вас тихо? У нас пока тоже. Не знаю, что будет завтра. До свиданья.

Он положил трубку и покрутил отбой.

— Так что ж, Нина Петровна, все в порядке. Утречком за вами заедут. А пока не знаю, что вам и предложить. Мы, знаете, на марше. У нас даже палаток при себе нет. Все во втором эшелоне. Спим под кустиками. Можно, конечно, устроить вас здесь, так сказать, в канцелярии. Но только вряд ли вы здесь уснете: то телефон, то машинка.

— Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтеся, — сказала Нина Петровна. — Большое вам спасибо. Я лучше побуду на воздухе. Ночь такая теплая.

— В крайнем случае могу вам дать свою шинель. У меня чудесная теплая шинель из генеральского драпа. А что касается вас, товарищ писатель, то вам я тоже советую устроиться где-нибудь тут под кустиком, недалеко от щели. Вздремните. Все равно генерала еще нет. Он объезжает бригады. Танки сейчас как-раз занимают исходное положение. Когда генерал приедет, я вам дам знать. Спокойной ночи. Надеюсь, завтра у вас будет масса впечатлений.

— Что-нибудь намечается?

— Да, ведь, как вам сказать? Наступаем помаленьку. Он, конечно, не хочет, сопротивляется. Приходится драться. Вот он, например, сейчас зацепился за одну речушку. Два километра отсюда. Ну, нам это, конечно, не нравится. Придется завтра его попросить немного подвинуться. Приятных сновидений.

Полковник разбудил машинистку. Она посмотрела на него из-под волос заспанными, детскими глазами и сердито положила руки на клавиши. Мы вышли и, выходя, слышали, как он диктовал:

— С красной строки. За истекшие сутки неприятельская авиация проявила большую активность, запятая...

Луна светила еще ярче. На прозрачном лунном небе черно и отчетливо стоял задний гребень балки с кустиками машинировки и фигурой часового, наблюдающего за воздухом. Я раскинул свою большую солдатскую шинель на траве возле щели. Нина Петровна легла на край шинели, положила под голову портфель, поджала ноги и затихла. Я лег на другой край шинели, положил под голову полевую сумку, а ухо прикрыл фуражкой. Все вокруг было сравнительно тихо. Разумеется, настолько тихо, насколько это может быть ночью, перед атакой, в двух километрах от противника. Артиллерийский огонь почти прекратился. С нашей и с немецкой стороны стреляло всего несколько пушек. Снаряды пролетали вы-

соко над нами. Их регулярный шум был похож на звук заржавленного флюгера. Он почти не беспокоил. Изредка немец пускал по прежнему нашей балке одну или две тяжелые мины. Они с отвратительным криканьем разрывались, наполняя балку запахом жженного целлюлоида. Но это был не прицельный, а так называемый тревожащий огонь, который, — как мы с Ниной Петровной заметили, — никого не тревожил. Далеко по лунному небу иногда начинали бегать розовые звездочки зениток. Стрелокат вдалеке танк. Но за всеми этими звуками таилась такая настороженная тишина, что спать совершенно не было сил. От скуки я часто курил, свертывая толстые папиросы из сухого табаку, который прокалывал бумажку. Огонь спички казался мне громадным, как костер. Он освещал всю балку. И каждый раз, когда я закуривал, сердитый голос кричал откуда-то:

— А ну тама полегче с огоньком. А то здесь все время лётает и лётает.

Нина Петровна все время ворочалась, не находя себе удобной позы. Наконец, она села, обхватила колени руками и положила голову на колени.

— Что ж вы не спите? — сказал я. — Спите!

Она повернула руку к луне и посмотрела на большие часы-браслет.

— Ноль часов двадцать две минуты, — сказала она, очень громко зевая. — Абсолютно не в состоянии заснуть.

— Вам, наверное, неудобно лежать на покатом.

— Я умею спать, где угодно. Не в том дело. Но вы представляете, какое у меня сейчас состояние? У нас нынче июль сорок третьего, а мой муж погиб в марте сорок второго. Считайте: шестнадцать месяцев. И каждый день я неотступно думала об одном: когда я, наконец, увижу его могилу. И вот нынче... вы понимаете... Может быть, даже завтра.. Ох, если бы вы знали, как это трудно переживать. Места себе не нахожу. Знаете, мы с ним так чудесно жили, — вдруг сказала Нина Петровна так просто и так доверчиво, как можно только говорить с полужнакомым человеком в потемках и притом в не вполне обычных обстоятельствах. — У него был простой, веселый нрав. С ним было очень легко и приятно жить. На мою долю выпало большое, хотя и недолгое, счастье любить его и быть любимой, — продолжала она, неподвижно глядя прямо перед собой, как бы сказывая длинную старую сказку. — Он был моим самым лучшим товарищем, самым любимым дорогим другом. Он писал мне с войны не слишком часто, но аккуратно. Эти письма были для меня всем. Я ими дышала. Каждое письмо подтверждало мне, что он жив. Мне казалось, что без его писем

я умру. И вот эти письма однажды прекратились. Я, конечно, хорошо понимала, что такое война. Давно, с самых первых ее дней, я приготовилась ко всему самому худшему. Но когда оно — это самое худшее — случилось, я не поверила — до того неправдоподобна, противостоительна, чудовищна была мысль, что он мертв, что его уже не существует на свете. Совсем не существует. Просто нет и больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра — никогда. Ужасаясь и не веря своим глазам, я прочитала извещение несколько раз под ряд. Потом меня охватило оцепенение. Но сейчас же вслед за оцепенением я почувствовала потребность немедленной деятельности. Мне казалось, что надо сейчас же, не теряя ни секунды, куда-то бежать, телеграфировать, писать, ехать, выяснять. Мне казалось, что я еще могу как-то его спасти, вернуть, поправить что-то. И вместе с тем со всей ужасающей ясностью я понимала, что это непоправимо.

III

— Я быстро надела валенки, шубу, повязалась платком, стала искать сумочку, деньги, карандаш. «Но, главное, чтобы о моем несчастье не узнал никто» — почему-то все время думала я: — «Не надо, чтобы это знали другие. Это — мое. И я все сделаю сама». А что я должна была сделать, я и сама не знала.

Я осторожно заперла свою комнату и положила ключ за кядку с водой в сенях. Я слышала, как хозяйка возится в кухне с бидонами. Я боялась, что она меня окликнет. Но, слава богу, она не окликнула.

Я вышла во двор. Кончался март. Но стужа была, как в январе. Я забыла, зачем я вышла. Вместо того, чтобы пройти на улицу, я повернула в другую сторону и пошла через двор назад к Волге. Во дворе зимовала заваленная сугробом лодка. По старому, твердому снегу я пошла через огород к обрыву. «Поклонись Волге» — сказал Андрей, когда мы прощались в январе месяце в Москве. Теперь я вспомнила эти слова. Это были его последние слова, сказанные мне. Он сказал их уже после того, как мы простились, в последний раз поцеловались, и он — в короткой кожаной шубе, с большим планшетом через плечо и маленьким чемоданом в руке — спускался по широкой лестнице гостиницы «Москва». Я стояла на площадке и смотрела вниз, в широкий пролет, где на поворотах мелькала его фигура, толстая от шубы и от меховых сапог. Вдруг он остановился, задрал голову и, озорно блеснув синими глазами, крикнула: «Поклонись Волге!» У него был сильный, густой голос, и говорил он, как истый воложанин, с ударением на «о». «Поклонись непремен-

но!» — крикнула я весело. Звук наших голосов в последний раз смешался и прошумел по широким вестибюлям и пролетам гостиницы.

Я вернулась в наш номер. Впрочем, он уже был не наш. Дверь была открыта настежь. Две горничные прибрали постель и мели сор. Но в умывальной еще был беспорядок и слышался теплый запах душистого мыла, одеколона и трубачного табака «Золотое руно». Здесь только-что Андрей брился, по своему обыкновению, не выпуская изо рта трубки.

Если бы вы знали, какие три чудесные дня провели мы с Андреем в этом номере! Мы встретились в Москве совершенно случайно, не сговариваясь. Меня послали из Куйбышева в Москву в главную контору «Чермета» по делам нашего эвакуированного завода, а он приехал с фронта получить из рук Калинина свою золотую звездочку. Можно было подумать, что судьба, перед тем, как разлучить нас навсегда, подарила нам три дня полного незабываемого счастья. И вот они прошли, эти три дня. Андрей уехал. Да и мне пора было складывать вещи: срок моей командировки кончился.

Как грустно, как одиноко было доживать последние часы в нашем номере, который уже был не наш. Но разве можно сравнить это одиночество с тем, какое я испытывала тогда, стоя среди сугробов над Волгой!

За Волгой горел невероятно яркий закат. На него больно было смотреть, а ледяной восточный ветер еще лучше раздувал его красное, желтое, зеленое пламя, охватившее полгоризонта. Я забыла дома варешки. Руки мои совершенно окостенели. Пальцы не сгибались. Я изо всех сил прижимала их к груди. Я, не отрываясь, смотрела на запад. Мне казалось, что там шляется сама война. Синие тени танков — казалось мне — пронеслись взад и вперед над горизонтом. Подергивались зарницы артиллерийского боя. Огонь рвался из соломенных крыш. Рухнулись строения. И все это совершалось в подавляющем, сводящем с ума безмолвии.

Я вернулась домой и, не зажигая огня, легла на свою койку. Как была — в шубе и валенках — я легла лицом к стенке. Меня знобило. Я крепко поджала ноги и, продолжая прижимать руки к груди, безостановочно повторяла: «Какое горе, какое горе, какое горе». Вдруг я испугалась, что меня услышат. Тогда я стала шептать про себя все то же: «Какое горе, какое горе». Однако скоро я забылась и начала говорить опять громко. Но меня никто не слышал. Я была одна во всем мире наедине со своим горем, к которому я еще не привыкла и всю глубину которого даже еще как следует не поня-

ла. Это были ужасные часы. Ужасные потому, что то, что случилось со мною и с ним, продолжало оставаться для меня — несмотря на всю свою очевидность и естественность — невероятным, неестественным. Как же это так? Что же это такое? — думала я, постепенно согреваясь конечно, не такими слова, но такими мыслями. — Вот был чудесный, неповторимый человек. Мы так любили друг друга. Нам так хорошо было вместе, в нашем молодом мире. У нас могли быть детишки — веселая, дружная семья. Нам бы с ним вместе жить да жить. И вот он погиб. Я больше никогда в жизни не увижу его, не поцелую, не услышу его голоса. Он мертв. Его нет. Он исчез. Всё есть. А его нет. Его просто больше не существует. И самое ужасное в том, что с каждым днем он будет слабеет в моей памяти. Будет как будто все отдаляться и отдаляться от меня. О том, что его больше не существует, я узнала лишь сегодня. А в действительности его уже нет на свете две недели, пока шло извещение. Но ведь для меня его не стало гораздо раньше. Он исчез для меня в январе, в гостинице «Москва», в тот миг, когда я в последний раз увидела его на последнем повороте лестницы. И каждая минута уносит и будет уносить от меня все быстрее и быстрее частицы его, потому что, разве в состоянии чело-веческая память угнаться за временем? Вот, например, его голос. Какой он был? Страшно признаться, но я уже не совсем точно помнила его голос. Я его представляла, но услышать его в себе уже не могла.

Так, изводя себя воспоминаниями, я провела свою первую сиротскую ночь.

Было семь часов утра. Я могла еще отдыхать до восьми. Но больше не было сил оставаться одной. Я умылась в сенях ледяной водой и вычистила зубы. Хозяйка выглянула из кухни.

— Это вы, Нина Петровна?

— Да, это я.

— А я думала, что вы нынче опять не ночевали дома.

Я, действительно, часто не ночевала дома, оставаясь на заводе, в цеху. Но хозяйка не верила этому. Она думала, что я где-то гуляю.

— Нет, я сегодня ночевала дома, — сказала я.

Я не любила своей хозяйки. Это была сварливая, недоброежелательная мешанка. Она считала, что сделала для меня величайшее одолжение, сдав мне каморку с косым низким потолком, оклеенным желтыми газетами. Она смотрела на меня, как на беженку. Она презирала меня за то, что я — жена Героя Советского Союза — работаю на заводе и приношу домой так немного продуктов. Первое время она пыталась ме-

ня учить жить, но, получив отпор, стала донимать мелкими придирками. Кроме того, она потихоньку таскала мой сахар и отпивала мое молоко. Она входила в мою комнату, когда меня не было дома, рылась в моих вещах, читала мои письма. Это, конечно, были мелочи. Я старалась их не замечать. Но иногда меня это сильно заило. Я мечтала найти себе другой угол.

Я положила извещение в сумочку, чтобы хозяйка в мое отсутствие не прочла его, заперла комнату и положила ключ за бочку.

— Что-то вы, Нина Петровна, нынче рано собрались, — сказала хозяйка. — Ай работы много?

— Работы хватает, — сказала я.

— Сводку вчерашнюю слышали?

— Не слышала.

— И я не слышала.

Она глубоко вздохнула и собрала губы в оборочку.

— Говорят, опять что-то неладно под Севастополем. Не знаете?

— Не знаю.

— Да. Дела.

На этот раз она особенно раздражала меня. С Крымом и Севастополем у меня были связаны самые лучшие воспоминания моей жизни. И у меня сердце обливалось кровью.. но это неважно.

Когда я проходила через контрольную будку, вахтер остановил меня и потребовал пропуск. Это было хорошо мне знакомый старичок-инвалид Сергей Сергеевич. Он меня отлично знал и никогда не спрашивал у меня пропуск. Я с удивлением остановилась.

— Батюшки! — воскликнул Сергей Сергеевич. — Да ведь это наша Нина Петровна.

— Не узнали?

— Не узнал. Обмишурился. Богатой быть. Проходите, добрейшая, проходите.

Выйдя на территорию завода, я остановилась и посмотрелась в зеркальце. Как не похоже было мое лицо на лицо той девчонки, которая сравнительно так недавно — всего какие-нибудь два года тому назад — под знойным крымским солнцем ехала на линейке из Севастополя в Георгиевский монастырь. Нехорошее, желтое, со следами бессонной ночи. Неужели это были мои щеки, мои губы, мой лоб? Нет, это была не я. Это была какая-то очень родная, но еще совсем незнакомая, новая женщина со странными глазами под шерстяным платком, вдова Героя Советского Союза Хрусталева, «Вдова». Как страшно называть себя первый раз этим словом, как больно!

IV

— Так началась моя новая жизнь, в которой не было ничего нового, кроме того,

что теперь я была вдовой. Жизнь моя с этого времени как бы разделилась на две жизни. Одна была простая, грубая и ясная жизнь сегодняшнего дня, другая — жизнь воспоминаний. Я жила одновременно этими двумя жизнями. Они не сливались во мне. Они как-то текли одна сквозь другую. Теперь я почти каждый день ночевала в цеху. Мне было мучительно оставаться одной в своей каморке, загроможденной хозяйкиными сундуками, дрянными этажерками с множеством старомодных, безвкусных безделушек, с какими-то никому не нужными пятнистыми раковинами, бронзовыми собаками, гранеными хрустальными яйцами, в которых эта комната отражалась сотней крошечных изображений со всей ее скукой и чепухой.

С поразительной ясностью помню я первый день моего вдовства. Помню, как, одеревяневшая от горя, я шла через заводской двор, заваленный металлическими отходами и небурным снегом.

До войны здесь были кавалерийские казармы. Теперь в длинных конюшнях помещались цеха. Не заходя в контору, я отправилась прямо в роликовый цех, который недавно перешел на обработку новой детали. Я открыла набухшую дверь и тотчас — как всегда — меня охватило ветром и сонным шумом станков.

— Ничего не изменилось здесь со вчерашнего дня. Так же в синих утренних сумерках сияли голые тысячсвечевые лампы. Так же под ногами по канавкам бежала отработанная эмульсия, отсвечивая перламутром. Так же с точильных камней внутри автоматов сыпались искры. Так же, возвышаясь над своим станком, стояла на специальном ящике маленькая ремесленница Муся, в большой черной шинели с подвернутыми рукавами, из-под которой выглядывали ножи в чулках и поверх чулков еще в носках, напущенных бубликами на новые тапочки. Так же строго и повелительно смотрели на меня военные плакаты и лозунги.

Все было по-старому. Только я одна была новая, со своим новым горем. Но об этом горе не знал никто.

Я подошла к Мусе и поздоровалась. Девочка кивнула головой, не отводя глаз от бункера станка, куда она прилежно, равномерно сыпала из горсти маленькие стальные цилиндрики — ролики — ту самую новую деталь, на обработку которой перешел цех. В то же время Муся другой рукой набирала из корзины новую порцию роликов. Когда же из правой руки в бункер упал последний ролик, девочка ловко повернулась в полоборота и, не потеряв ни одной секунды времени, стала высыпать в бункер из левой руки, а пустую правую тотчас отвела на-

зад и опустила в корзину, набирая новую порцию роликов.

Это была новость!

Некоторое время я стояла возле Муси, любуясь точностью и быстротой ее движений.

— Молодец, Муся. Давно придумала?

Она с досадой помотала головой и ответила не сразу.

— Сегодня придумала, — сказала она нетерпеливо. — Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, — продолжала она почти беззвучно шевелить пухлыми губами.

Я сразу поняла. Она считала ролики по десяткам и боялась сбиться со счета. Я вытерла рукавом ее хорошенький носик, запачканный сажей. Она мельком взглянула на меня краешком глаза и гордо подняла подбородок. Это я тоже поняла. Она похвасталась. Вот, дескать, какая я. И правда, Муся была чудесная девчушка.

Однажды к нам на завод приехали иностранные журналисты. Сытые, гладкие, красивые от русских морозов, в легких, но теплых шубах, в меховых перчатках и толстых канадских башмаках, дымя сигаретами, они шли вместе с директором нашего завода и с переводчицей в леопардовом жакете по обледеленному цеху. фантастически озаренному багровым пламенем костров.

Проходя мимо Муси, они остановились и некоторое время с любопытством наблюдали, как она работает. Вероятно, эта смешная и хорошенькая русская девочка-ремесленница с испачканным носиком, которая стояла у станка на ящике в большой черной шинели, заинтересовала их. Они выразили желание поговорить с Мусей. Директор, улыбнувшись, погладил Мусю по спине.

— Здорово, Муся. Как дела?

Она повернула к нему свое сосредоточенное, нахмуренное личико подростка с запачканным носом. Некоторое время она беззвучно шевелила пухлыми губами, про себя считая ролики по десяткам, а потом сказала:

— Я занята.

И отвернулась к станку, продолжая прилежно сыпать ролики в бункер из своей маленькой, обмороженной руки. Она это сказала, конечно, без малейшей рисовки, без всякого желания как-то особенно выгодно выказать себя перед директором. Она просто сказала то, что скала бы всякому, кто стал бы ей мешать. Очевидно, то дело, которое она делала, было для нее важнее директора, важнее переводчицы в леопардовой кофте, важнее американцев, важнее всего на свете. Вот она и сказала то, что сказала.

А ведь надо понять, что такое в глазах любого рабочего значит директор завода! Ого! Это, знаете, не, шутка.

Директор юмористически развел руками. Ничего, мол, не поделаешь. Переводчица перевела. Иностранцы громко захохотали и захлопали в ладоши. Они приветствовали мою Муську, как балерину. А она даже не обернулась. Она о них в ту же минуту просто забыла, всецело поглощенная своим счетом, своими роликками, своими обмороженными руками и своим носиком, который чешется и который не было времени почесать.

Надо вам сказать, Муся соревновалась с одним чудеснейшим парнишкой, тоже ремесленником, испанским мальчиком по имени Хозе, которого все попросту называли Хозя. У этого Хози были золотые руки. В цеху работало несколько ребят, но никто не мог угнаться за Хозей. Когда Хозя вызвала на соревнование Мусю, все засмеялись. Теперь между ними шла битва не на живот, а на смерть. Все-таки, я думаю, Муся несколько переоценила свои силенки. Шли дни, и еще ни разу красный флажок не перешел с хозяйного станка на мусин, хотя бы на сутки.

Кончался месяц. Над Мусей уже подтрунивали. От досады Муся даже немного осунулась. А Хозя держал себя с великолепной небрежностью истинного артиста.

Казалось, он работает рассеянно. Он часто отходил от станка. Он закуривал, разговаривал с соседями. Он как будто нарочно отставал. И вдруг, решительно выплюнув цыгарку и раздавлив ее каблучком, подходил к станку и в какие-нибудь полчаса не только нагонял упущенное время, но и настолько перегонял его, что опять мог позволить себе немного поваладаться. При этом он смотрел куда угодно, но только не в сторону Муси. Для него Муся не существовала в природе.

Я подошла к Хозе как-раз в то время, когда он сунул в станок стальной прут и приложил его к точильному кругу. Для экономии спичек это у нас было довольно распространенный способ добывать огонь. Искры густо сыпались, отражаясь золотым песком в хозяйных глазах. В цеху было прохладно, но Хозя работал без шинели, как заправский рабочий.ворот его черной сатиновой рубашки был расстегнут. Рукава подвернуты до локтей. Кроме этих желтовато-смуглых рук, черных глаз, да, пожалуй, грязного клетчатого платка, накрученного на шею, в Хозе ничего не осталось испанского. С некоторого времени он даже перестал отпускать себе бакки. Теперь это был обыкновенный русский мальчишка-ремесленник.

Мы поздоровались.

— Здравствуй, Хозя, — сказала я.

— Почет и уважение, — сказал Хозя, явно кому-то подражая.

— Покуриваешь?

— Покуриваю, Нина Петровна. Мировецкий самосад. Десять рублей стакан. Закурить не желаете?

— Я тебе закурю, — сказала я строго, сдерживая улыбку.

— Что ж вы сердитесь, Нина Петровна? Разве я вас когда-нибудь подводил? Глядите, у меня все в полном порядке.

Ничего не скажешь. У него, действительно, все было в порядке, у этого торреадора: станок чистенький, рабочее место аккуратно подметено, — на гвоздике возле тумбочки новый просяной веник — и на станке красный флажок, а на ящичке для инструмента, в металлической самодельной рамке — табличка суточного задания, всегда перевыполненного.

Но я знала, что излишняя строгость никогда не мешает. Я сделала Хозе замечание за неаккуратное расхождение эмульсии. Он тотчас подвернул кран. Я захватила из ящичка несколько готовых роликов и пошла проверить их на миниметре. Брака не было. Когда я вернулась к станку, Хозя еще продолжал курить.

— Гляди, Хозя, как бы тебе в конце-концов не осрамиться, — сказала я. — Ты себе знай покуриваешь, а Муся вон чего придумала.

— Чего она придумала? — сказал Хозя небрежно.

Он выплюнул цыгарку, крутнул ее каблучком и подмел веником.

— А ты погляди.

— Тоже! — сказал Хозя.

Он подошел к станку и стал необыкновенно ловко и необыкновенно быстро, один за другим, сыпать ролики из горсти в бункер.

— Ну, как знаешь, — сказала я, невольно любясь его сноровкой.

V

— Я прошлась по пролету, останавливаясь у некоторых станков и проверяя их наладку.

Вероятно, для человека нового ряда пощелкивающих станков-полуавтоматов, выкрашенных в прочную темносерую краску с красными номерами и линейками, могли показаться очень однообразными. Но для меня каждый станок был слишком хорошо знаком.

Я знала эти станки еще тогда, когда они стояли в сияющих залах новенького, знаменитого московского завода, отражаясь в плиточных полах и кафельных стенах.

С каким счастьем, с какой гордой радостью носилась я — еще совсем молоденькая студентка-практикантка — по ши-

роким лестницам и звучным коридорам, мимо громадных, как стена, клетчатых окон всех этих бесчисленных заводских корпусов, казавшихся мне хрустальными. Конечно, это было для меня больше, чем завод, больше, чем место моей практики. Для меня это был громадный новый мир, в котором я с наслаждением жила. Каждый миг я открывала в нем все новые и новые увлекательные подробности. Каждый миг находила новых друзей. Здесь я постепенно превращалась из девочки в девушку и быстро зрела для счастья.

Говорили, что у меня открытый легкий характер. Это верно. В то чудесное, незабываемое время я была очень общительная и очень веселая комсомолка. У меня была масса друзей. Сказать точнее, моими друзьями были все. Я всех любила, и все любили меня.

И вот их теперь вокруг меня не осталось почти никого. Их развело, разнесло в разные стороны.

— Да, — сказала Нина Петровна — развело, разнесло в разные стороны. Многих и на свете уже давно нет, пришли к нам на завод новые люди! Трудно было к этому привыкать. Все же привыкла...

Я шла мимо станков, и все люди, работавшие на них, были мне уже хорошо известны. Мы здоровались, как старые знакомые. Я наперед знала, что кто мне скажет и что я отвечу.

Вот, например, Зинаида Константиновна Ворожницкая или, как все ее называли, — тетя Зина, пухлая, пожилая женщина, тепло и спрятно одетая, в сером шерстяном платке и вязаных перчатках с отрезанными пальцами как у кондукторши, — бывшая домашняя хозяйка. На ее рабочем столике, аккуратно застланном газетой, всегда стояла жестяная банка с каким-нибудь цветочком или зеленой веткой, а рядом с банкой на специальном пушпире — открытая книжка.

Тетя Зина обыкновенно в обеденном перерыве читала. Ее белое, доброе лицо с тонкими очками на кончике круглого носа все время озабоченно поворачивалось.

Поздоровавшись, я сказала ей то, что обычно ей говорили все:

— Ну что, тетя Зина? Где лучше: у плиты или у станка?

— У станка; разумеется, у станка, — ответила она рассеянно, как обычно, к проходившим мимо нее людям.

При этом горькая складка легла у ее рта.

Я понимала ее, эту пожилую, интеллигентную женщину, жену провинциального врача-хирурга, добрую мать семейства и домашнюю хозяйку, которая вдруг на старости лет осталась одна. Она по-

шла работать на завод потому, что это было необходимо для родины. Но об этом она никогда не говорила. А если ее спрашивали, то говорила так:

— Скучно одной дома сидеть, вот и пошла. Чем я хуже других? Да и дело, в общем, не особенно мудреное. А здесь даже очень мило.

Она работала не слишком быстро, но свою норму всегда выполняла, и работа ее отличалась необыкновенной точностью и аккуратностью. Все в ней вызывало во мне чувство нежности и глубокого уважения: и ее теплые платок, и перчатки с отрезанными пальцами, и банка с пахучей веточкой можжевельника, и потрепанная книга романа Сергеева-Ценского «Севастопольская страда».

Кладя в бункер ролики, она посмотрела на меня внимательно и сказала:

— Что-то вы сегодня, Ниночка, на себя не похожи. Не больны ли вы?

Точно бритвой, полоснуло по моему сердцу.

— Нет, ничего. Спасибо.

Я поспешно отошла, сделав вид, что мне нужно по делу. Мне захотелось как можно скорее убежать, скрыться, остаться одной. Но в это время меня окликнули. Это был наш начальник снабжения Абраша Мильк — очень шумный и очень суетливый товарищ с высокой головой, лысой и продолговатой, как дыня. Лето и зиму он ходил без шапки, но зато в толстой кофте, сшитой из клетчатого одеяла с воротником молния, из-под которого выглядывала верблюжья фуфайка. На его широкой груди виднелась большая новенькая медаль «За Трудовую доблесть».

Как всегда, Абраша Мильк ужасно спешил и был окружен толпой шумящих агентов и уполномоченных.

Его глаза с косматыми, очень черными бровями сверкали безумно и грозно, как у полководца.

— Деточка, — сказал он взволнованно, беря меня под руку и увлекая за собой. — Надо иметь совесть. Нельзя так, кошечка. Я снабжаю не только один роликовый цех. У меня на шее весь завод. Этак мы скоро без штанов останемся. Вы понимаете, что такое в наших условиях эмульсия? Это же золото! Птичье молоко! А вы тут у себя ноги моете в эмульсии. Заявляю вам категорически, — закричал он вдруг с яростью: — можете сложнуть, а до пятнадцатого апреля вы у меня не получите ни одного альбиного литра! И крутитесь как вам угодно. А нет — будете иметь дело с партийной организацией. Все? Все!

После этого он вдруг сразу успокоился и нежно заглянул мне в лицо.

— Ну, как дела, Ниночка? Твой тебе пишет что-нибудь? — сказал он уже совсем другим голосом, улыбаясь и показывая стальные зубы и, не дожидаясь ответа, ринулся из цеха, окруженный агентами и уполномоченными.

И я опять осталась одна.. Чувство отчаяния, прямо-таки ужаса, охватило меня с новой, страшной силой. Это была такая душевная пустота, такая нечеловеческая боль, что даже теперь страшно об этом вспомнить.

Нина Петровна замолчала, следя оставившимися глазами за красной ракетой, которая медленно поднялась на горизонте и погасла. За восточным гребнем нашей балки сильно вспыхнуло. Потом ударил пушечный выстрел. Потом над нами высоко пролетел снаряд. Через некоторое время после того, как шум снаряда постепенно стих, далеко на западе слабо вспыхнуло. Потом до нас донесся звук взрыва. Покатилось эхо. И опять надолго все стихло.

— Это что? — спросила Нина Петровна.

— Вероятно, пристрелка, — сказал я.

И она опять стала сказывать своим ровным голосом, как бы поверая — не мне, а кому-то третьему — самые свои сокровенные чувства.

— По правде вам сказать, мне страшно было оставаться одной. Мне казалось, что жизнь кончена, жить больше не стоит. Я просто боялась за себя. И, действительно, теперь я вижу, что я была очень близка к большой беде.

Меня спасла другая моя жизнь, жизнь воспоминаний. В этой жизни был он — мой Андрей, живой, любящий и любимый. Эта жизнь все время, безостановочно протекала в самой глубине моего сознания. Видения этой жизни вдруг начинали как-то просвечивать. И я, незаметно погружаясь в них, сама становилась видением. Иногда достаточно было одного слова, одного звука, запаха, случайного соединения вещей для того, чтобы тотчас в моем воображении возникала какая-нибудь счастливая картина прошлого.

Сначала мои воспоминания шли беспорядочно, трудно, все время останавливаясь и повторяясь на одном и том же месте. Но вдруг я вспомнила — даже не вспомнила, а как-то необыкновенно ярко, со всеми подробностями увидела, ощутила — знойный, летний, московский день после обеда. Знаете, один из тех июльских дней, когда каблуки вязнут в асфальте и всюду скользят и летают зеркальные отражения трамвайных стекол и никелированных частей автомобилей и велосипедов.

В этот день я покупала в шумном и душном универсаме Мосторга фибровый чемодан.

VI

— Это было за два года до войны и буквально за несколько дней до моего знакомства с Андреем. В то лето я и Дуся, моя подруга, тоже девушка-студентка, купили в расщепку путевки в один из крымских домов отдыха. Смешно вспомнить, до чего мы суетились. Я в первый раз уезжала из Москвы так далеко. Хотя я и считала себя вполне самостоятельной, но эта поездка представлялась мне чем-то в высшей степени смелым, даже дерзким. Я бы ни за что не решила ехать. Но Дуся уговорила меня. Дуся была девушка независимая, решительная, как говорится, с характером и, как мне тогда казалось, немолодая: ей шел двадцать второй год. Она уже встречалась с одним человеком. Мне же едва исполнилось девятнадцать лет, и я еще никого не любила.

И вот мы поехали.

Помню, как я боялась потерять билет. Помню, как, ожидая Дусю, я сидела в тесном проходе Курского вокзала, отгороженного от буфета громоздкими, резными стульями. Я сидела на своем фибровом чемодане, в котором лежала всего одна стоящая вещь: мое единственное выходное маркизетовое платье. Мне было дурно от жары, страшно одной, и я весело расплакалась, когда увидела, наконец, в толпе Дусю. Мы спустились вниз и, возбужденные, бежали по грязному кафельному туннелю, боясь опоздать, хотя до отправления оставалось еще минут двадцать.

После того, как мы нашли свои места и я водворила свой постыдно легкий чемодан на полку, я вышла на перрон. Не решаясь отойти, я прислонилась к вагону спиной, чувствуя жар его раскалившейся обшивки.

Шла веселая, беспорядочная посадка. Помните, как было весело до войны летом на вокзалах, откуда уходили поезда на юг?

Все пассажиры нашего скорого севастопольского были курортники, народ большей частью молодой, так же, как и мы с Дусей, — студенты или с производства. Явилось множество провожающих. Они шумели больше всех. Они лезли в вагоны. Проводники их не пускали. Тогда они, подсаживая друг друга, пытались забраться в окна. Болтались ноги в сандалиях. Какой-то шутник с преувеличенным отчаянием обнимал свою девушку. Она вырвалась и, выставив вперед локти, старалась спасти свою свеженькую кофточку. Упали цветы и были тотчас потоптаны.

Дусю пришел провожать тот самый человек, с которым она встречалась. Я увидела его впервые и очень удивилась.

Я представляла себе солидного, может быть, даже женатого дядьку, а он оказался совсем молодым пареньком в синих резиновых тапочках и лиловой футболке под пиджачком внакидку. Нырющим шагом он подошел к своей Дусе сзади, вдруг подхватил ее подмышки и повел, толкая перед собой. Они быстро стали гулять, таким образом взад-вперед по перрону: она впереди, а он сзади, заглядывая ей в лицо то через правое плечо, то через левое. Они разговаривали. Он — озабоченно. Она — сердито. Со стороны можно было подумать, что они ссорятся. Но я знала — речь идет об отдельной комнате, которую ему уже давно обещало заводское управление и в которой они спростно мечтали, наконец, поселиться вместе и строить семью.

Я стояла одна. Меня никто не провожал. Мне даже было немного недовоко, но ничуть не грустно. Наоборот. Я чувствовала тот особый подъем, прилив всех душевных сил, ту беспричинную, захватывающую, даже какую-то жуткую радость, которая совершенно точно, безошибочно предсказывает приближение первой любви. «Его» еще не было, но уже воздух любви окружал меня, и я им дышала. Замечательное состояние. Оно бывает только раз в жизни.

Вдруг я увидела своего отца. Он пробирался вдоль состава, заглядывая в окна. Он искал меня. Это было неожиданно. Я крикнула от радости. Он обнял меня: заглядывая в глаза, стал гладить меня по щеке. От его руки знакомо пахло железом. Я чувствовала все его пять шершавых пальцев, из которых средний, оторванный машиной, был наполовину короче. Отец смотрел на меня восторженно. Его глаза щурились и были немного светлее обычного, из чего я сразу поняла, что он чуточка выпил.

— Что, деточка? На курорт уезжает? Ну, умница; ну вот просто умница, — говорил он растроганно. — Курорт, брат, дело необходимое, государственное. Оно для всех нужно. А для студентов в особенности.

При этом он поглядывал во все стороны, как бы всех приглашая разделить его гордость по поводу того, что его дочь, во-первых, студентка, а во-вторых, едет на курорт. Затем он, видимо все еще считая меня маленькой девочкой, стал делать мне различные наставления и давать советы. Почему-то он особенно настаивал, чтобы я не ходила на курорте с открытой головой, а обязательно покрывалась от солнца платком. Я живо представила себя на курорте в деревенском платке и стала хохотать. Он вытер рот, заросший усами. Мы поцеловались.

— Деньги у тебя по крайней мере есть? — спросил он строго.

— Есть.

— Много ли?

— Сто двадцать рублей.

Он подумал и сказал:

— Мало. На тебе еще полста. Итого сто семьдесят. Это уже сумма.

Он сунул мне в руку несколько скрученных бумажек, влажных и горячих, как видно приговоренных заранее. Я сразу поняла, что это его «подкожные деньги», скрытые при получении от матери. На эти деньги отец позволял себе несколько раз в неделю выпить с приятелями пива. Мне не хотелось лишать его этого удовольствия, и я стала отказываться.

— Но! — сказал он строго, поднимая вверх свой обрубленный палец. — Раз дают — бери. Лишние деньги курорта не испортят. Покупай фрукты. Они способствуют умственному труду.

И он опять тщеславно посмотрел по сторонам.

Ударил колокол. Я поспешно обняла отца за шею и бросилась в вагон. За мной, развеваясь, влетела Дуся. Поезд тронулся. Отец шел рядом с вагоном, размахивая своей тубетейкой. Со слезами на прозрачных глазах он кричал:

— Если что-нибудь случится — бей телеграмму!

VII

— Было семь часов вечера, но солнце стояло еще очень высоко. В раскаленном переполненном вагоне нечем было дышать. Попробовали открыть окно — оказалось еще хуже. Стала донимать пыль. В облаках пыли проносились подмосковные дачи, седые сосны, киоски, волейбольные сетки, «Гастрономы», досчатые платформы с гуляющими дачниками.

Нам предстояло провести в вагоне две ночи и один день. Первую ночь я почти не спала. На наш вагон нехватало тюфяков. Пришлось лежать прямо на дереве, положив под голову пальто. Дуся уснула, а я не могла. Воздух казался еще суше, жарче, чем днем. Я обливалась потом. Ноги резали туфли, которые я стеснялась снять. Несколько раз посреди ночи я ходила в умывальник напиться. Но вода была почти горячая; она совсем не утоляла жажды; наоборот, еще больше хотелось пить.

Чтобы как-нибудь провести время, я часа полтора просидела в слабо освещенном тамбуре, на неудобной откидной скамеечке, рядом с тормозным колесом. За окном неслись темные массы чего-то. Может быть, это были деревья, может быть, облака, а, может быть, и дома. Один раз я увидела внизу белую воду ночной реки. Над ней висел поздний месяц. Вдали показались огни. Они долго приближались. Целое созвездие электрических ламп. В темноте сыпались искры, буше-

вало пламя. Это был завод, и там как-раз, вероятно, лаяли чугуны.

И все это вместе с таинственным паровозным дымом уносило назад, назад. Вдруг меня охватило чувство невероятного одиночества.

Дурочка, тогда я понятия не имела, что такое настоящее одиночество!

Мне захотелось как можно скорее, сию минуту назад, домой, в Москву. Но приступ тоски продолжался недолго. Взошло солнце. Все вокруг повеселело. Рубчатые стенки вагона стали красные. Пассажиры проснулись. Скоро мы перезнакомились со всеми нашими соседями. Появилось домино. Принесли гитару с голубым бантом. Стали разворачивать еду. Восточный, очень веселый вагонный день начался.

Погода сделалась свежей. Нам положительно везло. Впереди шла гроза. Поезд вбежал в полосу ливня. Окна тотчас открыли. Чистый воздух, смешанный с запахом мокрых полей, пролетал до вагонам. Это было под Орлом.

Подумайте, это было где-то здесь. И ветер тогда, может быть, летел с тех самых полей, по которым мы с вами сегодня просажали, — сказала Нина Петровна, вздрогнув.

— Ехать стало необыкновенно легко и приятно, — продолжала она быстро, как бы желая отстранить от себя все мысли, которые мешали ей вспоминать. — Леса кончились. За Харьковом пошла спелые нивы, открытые до самого горизонта. Кое-где хлеб лежал, поваленный ливнем. Впервые я увидела украинские хатки, окруженные маленькими вишневыми деревьями. Мне очень понравились их толстые камышовые крыши и выбеленные стены, посиневшие от ливня.

На пару стоял трактор. Его острые, зубчатые колеса были облеплены очень черной, почти синей грязью. Под длинной скирдой прошлогодней соломы, с одной стороны сухой, серой, а со стороны ливня мокрой, яркой желтой, на железных бочках из-под керосина сидели, накрывшись мешками, украинцы. Вилась голубой дымок..

Думала ль я тогда, что через два года сюда ворвутся немцы, будут жечь, насыловать, грабить, угонять в плен; превратят в пруду пепла этот счастливый, мирный край, который проносился сейчас передо мной во всей своей молодой свежести, во всей своей красоте и богатстве? Думала ль я, что нашей родине скоро предстоит пережить такое всенародное горе, такое беспримерное унижение? Ах, нет, слишком чиста и наивна была моя душа, слишком полна любви и веры в добро, в справедливость, слишком желала счастья и несласть, несласть навстречу этому счастью!

Перед вечером поезд остановился на станции Синельниково. Дождь уже про-

шел, и мы с Дусей вышли погулять по платформе. Солнце сильно било в глаза из-под тающей дождевой тучи. В больших лужах уже отражались куски очищенного неба. Дуся бросила в почтовый ящик несколько открыток, которые она все время усердно писала в дороге. Затем мы пошли посмотреть таинственный и никогда еще мною невиданный международный вагон, входивший в состав нашего поезда.

Возле этого длинного, тяжелого четырехосного вагона, обшитого деревом с медными накладными буквами и цифрами, стояло несколько человек в шляпах, в белых и черных клеенчатых макинтошах, в пестрых спортивных костюмах.

— Интуристы, — шепнула мне Дуся, которая все на свете знала.

Мы независимо прошли мимо них. Я услышала немецкую речь. Холодные и не по-нашему голубые глаза с презрительным, нескрываемым любопытством гадкого свойства следили за нами. Мне стало не по себе. Я прижалась к Дусе. Мы вернулись и быстро пошли назад. Когда мы проходили мимо мягкого вагона, нас вдруг окликнул веселый мальчишеский голос:

— Эй, девчата, постойте. Куда вы так разбежались?

От неожиданности мы остановились. Из окна вагона на нас смотрела озорная, черноглазая, молодая, курносая физиономия с парикмахерской сеткой на голове. Видать, парень только-что брился, так как вокруг его смуглой шеи было наматано чисенькое вафельное полотенце, а на щеках виднелись следы пудры. Он переводил свои блестящие, как у девушки, веселые глаза с меня на Дусю и с Дуси на меня. Он, конечно, нас сравнивал, решал, которая лучше. Наконец, он свистнул и воскликнул с веселым изумлением:

— Обе лучше. Вот это девушки, так уж девушки!

Мы молчали. Тогда он спросил:

— Простите за беспокойство, вы не знаете, какая это станция?

— Станция «Кипяток», — бойко отрезала Дуся, которая никогда за словом в карман не лезла.

— Нет, кроме шуток? — сказал он жалобно.

— Что вы — неграмотный? Видите, написано «Синельниково».

— Извините. Забыл дома очки. А вы здешние, синельниковские?

Это нас даже обидело.

— Такие же самые здешние, как и вы, — сказала Дуся.

— Нет, серьезно?

— Одним поездом едем.

— Да что вы говорите! Какая неожиданная неприятность. Простите за открытость — в каком вагоне?

- Зачем вам знать?
 — В гости к вам хочу заскочить.
 — Дома не застанете.
 — Нет, в самом деле. В каком вагоне?
 — В железном. На колесах.
 — Все равно найду.
 — А вот не найдете.
 — Посмотрим.
 — Увидим.
 — Куда же вы едете?
 — Туда, куда вы.
 — В Крым?
 — На луну.
 — В дом отдыха?
 — Это вам не интересно.
 — Нет интересно. Но куда именно, в какое место?
 — Не надо быть таким любопытным.
 — Я не любопытный. Я любознательный. Куда?
 — Сами догадайтесь.
 — В Ялту?
 — Нет. Это для нас слишком дорого.
 — В Алушку?
 — А что в ней хорошего?
 — В Мисхор?
 — Первый раз слышим.
 — Ну, в Ливадию. Наверное, в Ливадию. Бьюсь об заклад. Да?
 — Пройтаете.
 — Тогда, куда же?
 — Сами догадайтесь.

Я заметила, что, разговаривая с Дусей, он все время смотрел на меня и обращался как бы ко мне одной. Для меня было ясно, что я понравилась ему больше Дуси. В этих вещах девушки, даже самые молоденькие, никогда не ошибаются. Да правду сказать, в то время, в то чудесное, неповторимое время, я, действительно, была очень хорошенькая, заметная. Мне стало ужасно весело. Захотелось и от себя вернуть в разговор что-нибудь остроумное. Я уже собралась сказать «в Риодежанейро», как вдруг заметила, что из того же окна на меня смотрит еще один человек. Мои глаза встретились с уже не очень молодыми, добродушными синими глазами, окруженными мелкими сухими морщинками. Русые волосы, зачесанные вверх, слегка разваливались посередине, с двух сторон опускаясь на красивый, широкий лоб. Из крепкого, большого рта торчала прямая трубка. Он вынул ее и окаяющим волжским говором сказал:

— Оставь надежды, Петя, и приземляйся. В данном случае твои чары не имеют никакого успеха. И девушки это могут подтвердить. Подтверждаете, девушки? — сказал он, обращаясь уже прямо ко мне.

Мне вдруг стало отчего-то страшно. Я вспыхнула и дернула Дусю за руку.

— Будет, Дуся. Пойдем!

И мы, обнявшись, убежали, подобрав юбки и отражаясь вверх ногами в мокрой платформе. Тот, кого называли Петей,

что-то кричал нам вдогонку, но мы не обернулись.

На следующей станции Петя, очевидно, разыскивая нас, несколько раз озабоченно прошелся под окнами нашего вагона. Он был уже без сетки на голове, и на нем был прекрасный синий шевютовский костюм с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака — вероятно, за Испанию. А мы, прижавшись к рубчатой стене и пригнув головы, чтобы нас нельзя было увидеть из окна, обняв друг друга за шею, тихонько хохотали.

Это небольшое происшествие еще больше подняло наше настроение. Ночью я трекрасно спала, уже не стеснялась снимать туфли, во сне ничего не видела, а только все время чувствовала, что в жизни со мною случилось что-то очень важное и счастливое, но что именно: я еще не понимала, хотя это было так ясно.

VIII

— Я поздно проснулась, а, проснувшись, была поражена перемене, которая произошла в природе. Восхитительный воздух, знойный и вместе с тем нежно-сухой, дмлся в окно, поднимая волосы. Ряд пирамидальных тополей поворачивался в далекой долине, как грабли. На платформах маленьких станций, нарядных, как выставочные павильоны и увитых не диким, а настоящим виноградом, стояли татары в белых шерстяных носках и чуваках.

В одном месте я увидела мечеть; в другом — длинную арбу с небольшими сафьянно-желтыми дыньками.

Волшебное слово Бахчисарай заставило мое сердце сжаться от восторга.

Иногда дорога шла, вырубленная в слоистых скалах. Каменный склон, поросший жесткими степными цветами, почти вплотную придвигался к окну. Тогда сузившаяся полоса неба синела над ним особенно густо и дико.

И, вдруг, первый раз в жизни я наглядно ощутила, как громадна наша родина. Конечно, я знала это и раньше, но как-то отчетливо. Теперь я ощутила это во всей убедительной силе движения и пространства. Я уже видела Россию, видела Украину, вот теперь я еду по Крыму и вижу новое небо — третье небо за эти полтора дня. Скоро я увижу Черное море. А ведь можно было посехать и на север, увидеть тундру, вечные льды, северное сияние, оленей. Можно было посехать на восток, увидеть Волгу и потом — дальше, туда, где в песчаной пустыне идут верблюды, где долины усеяны белыми коробочками хлопка. Можно было пересечь Урал и ехать, ехать по тайге, а потом повиснуть над Байкалом. И все это, — куда ни поедешь, на тысячи километров вокруг — моя родина, молодая, веселая, счастливая.

Вдруг стало темно. Поезд вошел в туннель. Через минуту опять загорелось солнце. Но не надолго. Начался второй туннель. Потом третий. Несколько раз резкий солнечный свет перемежался с душной тьмой туннеля. Но вдруг это утомительное, зеркальное мигание прекратилось, как отрезанное. Поезд вырвался из последнего туннеля. Я бросилась к правому окну и ахнула, увидев перед собою внизу севастопольскую бухту, такую яркую среди высоких пыльно-розовых берегов, точно она была налита зеленой краской.

В бухте стояло несколько старых заржавленных пароходов, а далеко, у входа в открытое море, дымил линкор.

Через десять минут мы уже отчаянно торговались с хозяином линейки, который должен был отвезти нас в Георгиевский монастырь, в наш дом отдыха.

— Стало быть, Георгиевский монастырь. Так и запишем, — сказал за нами веселый голос.

Конечно, это был наш вчерашний весельчак Петя. С макинтошем на руке и «лейкой» через плечо он шел мимо нас к большому открытому автомобилю, белому от пыли.

— Мы к вам непременно приедем в гости. Ждите.

— Пожалуйста, если вам нечего делать, — сказала Дуся высокомерно.

Машина, наполненная людьми и чемоданами, тронулась. В ней было несколько человек в форме гражданского воздушного флота. Среди них я увидела того, другого, с трубой. Он смотрел на меня с робкой, вопросительной улыбкой. Машина развернулась и скрылась за поворотом в облаках известковой пыли. Жгучая, радостная тревога охватила меня.

Мы с Дусей сели на линейку спиной друг к другу и поехали...

Это была очень плоская, пыльная степь, оканчивающаяся вдалеке темной чертой моря, проведенной твердо, как по линейке. И на этой черте белела свечка Херсонесского маяка.

Под колесами линейки хрустели маленькие известковые ракушечки. Пахло польнью. И мы ехали по этой степи на линейке, усталые и взволнованные.

Все оказалось совсем не так, как я себе представляла в Москве. Не было ни кипарисов, ни мраморных львов, о которых так много распространялась Дуся. Выяснилось, что все это есть, но не здесь, а где-то в другом месте, где путевки стоят гораздо дороже. В общем мы заехали, как говорится, не туда. Конечно, это тоже был Крым, но не совсем тот. Однако и здесь было великолепно, лучше не надо. В жизни я не видела ничего подобного.

Дикая степь обрывалась сразу. Взгляд летел в пустоту. С высоты ста пятидеся-

ти метров, вдруг, прямо из-под ног — совершенно вертикально — вставало море. Сверху нельзя было понять — спокойно оно или нет, до того мелкими, неподвижными казались морщинки волн, высеченные на его громадной поверхности. Море было, как пустынный каменный двор, чисто выметенный и посыпанный песком. И оттуда дул широкий, удивительно чистый ветер, круживший платье и относивший его в сторону.

IX

— Дом отдыха помещался в бывшей монастырской гостинице. Это было длинное белое здание с зеленой крышей. Нас поселили во втором этаже, в небольшой комнате, выбеленной мелом. Стены были очень толстые. Окна и балкон выходили в море. Под балконом росло большое, старое дерево прецкого ореха, Дом отдыха был бедный, мало известный. Почти никто сюда не ездил. Отдыхало человек пятнадцать, не больше.

Нам выдали из кладовой постельные принадлежности. Мы сами набили тюфяки и подушки жестким степным сеном, в котором было много сухой ромашки. Затем, подогнув юбки, мы в два счета вымыли желтый, раскаленный от солнца пол. В комнате тотчас запахло, как в бане, распаренным веником.

Две недели прошли однообразно, но совсем не скучно. За все это время было только одно происшествие. В первый же день я пошла купаться, забылась, и меня страшно обожгло солнцем. С малиново-красными плечами и спиной я пролежала несколько дней в постели. У меня сильно поднялась температура. Обожженная кожа мучительно болела. Грубые простыни причиняли страданье. Сквозь тюфяк кололи стебли ромашки. Я стонала, не находя себе места. Дуся мазала меня вазелином и ореховым маслом.

По ночам я бредила, задыхаясь от жары. Все вокруг казалось мне жарким, как в духовом шкафу. Даже непривычно яркий лунный свет казался горячим, назойливым. И вместе с тем что-то любовное, страстное все время томительно мучило мою душу, тяжело давило воображение. Я была влюблена. Но если бы мне тогда сказали это, я не только бы не поверила, но даже не поняла, о чем идет речь.

Скоро я выздоровела. Дуся содрала с моей спины обгоревшую кожу, сухую и тонкую, как папиросная бумага. Новая нежно-розовая кожа чесалась, но это было даже приятно. И от моей болезни осталось только это нежное чесанье между лопатками да еще какое-то смутное чувство потерянной свободы и тревога ожидания.

Я опять стала купаться.

За несколько дней до отъезда мы с Дусей утром спустились на берег. Там у нас было облюбованное местечко, где мы за камнем раздевались. Обычно, немного повалевшись на гальке и походив вдоль берега по колено в воде, мы бросались в море и плыли к скалистому островку, метрах в ста от берега. Мы и в Москверске, на водной станции «Динамо», плавали недурно, а здесь, в соленой воде, которая чудесно держала, плавали и вовсе хорошо. Меняя стиль — то кролем, то анбрас — мы доплыли до своего острова и вскарабкались на него, царапая колени об острый, ноздреватый камень. Наверху была площадка, а на ней — нечто вроде алтаря или цоколя солнечных часов. Здесь в уединении и тишине мы обыкновенно ложились на раскаленный камень и лежали, поворачиваясь к солнцу то спиной, то грудью, до тех пор, пока не высыхали наши волосы и купальные костюмы.

Это было ни с чем несравнимое наслаждение. Мы лежали ни о чем не думая, не разговаривая, зажмурясь от ослепительного блеска, бившего в глаза с двух сторон — сверху с неба и снизу из воды. Мы лежали, сонно прислушиваясь к стеклянному хлопанию маленьких волн. Иногда краем глаза сквозь высохшие ресницы, между которыми чувствовалась мельчайшие крупины соли, я видела то опрокинутое море со скалами и мутнолиловым мысом Фиолент, то нежноголубую черту горизонта, над которой невероятно далеко висел длинный дымок парохода.

Вдруг я услышала бегущий по воде торопливый звук колодушки. Он звонко стучал в наш камень. И, прежде чем я поняла, что это моторная лодка, прежде чем увидела ее — эту моторную лодочку с легким подвесным двигателем, — сердце мое вздрогнуло и внутренний голос сказал: это он.

— Ага! Поймались! — кричал один из трех человек, сидевших в ялике.

Круто повернув, ялик шел прямо к острову. Не успели мы и глазом моргнуть, как ялик стукнулся носом, и Петя проворно вскарабкался к нам наверх, в добежавшей выгоревшей байковой пижаме со шнурками на груди и в парикмахерской сетке на голове. Следом за ним на скале появился его старший приятель. На нем была такая же санаторная пижама, а на голове в виде чепчика был надет мокрый носовой платок, завязанный по углам узелками.

Он потемнел, похудел, помолодел. Он смотрел на меня все с той же своей робкой, вопросительной улыбкой. Эта родная улыбка сказала яснее всяких слов, что он все время думал обо мне и с нетерпением ждал встречи. И я, не скрывая радости, улыбнулась ему точно такой же улыбкой.

Нина Петровна замолчала.

— Ну, что же было потом? Боже мой, какая потом пошла веселая чепуха! — сказала она, ложась на спину и кладя под голову руки.

Она неподвижно смотрела в небо немного прищуренными глазами, как будто видела там все то, о чем рассказывала.

— Потом мы все стали хохотать, пожимая друг другу руки с преувеличенным чувством курортной близости. Вообще мы встретились, как старые знакомые. Оказалось, что они сбежали из санатория, где их замучили режимом. Они специально заехали за нами, чтобы покатать нас на моторной лодке. Ялик они наняли в Симеизе у рыбаков, а двигатель принадлежал третьему из компании, некоему Яше, который оставался в ялике и возился со своей капризной машиной.

План был такой: зайти в Балаклавскую бухту, погулять в Балаклаве, посмотреть развалины генуэзской башни, выкупаться и к вечеру вернуться домой, в Георгиевский монастырь. Я тотчас с радостью согласилась. Дуся стала отказываться.

— Что вы! Как можно? — испуганно говорила она, поглядывая вверх, на видневшиеся в зелени зеленые крыши нашего дома отдыха. — Никак нельзя. В другой раз когда-нибудь.

— Когда же в другой раз, коли вы наднях уезжаете, — окая Андрей, глядя на меня умоляющими глазами. — Повлияйте, пожалуйста, на вашу подругу.

Я пыталась влиять.

— Нет, нет, — говорила Дуся. — Ни за что. Они еще нас куда-нибудь завезут, а потом утопят. Еще застрянем где-нибудь по дороге с этим, никуда не годным моторчиком.

— Ручаюсь чем хотите! — кричал Петя, таща Дусю за обе руки в шляпку.

— Пустите. Ни за что.

— Повлияйте на свою подругу, — продолжал бормотать Андрей.

— Она поедет, не беспокойтесь, — шепнула я Андрею. — Она так только. Капризничает.

Я отлично знала, почему Дуся отказывается. Ее приводила в ужас мысль, что мы пропустим завтрак и обед, за которые были заплачены деньги. А ехать ей ужасно хотелось. Она упиралась. Все-таки Пете удалось втащить ее в лодку. Мы подъехали к берегу за нашими платьями. Здесь Дуся сделала отчаянную попытку выскочить из ялика. Но Петя крепко держал ее за руки. Спрыгнув по пояс в воду и всех облив, Андрей сбежал на берег и принес наши платья, держа их над головой.

— Яша, давай газ! — закричал Петя с таким отчаянием в голосе, как будто от этого зависела его жизнь. — Право руля! Пошли!

Стуча, фыркая и отвратительно воняя бензином, ялик пошел в море. Его подхватили волны.

— Ей богу, вы нас опрокинете где-нибудь, — говорила Дуся уже не так сердито. — Пустите руки. Дайте хоть по крайней мере надеть платве.

В это время на горе стали бить в рельсу. Это был сигнал к завтраку. Дуся чуть не заплакала.

— Ну вот, видите, — с откровенной досадой проговорила она: — и завтрак пропустили, и обед пропустили и все на свете! Ну вас, в самом деле!

— Какой же это завтрак? — сказал Петя. — Небось одна манная каша на воде и больше ничего.

— Это не важно. За нее деньги заплачены.

— Ничего, мы вас такой камбалой угостим в Балаклаве, что закачааетесь, — сказал Андрей, потирая руки.

— Не знаю я вашей никакой камбалы, — сказала Дуся ворчливо.

— А то как хотите, можно и повернуть, — заметил Петя лукаво.

— Чего там поворачивать, — сказала Дуся. — Уже все равно пропустили. — И, вдруг, сверкнув загоревшимися глазами, бесшабашно крикнула: — Ехать так ехать!

И мы все опять захохотали без всякой основательной причины.

X

— Наше внезапное путешествие в Балаклаву удалось наредкость.

В первую же минуту между всеми нами установились очень правильные и очень ясные отношения, что чрезвычайно важно для всякой компании, в особенности новой.

Петя сразу понял, что ухаживать за мной бесполезно. Он перенес свое внимание на Дусю и с первых же слов вступил с ней в отчаянный любовный поединок. Он беспрерывно атаковал ее то шутками, то колкостями, то комплиментами, то лирикой. Он и не подозревал, бедняга, что Дуся, как говорится, другому отдана и будет век ему верна. А Дуся коварно умалчивала о том, что у нее в Москве остался «один человек», которого она любит без памяти. Она отбивала все петиньи атаки, однако, так осторожно, чтобы не потерять симпатичного и остроумного кавалера. Дуся понимала, что я это понимаю. И мы иногда, посмотрев друг на друга, начинали громко смеяться, хотя со стороны и могло показаться, что мы смеемся без всякой причины, как дурочки.

Андрей лежал рядом со мной на носу, крупный, плотный, — и по тому, как он старался не прикасаться своим плечом к моему плечу, я чувствовала всю его любовь и деликатность. Высунувшись впе-

ред и свесив головы, мы смотрели в несущуюся мутно зеленую воду.

Пятый в нашей компании — Яша, — которого в шутку называли «страдальцем за технику» или «извозчиком», был всецело поглощен своим чихающим, капризничающим мотором и какой-то засорившейся трубкой, которая портила все дело, «чорт бы ее побрал».

И с каждой минутой мое сердце все жарче и жарче разгоралось, как бы раздуваемое широким морским ветром.

В Балаклаве мы замечательно победили во дворике у одного рыбака. Правда, хваленной камбалы не оказалось, но зато пожилая гречанка с очень черными, жирными волосами и доброжелательной улыбкой на желтом, усатом лице, принесла нам в беседку громадную сковородку султанки. Маленькие розовые рыбки были связаны за хвосты пучками, по пяти рыбок в пучке. Они были почти досуха изжарены в оливковом масле и хрустели на зубах, как сухари; их можно было есть прямо с костями. Несмотря на лампадный вкус жареного масла, я не едала ничего более вкусного. Затем нам подали фаршированные баклажаны, приготовленные по-гречески, маслины и овечий сыр. Маслины мы с Дусей попробовали, но тотчас с ужасом выплюнули, чем вызвали презрительный смех мужчин. Все же оставшее нам очень понравилось, и мы наелись доотвалу.

— Это вам не манная каша, — назидательно сказал Петя, как бы нечаянно обняв Дусю, но тотчас получил по рукам и обиженно отодвинулся.

Он посмотрел на меня, глубоко вздохнул и сказал:

— Ах, Ниночка, Ниночка, ей-богу у меня недооценили.

— Увы, Петя.

Мы выпили вина. Петя, Андрей и Яша с большим удовольствием пили мутное белое вино, принесенное из холодного погреба в глиняном домашнем кувшине. Ни мне, ни Дусе оно не понравилось. Но это вино было кислое. Мужчины опять посмотрели на нас с презрением. Специально для нас был заказан розовый мускат. Мы выпили его по лампадке и совершенно размогели.

Солнце стояло еще высоко. Короткие лиловые тени резко лежали на песке двора. Осы летали над черной бутылкой муската. Маслянисто благоухали в зеленых кадках олеандры, осыпанные маленькими розовыми цветочками. Во дворе валялись якорь с облупившейся киноварью и несколько больших сухих пробок от сетей.

А сердце мое все разгоралось и разгоралось.

После обеда мы лазили на крутую гору осматривать развалины генуэзской башни. То Андрей, опередив меня, втас-

кивал меня за руку к себе; то я, опередив Андрея, подавала ему сверху руку и с трудом тащила к себе. В зияющих бойницах башни свистел морской ветер. Я взобралась на башню, на самый верх, и стояла там выше всех, развеваясь, как флаг. Я видела под собой всю Балаклавскую бухту, отпечатанную, как на карте. Посередине бухты под всеми парусами стояла на якоре старинный корабль. Он казался совсем небольшим. Это была киноэкспедиция, снимавшая художественный фильм «Дети капитана Гранта». (Еще перед обедом мы заметили на набережной очень высокого и смешного Паганеля с подозрительной трубкой подмышкой. Нам сказали, что это артист Черкасов).

Пять торпедных катеров — два, еще два и немного позади один — роя воду, молниеносно промчались мимо, с загнутыми вниз хвостами пены, как охота с борзими.

Все эти подробности — и дым эскадры на горизонте — вдруг как-то соединились в одном чувстве счастья и страха за это счастье.

Мы возвратились домой поздно вечером при лунном свете. Прощаясь со мной, Андрей взял мою руку в обе свои большие руки, долго качал ее, как бы не ждая с ней расстаться, и, наконец, сказал необыкновенно нежно и грустно:

— Что же теперь будет, Ниночка?

— Не знаю, — сказала я шопотом.

Поднимаясь с Дусей наверх, мы увидели маленький силуэт нашей моторной лодочки, который прошел назад, пересекая широкое золотое поле лунного света.

Полынь над обрывом была совсем белая, серебряная. Ярко светилась облитая голубым лунным светом старая монастырская колокольня, а направо, внизу, ясно виднелись в бурьяне белые камни, как говорили, — обломки храма Дианы. Далеко на обрыве стояла черная тень часового. Там где-то была спрятана береговая батарея. И то, что в мире еще существуют какие-то батареи, казалось совершенно непонятным.

А в общем все это было волшебным.

Мы не сразу пошли спать, а еще очень долго сидели на длинной скамье над обрывом вместе с большой компанией курортников и пели хором все то, что полагается петь в таких случаях — «Из-за острова на стрежень», «Виют витры», и «Ой полным полно коробушка». Дуся была немного смущена и рассержена. Я отлично понимала, в чем дело. Когда мы возвращались домой в лодке, она позволила Пете слегка обнять себя за плечи, и теперь ее мучила совесть.

Когда мы пришли в свою обитель, я тотчас легла спать, а Дуся достала свеч-

ку — у нее в чемодане был на всякий случай огарок — зажгла его и долго и быстро писала длинное письмо своему «одному человеку». Она часто останавливалась и вздыхала.

До нашего отъезда я еще несколько раз виделась с Андреем. Раза два или три он появился у нас в Георгиевском монастыре, один, без Пети. Мы гуляли с ним вдвоем, надолго уходя в степь, или сидели на нашем балконе, любуясь морем и скалами, торчащими из зеленой воды, как серые паруса. За эти несколько встреч я близко узнала Андрея, и он мне еще больше понравился. Всей душой я чувствовала его прямой, честный, открытый характер, его внутреннюю силу; всю прочность, надежность его отношений ко мне. Трудно объяснить, но я точно знала, что это — настоящее. Мы, женщины, в таких случаях редко ошибаемся. Я любила Андрея, и эта любовь всецело овладела мною. Она как-то возвысила мою душу, наполнила ее счастьем и гордостью. Вместе с тем о своей любви мы совсем не говорили. Она подразумевалась.

Через несколько дней мы уезжали. Хотя мы и не уговаривались с Андреем, но я знала, что непременно увижусь с ним до отъезда. Однако он не появлялся.

Поезд уходил в полночь. Мы с Дусей приехали в Севастополь в девятом часу. Первый человек, которого я увидела, слезая у вокзала с линейки, был Андрей. Я несколько не удивилась, только у меня похолодела рука. Однако я заметила, что Дуся тоже не удивилась. Все было так, как должно было быть. Вместе с тем кровь горячо прилила к моей шее, стала подниматься по щекам, по ушам, она горела у корней волос. Я не могла выговорить ни одного слова, — до того стало мне душно. Даже слезы выступили на глазах. Только теперь я почувствовала, в каком страшном душевном напряжении жила я последние четыре дня, сама того не понимая.

А он стоял передо мной все с тем же виноватым выражением добрых серьезных глаз, как бы говоря: что же теперь с нами будет, Ниночка?

С помощью Андрея мы сдали свои вещи в камеру хранения. Он предложил нам на прощанье погулять по Севастополю съест на бульваре мороженого, Дуся тотчас отказалась, сославшись на усталость.

— А ты, Ниночка, иди, — сказала она. — смотри, не опоздай.

Я даже не нашла в себе силы ее уговаривать. Я уже ничего не соображала. Я взяла Андрея под руку и виновато посмотрела на Дусю. Дуся ласково улыбнулась.

— Ничего, идите. Я буду в зале ожидания.

Дальше все было, как во сне. Мы, конечно, опоздали.

XI

— С тех пор прошло три года. Много это или мало? Как будто — пустяки. Но, боже мой, какие страшные опустошения произошли за эти три года в моей душе, в моей жизни. Со мною больше не было Андрея. Не было моей радости, моей любви. Я была совершенно одна. Избегая одиночества, я почти все свое время — и дни и ночи — проводила на заводе.

Я уже привыкла к нашим холодным, неуютным цехам, из которых до сих пор еще не выветрился запах конюшни. Теперь они — эти цеха — уже не казались мне такими унылыми, мрачными, как в первые месяцы эвакуации.

Вы помните, что делалось осенью сорок первого года? Станки прибывали по железной дороге в беспорядке. Их разгружали с площадок, и их нельзя было оставлять на товарном дворе под дождем и снегом. Их надо было тотчас везти на завод и устанавливать.

Промедление было подобно смерти. Монтаж такого завода, как наш, в мирное время производился обыкновенно пять, шесть месяцев. Мы это сделали в несколько дней. Станки еще шли по железной дороге, а мы уже приготовили для них места, вычертили все схемы. Мы не имели права потерять ни одной минуты. Нехватало подвод и грузовиков. Иногда приходилось с вокзала до завода тащить станки на себе. Мы тащили их волоком, подложив катки, по чудовищной грязи, напрягая последние силы, до крови натирая руки и спины жесткими канатами.

Еще в цеха не был проведен сжатый воздух, еще не было оборудовано отопление, а мы уже стали выпускать продукцию. Но, вы представляете себе, чего нам это стоило? То, что в эти дни совершили русские рабочие, могли совершить только герои, богатыри!

Помните, как рано в том году началась зима? Листья еще не успели слететь с деревьев, даже еще не успели пожелтеть как следует, а уже выпал глубокий снег. Под его тяжестью гнулись и ломались ветки низкорослых кленов. Из-за Волги по целым неделям без перерыва несло мокрой, ледяной крупой. Волга стала неприветливой, темной. Неприветливым, темным было небо, низкое и сумрачно лежавшее над грязным чужим городом, куда мы попали. Днем и ночью с затонов доносился мрачный крик пароходов, напоминавший нам сирены воздушной тревоги.

Вдруг ударили небывало ранние, тридцатиградусные морозы. Волга окаменела, охваченная паром. Водопроводные трубы лопались в цехах. Вода лилась с потолков и замерзала. Стены, окна, перекрытия — все покрыл толстый серый иней. Руки примерзали к станнам. Их отрывали, оставляя на железе кожу. Казалось, в таких условиях работать выше человеческих сил. Но мы работали. Мы раскладывали в цеху костры. Они горели, трещали и дыма, как в мрачной снеговой пещере.

Ох, какое это было кошмарное время. Вспомнить страшно. Украина занята. Белоруссия занята. Ленинград в кольце. Золоколамск. Истра. Подумайте только — Истра! Проносится слух, что немецкие танки в Химках.

А дни все короче, свету все меньше. С утра начинаются сумерки. Ветер свищет и стонет в телефонной проволоке, гудит в столбах. Синие искры мерцают на антеннах областного радиоцентра. И весь день, весь этот короткий, подавленный ранними сумерками день — в бумажных тарелках репродукторов слышится однообразная, нескончаемая, бесперерывно повторяющаяся музыкальная фраза местных позывных. Похоже, что кто-то неуверенно, нота за нотой, с большими паузами вызванивает на зубьях железной гребенки эту мучительную, нескончаемую музыкальную фразу. Дойдет до конца, остановится и начнет сначала. Бесконечно, однообразно, до тех пор, пока вдруг что-то не щелкнет и роковой голос не скажет: «Говорит Москва. От Советского Информбюро. В результате тяжелых боев, под давлением превосходящих сил противника нашими войсками оставлен город...»

И низкое небо опускается еще ниже.

Но самое поразительное было то, что в эти черные дни завод давал больше продукции, чем до войны, в Москве. Люди не отходили от станков по нескольку суток. Они еще стояли на ногах. Но их нельзя было заставить уйти и отоспаться. Да... Но я, кажется, начала что-то другое...

Я хотела вам рассказать о первом дне своего вдовства. Что же. Это был ничем не замечательный заводской день. Жизнь, равнодушная к моему горю, двигала меня по своим рельсам. Поговорив с Абрашей Мильком, я прошла в свою маленькую конторку, отгороженную от цеха фанерой. Тут стоял мой стол и раскладушка, на которой я иногда спала. Теперь все мое внимание, мои душевные силы были уже поглощены эмульсией. Абраша Мильк совершенно прав. Я уже давно обратила на это внимание. У меня даже был один

проект. Да все как-то не доходили руки. Теперь я решила заняться этим вплотную. Я взяла план цеха и стала рассматривать. Скоро мне показалось, что я знаю, как надо сделать. Я вынула из сумочки карандаш и стала набрасывать схему.

Работа так захватила меня, что некоторое время я не только не думала о своем горе, но даже совсем забыла о нем, будто его и вовсе не было. Я работала и, как всегда, машинально думала о войне и об Андрее, от которого что-то давно нет писем. Я даже немножко сердилась на Андрея за то, что он так редко пишет. Если бы он чувствовал, — думала я, — как я о нем беспокоюсь и как я его люблю, — он бы нашел время черкнуть мне хотя бы несколько слов. Но это ничего — думала я. — В конце-концов, это не так важно. Пускай пишет редко, лишь бы только с ним ничего не случилось. И вдруг, в моем сознании точно зажглась молния: это уже случилось. Боже мой, как я могла забыть! На миг я оцепенела. Карандаш выпал из пальцев. Меня охватила новый порыв отчаяния. Я готова была завить от боли. Но в это время скрипнула фанерная дверь. В конторку вошел Волков, рабочий-пенсционер, в начале войны добровольно вернувшийся на завод. Это был неприятный старик с дурным характером, и я его, признаться, не любила.

У него был длинный и толстый, как бы опухший нос и серая щетина на худых, крупно-морщинистых щеках. От него всегда исходил устойчивый запах кислого пота, махорки, железа, а часто и водки.

Не глядя на меня, что было в его обыкновении, — он сел на мою раскладушку, выложил свои крупные рабочие руки на потертые колени, не торопясь плюнул на пол и растер валенком, подклеенным оранжевой резиной. Он сказал, помолчав:

— Не пойдет наше дело, уважаемая барышня. Не ждите.

После этого он посмотрел мне прямо в глаза своими резкими, как у козы, глазами. Он поджал узкий рот и стал, не торопясь, стучать пальцами по коленям, давая понять всем своим видом, что больше от него не дожидаться ни одного слова.

Я хорошо знала его упрямый, недоброжелательный характер. Особенно придиричиво — казалось мне — он относился ко мне. Он с насмешливым пренебрежением смотрел на мою молодость и на мое инженерство. Он считал меня выскочкой. Мне казалось, что он постоянно исподтишка наблюдает за мной, ловя мою малейшую ошибку, малейший шаг в сторону. Разговаривая со мной, он всегда на-

зывал меня: «многоуважаемая барышня» или «товарищ командир производства», или еще как-нибудь в этом роде. В его козых глазах я всегда читала, примерно, следующее: «Ну-ка ты, командир производства. Посмотрим-ка, что ты мне сможешь».

Он был знаменитый рабочий, лучший стахановец шлифовального цеха. Я его, конечно, уважала, но всегда была с ним на-чеку, чтобы как-нибудь перед ним не уронить свой авторитет. Я знала, что как бы то ни было, а все-таки не он, а именно я командир производства; я несу ответственность; и я очень дорожила этим своим положением и больше всего боялась уронить себя в глазах рабочих.

Он был упрям. Но упряма была и я. Когда он замолчал, я сделала вид, что погружена в работу и забыла об его существовании. Мы долго молчали. Это меня раздражало. Мое раздражение росло. Все-таки он меня перемолчал.

— Я вас слушаю, — сказала я, наконец, с напускной небрежностью.

— Не пойдет наше дело, уважаемая барышня, — повторил он, продолжая стучать пальцами.

— Короче, — сказала я сухо.

— Не дайней воробьиного носа, товарищ командир производства, — сказал Волков и опять надолго замолчал.

— Я занята, — сказала я.

— Все мы здесь заняты, уважаемая девица, — сказал он.

— Я не вижу, чтобы вы были заняты. Сейчас рабочее время. А вы зря тратите его на непонятные разговоры. Или говорите, или уходите. И, вообще, почему вы самовольно прекратили работу и ушли от станка?

Я раздражалась все больше и больше. Он оставался невозмутим.

— Мое дело маленькое, — сказал он. — Есть детали — шлифую. Нет деталей — не шлифую. За мной остановки нет. Зря хлеб не ем. Чем мне замечания делать, вы бы лучше, девица, велели детали вовремя подавать. А так дело не выйдет. Я лучше обратно на пенсию пойду, чем валять эту петрушку.

— Как не подадут деталей? Почему?

— Это вам должно быть известно. Вы у нас инженер-технолог. А мое дело заявить.

Он встал и пошел на своих согнутых ногах к двери.

— Подождите, — крикнула я.

— Мое дело заявить, — повторил он. — Наладили технологический процесс. Ничего себе. Эх, наладчики. Тьфу!

Он плюнул и решительно вышел, стукнув задрожавшей фанерной дверью.

— Только без прубостей, — сказала я, сдерживая голос.

Я была взволнована и возмущена, хотя в глубине души понимала, что Волков прав. Станки в цехе были расставлены не хорошо. Много рабочего времени уходило на подачу деталей. Склады находились далеко, а не было ни вагонеток, ни тележек. Детали переносили вручную в тяжелых ящиках, на что так же уходило много сил и времени.

XII

— Давно уже следовало переставить станки. Надо было действовать.

Я пошла посоветоваться в конструкторское бюро. Там у меня были старые приятели инженеры. Из конструкторского бюро, где мое предложение приняли очень хорошо, я ходила в заводоуправление, потом к главному инженеру, потом добивалась, чтобы этот вопрос незамедлительно поставили на бюро. Одним словом, пока мне удалось хоть сколько-нибудь двинуть это дело, прошел день, и я даже не заметила, как он прошел — первый день моего вдовства.

И самым ярким впечатлением этого дня — как ни странно — было не чувство моего горя, не мысли о погибшем Андрее, а живая и веселая сценка, которую я наблюдала, пробегая в конце первой смены через роликовый цех. Я увидела минуту мусиного триумфа.

Что было до мего прихода, я не знаю. Но в тот миг, когда я вошла в цех, смена только-что кончилась, и все стояли возле мусиного станка. Девочка аккуратно обтирала его тряпкой. Затем она, не торопясь, повесила ветошку на гвоздик и вытерла руки о полу своей шинели. Она поправила русые косы, связанные на затылке кренделем, и, ни на кого не глядя, быстро пошла к хозяйному станку. Она сняла с хозяйного станка красный флажок, быстро вернулась и укрепила флажок на своем станке. А Хозя в это время, отставив ногу, одиноко стоял в стороне, жадно курил и делал вид, что все это ему абсолютно безразлично. При этом на лице его блуждала глупая улыбка, которую он старался подавать и не мог, и черные глаза его завистливо блестели. Установив на своем станке флажок, и, кроме того, еще попробовав, хорошо ли он держится, — Муся, не глядя ни на кого, а в особенности на Хозя, прошла к выходу мелкой, деловой походочкой, строго задрав свой подбородок, маленький, как булочка. Она прошла так близко от Хози, что чуть не задела его плечом. Однако, проходя, не удержалась, сказала:

— Съел?

И вдруг с молниеносной быстротой высунула и спрятаала язык, свернутый в трубку.

Хозя побледнел от обиды. Он выплюнул цыгарку и яростно крутнул ее каб-

луком. Но в этот миг он увидел меня и сдержался.

— Видели такое дело, Нина Петровна? — сказал он.

— Я ж тебя предупреждала.

— Ничего. Завтра я ей дам духу, — сказал Хозя сквозь зубы.

— Увидим.

— Точно, — сказал Хозя.

Я вернулась домой поздно, часу в одиннадцатом, выпила чашку молока и сейчас же легла в постель. Мне хотелось скорее начать думать об Андрее. Но вместо этого, я сразу же, как только согрелась, заснула глубоким холодным сном без чувств и без сновидений.

Несколько дней, а может быть, и неделя, прожила я в таком странном состоянии. Странность его заключалась в том, что, несмотря на исключительность для меня и новизну моего положения, ничего нового, исключительного не происходило. Все вокруг было попрежнему. И попрежнему, почему-то, я особенно ревниво скрывала от всех смерть Андрея. Вероятно, в самой глубине души я еще надеялась, что, все-таки, он жив. Ведь бываю же ошибки.

Смерть Андрея была сама по себе, а моя жизнь — сама по себе. Никакой ощутимой связи между ними не было. Иногда мне это казалось ужасным. Но чаще я совсем не думала об этом, занятая неотложными делами цеха, где началась перестановка станков.

Но вот однажды вечером, едва я вошла в сени, хозяйка сказала:

— Вам письмо.

Она подала мне знакомый треугольный конверт, надписанный рукой Андрея. В этом я не могла ошибиться. У меня потемнело в глазах. Я схватилась рукой за косяк двери. Безумная надежда вспыхнула в последний раз.

Я вбежала в комнату и упала на стул. Ничего не видя вокруг, я развернула дрожащими пальцами конверт. «Дорогая Нина, прости, родная, что я так долго тебе не писал», — прочитала я знакомые слова, написанные знакомым спокойным и отчетливым почерком.

Я не смогла читать дальше. Я посмотрела на дату, которую он всегда аккуратно выставлял в начале письма. Я прочла «8 марта 1942 года. Лес». Тогда я вынула из сумочки извещение. Мне стоило невероятных трудов развернуть его и прочесть. Некоторое время я сидела с закрытыми глазами. Наконец, я заставила себя прочесть. Было написано «Погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание, 9 марта». Напрасно я надеялась. Все было до боли ясно. Извещение опередило письмо, а письмо было написано накануне этого.

Это было его последнее письмо. Больше уже писем не будет никогда. Ну, что ж, я так и думала.

Некоторое время я сидела неподвижно, глядя в угол. Потом я спокойно прочла письмо. Оно было не слишком длинное и не содержало ничего особенного. Но теперь, когда я наверное знала, что Андрея уже нет на свете, каждое слово его письма казалось мне полным особого значения и таинственного смысла.

«У нас все по-старому, — писал, между прочим, Андрей, — на фронте довольно тихо, работы мало. Но это, как говорится, — сегодня пусто, а завтра густо. Раз на раз не приходится. Живем по-маленьку, по мере сил очищая советское небо от фашистской нечисти. Погода прекрасная, еще по-зимнему крепкая. Но в воздухе, знаешь ли, уже чувствуется что-то такое зтакое необъяснимо весеннее. Днем на солнышке заметно припекает, так что наши снеговые взлетные дорожки кое-где потемнели, как говорится, начали малость потеть. Впрочем, соловьев еще вокруг не наблюдается, а в кустиках чирикают и суетятся какие-то глубоко зимние средне-русские птицы. Сегодня 8 марта — женский день. По сему случаю обед у нас запоздал на три часа, ибо все наши военоторговские нимфы и подавальщицы из комсомольской столовой объявили забастовку и загуляли. Но мы на них не в обиде. Пусть гуляют, сердешные. Их день! По случаю праздника за обедом выпили положенные сто грамм за наших отсутствующих подруг. Я выпил за тебя и мысленно поцеловал твою милую руку за ту любовь и счастье, которые ты мне дала. Как-то ты там живешь на высоком берегу моей родной Волги? Не скучно ли тебе, моя дорогая солдатка? Не грусти, родная. Все на свете проходит. Пройдет и наша разлука. Верь, что мы опять встретимся и заживем с тобой еще лучше прежнего. А пока что не будем унывать, а будем крепко лупить врага в хвост и в гриву. Я в гриву, а ты в хвост. Или, наоборот. Как тебе больше нравится. Договорились? Да, между прочим, чуть не забыл. Ты знаешь, кто недавно пришел к нам в часть? Ни за что не отгадаешь. Петька! Ей-богу! Помнишь Петьку? Тот самый Петька, который проводил с нами то незабвенное времечко на южном берегу Крыма и безуспешно ухаживал за твоей подружкой. Чудеснейший парень и мой старый друг, хоть годами далеко не стар, а скорее даже молод. Мы часто с ним вспоминаем те золотые денечки и много говорим о тебе. Между прочим, он мне признался, что не столько тогда увлекался твоей подружкой, сколько тобой. Темнил, сучья лапа. Вот хитрюга! Он тебе кланяется и целует ручку. Ах, хорошее было время! Вспоминаешь ли ты хоть изредка Севастополь — город нашей любви? Сильно ему, бедному, достается. Говорят — ни одного целого дома. Сплошные развалины. Думали ли мы с тобой тогда, что так

случится? Ну да ничего. Будет и на нашей улице праздник. Прощай, целую тебя крепко и нежно, моя дорогая подружка. Я ни о чем не беспокоюсь. Была бы ты здорова и счастлива. А за меня, пожалуйста, не волнуйся. Ни черта со мною не случится. Смерть — это дело не по моей части. Я бессмертен». И т. д.

С этого дня на некоторое время я успокоилась. Мне уже не на что было надеяться. Потянулись будни, полные однообразных забот. Работа поглощала все мои душевные и физические силы.

Я совершенно перестала заниматься собой. Я потеряла к себе всякий интерес. Иногда мне даже казалось, что личная жизнь для меня кончена навсегда. И меня охватывало ужасающее равнодушие. Но это лишь так казалось.

Где-то на самом дне души, подо льдом неслышно бежала струя живой воды.

Попрежнему никто не знал о моем горе. Попрежнему я молчала. Может быть, именно поэтому мне и было так трудно, так тяжело оставаться наедине со своим горем. Может быть, потому я и старалась как можно чаще ночевать в своей фанерной конторке, в людном цеху, на раскладушке, лишь бы только не ночевать дома одной.

XIII

— Но вот однажды о моем горе узнали все.

Случилось это так. В конце первой смены ко мне за переродку вбежала бракерошница Женя Антипова. На ней лица не было. Она кинула передо мною на стол горсть промасленных роликов и, с трудом переводя дух, сказала:

— Нина Петровна, посмотрите, ради бога. Что-то невероятное!

— Что случилось?

— Брак.

— У кого?

— У Волкова.

— Ты с ума сошла.

— Проверьте сами.

Я схватила несколько роликов и пошла к миниметру. Женя Антипова оказалась права. Все ролики оказались с браком: диаметр хорош, а параметр гранности сточен более, чем на двенадцать микронов, то-есть гораздо больше допуска. Я не поверила своим глазам. От Волкова можно было ожидать всего: грубости, пьянства, даже иногда прогула. Но чтобы он запорол деталь — это было совершенно невероятно. Я еще раз проверила на миниметре его ролики и еще раз убедилась, что они непоправимо испорчены.

— Странно, — сказала я. — И большой процент брака?

Женя Антипова с отчаянием пожалла плечами.

— Все брак, — сказала она коротко, и губы ее задрожали.

— Покази! — крикнула я, не узнавая своего голоса.

Мы побежали в браковочную. Там, на большом цинковом столе стоял ящик, наполненный роликами. Это была вся суточная выработка Волкова, что-то около пятидесяти тысяч роликов. Я стала обеими руками хватать их из ящика на выбор и один за другим вкладывать в миниметр. Стрелка миниметра колебалась. Все ролики без исключения были с браком. Я ужаснулась. За четыре дня до конца месяца — пятьдесят тысяч испорченных роликов! Не только для нашего цеха, но и для всего завода это была катастрофа.

Натаквиваясь на ящики, цепляясь ногами за проводку сжатого воздуха, я бросилась в цех.

Волков стоял, сторбившись, у своего станка и быстро сыпал в бункер ролики. Его большие черные руки дрожали. Косыи глаза смотрели вниз. Они казались стеклянными.

— Что это значит? — сказала я, протягивая ему горсть бракованных роликов.

Он бессмысленно посмотрел на меня. — Вы понимаете, что вы сделали? — сказала я, стараясь говорить как можно спокойнее.

Он продолжал молчать, и ролики все так же автоматически быстро падали из его дрожащих рук в бункер.

— Сейчас же остановите станок, — сказала я.

Он молчал, как будто не понимая, что от него требуется.

— Сию минуту остановите станок! — кричала я. — У вас приказываю!

Он молчал и не двигался с места. Я с ненавистью посмотрела на грязную щетину на его щеках, на его согнутые ноги в разношенных валенках, подклеенных оранжевой резиной.

— Вы просто пьяны! — крикнула я, — отойдите от станка.

Он послушно отошел. Я остановила станок, схватила гаечный ключ и, срывая ногти, сняла фарук станка. Я сразу поняла, что станок не налажен. Положение и толщина ножей были явно — даже на глаз — неправильны.

— Как же вы смели работать на неналаженном станке? — сказала я с отчаянием.

Но так как Волков продолжал молчать, я махнула рукой и кликнула наладчика.

Наладчик Власов, такой же старый рабочий-пенсионер, как и Волков, был уже давно тут. Он стоял, выдвинувшись из толпы, и укоризненно покачал головой.

— Почему не налажен станок? — жестко сказала я.

— Так ведь, Нина Петровна, сами знаете, — сказал Власов, растерянно по-

ворачивая руками. — Василий Федорович всегда лично налаживает свой станок. Он никогда к нему никого близко не подпускает. И грех жаловаться. Никогда никакого не порядка не случилось. Что ж это ты, Василий Федорович? — сказал он укоризненно Волкову. — Гляди, что наделал? Пятьдесят тысяч деталей запорол. Ведь это такая беда для всего завода, что жуть берет! Как же это тебя угораздило?

— Да что вы к нему обращаетесь? — грубо закричала я, возмущенная добродушным голосом Власова. — Разве вы не видите, что он вдребезги пьян?

— Никак нет, — побелевшими губами проговорил Волков, ставя ноги смиренно, по-солдатски. Тень сознания мелькнула в его неподвижных глазах. Он, вероятно, только сейчас понял, что он наделал. И это его ужаснуло.

Услышав бессмысленное «никак нет», я почувствовала, что кровь бросилась мне в голову. Меня охватила такая ярость, что еще немного, и я бы ударила его по лицу. Все же у меня хватило силы сдержаться. Но голоса своего я уже не могла остановить.

— Вы понимаете, что вы сделали! — кричала я изо всех сил, так, что у меня сел голос. — Так поступают последние негодяи, вредители! Понятно вам это?

— Виноват, — проговорил Волков, откашливаясь.

Это тупое, возмутительное откашливание окончательно лишило меня самообладания. Я начала кричать на весь цех. Я кричала низким, грудным голосом, который вдруг стал похож на голос моей матери, когда она была чем-нибудь взбешена. Это была та лишняя капля, которая переполнила мое раненое сердце. Все горе, которое я так долго скрывала в себе, вся душевная боль вдруг неудержимо, бурно вылились из меня.

Я так торопилась высказать все, что не успевала договаривать фразы до конца. Слова в беспорядке насакивали на слова. Мысли путались. Я захлебывалась.

— Люди воют. А вы? Вы соображаете, что вы сделали? Запороть пятьдесят тысяч роликов! — кричала я на весь цех. — Лучшие люди отдают свою жизнь за счастье, за свободу. Каждую минуту, секунду льется за родину кровь. Святая кровь наших братьев, наших мужей. Вы соображаете, что такое для них ролик? Это самолет, пушка, танк. Поймите это, поймите... Сию же секунду убирайтесь отсюда! Чтоб духу вашего не было! И имейте в виду, что это вам так не пройдет. Я не успокоюсь до тех пор, пока... Слышите. Не смейте торчать передо мной. Ступайте!

— Нина Петровна, погодите, успокойтесь, — говорила Вороницкая, трогая меня за плечо своей мягкой рукой в вяза-

ной перчатке с отрезанными пальцами. — Не кричите. Посмотрите на него. Вы же видите, что он не в себе.

— Он не в себе? — крикнула я, резко отстраняясь. — А я... Я в себе? У меня муж погиб на фронте, — неожиданно для себя сказала я. — Можете вы это понять или не можете? Боже мой, гибнут лучшие люди, настоящие герои, святые... А в это время какая-нибудь гадина в тылу... Ну, — сказала я Волкову, — вы еще здесь?

— Воля ваша, — покорно, дрожащими губами тихо сказал Волков.

Плохо попадая в рукава, он надел свой большой ватный пиджак, кое-как обмотал худую, старческую шею платком, взял в руки свой трезух из собачьего меха и, сторбившись, вышел из помещения.

Конечно, я не имела никакого права выгонять его из цеха, а тем более отстранять от работы. Это было самоуправство. И в другое время за Волкова непременно бы кто-нибудь вступился. Но я сказала, что у меня погиб муж, и эта новость так поразила всех, что о Волкове никто больше не думал. В глубоком молчании все смотрели на меня.

— Какое горе, — сказала Зинаида Константиновна, — и давно это случилось?

— Ах, боже мой, — сказала я с раздражением. — Какое это имеет значение? Уже больше месяца. Теперь об этом не время говорить. Надо что-то предпринимать. С ума можно сойти. Не может же цех из-за одного негодяя оставаться в таком позорном прорыве.

Я круто повернулась и пошла в свою конторку. Но вместо того, чтобы сесть к столу, я легла на раскладушку и закрыла глаза.

— К вам можно? — осторожно сказала Зинаида Константиновна.

Она вошла ко мне на цыпочках, как к больному. Она села боком на раскладушку и положила свою щеку на мою.

— Бедненькая моя, — сказала она тихо. — Как же вы, наверное, все это время страдали? И никому не говорили. Разве можно? Ведь так и известись недолго. А у вас впереди еще целая жизнь.

— Моя жизнь кончена, — сказала я, чувствуя необычайную легкость, почти счастье, оттого, что, наконец, могу говорить так просто и так откровенно о своем горе.

— Это вам так кажется, — сказала Зинаида Константиновна с нежной, грустной улыбкой. — Мне шестьдесят лет. Недавно я скоронила мужа и двух сыновей. Я живу совсем одна. Моя жизнь и вправду кончается. А все-таки живу и по мере сил не унываю. Даже до победы думаю дожить. Верьте мне, Ниночка. Все в жизни проходит. Пройдет и ваше горе..

— Никогда, — сказала я.

— Ну, может быть, ваше горе и не пройдет. Но оно отойдет, отступит. Нет

такого горя, которое бы не отступило перед жизнью. И это — великое счастье, — прошептала она, как бы сообщая мне большую тайну. — Иначе как бы мы все стали жить? Ведь на кого ни посмотри — у каждого горе. Великое, великое всенародное горе глубины неизмеримой. Но ведь мы верим, мы знаем, что горе это не вечно. Оно пройдет. Наступят дни побед. Как же можно в таком случае говорить, что жизнь кончена? Это нехорошо. Это неправильно. Ведь это значит признавать смерть. А ничего подобного. Народ бессмертен. Стало быть, бессмертны и мы. Так-то, моя хорошая, моя родная. Нет смерти. Жизнь, только жизнь. Вы со мной согласны? Это, конечно, очень не ново то, что я вам говорю. Но это чистая правда. Это даже больше, чем правда. Это — истина.

Она несколько раз погладила мою голову.

— Ну, Ниночка?

XIV

— В этот день я вернулась домой очень поздно, так как история с Волковым получила широкую огласку и уже было несколько совещаний о работе роликового цеха. Я уже собиралась лечь, когда заглянула хозяйка и сказала, что ко мне пришли с завода.

Это был наладчик Власов.

— Прощу прощения, что наведася так поздно, — сказал он, щелкая большой, хорошей зажигалкой собственной работы и закуривая. — Не знаю, Нина Петровна, как вы на это смотрите, но я думаю так: нельзя губить человека.

— Вы про что?

— Про Волкова, про Василия Федоровича.

Едва я услышала это имя, как тотчас злое, беспощадное чувство поднялось опять в моей душе.

— Дружка своего пришли выгнать? — холодно сказала я.

— Да ведь это как взглянуть, Нина Петровна, — сказал Власов мягко, видимо, не придавая значения моему холодному злому тону. — Конечно, Василий Федорович мне старинный друг. Это точно. Спорить не стану. Однако дружба дружбой, а как говорится, табачок врозь. Разве я враг своему отечеству? Будь ты мне хоть прижди друг, а если ты в военное время запорол пятьдесят тысяч деталей, я с тебя голову сорву. Можете в этом не сомневаться. Не по-дружке я пришел, Нина Петровна, а по-справедливости. Ведь он себя не помнил, когда все это безобразие сделал.

— Конечно, не помнил с перепоею, — сказала я жестко.

— Он не был выпивши, Нина Петровна. У него, Нина Петровна, большое не-

счастье случилось. Его всю семью гитлеровские разбойники истребили.

Я побледнела.

— Что вы говорите!

— Истинно. Всех до последнего человека. Его семья в Тульской области осталась. У них там в деревне хозяйство было. Не успели выехать. А теперь их деревню освободили. Вчера оттуда от соседей письмо пришло. Отписано все подробно. Так это, знаете, Нина Петровна, кровь в жилах стынет. Оставалось там у него всего, значит, пять душ: жена-старушка Варвара Алексеевна, брат старший — совсем старик Федор Федорович, — говорил Власов, загибая пальцы, один из которых так же, как и у моего отца, был оторван машиной. — Одна дочь старшая, звали, как и вас, — Ниной, стало быть, Нина Васильевна, жена командира Красной Армии, и при ней маленький сын, мальчишка Васька. По деду назвали. Да еще другая дочь, меньшая — Наташа, пятнадцати лет. Красавица, говорят, была. Ей, конечно, хуже всех пришлось перед смертью.

— Боже мой, — шептала я, стискивая пальцы. Я вспомнила, как я нынче кричала на Волкова и как он, молча, стоял передо мной, поставив ноги смиренно, и как у него тряслись большие старые руки.

Густая краска стыда залила мне лицо, шею, уши.

— Какое горе. Господи, какое горе, — повторяла я бессознательно. — Я же этого ничего не знала. Поверьте мне, совсем не знала, понятия не имела.

— Да ведь об этом чего и толковать. Ни вы не знали, ни я не знал. Никто не знал, — сказал Власов. — У вас, Нина Петровна, и своего горя хватает. Кругом горе. Я и говорю: как-то надобно выходить из прорыва. Не допустить цех до позора. Василий Федорович хотел нынче зайти к вам, да не решился. Не знал, как вы его примете. Меня просил сходить.

— Где он сейчас? Дома?

— Дома. Где ж ему быть.

— Он на квартире живет или в бараках?

— В бараках. Барак номер шестнадцатый.

— Так пойдемте, — сказала я, быстро снимая с гвоздя пальто и платок.

— Время позднее. Да и не близко. Километра четыре.

— Я знаю. Это не важно.

— Что ж, — сказал Власов, — давайте сходим.

Мы вышли. Был первый час ночи. Снег уже давно сошел. Земля была твердая, сухая, легкая для ходьбы. В темном небе светилась мутноватый зеленый ме-

сяц. На черной земле лежали еще более черные тени голых деревьев. Было тепло. Только иногда с Волги, по которой шли последние льдины, потягивало холодом.

Барак стояли в стороне от шоссе, в мелком осиннике. Здесь где-то недалеко находились громадные новые авиационные заводы и заводские аэродромы. В небе все время шумели невидимые истребители и штурмовики, совершавшие ночные испытательные полеты.

Мы поднялись по деревянным ступенькам на крыльцо и через маленькие сени, где стоял громадный кипячильник, вошли в барак. Мы прошли в самую дальнюю сторону барака, переполненного спящими и не спящими людьми. Койка Волкова помещалась в стариковском углу возле большой кирпичной выбеленной печи, на выступе которой я сразу узнала валенки Волкова, подклеенные оранжевой резиной, поставленные на печь сушиться, и у меня сжалось сердце.

Волков сидел на табурете под электрической лампочкой, обернутой листом черной маскировочной бумаги, так что свет падал только вниз. Волков пришивал к штанам пуговицу, держа большую иглолку по-мужски, тремя пальцами, составленными щепоткой. На его большом толстом носу были надеты маленькие сильные очки, увеличивающие его глаза до размера воловьих. Я увидела его худые ноги в серых подштаниках, загнутые под табуретку. Комок остановился у меня в горле.

— Василий Федорович, голубчик, — быстро сказала я, — я ведь ничего не знала про ваше горе. Ради бога, простите меня, если можете.

Увидев меня, он сконфузился, задвигался на табурете, не зная, куда спрятать ноги и куда сунуть штаны.

— Спасибо, что зашли. Разрешите-ка я, того, оденусь маленько, — пробормотал он.

Я повернулась к нему спиной. Когда я обернулась, он уже был в валенках, в пиджаке, без очков, как всегда. Но, боже мой, только теперь я заметила, как страшно он постарел, подался. Веки его как-то обрезались, вывернулись, как у старухи. Жилы на худой шее подергивались. Брови горестно поднялись. На глазах неподвижно стояла светлая жидкость.

— Простите меня, простите, — сказала я, изо всех сил стискивая пальцы, влажные в пальцы.

— Моя вина, — проговорил он. — Загубил пятьдесят тысяч роликов. Ведь это надо суметь. Только верьте слову, Нина Петровна, сам не знаю, как это все получилось. Стоял и ничего не видел, чего делаю. Одно перед глазами — как их

убивают. А Наташку мою, меньшую, мало того, что убили, а прежде, чем истребить, еще эти мерзавцы зарезали.

Лицо его вдруг сморщилось, стало маленькое, как колобок, и он всхлипнул, как бы с усилием выталкивая из себя глущие, бешенные слезы.

С того дня, как я узнала о гибели Андрея, я еще ни разу не плакала. Может быть, поэтому мне и было так трудно переносить свое горе. Но сейчас вдруг что-то рванулось во мне. Я бросилась, схватила, стиснула худую шею Волкова, припала лицом к его заношенному пиджаку и рыдала. Рыданья потрясали меня с головы до ног. Теплые, обильные слезы лились по моему лицу. Я ловила их губами. Я их глотала, чувствуя в горле их горький, соленый вкус. Я насыду успокоилась. Но и потом, дома, оставшись одна, я еще несколько раз начинала плакать в мокрую подушку.

Плакала я об Андрее, о себе, о нашей любви, о нашем погубленном счастье. Плакала об одинокой старой женщине Зинаиде Константиновне Вороницкой и об испанском мальчишке Хозе, отец которого погиб под Мадридом, сражаясь за свободу и независимость своей родной страны. Плакала о поруганной, оскорбленной земле. Плакала о Волкове, о его замученной, истребленной семье и о его любимой Наташке, принявшей перед смертью такой позор и такие муки. Мне так ясно представлялась эта невероятная, чудовищная картина, что от душевной боли и ярости я начинала стонать.

К утру я совсем обессилела физически. Но зато душевно за эту ночь я необычайно выросла и окрепла. Теперь я точно знала, для чего я живу и что мне надо делать.

Я умылась студеной водой и очень рано пошла на завод. Когда я пришла, Волков уже был в цеху. Мы тотчас принялись за дело.

Мне уже давно приходила в голову мысль спарить два станка, чтобы удвоилось выработка. Кое-что было придумано. Но осуществить эту идею все как-то не удавалось. Теперь это нужно было сделать во что бы то ни стало. Другого выхода не было. Я тут же стала разрабатывать дополнительные чертежи и схемы. Нам помогали все — весь завод — и чертежники, и монтажники, и инструментальщики. Все с жаром взялись за дело для того, чтобы восстановить честь завода и не дать ему окончить месяц с прорывом по роликкам.

К ночи станки были установлены и налажены. Волков стал к станку. Он сказал, что не отойдет от него, пока не удвоит норму. Я стояла рядом с Волковым целые сутки. И мы добились своего. Мы вместе дали норму в триста шестьдесят процентов.

XV

— Вы, конечно, помните, какая была весна в сорок втором году; поздняя, холодная, дождливая. В мае несколько раз начинались метели. Мокрый снег целыми тучами несло из-за Волги. Реки разлились, дороги размокли. На всех фронтах наступило тягостное, длительное затишье.

У нас на заводе был уже свой клуб, библиотека, приезжали артисты и, когда я проходила по заводской территории, мне не верилось, что семь месяцев тому назад здесь были горы слежавшегося навоза, мусора и всюду была такая грязь, что люди оставляли в ней не только калоши, но также сапоги и ноговицы.

В жизни моей ничто не изменилось, кроме того, что теперь я жила в центре города, в новом доме медицинских работников, в квартире Зинаиды Константиновны, которая уговорила меня переехать к ней. Она дала мне маленькую белую комнату с большим окном, выходящим на Волгу и на бульвар. На бульваре против областного драматического театра стоял черный мокрый памятник Чапаеву в острой папаче и с кривой шашкой, поднятой над головой.

В моей комнате не было ничего, кроме узкой железной кровати, фанерного кухонного столика и стула. Все мои вещи лежали в чемодане, а выходное платье висело на двери под простыней. Столик я застала салфеткой и расставила на нем зеркальце, одеколон «Кремль». Там же в матовом флаконе, в форме кремлевской башни, коробку из-под печений, где у меня хранились письма Андрея, а также нашу единственную очень потертую фотографию, на которой мы были сняты с Андреем вместе на бульваре в Севастополе, возле круглого здания панорамы.

За последнее время я очень подружилась с Зинаидой Константиновной и очень полюбила свою комнатку, пустую и бедную, как у девушки. Часто стояла я перед окном, закутавшись в платок, и, потирая озябшие пальцы, смотрела за Волгу, на запад. Все низменное, песчаное пространство за Волгой было покрыто пухлой, яркой зеленью лесов. На синем пороховом фоне дождевых облаков леса казались еще ярче, еще зеленее. Дымы — зеленый и синий — смешивались на далеком горизонте. Потирая свои холодные, как у девушки, руки, я бесконечно повторяла неизвестно откуда взявшуюся фразу: «Зеленый дым весны и синий чад войны. Зеленый дым весны и синий чад войны...»

Однажды в сумерки я вернулась домой и, снимая в передней пальто и калоши, увидела на вешалке фуражку с голубым околышем и шитым золотым гер-

бом. Под вешалкой стоял маленький чемодан Андрея, перевязанный ремешком. Дверь в мою комнату была открыта. Я взглянула и увидела незнакомого летчика. Он сидел за моим столиком и что-то быстро писал. Услышав мои шаги, он встал, одернул гимнастерку. Он был невысок, строен, смугл, с двумя орденами. На его голубых петличках я увидела одну шпалу. Стало быть, он был капитан.

— Нина Петровна, — полувопросительно он сказал он.

— Да. Я.

— Капитан Савушкин, — сказал он, сдвигая каблук.

Я протянула ему руку. Он ее взял, решительно поднял, как бы желая поцеловать, но, заметив в моих глазах мелькнувшее недоумение, твердо ее пожал, тряхнул и выпустил. Он покраснел, отчего его чистый смуглый лоб еще больше потемнел. Это было заметно даже в сумерках. Он поправил свои тонкие, небольшие усы, решительно откашлялся и сказал:

— Я однополчанин вашего супруга. Приехал сюда в командировку принимать на заводе самолеты для фронта. На рассвете улетаю обратно в часть. По поручению командира полка имею вам передать...

Он слегка присел, привычным жестом потянул ремешок полевой сумки и вынул небольшой сверток. Он дал его мне, а сам деликатно отошел в сторону и отвернулся. Я развернула сверток. Там были ручные часы Андрея, три его ордена, золотая звездочка Героя Советского Союза, орденская книжка, бумажник и моя очень давняя неудачная фотография с потрескавшимися и обрезанными краями, где я была снята — очевидно зимой — в белой вязаной шапочке, в белом свитере и почему-то была похожа на брюнетку. Я долго стояла, держа в горсти все эти вещи, как бы взвешивая их — его славу, его любовь, его время — и все никак не могла постигнуть до конца, что все это осталось, существует, а его, моего Андрея, уже нет и больше никогда не будет. И слезы текли по моим холодным щекам.

— Я еще привез чемодан с кой-какими вещами Андрея Васильевича. Я его поставил в передней — мне тут открывала дверь одна старушка..

— Это моя хозяйка Зинаида Константиновна.

— Вот, вот. Она мне и комнату вашу открыла. Я уж думал, что вас не дождусь. Записку стал писать. Разрешите внести чемодан?

— Спасибо. Не беспокойтесь. Это потом.

Уже совсем стемнело. Я опустила синюю бумажную штору маскировки и заглянула лампочку под черным абажуром. Я предложила капитану стул, а сама села

на кровать. Мы некоторое время молчали.

— Нина Петровна, неужели вы меня не узнаете? — сказал он.

И я вдруг сразу его узнала.

— Петя!

— Ну, конечно! Георгиевский монастырь, Балаклава, розовый мускат и так далее.

— Извините, я даже не знала, что ваша фамилия Савушкин.

— Да, капитан Савушкин. Это теперь. А в мирное время был Петя. Иначе никто не называл. А что, сильно я с того времени переменялся?

— Я б не сказала. Но все-таки. Стали более солидным. Повзрослели. Опять же — усы.

— Усы фронтовые. Не такой веселый?

— Да, и это.

— Ничего не поделаешь. Войем. Веселого мало.

— А вы знаете, мне Андрюша в своем последнем письме писал о вас и даже передавал привет. Как-раз накануне.. этого несчастья.

— Да, очень тяжелый случай, — сказал Петя, нахмурившись. — Не говорю уже о вас. Это само собой. Но и для всех нас это очень тяжелый удар. Для всего полка. Потерять такого товарища, такого выдающегося командира.

— Как это произошло? При вас?

— Не только при мне, но даже, если хотите, из-за меня.

— Из-за вас?

— Да. Но, конечно, не по моей вине. Видите ли, мы вели бой на высоте двух с половиной тысяч метров. Мой самолет подо мной. Я успел выброситься с парашютом. Налетели три мессера и стали меня клевать из пулеметов. Одна пуля царапнула ключицу, слава богу, не разрывная. Другая попала в мякоть бедра. Третья перебила один строп. Кошмар. И, главное, полное бессилие. Вишу и ни черта не могу сделать. Совсем погибаю. Тут мне и пришел на выручку Андрей Васильевич. Он кинулся сверху, сделал правый разворот и дал из пулемета с расстояния 100—150 метров короткую очередь по одному стервятнику. Тот загорелся и упал. Другой мессер в это время зашел Андрюше в хвост. Андрей Васильевич вовремя заметил, снизился до бреющего, развернулся влево и пошел вверх по вертикали прямо на второго мессера. Тот боя по вертикали не принял и отвалил. А в это время третий мессер успел набрать высоту и пикирует на меня, открыв огонь из всех пулеметов. Тогда Андрюша положил машину опять на правое крыло и стал делать вокруг меня круги, не подпуская ко мне третьего мессера. Так он и ходил все время вокруг меня, пока я приземлялся. Бой шел над немецким передним краем, но, слава богу, ветер дул на восток, так что я с грехом пополам,

но все-таки дотянул до своей территории. Когда я приземлялся, Андрей Васильевич совсем близко пролетел возле меня, отодвинул колпак и помахал мне рукавицей. И я, знаете, очень ясно увидел, Нина Петровна, его отлетевшие назад русые волосы. Андрей Васильевич не любил летать в шлеме: его раздражало радио. Надевал шлем лишь в крайнем случае. И как-раз в этот миг у него под правым крылом показалось пламя. Как видно, это второй мессер опять сделал заход и дал по Андрюше из пушки. Андрюша кинул машину на правое крыло и сбил огонь. Но как только выпровнялся, пламя опять вспыхнуло, пошел густой дым, машина захромала. Второй мессер снова развернулся и пошел на сближение с Андрей Васильевичем. Но Андрей Васильевич уже не стрелял. Видно, кончились патроны. Или он уже тогда был смертельно ранен. Я видел, как его машину трягнуло, но он ее все-таки выправил и стал уходить на свой аэродром, а за ним тянулась черная полоса дыма. Из последних сил он дотянул до аэродрома и все-таки посадил горящую машину. Когда его вынули из кабины, он уже был мертв. У него обгорела правая рука, и пуля пробила печень.

Когда меня привезли в полк, Андрюша уже лежал в ельнике на снегу, покрытый плащ-палаткой.

— Боже мой, — сказала я, чувствуя, что начинаю дрожать.

— Война, Нина Петровна, — хмуро сказал Петя, — ничего не поделаешь. На другой день Андрея Васильевича похоронили, — торопливо продолжал он, заметив мое волнение. — Я при этом не был, так как меня отправили в госпиталь, но, вот, вероятно, вам будет интересно посмотреть... хоть я не знаю, может быть, не стоит..

— Покажите, — сказала я, овладев собой. — Ничего, покажите.

Он достал из своей сумки конверт с фотографиями.

— Только не важная бумага, — сказал он.

На одной фотографии я увидела Андрея в гробу. Знакомое, родное, спящее лицо с незнакомой ссадиной на переносице, с волосами, гладко зачесанными со лба вверх, виднелось из вороха еловых веток с шишечками. Гроб стоял на снегу, и на заднем плане вышши два красноармейца с автоматами на шее. Они стояли с двух сторон, поддерживая простую досчатую крышку гроба, поставленную торчком.

Я бегло посмотрела другие фотографии — погребенье, салют, обгоревший и простреленный самолет Андрея и вид деревенского погоста с церковкой и могилой Андрея, снятый с птичьего полета.

— Можно оставить себе?

— Да, конечно. Это специально для вас.

XVI

— Потом я начала расспрашивать Петю про Андрея, и он, стараясь быть как можно более точным в датах и фактах, стал подробно рассказывать мне о последних месяцах жизни Андрюши.

Я слушала его рассказ с благодарной жадностью, но, конечно, этого рассказа для меня было слишком мало. Моя душа требовала гораздо, гораздо большего, того, чего Петя при всем своем желании не мог мне дать. Мне нужно было хотя бы одну частицу Андрюши, живого, любящего, существующего, а не существовавшего когда-то и уже не существующего теперь на свете.

Было часов двенадцать, когда я вдруг вспомнила, что даже не предложила Пете чаю, не поинтересовалась его ранением.

— Так вы, значит, прыгнули с парашютом? — сказала я, найдя удобный повод.

— Пришлось, — сказал Петя, нахмурившись. — Самолет загорелся и пошел в пики. Его абсолютно невозможно было выпровнять. Я сделал все возможное. Оставалось только прыгать. Я имел право по инструкции оставить борт самолета.

Я не могла удержаться улыбку.

— Слушайте, ей-богу, вы, какие-то невероятные люди! — сказала я. — Из какого материала вы сделаны? Человек, спасая свою жизнь, выскакивает из горящего самолета и еще потом извиняется, что он на это, дескать, имел право.

— А как же? — серьезно сказал Петя. — Нельзя, Нина Петровна. Самолет это наше боевое оружие. Его можно бросить только в самом крайнем случае, когда другого выхода нет. Вы этим не шутите!

Потом мы стали пить чай. К нам присоединилась Зинаида Константиновна. Петя ей сразу понравился.

— Постойте, — сказала Зинаида Константиновна, — По-моему, мы делаем что-то неправильно. Погодите. Я думаю, капитан Савушкин не откажется от стопочки водки.

— А есть? — сказал Петя.

— Я в этом не специалистка, — сказала Зинаида Константиновна, — но, по-моему, у меня где-то есть немного чистого, ректифицированного спирта. Это как — годится?

— Безусловно, — сказал Петя.

— Говорят, его нужно только развести кипяченой водой и получится превосходная водка.

— Можно даже не разводить, — сказал Петя.

— Ну, вам виднее.

Зинаида Константиновна пошла за опартом, а я быстро сварила на круглой

электрической плитке картошку и открыла банку рыбных консервов. Кроме того, у нас нашлась селедка, две луковицы, даже немножко уксуса. Ужин получился великолепный.

Несмотря на петины жалобные улыбки, мы все-таки спирт разбавили и для красоты налили в графинчик. Рюмок не было, а пили из медицинских банок.

— Ну что ж, товарищи, выпьем за нашего Андрея, — вздохнув, сказал Петя.

— Да, за Андрюшу, — сказала я.

Мы стукнулись круглыми баночками, выпили, поморщились и прежде всего закусили луком, нарезанным красивыми кольцами, похожими на цыганские серьги.

Я взглянула на Петю и вдруг ясно, почти осязательно близко увидела наш веселый завтрак в Балаклаве, Андрея, резкие фигурные тени виноградных листьев на песке, сухие холмы, очень сильное море — весь этот неповторимый июльский день...

Мы тихо посидели, предаваясь воспоминаниям и были очень удивлены, когда в дверь громко постучали. Это явился шофер, приехавший за Петей. Оказалось, что уже пятый час утра. Так как нам с Зинаидой Константиновной ложиться уже все равно не стоило, то Петя предложил подбросить нас на завод, который находился по дороге на аэродром.

В автобусе, набитом военными летчиками и механиками, мы продолжали разговаривать об Андрее и, между прочим, Петя сказал:

— А почему бы вам, Ниночка, не съездить к нам на фронт, повидать могилу Андрея Васильевича?

Мысль, что я могу увидеть его могилу, постоять возле нее, положить на нее цветы, — поразила мое воображение. Это, вдруг, как-то сразу, почти ощутимо приблизило меня к Андрею.

— А это возможно? — сказала я.

— Отчего же, — сказал Петя. — Сделаем. Будет вызов из штаба фронта.

— Как было бы хорошо!

— Точно.

И, прощаясь со мной у проходной будки завода, Петя сказал:

— Я вам сейчас же напишу, как только приеду в часть. А вы приготовьтесь. Так, значит, до скорого.

С этого дня меня охватило страстное желание побывать на могиле Андрея. В ожидании пегимного письма я нетерпеливо считала дни. Однако прошел май, наступил июнь, а письма все не было. Летом началось немецкое наступление. Но я еще продолжала ждать и надеяться. Наконец, пришло письмо. Из этого короткого, поспешного письма, написанного химическим карандашом на тетрадной бумаге в косую линейку и свернутого так же, как и письма Андрея, треу-

гольником, — я поняла, что надеяться не на что.

«В данный момент обстановка на фронте очень сложная, — писал Петя. — Мы находимся все время в движении, так что о Вашем приезде пока не может быть и речи, тем более, что населенный пункт, где похоронен Андрей Васильевич, сейчас гораздо западнее линии нашей обороны. Но Вы, дорогая Ниночка, не волнуйтесь. Отходя, мы успели снять с могилы деревянный обелиск и дощечку, так что, надеюсь, могила сохранится. Мечтаю опять увидеться с Вами, только вряд ли это будет в ближайшее время. Теперь абсолютно не до того. Пожалуйста, пишите мне, если найдете время. Ваши письма доставят мне большую, очень большую радость. Ваш друг Петя».

XVII

— «Третьего июля после восьмимесячной героической обороны, — как было сказано в вечернем сообщении Совинформбюро, — наши войска оставили Севастополь».

Я узнала об этом утром четвертого.

Ох, как памятен мне этот траурный солнечный день с пылью и жгучим беспорядочным ветром! Как бы вам получше объяснить мое тогдашнее душевное состояние?

Помню затмение солнца, которое я видела однажды летом, в детстве. Был такой же яркий, горячий день с пылью и тревожным ветром. Листья дрожали и блестели, как металлические. Это, если вы помните, было неполное затмение.

Казалось, что солнце светит попрежнему и попрежнему на него больно смотреть, даже, может быть, немного больнее. Но в природе что-то уже изменилось. Было что-то так, да не так. Блеск листьев стал еще более резок. Тени дикого винограда на стене нашего деревянного дома на Красной Пресне странно сдвинулись, как будто сдвоились. Чувство необъяснимого страха и угнетающей скуки охватило душу. Мне дали закопченное стеклышко, и я посмотрела сквозь него на солнце. Сквозь бархатистую, рыжую сажу я увидела белый кружочек солнца с небольшой очень черной шербинкой на краю. Эта шербинка незаметно росла до тех пор, пока солнце не сделалось, как ноготок. В ужасе я бросила стекло. Холодная полутьма лежала на всем вокруг. Солнце нестерпимо ярко блистало в пасмурном небе, как свинцовая звезда. Я закричала и заплакала. Меня с трудом успокоила мать. Затмение медленно прошло. Но потом целый день и даже на другой день мне все казалось, что в мире невозможно нехватает свету и все предметы обведены траурной каймой.

Такое же чувство испытала я — да,

наверное, не одна я, и вы тоже, конечно, его испытала — в тот солнечный июльский ужасный день, когда стало известно о падении Севастополя.

Севастополь — «город нашей любви»! Сколько раз за этот несчастный год я думала о нем и о том неповторимом дне, который мы когда-то провели с Андреем так празднично и так счастливо в этом городе.

Трудно было мириться с мыслью, что каждый день в течение восьми месяцев в облаках известкового мусора рушились, уничтожались его светлые домики с железными голубыми или зелеными балконами, что в пыльные цветники падали убитые дети, что со свистом летели булыжники и куски асфальта, вырванные бомбой из мостовой, и обугливались акации и платаны, охваченные огнем.

Но все-таки этот город — или вернее сказать то, что от него осталось — был еще наш. Нашей была сухая, розоватая севастопольская земля. Нашими были степь с ее крошечными белыми улитками, море, Херсонесский маяк, Балаклава и та скала возле ледового мыса Фиолент, на которой я лежала, заложив руки под голову, в блаженном беспамятстве крымского полудня.

А сейчас все это было отнято.

Не было больше ни моего Андрея, ни нашего Севастополя. Да и меня — той прежней молодой и счастливой меня — тоже ведь уже больше не существовало. Была какая-то совсем другая я — одинокая женщина Нина Петровна, инженер-технолог. Эта женщина теперь озабоченно шла по территории завода, обжигаемая пыльным волжским ветром.

Но душа моя была не здесь. Душа моя жила в сияющем, светоносном мире того севастопольского дня, где была я молоденькая, влюбленная, в маркизетовом платье с короткими рукавами и со мною был мой Андрей — живой, счастливый и немного смущенный.

Я вам сказала, что мы провели этот день с Андреем празднично и счастливо. Я не боюсь это повторить. Это действительно был наш праздник. Мы это знали. И мы праздновали его.

Проснувшись тогда в Севастополе, мы прямо и просто посмотрели друг другу в глаза и еще раз крепко поцеловались. Было раннее утро. Мы прежде всего побежали купаться. Озябшие после чересчур продолжительного купанья, мы жадно съели в каком-то буфете простоквашу, пробив жестяными ложечками бумагу, которой были туго заклеены наши стаканы. Потом мы пошли по яркой улице. Было очень жарко. Андрей снял пиджак. Я взяла пиджак, перекинула через плечо, зацепив мизинцем за вешалку.

Андрей завернул рукава своей рубаш-

ки до локтей. Я заметила, что у него грубоватые руки. Но они мне очень нравились. Я смотрела на них, как будто бы видела их впервые.

Я взяла Андрея под руку и положила свою голую руку на его.

Его рука была большая, моя — маленькая. Его — горячая, моя — прохладная. Но они вместе составляли как бы один предмет. И я смотрела на этот предмет с нежностью, как на ребенка.

Я вложила свои пальцы в пальцы Андрея и сжала их изо всей силы. Он обернулся и неловко поцеловал меня возле уха.

— Ты с ума сошел! На улице, при всех?

— А что? Пускай, черти, завидуют, — сказал Андрей и обнял меня за талию.

Мы наняли ялик и медленно попадали вдоль скалистого берега в Херсонес смотреть археологические раскопки. Мы осмотрели остатки каких-то подземных сводов, сложенных из необыкновенно крупных кирпичей особым древнеримским способом. Глиняные насыпи, поросшие бурьяном, особенно ярко желтели и краснели на фоне дикого неба и длинные серебристо-бархатные от пыли ветки дерезы с продолговатыми желтовато-розовыми ягодками свисали с древних стен, на которых, уцепившись растопыренными лапками, грелись, зажмурившись на солнышке, маленькие бирюзовые ящерницы, такие же древние, как это синее небо и эти побелевшие от времени кирпичи.

Мы прошли по гулким, прохладным комнатам пустынного музея. Здесь, приложенные к стенам, стояли громадные глиняные амфоры и тонкогорлые кувшины для вина, воды и масла.

Под стеками витрин были разложены полустертые, тоненькие, как листки, древние серебряные монеты, черепки, рыболовные снасти, наконечники стрел, бронзовые фигурки, плоские светильники, браслеты, гребни, весь этот скучный музейный вздор, от одного вида которого хотелось как можно скорее на воздух, на солнце, к морю.

— Ну пойдем, хватит, — сказала я нетерпеливо.

Но Андрей медленно переходил от прилавка к прилавку, задумчиво и многозначительно разглядывая выставленные вещи.

— Да, — сказал он со вздохом. — Чем занимались люди. Торговали, воевали, любили. Поучительно.

При выходе из музея мы остановились возле толстой мраморной плиты, полукруглой сверху, как скрижал. Она была серой, почерневшей от времени. Она стояла торчком. На ней была выбита какая-то надпись, и Андрей стал ее разбирать. Надпись была по-латыни, но, к моему удивлению, Андрей ее все-таки прочел.

— «Nec iacet Aulus Terencius Balbus centurio princeps legionis II Marce Aurelio regnate» — прочел Андрей. — Стало быть вот оно какого рода вещь. Тебе ясно, Ничочка?

— Абсолютно неясно, — сказала я, смеясь.

— А это, видишь ли, — сказал Андрей, крепко прижимая мою руку к себе, — обозначает, что: под сим, так сказать, мрамором был похоронен прах некоего Аулуca Теренция Бальбуса, что в переводе на русский язык значит: картового, — солдата первого центуриона второго легиона в царствование небезызвестного римского императора Марка Аврелия. Понятно?

— Теперь понятно.

— Вишь, куда занесло этого самого Аулуca Терентьевича Картавого, древнеримского интервента! — сказал Андрей окая и блестя глазами. — К черту на кулички, в Крым! Тут он, видимо, и сложил свою буйную головушку.

Возвращаясь в Севастополь, мы видели учебную стрельбу кораблей Черноморского флота. Едва первый броненосец поровнялся с Херсонесским маяком, как из его серого борта выскочил и оторвался ряд длинных языков пламени. Корабль окутался дымом, и через минуту на горизонте взлетело один за другим шесть белых водяных фонтанов. В тот же миг мы услышали грозный удар залпа, звук которого дошел до нас только теперь. Тяжелое эхо покатилося, как чугунный шар по мрамору моря. Но не успел этот шум удалиться и растаять, как мы услышали отдаленный гром разрывов и новое эхо покатилося вслед за старым, достигло его где-то в открытом море, а потом оба эти эха еще раз прокатились назад, слабо ворча и замирая где-то очень далеко, вероятно, в горах Балаклавы.

Это было так неожиданно и так не соответствовало мирной прелести пламенного черноморского дня, что я на минуту стихла и прижалась к Андрею, как будто бы он должен был защитить меня от какой-то беды.

XVIII

— Мы возвратились в Севастополь, — продолжала Нина Петровна, покрыв шинелью ноги, так как становилось свежо. — До обеда оставалось еще много времени. Андрей потащил меня в военно-исторический музей Севастопольской обороны.

— Не много ли, Андрюшечка, два музея в один день? — сказала я жалобно.

— Ничего. Не помрешь, — сказал Андрей. — Надо знать историю.

В музее были медные пушки, пирамиды чугунных ядер, истлевшие знамена и андреевские флаги, большие подробные модели фрегатов с полной парусной оснасткой. Повсюду были расставлены на

деревянных подставках, что делало их немного выше живых людей, грубые муляжи покосившихся матросов, артиллеристов с банниками, саперов, пехотинцев, одетых в свою мешковатую сукожную форму, побитую молюю. Особенно живо запомнились мне картонные глянцевиые лица этих муляжей — желтые, румяные, с громадными усами и бакенбардами и грозно выпученными стеклянными глазами самой натуральной человеческой окраски. Кое-где к их одежде были пришиты маленькие ладанки с шариками нафталина.

Тонкий запах глениа стоял в жарком, неподвижном воздухе музея.

Но все же все эти паруса, пожелтевшие флаги, вымпела, эти ядра, якоря, фашины и берданки, все это как-то необычайно сильно, возвышенно волновало душу чувством большой русской славы, и на глазах Андрея я заметила слезы.

А пламенный крымский день продолжал сиять. За прямыми высокими окнами музея с жарко начищенными медными шпингалетами и раскаленными подоконниками виделось темно-синее густое небо. На его ровном фоне так живо и так прозрачно светились лапчатые листья платанов; висели войлочные шары их плодов; и бежевые, лайковые стволы, покрытые фисташковыми пятнами облупившейся кожицы, — как будто все время напоминали нам о любви и счастье.

Мы очень проголодались и с наслаждением пообедали на бульваре, на террасе ресторана «Нарпит», где морской ветер трепал сырые скатерти столикoв.

За обедом мы съели, кроме флотских щей, по две порции удивительно вкусных, огненных, сильно наперченных, воздушных чебуреков, изжаренных в бараньем сале, и запили их бутылкой пива.

Но день продолжался, до вечера все еще было далеко, и мы опять пошли слоняться по городу, останавливаясь возле каждой будки пить воду с сиропом или мучнисто-пенистую, сытную ледяную бузу.

Наконец, мы очутились возле круглого здания «Панорамы».

Вот тут-то мы и снялись у уличного фотографа-пушкаря, на фоне большой пыльной клумбы, где росли какие-то винно-красные декоративные растения, похожие на шерстяную мебельную бахрому.

Пока фотограф, засунув руку в черный коленкорoвый рукав, копался в фанерном ящике своего аппарата, мы сходили в «Панораму».

Едва мы поднялись по лесенке на круглую площадку, обнесенную железными перилами, как сразу вокруг меня со всех сторон до самого горизонта открылась сухая розоватая севастопольская

степь и бледносиреневое небо, вылинявшее от зноя. И по всему громадному пространству, подробно освещенному ровным, матовым, комнатным свегом, в разных направлениях неподвижно двигались колонны войск.

В одном месте виднелась бухта с неподвижно горевшими кораблями.

Из бабки, по пояс в дыму, с барабанами и развернутыми трехцветными знаменами лезли на приступ французы, и офицер в синем мундире с красными эполетами, повернувшись назад горбоносое лицо с эспаньолкой, протягивал вперед шпагу. А там, куда они лезли, на русском бастионе, среди мешков и круглых корзин с землей, лежали на разбитых лафетах медные пушки, валялись ядра, сидели раненные матросы и гигант-наводчик в бескозырке, сбитой на затылок, как блин, отбивался баянником от наседающих врагов.

В другом месте перед большой походной иконой совершенно натурально горели свечи, и священник в глазетовой ризе служил панихиду. Он держал в откинутой руке взлетевшее кадило, из которого неподвижно струились седые масляные волокна ладана и падали угольки. А на земле лежали убитые солдаты, накрытые шинелями, из-под которых торчали неподвижные ноги в сапогах.

А мы с Андреем стояли высоко, в самом центре этой безмолвной неподвижной битвы, очарованные и подавленные тишиной и величием ужасного зрелища, в котором как будто бы мы сами принимали какое-то таинственное участие.

И вдруг шесть раз под ряд громко и отчетливо ударило шесть пушечных выстрелов — бум, бум, бум, бум, бум, бум... Они ударили так твердо и так отчетливо и так совпадали с тем, что было у нас перед глазами, что мне показалось, что вся картина вдруг ожила и двинулась на нас со всеми своими пушками, барабанами и знаменами.

Мне стало страшно. Но в тот же миг я поняла, что это были звуки учебной падьбы, долетевшие сюда с рейда.

Вслед за тем низко над куполом «Панорамы» с шумом пронеслось несколько самолетов.

— Вот это уже не в стиле эпохи, — сказал Андрей. — Совсем из другой оперы. Тогда авиации, слава богу, еще не было. Видать, наши морские бомбардировщики возвращаются с учебной стрельбы.

Перед закатом мы сидели в полотняных шезлонгах у самого моря, внизу бульвара, и смотрели, как солнце опускается в воду.

Наверху играл духовой оркестр. В воздухе пахло только-что политым гравием, розами и резедой. Слышалось шарканье

ног, смех и голоса гуляющих. Один за другим, мимо бон, в порт возвращались корабли эскадры. Гидросамолеты, делая последние круги над городом, садились в бухту и, поднимая пену, бежали к своим причалам.

В полночь я уезжала, и мне было очень грустно.

Андрей вытянул далеко вперед свои длинные ноги и, сдвинув фуражку на глаза, курил трубку. Он смотрел прямо перед собой в море. Его крупный бритый рот был крепко сжат и подбородок подобран.

— О чем ты думаешь, светик мой? — спросила я.

Он вынул изо рта трубку, выколотил ее о гладкий морской камешек, до блеска сточенный волной, и положил в карман.

— Думаю о тебе и о себе, — сказал он задумчиво. — А также думаю об этом небольшом кусочке земли, на котором мы с тобой в данное время сидим и любим друг друга.

— Прелестный полуостров, — сказала я, беря его за руку. — Или ты со мной не согласен?

— Согласен. Полуостров замечательный. Лучше не надо. Однако, роженка моя, тебе не приходило в голову, что сегодня целый день мы с тобой на этом прелестном полуострове иногда ходили по человеческим костям? Тысячи, сотни тысяч, миллионы человеческих костей.

— Люди умирают, — сказала я.

Он покосился на меня.

— Я говорю не о тех, которые умирают. Все мы когда-нибудь умрем. Я говорю о тех, которых убивают. Ведь вот посмотри, пожалуйста, — небольшой кусочек земли, пятачок, чепуха какая-то по сравнению со всей нашей планетой, а сколько на этом пятачке уже было жесточайших, кровавейших побоищ? И, главное, зачем, почему, по какому поводу? Ты думаешь этому самому Аулюсу Теренцию Бальбусу, римскому солдату, плохо было в своей Италии? Да уверяю тебя, что отлично. Климат прекрасный, теплый; хлеба, вина, сыра, масла, апельсинов, винограда, — хоть залейся. Сидел бы себе дома, обрабатывал бы землю, читал бы в свободное время Вергилия, плодил бы деток, создавал бы из своего отечественного мрамора прекраснейшие произведения искусства. Чем плохо? Ты бы отказалась, Ниночка, от такой райской жизни? Так вместо всего этого, одолеваемый жадностью, Аулюс Теренций Бальбус надевает медный шлем, обоюдоострый меч, берет в руку дротик и едет на корабле из своей Италии к чорту на кулички, куда-то на южный берег Крыма, в совершенно посторонний для него Херсонес. Зачем, спрашивается? А затем, чтобы — выражаясь красиво — присоединить к Великой Рим-

ской империи новую колонию, а попросту говоря, дад того, чтобы пограбить. И он грабит, жжет, убивает, насилует до тех пор, пока в один прекрасный день его самого не убивают камнем или таким же самым дротиком, который у него до сих пор считался последним словом военной техники. Так зачем же, спрашивается, огород было городить? Или генуэзцы. Помнишь развалины генуэзской крепости в Балаклаве? Стало быть, генуэзцы тоже сюда приезжали пограбить. Только у них этот грабег назывался более изысканно: свободной торговлей. А торговать ихние генуэзские купцы привыкли довольно своеобразно: в одной руке весы и аршин, а в другой мушкетон со взведенным курком. Морские разбойники. Настоящие бандиты. Так что все эти живописные развалины, по которым мы с тобой лазили, — на сто верст вокруг усеяны костями.

— Были усеяны, — сказала я. — А теперь — посмотри, какая красота: поля, степи, стада, виноградники...

— Вот, вот! — воскликнул Андрей, и глаза у него блеснули. — Ты попала в самую точку. Красота вокруг. И это потому, что история человечества состоит, слава богу, не из одних войн. Если бы всегда были одни только войны, то ни тебя, ни меня и на свете бы не было. Ничего бы не было. Культуру создают мудрые, сильные и справедливые народы. А разрушают культуру бандиты вроде этого Бальбуса, будь он трижды проклят..

Красное, блестящее солнце висело высоко над водой. Волны катились правильными рядами, и по их глянцевитым бокам бежало отражение солнца. Но вот солнце опустилось еще ниже. Оно потеряло блеск, стало темномалиновым. С моря подул широкий, ровный ветер. Он поглядел воду как бы против вorsa, и море сделалось матовым, темносиним — цвета индиго. Узкая ленточка вымпела затрепетала, защелкала на флагштоке водной станции «Динамо». Стало свежо. Мои руки покрылись гусиной кожей.

Андрей снял с себя пиджак и заставил меня его надеть. Я закуталась в пиджак и молча сидела, опустив голову и разглядывая орден Красного Знамени на его лацкане.

— За что? — спросила я.

— За Холхингол, — сказал он.

Мы помолчали. Из-под волос, спутанных ветром, я украдкой смотрела на Андрея, на моего Андрея сего широкими плечами и малиновым треугольником загара на груди, который виднелся в отворотах белоснежной сорочки.

— Боже мой, — сказала я. — Неужели это опять когда-нибудь повторится?

— Обязательно, — сказал он, сильно окая, — И даже очень скоро.

— Но ведь это ужасно, Андрюша! Я не хочу.

— А ты думаешь, я хочу? Я тоже не хочу.

— И никто не хочет.

— К сожалению, — сказал Андрей, вздыхая, — в мире есть еще много разбойников, в которых обитает жадная и грубая душа Аулюса Теренция Бальбуса. И мы у них стоим поперек горла. Они не могут примириться с мыслью, что в мире есть счастливая, свободная, молодая и независимая страна, которая живет не по их каторжному, торгашескому закону обмана, грабежа и убийства, а по высшим, глубоко человеческим законам любви и справедливости. И все темные силы мира обязательно рано или поздно кинутся на нас с ножом. Эти бандиты воображают, что они сильнее нас. Еще со времени римского солдата Бальбуса — нет, даже раньше, со времени Каина — они привыкли думать, что правда в силе. Но, черт бы их побрал, они крепко заблуждаются. Не правда в силе, а сила в правде. А правда наша, стало быть, и сила у нас. И будь уверена, Ниночка, они еще почувствуют силу нашей правды. Ах, дьявол! — воскликнул Андрей, стукнув кулаком по ладони, — ей-богу, прав был мой большой друг и приятель Валерий Павлович Чкалов, когда говорил мне: «Какие мы с тобой, Андрей, к черту испытатели? Мы с тобой типичные истребители. Наше святое дело бить с воздуха и истреблять любого гада, который сунется к нам с оружием в руках». Я, знаешь, Ниночка, несколько раз просился, чтобы меня перевели из гражданской авиации в военную, в истребители. Да не берут. Неужто я старый?

— Не напрашивайся, пожалуйста, на комплименты, — сказала я. — Ты не старый, а ты чудный, ты молодой, и я тебя очень люблю.

Я вложила свои пальцы в его и сжала их изо всех сил.

— Понятно тебе это, Андрюха?

— Понятно, — сказал Андрей, смеясь. — Но мы еще повоюем. За свое счастье драться надо. А все-таки до чего же мне повезло, что мы с тобой встретились в жизни!

Красное, угрюмое солнце коснулось горизонта. Оно стало быстро опускаться в темносинее, ветренное море. Скоро над водой остался только один его верхний краешек, похожий на уголек. Раздался пушечный выстрел, и уголек канул в море. Вокруг сразу потемнело, и еверх по мачтам на рейде поползли желтые фанарики топовых огней.

— Все, — сказал Андрей.

Мы встали и, держась за руки, медленно пошли наверх.

XIX

— Вот, — сказала Нина Петровна, — о чем вспоминала я в траурный день четвертого июля. Казалось, невозможно пережить потерю Севастополя, «горда нашей любви». И все же я пережила. Жизнь оказалась сильнее смерти, и жизнь перетянула.

Нина Петровна замолчала. Все вокруг было тихо. Луна заметно передвинулась к западу. Небо постепенно, затягивали мелкие пегие тучки. Становилось темно-вато. Стук пишущей машинки в штабном автобусе прекратился. Чуть слышно подрагивал где-то недалеко моторчик походной электростанции.

На западном горизонте вспыхнул и передвинулся дымно-голубой столб прожектора.

— Немецкий прожектор; из Орла светит, — сказал часовой, подходя к нам.

— Близо как, — сказала Нина Петровна.

— Рукой подать.

Часовой постоял возле нас, позевал и ушел назад. Уходя, он сказал:

— Последнюю ночь из Орла светит, гад. Завтра мы ему дадим.

Из штабного автобуса вышел полковник с шинелью в руках. Он посветил фонариком, нашел нас и приблизился.

— Не спите?

— Нет, товарищ полковник, разговариваем, — сказал я.

— Главным образом я разговариваю, — сказала Нина Петровна.

— Спать надо, а не разговаривать, — сказал полковник. — Вам, должно быть, холодно, Нина Петровна. От холода и не спите. Берите шинель, укрывайтесь.

Полковник постоял, зевая, и сказал:

— Ну как там дела в Москве? Вы мне так и не сказали — Художественный театр вернулся?

Я хотел ответить, но в это время слышался шум и из темноты выскочил броневик. На башне броневика кто-то сидел верхом. Броневик круто остановился. Тот, кто сидел на башне, прыгнул на землю и, быстро подскочив к полковнику и взяв руку под-козырек, сказал хриплым мальчишеским голосом, лихо раскачиваясь на букве р:

— Товарищ гвар-р-рдий полковник, от командира кор-р-рпуса ср-р-рочный пакет.

Это был офицер связи.

Полковник взял пакет, вскрыл его и при свете фонарика прочел.

— Хорошо.

— Ответа не будет?

— Передайте на словах, что саперы вышли двадцать минут назад.

— Есть передать на словах, что саперы вышли двадцать минут назад.

— Где генерал?

— На переправе.

— Передайте, что имеется срочная шифровка из штаба армии.

— Есть перрредать. Разрешите итти?

— Идите.

Офицер связи со шегольством повернулся и вскочил верхом на броневик, вытянув вперед ноги.

— На пер-р-реправу! — закричал его сорванный, мальчишеский голос.

Броневик развернулся и мгновенно исчез, унося в темноту маленькую, стройную фигурку офицера связи. По траве потянуло бензином. Полковник быстро вернулся в свой автобус, откуда сейчас же послышалось шелканье ундервуда. Немецкий прожектор передвинулся еще раз и потух, как будто бы его закрыли шапкой. Осторожно затыркал сверчок.

Нина Петровна накинула на себя шинель полковника и заернула в нее.

— Ничто, казалось, не изменилось на нашем заводе, — сказала она. — Все на первый взгляд шло попрежнему. Но на самом деле было много нового.

Я, например, поставила Хозя для пробы работать на трех станках, и он отлично справился со своей задачей, так что красный флажок опять переключал от Муси к нему. И Хозя поклялся страшной клятвой, что больше этого флажка Муся на своем станке в жизни не увидит.

Муся презрительно сжала ротик, но ее нос покраснел и в глазах блеснули слезы. Она пожала плечами и сказала:

— Увидим!

Я продолжала проводить на заводе почти все свое время, но теперь я уже не чувствовала себя такой одинокой. Переживать мое горе очень помогала мне милая, добрая тетя Зина. Изредка я получал письма от Пети. Он описывал мне свою фронтовую жизнь, вспоминал прошлое, а я рассказывала ему о нашем заводе и тоже иногда вспоминала прошлое.

В октябре сравнялся год, как я с заводом переехала сюда, на среднюю Волгу. Приближалась вторая зима. У нас в заводууправлении висела большая школьная карта Советского Союза с толстыми реками, и на нее страшно было смотреть. Положение казалось еще более грозным, чем в прошлом году в это время.

У всех на устах было слово Сталинград. Его произносили с тем же строгим чувством гордости и боли, с каким еще совсем недавно произносили слово Севастополь.

Абраша Мильк, летавший в Сталинград по делам завода, за металлом, вернулся раненный в плечо и в ногу. С рукой на перевязи, опираясь на палку, он, проворно хромя, шел по цеху, как всегда окруженный агентами и уполномоченными.

— Ну, Ниночка, — сказал он, на минутку останавливаясь возле меня и грозно сверкая глазами, — могла меня больше не увидеть. Кошмар. Но металл все-таки по-

грузили. Две баржи. Но ты себе не можешь представить, с какими адскими трудами!

— Трудно было грузить?

— Грузить? Это само собой. Люди на вес золота. Сами грузили. Лично я перетаскал с берега на баржу не меньше тонн металла. Ты помнишь мое коричневое кожаное пальто? Оно еще было совсем как новое.. Так — в ключья! Немец налетает через каждые полчаса. Бьет по пристаням, по баржам. Словом, кошмар. Видишь, как меня садануло? Слава богу, кость цела. Но не в этом суть. Это мог сделать только я. Не дают нам качественную сталь и все. Они говорят — ничего подобного, нам самим металл нужен. Я кричу: на чорта вам этот металл, когда у вас уже больше половины предприятий выведено из строя? — А они говорят: это не важно. Пригодится. — Тьфу ты, чорт! И ты знаешь, Ниночка, пока мне не удалось связаться по телеграфу с Наркоматом и пока они не получили категорического подтверждения, — до тех пор не давали металла. Но я все-таки, в конце-концов, у них вырвал. Из зубов вырвал. Это была целая эпопея.

— А город? — спросила я.

— Что город? Город горит. В небе чернот от немецких самолетов. Ужас!

— А немцы его не возьмут?

— Сталинград? Ты — смеешься! — закричал Абраша Мильк. — Вот они получат Сталинград! Видишь? — и злобно свернув кукиш, он проворно захромал дальше.

А через минуту я уже где-то в отдалении слышала его громовой голос:

— Что? Ни одного килограмма! Только через мой труп! До декабря ни одного килограмма!

Уже несколько раз объявляли воздушную тревогу: это к городу с юга подходили немецкие ночные бомбардировщики. Тогда стеклянные трубы прожекторов упирались в дымчатое небо, шарилы по тучам и над затемненными цехами завода, где работа не прекращалась ни на секунду, начинали с криш поспешно бить батареи зениток, бегло покрывая небо розовыми звездочками заградительного огня.

Поздними темными утрами на крышах и на мостовых бедел иней. По Волге шло сало. В затонах — как и в прошлом году — кричали столпившиеся пароходы с беженцами из Сталинграда. Ледяной восточный ветер нес по трамвайным рельсам мусор и пыль. Вагоны трамвая, с фанерой вместо стекол, сухо визжали на поворотах. Люди в ватниках, обвешанные мешками и кошками, стояли на буферах, держась за крышу. И на углах возле репродукторов, спиной к

ветру, стояли черные толпы, слушая утреннюю сводку.

— Держится? — спрашивал опоздавший, быстро присоединяясь к толпе.

— Держится, — отвечали из толпы.

И люди быстро расходились, глубоко засунув красные руки в карманы и отворачиваясь от лютого ветра, секшего лицо песком и пылью.

Сталинград был город нашей славы, город Сталина. Отдать его немцам на поругание народ не мог.

И он его не отдал.

XX

— В конце декабря, после продолжительного отсутствия писем, неожиданно появился Петя. Он, как и в прошлый раз, прибыл за самолетами, был очень занят и провел со мной только один вечер, а наутро улетел обратно на фронт.

Это короткое свидание меня очень обрадовало. Оно не только усилило мою надежду скоро увидеть могилу Андрея, но теперь, когда мы разгромили немцев под Сталинградом и гнали их на запад, я твердо знала, что так оно и будет.

Карта, на которую еще так недавно страшно было смотреть, теперь притягивала к себе, как магнит. От нее трудно было отвести глаза. Толпы у репродукторов долго не расходились, слушая мощные голоса хора, гремевшего по всему городу — «Партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков». Это был гимн наших побед.

Все было превосходно, замечательно. И зима стояла тоже на редкость толковая. Завернули крепкие морозы с пургой, с буранами. Злые вихри несли с Заволжья тучи сухого снега. В иных местах, поперек заводского двора, лежали длинные сугробы по грудь человека. В других — асфальтовые дорожки были гладко выметены ветром и ополитрованы до глянца.

Волга курилась белым дымом поземки.

И люди, топая по крепкому снегу подшитыми валенками, кряхтя, приговаривали:

— Хороша погодка. Погодка правильная. Так и надо. Заворачивай круче. Пускай теперь немцы на Дону попляшут.

Но зато, когда бывало ненадолго ухдили тучи и ледяное морозное солнце озаряло потонувший в разноцветных снегах город и Волгу и леса за Волгой, то это было неотпущимо красиво, точнее сказать, — прекрасно, даже волшебю.

В один из таких именно дней и приехал Петя. Я его совсем не ждала. У меня и в мыслях этого не было. Во всяком случае он о такой возможности не упоминал в своих письмах ни разу. Однако весь этот день я провела на заводе

в каком-то особенно легком, возбужденном состоянии. Я думаю, что тут на меня влияло все вместе: и наши победы, и хорошие дела на заводе, — мы получили переходящее знамя Наркомата Оборонь! — и чудеснейшая погода.

Я ушла домой рано. Мне захотелось пройтись, погулять, побыть одной — потребность, которой я давно уже не испытывала.

Солнце только-что зашло. На западе в необыкновенно чистом зеленом небе холодно и ярко горели розовые, изумрудные, лимонно-желтые полосы. При сильном ледяном ветре они казались еще ярче и холоднее. На них больно было смотреть.

Наледь у водяных колонок, сосульки, ледяные полосы, накатанные ребятами у подворотень, — все горело стеклянным золотом.

В круглом сквере у памятника Ленину устанавливали большую голубую сосну, которая обычно заменяла здесь новогоднюю елку.

В этом тоже было что-то возбуждающее.

Помню все до мельчайших подробностей.

Я прошла по непомерно длинной, прямой Куйбышевской улице мимо «Гранд-отеля», где занесенные снегом стояли щегольские машины с иностранными флагами.

Гладкий ветер со страшной силой дул вдоль этой улицы, как сквозняк. У меня замерзли уши, а щеки стали твердые, как яблоки. Девушки в солдатских шинелях, ушанках и сапогах, с очень красными щеками, очень синими глазами и кудряшками, поседевшими от мороза, торопились пробежать угол, где всегда особенно свирепствовал ветер. Я тоже побежала, сильно топая валенками. С пристани, скрипя, поднялся в гору обоз. Густая, зимняя шерсть лошадок была покрыта инеем. Из ноздрей валил пар, а ветер вырывал его и уносил, как вату.

Отвернувшись от ветра и стараясь не дышать, я добежала до своего дома. Возле ворот была длинная, накатанная мальчишками полоса. Тут во мне, вдруг, заговорил какой-то забытый детский инстинкт. Я разбежалась, поставила ноги одну за другой и помчалась по льду. Я едва не сбила с ног летчика в кожаной шубе и меховых сапогах, который как-раз в этот момент, нагнувшись, входил в калитку ворот. Я не успела затормозить и обеими руками схватилась за его плечо. Это был Петя. От неожиданности он так смутился, что даже не старался скрыть своего смущения. Он просто расерялся. Он стоял передо мной в своих серых кудрявых пимах из собачьего меха, с большим планшетом у колена, с красным, немного погрубевшим лицом, и дышал в овий цигейковый воротник, белый

от дыхания. Я же ничуть не смутилась, а только бесконечно обрадовалась.

— Вы давно? Надоело? — сказала я, беря его под руку. — Вы себе не можете представить, до чего я рада вас видеть. Пойдемте же.

— Семедня приехал. Завтра улетаю назад.

— Из-под Сталинграда?

— Был и под Сталинградом.

— Вы как будто немного изменились. Устали?

— Я думаю, — сказал он, усмехаясь, и его карие, девичьи глаза по-старинному блеснули ярко и озорно.

— Как дела на фронте?

— Наши недурно, а немцев — хуже.

У него был жесткий, простуженный голос.

Я напоила его чаем. Он молча выпил чашек шесть и лишь после этого немного пришел в себя. Зинаида Константиновна работала во второй смене. Мы были одни. Пока он пил чай, стараясь не слишком грубо кусать сахар, я рассматривала его лицо. Действительно, за это время он изменился. Не то что бы он постарел, а как-то стал более зрелым, определенным. Лицо его, если не считать еле заметной седины на висках, в общем осталось прежним. Но изменился характер лица. Раньше в нем преобладало выражение озорного лукавства. Теперь же, хотя озорное лукавство и осталось, в лице преобладало выражение непоколебимой решимости, я бы даже сказала — жестокости. Глаза немного прищурились, под ними обозначились суховатые морщинки, а поперек лба, над переносицей, прорезалась новая, твердая черта, которая делала Петю чем-то неуловимо похожим на Андрея. Видно, не так-то легко давалась война людям.

Стемнело. Стал особенно заметен раскаленный, малиновый змеевичек круглой, глиняной электрической плитки. Я опять опустила бумажную штору и опять зажгла лампочку под черным колпачком. И мы опять, как и в первый петляв приезд, заговорили об Андрее. Говорили долго. Потом разговор как-то сам собой оборвался. Мы долго молчали. Как говорится, пролетел тихий, грустный ангел.

— Знаете что, Нина Петровна, — вдруг сказал Петя решительно, — не сходить ли нам с вами в оперу? В самом деле, — прибавил он робко, — ведь как-ни-как Государственный Большой Академический театр. Лучший театр Союза. Когда еще в нем побываешь? Для фронтовика это, знаете, большая мечта.

Мне не хотелось идти в театр. Я отвыкла от всяких зрелищ и не чувствовала в них никакой потребности. Но было бы слишком жестоко лишить этой радости человека, попавшего всего на один день с фронта в тыл. Я переоделась, и мы отправились во Дворец культуры, где

временно шли спектакли Большого театра.

Погода переменилась. Начинался буря.

Петя побежал к кассе, но вернулся расстроенный. Оказалось, что сегодня понедельник, спектакля нет, а исполняется «Седьмая симфония» Шостаковича.

— Так прекрасно, — сказала я, — слушаем музыку.

— Весь вечер один оркестр без артистов! — огорченно сказал Петя. — Не повезло нам с вами, Ниночка. Как же быть?

Однако ничего другого не оставалось. Петя пошел за билетами.

XXI

— Первые же звуки оркестра погрузили меня в привычный мир воспоминаний.

Вы, наверное, слышали Седьмую симфонию?

Сначала в музыке все было очень хорошо, я представила себе теплое и немножко дождливое летнее утро. Я шла через дачную местность встречать Дусю, которая обещала приехать с двенадцатичасовым поездом. На душе у меня было легко, спокойно. Все складывалось как нельзя лучше. Летом мы никогда не жили в городе, а занимали до сентября избу у одного колхозника. Мать жила в деревне все время, а мы с отцом — как люди занятые, рабочие — наезжали, когда позволяло время, но с субботы на воскресенье — обязательно.

С Андреем мы уже были мужем и женой, но еще вместе не жили, так как в Москве квартиры у него не было, а находился он почти все время на севере, где готовился к большому арктическому перелету. Обстоятельства сложились так, что после Севастополя мы виделись с Андреем всего несколько раз, да и то не надолго. Но этим летом, в конце июня, он обещал приехать и пожить с нами в деревне до августа. А зимой уж мы должны были поселиться с ним вместе в Москве в прекрасной квартире, в новом доме гражданского воздушного флота.

Ожидая Андрея, я не чувствовала особенного нетерпения. Мы любили так крепко и так верно, перед нами — казалось мне — была такая длинная, счастливая жизнь, что днем раньше, днем позже, это уже почти не имело значения. Даже было какое-то наслаждение в ожидании.

Конечно, мы переписывались. Но Андрей не сообщал мне точно дня своего приезда. По некоторым намекам, заключающимся в его веселых и обстоятельных письмах, я имела основание предполагать, что он готовит для меня приятный сюрприз и собирается нагрянуть

неожиданно. Я ждала его каждый день. Я шла на станцию встречать Дусю, но в глубине души была уверена, что встречу его.

Я нарочно вышла из дому пораньше и выбрала самую длинную дорогу, чтобы кстати и погулять.

Сначала я прошла по длинной просеке хвойного леса. Лес был необыкновенно молчалив, как, впрочем, это всегда бывает в пасмурный июньский денек. Среди смолистой темной и свежей зелени елок стоял голубоватый туман. Обычно по воскресеньям в этот лес приезжао из Москвы много гуляющих. В чаще обычно трещал валежник, и раздавалось гулкое ауканье. Но сегодня в лесу было очень тихо. Только слышалось, как падали капельки тумана. Эту тишину я объяснила себе дурной погодой, но все-таки было почему-то немного неприятно.

Потом я перешла через великолепную какатаную, чугунно-силюю от ночного дождя автомобильную магистраль Москва—Минск, очень широко и красиво огивавшую лес своими выбеленными столбиками. Мимо меня в сторону Минска промчался грузовик, наполненный какой-то канцелярской мебелью и кроватями. На этой мебели сидели красноармейцы, накрывшись от дождя зеленой палаткой. Вероятно, едут в лагери, — подумала я, — однако поздновато. Мне это тоже почему-то немного не понравилось. Я пошла дальше.

Дальше был опять лес, но уже в другом роде. Это была некрасивая редкая сосновая роща с голыми, высокими стволами и маленькими, грязными кронами. Такие некрасивые рощи без травы, с вытоптанной землей обычно бывают вблизи химических заводов. Я видела её в первый раз. Через эту некрасивую рощу бежали напрямик и не в ногу две старухи в серых платках. Они поминутно оглядывались назад, размахивая пустыми корзинками. Эти не в ногу бегущие старухи и эта бесцветная роща еще более неприятно поразили меня. Они прозвучали, как посторонняя нота, по ошибке взятая в оркестре каким-то второстепенным инструментом.

Для того, чтобы поскорее избавиться от неприятного впечатления, я прибавила шаг. Я обогнула прекрасный старинный пруд, окруженный вековым парком. Серебристо-голубые облака деревьев туманно отражались в тихой мыльной воде. По очень зеленому луку к воде шли очень белые гуси. Это радовало глаз. Но прежнего спокойствия уже не было и здесь.

В музыке что-то вдруг стало оступаться.

Где-то далеко на дачах Мичуринского поселка отрывисто и неразборчиво кричало радио. На станционной платформе было пустынно. Возле запертого газетного киоска стояло человек шесть. Они негром-

ко разговаривали. Я подошла к ним. Они замолчали, как бы желая от меня что-то скрыть. Я стояла и пошла по платформе дальше. Они снова заговорили. Мне посылались названия городов — Одесса, Киев, Кишинев. Они прошли мимо моего сознания. Но я услышала слово Севастополь, и во мне мелькнуло страшное подозрение.

Мимо платформы, не останавливаясь, со свистом промчался в Москву дачный поезд. В том, что он не остановился, не было ничего особенного. Не все поезда останавливались на этой станции. Необыкновенное заключалось в том, что обычно в воскресенье утренние поезда шли в Москву пустые, а этот был переполнен.

Знакомый инженер с женой и юношей-сыном, не по-дачному одетые, стояли на краю пустынной платформы.

— Ради бога, — сказала я, — что случилось?

— Как, разве вы ничего не знаете? — строго сказал юноша-сын, и я увидела на его спине зеленый рюкзак.

Я увидела абсолютно неподвижное лицо матери и поняла все. И, вдруг, на одно мгновение передо мною на тысячи километров открылась серая, утомительно мерцающая, безжизненная пустыня войны. А маленькие заводные барабанчики — два или три — маршировали, невидимые за слоистым горизонтом. Они редко ударяли своими палочками и отбивали шаг.

Я поняла, что никто не придет и что все прежде кончено. Когда я прибежала домой, мать уже увязывала вещи. В тот же день мы вернулись в Москву.

А в музыке все продолжало и продолжало что-то оступаться, как человек, идущий ощупью среди бела дня по темной лестнице при утомительном и бесполезном свете синей лампочки.

Пустыня войны знойно мерцала за городом. В лестничных клетках стояли ящики с песком. Это был песок из пустыни войны, освещенный синим аптекарским светом. На чердаках висели орудия пытки — грубые щипцы и громадные клещи. Витрины магазинов в новых корпусах на улице Горького закладывали косыми штабелями мешочков с песком из пустыни войны. Война, как чума, метила косыми белыми крестами каждое стекло в окнах домов. По вечерам затемненная Москва была величественна и прекрасна. Ее новые светлые мосты, длинными арками повисшие над водой, ее старинные башни и зубчатые стены, купола и колокольни Кремля — все тонуло в душном, меловом воздухе. Вечер постепенно сгущался в затемненных улицах, как копоть. Высоко на крышах, на светящемся фоне еще не погасшего зеле-

новатого июльского неба, по всей Москве отчетливо виднелись силуэты зенитчиков и пожарных, стоящих лицом к западу.

Это был час, когда над Москвой поднимались аэростаты воздушного заграждения. Мертвые белые животные с повисшими плавниками уходили, темнея, на головокругительную высоту и останавливались там среди слабых звезд, — еле заметные невооруженным глазом — как черные бактерии воздушной тревоги.

А маленькие барабанчики продолжали маршировать, отбивая свой механический шаг, и безумная флейта осторожно, как шакал, шла за ними по слоистым пескам, все время оступаясь, и никак не могла попасть в ногу. И вдруг она отчаянно вскрикнула. Ее высокий, фальшивый, мучительно вывихнутый голос взвился над темным городом и упал замертво. А на рассвете, когда люди после бессонной ночи выходили из метро и шли с узлами домой, у них под ногами хрустел горячий песок, занесенный на тротуары из пустыни войны. Воспаленное солнце всходило, подернутое сизой пеленой гари.

А барабанчики все настойчивее и тверже отбивали шаг. Теперь к редкому постукиванию барабанов присоединились рожки. Резкие голоса рожков выводили из-за слоистого горизонта черные кресты на белых знаменах и белые кресты на черных танках. В дыму и пламени города медленно двигалась машина войны. Смертью в лицо дышало бесцветное небо над черными армиями, выходившими одна за другой из-за плоского горизонта.

Капитан Гастелло, весь охваченный пламенем, как гений света, пролетел и врезался в черные танки с белыми крестами.

Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских, полированных плит. Смерть клала — черные лабрадоровые плиты. Слава клала — красные, гранитные. Я подвела Андрея к темной бронзовой двери. Дверь отворилась. Я поцеловала Андрея в закрытые глаза и гипсовые губы.

И уже нечем было дышать.

А механические барабанчики все шли и шли, выстукивая палочками свой злобный марш — угнетающий и однообразный. Иногда этот марш заносило песком, и тогда он еле слышался. В затаившей музыке все что-то продолжало оступаться. Завод кончался. И, наконец, оступившись в последний раз, оно остановилось, как бы повиснув в воздухе над самой землей. И в последний раз надтреснуто прозвучал голос рожка.

Некоторое время длилось молчанье, и вдруг разразились бурные аплодисменты.

Я очнулась. Как после глубокого сна, я увидела пышный зрительный зал, раскрытую сцену, уставленную попугаями. Я увидела музыкантов, грифы скрипок и опущенные смычки. Дирижер с широкой крахмальной грудью и орденами на лацкане фрака, возбужденный, счастливый, розовый, вытирал платком блестящий лоб и раскланивался, стоя возле своего высокого пульта. В ложе правительства поднимался со своего места, отставляя бархатный стул, товарищ Вышинский.

Рядом со мной неподвижно, с полузакрытыми глазами сидел Петя. Несмотря на то, что оркестр уже не играл, мне казалось, что музыка еще продолжается, и маленькие барабанишки тащутся по сугробам, на каждом шагу оступаясь, останавливаясь и падая.

— Пойдем, покурим, — сказал Петя, решительно вставая. Он, быстро прихрамывая, пошел в своих косолапых пимах впереди меня к выходу.

Я поняла. Он не хотел, чтобы я заметила его слезы. Выходя из стонущего зала, я оглянулась и увидела худенького молодого человека в пиджаке с отстающимзади воротником, в очках, с петушком на макушке. Он быстро, сухо пожимал руки скрипачам и кланялся. Это был Шостакович.

Когда мы спустились в нижнее фойе, Петя уже привел себя в порядок. Он закурил трубку. Это была трубка Андрея, которую я подарила Пете на память о друге.

Мы стояли под сияющей четырехугольной колонной искусственного мрамора, цвета морской воды. Мимо нас по кругу ходила публика. Выделялись фисташковые и бежевые френчи английских и американских офицеров, черные пиджаки дипломатов, вязаные джемперы иностранных корреспондентов. Пахло хорошиими духами и египетскими папиросами. Из дубовых решеток отопления дышало жаром, и трудно было представить, что на дворе сейчас буря и сумасшедший ветер несет над Волгой тучи мутного снега, прозрачно освещенного невидимой луной.

— Понравилось? — спросила я.

— Толково, — решительно сказал он. — Это бы надо, чтоб в армии послушали. Выдающееся произведение советской музыки.

Возвращаясь на свои места, Петя взял меня об руку и осторожно пожал мои пальцы.

— Эх, Ниночка, обидно, что нашего Андрея нет. Не довелось ему увидеть, как немцев раздолбали под Сталинградом. Это была редкая красота.

Я спросила о своей поездке на фронт.

— Теперь скоро, — сказал он уверенно.

Когда мы сели на свои места, Петя погладил мою руку и осторожно ее поцеловал. В это время дирижер взмахнул палочкой, и тотчас я перенеслась в Севастополь в номер маленькой гостиницы на набережной «Хрустальной бухты». Мы проснулись с Андреем и увидели потолок, сияющий в знойном сумраке комнаты.

XXII

— Живая зеркальная сетка, мелко и часто мигая, текла по потолку. По этой сетке иногда медленно двигались небольшие радужные тени каких-то непонятных предметов. Очарованная, я долго смотрела на экран потолка, не соображая, что же это такое.

— Андрияша, что это такое? — наконец, спросила я, пересилив смущение.

Он покосился на меня нежными, веселыми глазами, блеснувшими в потемках.

— Этот феномен, — сказал он, — называется в физике камера обскура. Слышала?

Боже мой, до чего ж мне приятно было слышать его густой, окающий голос и чувствовать щекой его круглое большое плечо.

Мы проходили физику и я, конечно, знала, что такое камера обскура. Но как же я сразу не догадалась!

Мне стало весело.

— Значит, никакого волшебства? — сказала я.

— Наоборот, сплошное волшебство, — сказал он.

— Ты так думаешь?

— Конечно. Разве то, что происходит с нами, не волшебство?

— Ты думаешь? — еще раз сказала я, стараясь как можно полнее и глубже понять его чувство.

— Как же не волшебство, когда волшебство! — воскликнул он горячо, почти с восторгом. — Подумай и разберись. Мы с тобой забрались в темную коробку, закрылись ставнями и воображаем, что спрятались от всего мира. Но природа не терпит темноты и одиночества, даже, если это одиночество вдвоем.

Я тотчас поняла его мысль.

— Ага. Я понимаю. Ставни. А в ставнях — дырочка от сучка. Довольно самой маленькой дырочки, чтобы... Верно?

— Во, во. Для того, чтобы проник один только луч. А уж вместе с этим лучом и все остальное. Погляди, как замечательно. Живое изображение Хрустальной бухты во всех подробностях. Маленькие волны и на них маленькие молнии солнца.

— В общем похоже на живой мрамор, — сказала я.

— И даже на казанское стирочное мыло с синими жилками.

— Сам ты казанское мыло.

— Ничего не поделаешь, люблю Волгу. А Казань — город волжский.

Ох, какой вздор несли мы от смущенья и как замечательно было нам вместе в это наше первое утро. До чего приятно мне было называть его Андрюша и слышать, как он называет меня Нина. Для того, чтобы лишний раз назвать его Андрюшей, я все время обращалась к нему с разными вопросами и разъяснениями по поводу феномена камеры обскуры с такой серьезностью, как будто бы он и впрямь был великий специалист по камерам-обскурам.

— Андрюша, а это что за предмет движается?

— Этот? Маленький?

— Да. Радужный. С лапками.

— Не узнаешь?

— Нет, Андрюша.

— А ты всмотришься, Нина.

Я стала прилежно всматриваться. Было что-то знакомое в этом маленьком предмете. Особенно в его движущихся, сверкающих лапках. Но все же я никак не могла постигнуть.

— Ну? — сказал Андрей, поглядывая на меня сбоку. — Эх, ты! А еще студентка. Да ведь это л...

— Лодка! — закричала я, вдруг узнав предмет. — Лодка!

Действительно, это было маленькое волшебное изображение ялика. Серый и красный, со сверкающими лапками весел, он маленькими толчками дрыгался, опрокинутый над нами на потолке, по зеркальной сетке морской ряби. Я даже разглядела двух человечков — одного на корме, а другого на веслах. И еще проносились какие-то белые, сияющие тени. Но их я узнала уже без труда. Это были чайки. И мне тотчас захотелось как можно скорее вон из комнаты, на простор, на солнце, в море.

Не успела я об этом подумать, как Андрей уже сказал:

— Купаться?

— Конечно. И как можно скорее! Не валяться же здесь целый день.

— С добрым утром, — сказал Андрей.

— С добрым утром, — сказала я.

Мы прямо и просто посмотрели друг другу в глаза и крепко поцеловались. И тотчас я перенеслась в военную закамуфлированную Москву, с домами, размазанными синими, багровыми, черными геометрическими фигурами, как на картинах супрематистов. Мы шли под руку по улице, заваленной промадными сугробами неубранного снега. Был январь сорок второго года, и мы не знали, что идем по Москве вместе в последний раз в жизни. Москва только что отбилась от немцев. Немцев гнали от Москвы. Это были упоительные дни первой нашей победы. Но на Москве еще

лежал суровый, грозный отпечаток осады. На окражах, на розовом фоне ранней зимней зари рисовались противотанковые ежи, сделанные из черных окрещенных реальсов, наполовину белых от снега. На кремлевской стене были нарисованы ложные окна и деревья. Фасад Большого театра, в который попала бомба, был закрыт громадной декорацией из Ромео и Джульетты. Было что-то пышное, итальянское, с колоннами и фонтаном. По улице Горького шли танки, грубо выкрашенные грязно-белой краской, и белые фронтные эмки с простреленными стеклами и помятыми боками, как сумашедшие, носились по улицам, нажолняя воздух тяжелым запахом военного бензина. Быстро смеркалось. Цигейковый воротник Андрея побелел от его дыхания. На Театральной площади начал явственно светиться циферблат часов, вымазанный синей краской. Возле кинематографа «Востоккино»... Простите, это кажется за мной!

Нина Петровна поднялась с травы и бросила мне шинель полковника. Уже было почти светло. Небо было покрыто серенькими предутренними тучками. На дороге против нас стоял маленький прямоугольный «Виллис» с брезентовым верхом. Из него выглядывал майор-легчик в фуражке с голубым околышем, с золотыми погонами, смуглый и с большими усиками.

— Нина Петровна! — кричал он.

— Ну, прощайте, — сказала Нина Петровна, подавая мне руку. — Это майор Савушкин. Спасибо за компанию. Оудайте, пожалуйста, шинель полковнику. Может быть, когда-нибудь встретимся.

Она подошла к «Виллису», бросила в него свой портфель, села в машину и они уехали.

Действительно, скоро мы с ней еще один раз встретились.

XXIII

Сначала мы шли пригибаясь, потом стали на четвереньки и поползли, осторожно раздвигая очень густую и очень высокую траву.

Метров через пятьдесят мы увидели наше боевое охранение.

Несколько бойцов лежало в уютных гнездах, устланных свежей соломой. Бронейбойщик-казах, маленький, с блестящим глиняным лицом, выставил далеко вперед ствол своего противотанкового ружья — тонкий и неестественно длинный, с кубиком на конце. Все бойцы были замаскированы. Поверх плащев на них были надеты широкие соломенные абажуры, а на некоторых — сети с нашитой на них травой. Это делало их похожими на японских рыбаков.

Вчера здесь были немцы. Ночью их

выбили. Позицию до прихода пехоты пока держал маленький отряд автоматчиков и бронебойщиков.

Увидев ползущего генерала, бойцы сделали попытку встать. Но генерал сердито на них шикнул. Они онова, поджав ноги, улеглись, как дети в свои ясли.

Стоя на коленях, генерал развел рукою рожь и начал медленно, тщательно осматривать в бинокль защитного цвета немецкие позиции.

Отсюда до немцев было не более полкилометра «ничьей земли».

— А где же наша пехота? — спросил я.

— Она сейчас подойдет, — сказал генерал, не отрываясь от бинокля.

Он был в простом, защитном комбинезоне, из штанов которого выглядывали пыльные голенища грубых солдатских сапог. Генерал подозвал к себе артиллерийского офицера, который сейчас же подполз на четвереньках.

Генерал и артиллерийский офицер стали в два бинокля осматривать местность. Их внимание особенно привлекал небольшой лесок, синевший позади ситцевого гречишного поля, на самом отдаленном плане панорамы.

По мнению генерала, там была батарея, по мнению артиллерийского офицера, — две засеченные еще вчера пушки.

— Карту! — сказал генерал и, не обращившись, протянул назад руку. В ту же минуту подполз адъютант, и в руке генерала оказалась ужасно потертая, вся меченая-перемеченая карта, сложенная, как салфетка.

Он положил карту на пыльную землю, покрытую сбитыми колосьями и мякиной, разглядел ее, насколько это было возможно, и погрузился в ее изучение.

— Прикажете кинуть туда штучки четыре осколочных, — сказал он. — Может быть, они ответят.

— Есть четыре осколочных!

Артиллерийский офицер пополз к своей ради. Это был ящичек с антенной в виде тонкого шеста с тремя длинными треугольными зелеными листками, что делало ее похожей на искусственную пальмочку.

В это время в воздухе что-то близко, коротко, почти бесшумно порхнуло.

— Мина! — негромко крикнул кто-то.

И в тот же миг раздался злой, отрывистый,брякнувший взрыв. Воздух довольно ощутительно толкнул и нажал в уши. Свистя, пронеслась стая осколков, сбивая цветы и колосья. Маленький осколочек со звоном щелкнул вдалеке по чьей-то стальной каске. Душный коричневый дым пополз по земле. Ветер протаскивал его, как волосы, сквозь частый гребень ржи. Тухло запахло порохом и горелым картоном, как бывает в летнем саду после фейерверка.

— Живы? — сказал генерал.

— Живы, — ответило несколько голов.

— Плохо маскируетесь, — сказал сердито генерал. — Устроили тут базар. Ходите, бродите. Нужно ползать. Понятно? Ройте щель. Только как следует, на полный профиль.

Несколько бойцов, лежа на боку, тотчас стали поспешно долбить землю коротенькими лопатками. Но в эту минуту пролетело еще две мины. Они разорвались немного подальше, повалив в разные стороны вокруг себя рожь, раскидав далеко васильки и ромашки, вырванные с корнем.

— Ищете, — сказал кто-то.

— Только не находите.

— Формалист, — сказал генерал, сдвигая на затылок свою легонькую, летнюю фуражечку и продолжая работать над картой. — Формально стали воевать немцы. Дайте перископ.

И тотчас в его руке очутился небольшой перископ.

Генерал пополз далеко вперед, — мне показалось, что он дополз до самого переднего края немцев, — лег там и высунул из ржи вверх зеленую палочку перископа.

Прилетела еще мина. Потом еще две. Потом скоро еще одна. С этого времени вплоть до броска в атаку через правильные промежутки стали прилетать тяжелые мины. Они рвались и близко, и далеко, и справа, и слева. Но на них уже больше никто не обращал особенного внимания, так как все очень хорошо понимали, что немец бьет наугад, а все остальное — дело случая.

Закончив работу с картой, — ориентировав ее по местности, — генерал отдал несколько приказаний на тот случай, если с фланга появятся неприятельские танки, и сначала ползком, а потом только пригибаясь, пошел на соседнее клеверное поле, где у него был приготовлен вспомогательный пункт управления.

Это была обыкновенная щель, в которой уже сидел в земляной нише телефонист в каске и названивал в танковые батальоны, занимавшие где-то поблизости, в складках местности, исходные позиции перед атакой.

Генерал посмотрел на часы. До начала атаки оставалось еще пятнадцать минут. Все вокруг было тихо. Разумеется, «тихо» в том смысле, что огонь с нашей и немецкой сторон велся в спокойном, неторопливом, ничего не предвещавшем ритме.

Стреляли из всех видов оружия.

Далеко, в тылах, этот огонь, вероятно, представлялся слитным, раскатистым гулом, подавляющим и грозно-тревожным. Но, находясь в центре этой разнообразной канонады, люди привычным умом, совершенно безошибочно определяли, какой звук для них опасен, может быть, даже смертелен, а какой — нет.

Все «безопасные» звуки, как бы громки

они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то как бы на втором плане. Все звуки «опасные» в свою очередь делились на просто опасные и смертельно опасные и в соответствии с этим занимали в сознании более или менее важное место.

Так, например, потрясающий грохот тяжелых авиабомб, которые время от времени немецкие «хейнкели» высыпали целыми сериями на соседние дороги с большой высоты и очень неточно, — они почти не привлекали внимания, так как непосредственно нам не угрожали, хотя вдалеке со всех сторон вокруг нас и поднимались гигантские, многоярусные, черные, зловещие тучи их взрывов.

Свист ежеминутно перелетавших через голову туда и обратно немецких и наших снарядов тоже мало привлекал внимание, хотя был назойлив и громок.

Зато порхающий звук прилетевшей мины чуткое ухо улавливало каким-то чудом еще за секунду до его возникновения, и люди успевали прижаться к земле или прыгнуть в щель.

Глаз мгновенно замечал молниеносную тень вдруг подкравшегося на бегущем полете «Мессершмитта». (Мелькало что-то черное, желтое, как оса, с крестами). Он проносился над нашим полем, паля из всех своих пулеметов и подымая этой пальбой частые фонтанчики пыли.

Иногда из какого-нибудь большого, подозрительного, дырявого облака вдруг вываливалась курсом прямо на нас тройка или шестерка бомбардировщиков, плохо видных против солнца.

Тогда все напряженно задирали головы вверх, желая распознать, свои это или «его». И непременно какой-нибудь оптимист говорил:

— Наш.

И непременно какой-нибудь пессимист сумрачно отвечал:

— Только бомбы немецкие.

Вслед за тем на нас обваливалось небо. Окоп ходил ходуном. Нас трясло. Земля сыпалась за воротник; комья стучали по фуражке. Мы были потные, грязные, как черти.

Осмотрев в последний раз в бинокль поле боя, на котором — генерал это знал лучше всех — через пять минут будет твориться нечто невероятное, он велел в последний раз обзвонить все танковые батальоны и дружески разговаривал с каждым командиром.

— Ну, как самочувствие?

Командиры двух батальонов подошли к телефону тотчас же. Третий не подошел. Вместо него подошел его заместитель:

— Я просил не заместителя, а самого командира, — строго сказал генерал.

— Товарищ четвертый, двадцать пятый лично подойти не может.

— Почему?

— Он намыленный!

— Чем?

— Мылом. Бреется. Он приказал доложить вам, что все в порядке и все на месте. А что касается бритья, то оно будет полностью закончено через три минуты. Прикажете прекратить бритье или разрешите добриться?

— Хорошо. Пусть, добреется, — сказал генерал, подумав.

XXIV

После этого я увидел роту пехоты, которая шла прямо на нас, поднимаясь из лощины на гору. Гвардейцы шли во весь рост, широкой цепью по пестрому малиновому, лиловому, зеленому клеверному полю. В матовых зеленых касках, с туго затянутыми ремешками, в зелено-желтых маскировочных плащах и сетках, размашисто шагая по великолепной орловской земле, они несли на плечах кто пулемет, кто трубу миномета, кто ящик с патронами или минами, кто просто автомат, положив палец на спусковой крючок и выставив вперед ствол.

— Ложитесь, черти! — крикнул молодой, смуглый офицер связи, — тот самый, которого я видел нынче ночью верхом на броневике — с пыльным лицом, каплями пота на подбородке и с сияющим орденом Отечественной войны первой степени на пропетевшей рубашке.

Они не слышали.

— Ложитесь! Ползите!

Несколько мин разорвалось между ними и нами. Они перелянулись. Но никто не лег. Они только прибавили шагу. Теперь они почти бежали. Они быстро приближались к нам, вырастая на фоне цветущего холма, на громадном фоне знойного орловского неба, тесно заставленного горами движущихся бело-синих облаков.

— Орлы! Гвардейцы! — сказал генерал с восхищением.

Рота побежала мимо нас, — вернее, через нас, — в сторону неприятеля и шагах в сорока залегла.

— Отсюда они после артиллерийского налета пойдут в атаку и выбьют мерзавцев из их узла сопротивления. Артиллерия, авиация и пехота взламывают немецкую оборону, а танки врываются в брешь и развивают успех... Чем, между прочим, и объясняется, — прибавил генерал не без ехидства, — что вы приехали в танковое соединение, а попали в пехотную цепь. Да и мое место, собственно говоря, не здесь, а сзади. Ну да ведь..

Я ничего не успел сказать, так как стрелка больших генеральских часов коснулась роковой цифры.

Над нашими головами неслись на запад сотни мелких, средних и крупных

снарядов. Я посмотрел в бинокль. Боевые порядки немцев заволокло дымом и пылью. Там что-то вспыхивало, рвалось, клубилось, взлетало вверх, падало черным дождем и вновь взлетало.

Тогда поднялась наша мехотная цепь.

— За родину, за Сталина! — крикнул чей-то голос, стараясь перекричать грохот и вой артиллерийского шквала.

И мы еле слышали протяжное, раскатистое «ура».

— Пошли ораы, — сказал генерал и вскочил на бруствер.

А уже телефонист кричал снизу, из своего окопчика, осипшим, счастливым голосом:

— Товарищ гвардии генерал-майор, командир второго батальона доносит, что неприятель выбит со своих позиций и бежит.

— Вижу, вижу, — сказал генерал, не отрываясь от бинокля. — Товарищ писатель, вам не приходилось видеть, как драпают немцы? Могу вам доставить это удовольствие.

И он протянул мне свой бинокль.

На среднем и дальнем плаже катилась пыль. Это неслись на завод немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. На переднем же плане я увидел горящее село с красной кирпичной церковью и маленьким погостом, мимо которого ползли, стреляя, четыре наших танка, с длинными пушками, выставленными вперед, как пушелоеты.

В жизни я не видел более приятного зрелища!

— Хорошо, — сказал генерал, вытирая рукавом со лба и с носа черный пот и стараясь достать из-за ворота землю. — А теперь надо поскорее ехать на правый фланг в район железной дороги. Адьютант, машину!

Мы покинули наше чудесное поле и стали спускаться в лощину. Теперь мы шли во весь рост по вспаханному клину. На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнилась «Война и мир» и Багратион, идущий по вспаханному полю, «как бы трудясь».

XXV

На другой день я проезжал через то село, которое мы накануне взяли. Ночью прошел сильный ливень. Он потушил пожары и не дал селу сгореть до тла. Но он сделал дорогу совершенно невозможной. Колеса грузовика поминутно буксовали в неглубокой, но очень скользкой грязи орловского чернозема. Каждые тридцать метров водитель выходил на дорогу с лопатой, покорно ложился под машину и подкапывал колеса. Иногда это

не помогало. Тогда он доставал из-под сиденья топор, рубил придорожный кустарник и устилал ветками наполненные водой колеи.

На выезде из села был довольно крутой подъем. Тут не помогли ни лопата, ни топор. Машина села прочно.

Пока водитель ходил за досками, я вышел размяться. Я дошел до конца подъема и среди ржи, поваленной ливнем и танками, увидел кирпичную церковь, а вокруг нее бедный деревенский погост. Я сразу узнал и погост, и церковь. Я их видел вчера в бинокль.

Со вчерашнего дня фронт еще дальше отодвинулся на запад. Немцы продолжали отступать. Орудийные раскаты слышались слабо, но так как по небу еще бежали обрывки синих грозových туч, то казалось, что это раскаты уходящей грозы.

Уже раза два показывалось горячее солнце, и тогда колеи разьеженной дороги начинали блестеть, как ртуть. Становилось жарко.

Наверху был соломенный шалашик, в котором сидел регулировщик с повязкой на рукаве и винтовкой между колен. Можно было подумать, что он сторожит рожь, такой у него был мирный, задумчивый вид.

Вдруг во ржи я увидел знакомое синее пальто и клетчатый платок, откинутый на плечи. Это была Нина Петровна. Расталкивая коленями сильную, частую рожь, она пробиралась с большим букетом мокрых полевых цветов, на котром, сложив крылья, сидела мокрая бабочка. Нина Петровна была умыта, и русые волосы ее были прибраны. Только теперь я мог рассмотреть ее как следует. Она была очень хороша. Я даже думаю — она была красавица. Она была прекрасна той чистой, ясной русской красотой, в которой неизвестно чего больше — прелести, ума или души. Ее откровенные зеркально-серые глаза с восковыми уголками были опущены, и в них отражалась большая важная дума.

Я окликнул ее. Она вздрогнула, но сейчас же оправилась. У нее только слегка зарумянился подбородок. Она улыбнулась мне прямой, легкой улыбкой и сказала:

— Пойдемте.

Мы обошли церковь. С одной стороны она была совершенно разрушена. В свежем проломе кирпичной стены я увидел иконостас, осыпанный штукатуркой, и внутреннюю поверхность купола с грубо написанным богом Саваофом. Когда мы проходили мимо пролома, из церкви вылетела стайка воробьев и села на сломанную пополам березу с еще живыми листьями.

За церковью, на краю погоста, вокруг старой военной могилы с новым только-

что поставленным тесовым обелиском, стояло несколько офицеров-летчиков. Среди них я узнал майора Савушкина.

Нина Петровна подвела меня к могиле.

— Вот здесь, — сказала она.

На обелиске была прибита небольшая стальная дощечка с выгравированной надписью: «Герой Советского Союза, полковник Андрей Васильевич Хрусталеv, жизнь свою отдавший за наше счастье».

— Это сделали у нас на заводе, — сказала Нина Петровна.

Я снял фуражку и некоторое время

смотрел вниз на траву, покрытую свежими, мокрыми стружками. От стружек пахло очень тонко и терпко. На траве, среди стружек, лежал забытый рубанок, вытертый, как стекло.

Нина Петровна, подобрав пальто, присела на низенькие деревянные перильца вокруг могилы и, перегнувшись, осторожно разложила свои цветы у подножья обелиска. Когда она это сделала, Петя помог ей встать.

Я взял ее небольшую, но крепкую руку и молча поцеловал.

Потом я уехал.

Москва, 1942—43 гг.

ВОСПОМИНАНИЯ

Стихотворение

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

★

1

Приближалась гроза. Тишины августовской настой
Пахнул горькой ромашкой. Мы шли, озираясь с опаской.
Гром катился за нами, как будто в телеге пустой
Кто-то с поля снесил по дороге неровной и тряской,

Вдруг, у самой околицы, ливень на нас налетел,
Словно коршун, с разлета крылом задевая за крыши,
И тревога пропала. Не чувствуя тяжести тел,
Мы взглянули на небо и подняли головы выше.

Ты намокла до нитки. Но ты улыбалась: — Постой,
Погляди, что за речкой осталось от ели косматой.
Помнишь, перед грозой — тишины августовской настой
Пахнула горькой ромашкой? Откуда ж повеяло мятой?
Каплю каждую влаги ловили деревья листвою
И, подол подобрав, туча шла по тропинке примятой.

2

В рассол для огурцов кладут пучок укропу
И кадку на руках выносят из сеней,
А я иду один бродить по черногроду,
Туда, где небеса просторней и синей;

Где бьет из-под земли зеленой пеной озимь
Сентябрьской суге грачей наперекор;
Где грянет выстрел вдруг и, бросив эхо о землю,
Покатится пустым бочонком за бугор;

Где бродит облаков медлительное стадо
И вегер, как пастух, идет за ним, трубя;
Где предо мной лежат все краски листопада,
Чтоб мог, моя любовь, я написать тебя.

ЗЕЙНАБ И АМАН

Поэма

ХАМИД АЛИМДЖАН



ВСТУПЛЕНИЕ

Хочу написать я правдивый дастан
О том, как любили Зейнаб и Аман.
О бурном огне, запылавшем в крови,
О первой, единственной в жизни любви,
О тихом сиянии доверчивых глаз,
О дружбе и верности — этот рассказ.
Пусть грозною поступью годы пройдут,
Пусть на плечи тяжело невзгоды падут —
Ни горькое горе, ни злая беда
Не вырвут из сердца любовь никогда.
И счастье допишет бессмертный дастан
О том, как любили Зейнаб и Аман.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

I

Полны веселья и отрады
Зейнаб бесхитростные дни.
Идет она среди прохлады
По саду тихому в тени.
И ветви сонные склоняет
Навстречу ей цветущий сад,
И детской радостью блистает
Ее замороженный взгляд.

Цветет привольно над землею
Зейнаб лукавая краса,
А сердце чисто, как весной
Раскрывшиеся небеса.
И птицы, в небе пролетая,
Ей подражают в быстроте,
И маки, к солнцу вырастая,
Ей подражают в красоте.
Идет Зейнаб, ногой касаясь
Зеленых трав, жемчужных рос,
И перед первой из красавиц
Вся степь, как бархатный пядозі,
Раскинулась, и караваны
Лиловых гор — навстречу ей,
И осыпаются тюльпаны
На тоненькие плечи ей.
И Зеравшан, с горы срываясь,
Забыв на миг свой бурный гром,

Блестит пред первой из красавиц
Волны певучим серебром,
Поводит девушка очами,
И словно в них отражена
Навеки чуждая печали,
Навеки юная весна.

II

Ты знаешь ли, какое солнце
В стране, где выросла Зейнаб?
Его прекрасней не найдется,
Весь мир объезди ты хотя б.
На этот край взглянуть захочешь —
И в плен навеки попадешь,
Водю губы чуть намочишь —
И жадным ртом к ручью прильнешь.

На эту землю ступишь только
И где б по свету ни блуждать —
Ее пылинки на подметках
Тебя обратно будут звать.
Покажется, что все желанья
Твои исполнились с тех пор,
Как ты увидел гор сверканье,
Степей тюльпановый простор.

Здесь, полон песен и поверий,
Шумит арык в тиши ночной
И плачут сказочные пери
Над несмолкающей волной.
Здесь в малахитовых долинах
Стекло сапфировых озер,
Здесь куши маленьких и синих
Фиалок у подножья гор.
И водопады, пролетая
Со скал на темные скалы,
Свисают здесь, волной блистая
Среди прозрачной полумглы.
И каждый луч, упавший ночью
На землю сонную с луны,
Здесь равен солнцу. И вочью
В нем все цвета отражены —
И новорожденные почки
Урюка розовых цветов,
И возникающие строчки
Еще не созданных стихов,
И счастье девушек, что всюду
Сопровождает их в садах,
Подобно розовому чуду

¹ Пядозі — свадебный ковер.

Горит румянцем на щеках.
Здесь девушкам любви уроки
Дает бессонный соловей.
Здесь я придумал эти строки,
Здесь родина Зейнаб моей.

III

Где сердце, что любви не знало,
К ней не спремилось вновь и вновь?
Вставала над землей любовь
И небо звездами сверкало,
И конь под звездами скакал,
Неся наездника к любимой,
Любовь.. Среди пустынных скал
Певец блуждает нелюдимый.
И сколько перед ним во мгле
Теней тоскующих проходит —
Меджун на пасмурной земле
Свою подругу не находит.
И где-то от него вдали,
Ночные косы расплетая,
Рыдает нежная Лейли,
Подушке скорбь свою вверяя.
И в тишине среди громад
Дробит скалу кирка Фархада.
Стизну потерял Фархад
И сердце подвигу не радо.
Хранит волшебную красу
Ширин, плененная Фархадом,
Но век подносит ей касу¹.
Наполненную горьким ядом.
Печальна летопись любви,
Печальны милье виденья,
Но все-таки живут в крови
Ее прекрасные волненья.
И все-таки — она весна!
Как сердце смуглое тюльпана,
В венце веков живет она
Неповторима и желанна.
Она — стесненный первый вздох,
Лиловая фиалки завязь
И шорох легких башмачков,
И лунного восхода зависть!
Когда девическая грудь,
Чистейшей белизной блистая,
Откроеется. Спеши вдохнуть,
Моя отрада молодая!
Спеши, мой радостный герой,
Ты в этот миг из света создан.
Ты станешь бронзовой горой,
Подругу поднимая к звездам.

IV

Еще печали и волненья
Чужды душе Зейнаб моей,
Но словно дивное растение
Любовь раскрыла листья в ней.
Все волосы Зейнаб в косички
Несметные заплетены,
Бегут, как струйки-невелички
Тяжелой ласковой волны,
И над губой ее атласной,
Как капля бархата, черна,
Сокровищ всех земли прекрасней,

¹ К а с а — большая пиала.

Темнеет родинка одна.
А грудь беда, как снег на склонах
Незыблемых Тяньшаньских гор,
Но взглядов юношей влюбленных
Не видит огне-черный взор,
Лишь брови вскинуты, как крылья,
Как ласточка издадека..
Она смеется без усилия,
Она печалится слегка,
И звезды хороводы водят
По небосводу перед ней,
И зори алые приводят
Сверкание зеленых дней.
Ей кажется: любовь — привольный
Весенний луг, без перемен,
Срывай цветы охалкой полной
И росы стяхивай с колен,
Иди, держась за край халата,
Иди за милым, словно тень,
Иди с восхода до заката,
За ночью — ночь, за днями — день!
Любовь! Зейнаб ее не знала,
Ждала ее.. Так под лучом
Степная горлинка играла
Несмелым, молодым крылом.

V

Но вот урюк розовоцветный
В саду у девушки расцвел,
И взгляд очей ее приветный
Себе избранника нашел.

Бутонов в цветнике так много,
Прохладой дышат перед ней,
Джигитов в кишлаке так много,
Отвагой пышут перед ней.
Так почему — сама не знает
И удивляется Зейнаб —
Аман мечты ее пленяет,
Аман лишь нравится Зейнаб?
Другие юноши не хуже —
Сильна рука и глаз остер.
Блещут дедовским оружием,
Коней выводят на простор.

Один раскинет руки-крылья
И в небе соколом вспорхнет,
Другой — кинжалом без усилия
У тигра ребра рассечет,
А третий — на коне поскачет,
Подковой по степи блеснет,
И бег коня его горячий
Обгонит молнии полет.
Ну, а четвертый — над горами
Котмень размашистый взметнет,
И зашумит поток волнами,
В седую степь вода придет!
Как меч отточенный, могучи
Рустема храбрые сыны,
Подвластны им земля и тучи,
В труде они закасны,
Так почему — сама не знает
И удивляется Зейнаб —
Аман мечты ее пленяет,
Аман лишь нравится Зейнаб?

VI

О нем грустить она не хочет,
А между тем, за днями день,
Глядит ей в сумрачные очи
Его смеющаяся тень,
Куда бы ни пошла и чтобы
Ни стала делать — он за ней.
Заплакать, что ли, ей со злобы
Иль засмеяться веселей?
И, словно лист румяной розы
Под налетевшим ветерком,
Зейнаб отряхивает слезы
И шепчет про себя тайком:
«За что люблю тебя — не знаю,
Но только знаю, что люблю..
Я быстрых дней не замечаю
И ночи длинные не сплю..
Все передумав, я не в силах
Лишь два сомненья разрешить:
За что тебя я полюбила
И как тебя мне разлюбить.
Все дни над ними я гадаю,
Все ночи из-за них не сплю..
За что люблю тебя — не знаю,
Но только знаю, что люблю!»

VII

И снова ночь. Затихли птицы.
Идет, легко шагая, ночь,
В озера черные глядится
Волшебница седая ночь.
Гнездится ночь в полях, на травах,
На волны рек слетает ночь,
Вершины тополей кудрявых
Задумчиво качает ночь.
Проходит ночь по склонам горным
И спит в саду среди ветвей,
И смотрит взором омраченным
Из черных глаз Зейнаб моей.
Пред нею — белая страница,
Над нею — непроглядный мрак,
И дум толпится вереница,
И чувств не высказать никак:
«Аман! Я более не в силах
Скрывать огонь любви моей.
Нет больше дней простых и милых
И нет безоблачных ночей,
Ничто не радует на свете...»
Так, три страницы исписав
И об кривые строки эти
Чернильный карандаш сломав,
Зейнаб вздохнула, покраснела,
Письмо, нахмурясь, перечла,
И вдруг порывисто и смело
Все на клочки изорвала,
Не то.. Но снова — за бумагу
И вновь рука к карандашу..
«Где взять мне смелость и отвагу,
Когда письмо тебе пишу?
Я все ждала, ждала, любимый,
Что первый ты заговоришь,
Но ты идешь, потупясь, мимо
И о любви своей молчишь.
Мы промолчим так дни и ночи!
И, может, жизнь всю напролет...»
Опять не то. И снова в клочья

Зейнаб листы бумаги рвет.
Письмо не вышло и не надо!
Зейнаб ступает на крыльцо,
И гладит тихая прохлада
Ее горячее лицо.

VIII

Идет она, куда не зная,
Среди деревьев и теней,
И ночь, волшебница седая,
Расчесывает косы ей.
Стоят безмолвно над водою
Кусты серебряной джиды,
Своею замшевой листвою
Скрывают девушки следы.
Прекрасен мир полночный, спящий.
Причудлив затененный сад.
Висит холодный и блестящий,
Спокойно-черный виноград,
И месяц, опраженный в зыбкой
Зеленой хауза воде,
Сверкает быстрою улыбкой
Какой-то маленькой звезде.
Легит, прохладой обдавая
Долину, легкий ветерок,
Зейнаб идет, куда не зная,
В ночи, в безмолвии, без дорог.
Остановилась. Постояла.
Присела тихо у пруда.
Как рпуть чистейшая, блистала
Под светом месяца вода,
Из вод серебряных и сонных
Ее любовь навстречу ей
Взглянула парой огне-черных
И укоризненных очей.
И сколько волн у ног скользяло,
И сколько смято трав в руках,
И звезд блестящих затонуло
В бессонных девушки очах?..

IX

Она вернулась потихоньку,
Бесшумно в комнату вошла
И вслед за ней в дверную щелку
Ночная свежесть поползла.
Зейнаб ей, как подруге рада,
Как соучастнице своей.
И словно тайная отрада
Нечаянно вернулась к ней.
«Быть может, встань перед Аманом,
В лицо открытое взглянуть
И вместе с утренним саломом
Навстречу руки протянуть?»
Внезапной думою согрета,
Зейнаб к окошку подошла..
Зарницы первые рассвета
Забрезжили. Клубилась мгла.
И тень спускалась с гор к долинам.
Ведь, это утро! Ночи нет!
Сиянем розовым и синим
Качался медленный рассвет.

X

Заря Зейнаб застала в поле.
В сверканьи алой высоты
Качались, выросшие в холе,
Все в росах, теплые кусты.
Качались ровными рядами,

Как море, чуждое ветрам,
С темнозелеными волнами,
С пушистой пеной по краям,
Идет Зейнаб в листве по поясу,
Сбирает хлопок в фартук свой,
Опять ее девичий голос
Звучит отвагой молодой.
Подруги вкрут нее щебечут,
Смеются юноши вокруг
И волны хлопковые плещут,
Касаясь загорелых рук.
О, поля хлопкового волны
И купол неба голубой,
И фартук, белой ватой полный,
И капли пота над губой!
Ей кажется, что с шагом каждым
Она отвалу жизни пьет,
Ей кажется, что взмахом каждым
Охашкой счастье берет!
Так до заката золотого
Она трудилась. И когда
Взошла на синем небе снова
Хулькар — вечерняя звезда, —
Зейнаб оправила косынку
Слегка уставшею рукой,
Нашла знакомую тропинку,
Пошла с подругами домой.

XI

Видали вы, как звезды всходят,
По небу как они плывут?
Видали вы, как на заходе
С работы девушки идут?
Идут веселыми рядами,
Обнявшись, дружною гурьбой.
И песня льется над полями,
Над призратижнувшей землей.
Идут Зейнаб с Хури задорной,
Певунья Нур идет с Гульнар,
Адал с Кундуз неутомонной,
Дутарцица Сара с Анар.
И словно вся дорога в звездах,
И на входе от них круги,
И предвечерний чистый воздух
Разносит звонкие шаги.

XII

Но вот знакомый переулоч,
Высокий глиняный дувал,
Большой арык, бурлив и гулок,
Через дорогу здесь бежал.
Зейнаб, подругам руки сжавши,
Процаясь, улыбнулась им,
Прошла по жердочке, и дальше
Пошла одна путем своим.
Навспречу ей из полумрака
Джигитов шумная гурьба.
Как будто всадники с улака¹
Идут, насмешливо грубя,
Смеясь раскатисто и громко,
Как будто в ночь под новый год.
...С полей своих, со сбора хлопка
Домой расходитса народ.
И может быть, с друтими, мимо,
Одетый в шелковый чапан,
Сейчас прошел ее любимый,
Покой похитивший Аман.

XIII

Где сердце, что любви не знало,
К ней не спремилось вновь и вновь?
Вставала над землей любовь
И небо грозными сверкало.
И, словно путник в глубине
Полуиссохшего колодца,
В придуманном неясном сне
Мы ищем отраженья солнца,
И где гнездо совет Аман,
Где этот сокол склонит крылья?
Быть может, тягостный обман
Зейнаб страданья и усмлья?
Его увидев в первый раз,
Зейнаб лишь им на свете дышит.
Она поднять не может глаз,
Чуть звук шагов его услышит.
А если про него идет,
Хоть где-нибудь дурная слава, —
Зейнаб от горечи умрет,
Провалится сквозь землю, право,
Ее безумной назовут
И отвернутся все подруги,
И камни градом упадут
В ее приветливые руки!
Вот почему Зейнаб молчала,
Таила жар в своей крови
И сердце кровью истекало,
Изнемогало от любви.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

I

А в ичкари¹ все по-иному.
В тиши тенистого двора
Здесь по обычаю седому
Над сердцем властвует сура.²
Здесь, стих прокаржав похоронный
Зейнаб свободе и судьбе,
Былого коршун злобный, черный
Тащил ее в гнездо себе.
Он когти выгускал из ночи,
Чтоб в сердце бедное вонзится,
Чтоб печень выкалывать и очи
И участь девушки решить.

II

Рассказ об этом очень странен,
Напомнит он ушедший век,
Когда был жалок и бесправен
Веселый, гордый человек,
Когда красавицы не смели
Открыть миндалевидных глаз...
Так прошлое, забывшись в щели,
Нежданно бросится на нас..
Зейнаб не ведала, не знала,
Что где-то за ее спиной
Прошедшее ей сети ткало
И путь готовило иной.
Что кто-то без ее желанья
Ее грядущее решит,
Что столько нового страданья
Обычай старый причинит.

¹ Ичкари — женская половина дома.

² Сура — молитва из корана.

¹ Улак — скачки с козлодраньем.

III

Когда Зейнаб лежала в зыбке,
 В бешике¹ маленьком своем,
 Когда ребяческой улыбке
 Еще не радовался дом, —
 Три свахи, тихие, как тени,
 Однажды в комнату вошли,
 Сладкоречивы и степенны,
 Они подарки принесли.
 Они восторженно хвалили
 Зейнаб румянец и загар
 И горы золота сулили:
 «У нас — купец, у вас — товар».
 «У вас — бутон, — они сказали, —
 У нас — прекрасный соловей!»
 Они друг другу назначали
 Еще невзросших детей.
 А после старшая старуха
 Сабира к зыбке подвела,
 Сказала: «Укуси ей ухо,
 Чтоб, выросши, твоей была».
 И мальчик, получив игрушку,
 Перевернув какой-то скарб,
 Зубами потянулся к ушку
 Пускавшей пузыри Зейнаб.
 .. Попивши чай, поевши сласти,
 Молитву важно прочитав,
 В знак обоюдного согласия
 Лепешку пополам сломав,
 Ушли друзья в свои кибитки,
 Ушли соседи в курганчи..
 Зейнаб, забытая в бешике,
 Протяжно плакала в ночи.

IV

Прошли года. Семья большая
 Попала в непогодь нужды,
 Жила, в труде изнемая,
 Пелась от горя до беды
 И осыпалась постепенно,
 Как старый пореспевший тут..¹
 Пострескались кибитки стены,
 Ушли довольство и уют.
 И вот Зейнаб одна на свете,
 Без матери и без отца,
 Глядит завистливо, как дети
 Сбегают с круглого крыльца.
 А у нее нет ни лагуги,
 Ни друга, ни подружки нет,
 Лишь косы, скрученные туго,
 Да семь прожитых в мире лет,

V

Она чумазой побирушкой
 Шла по долинам и горам,
 Сутулой маленькой старушкой
 Слонялась по чужим дворам,
 И люди сытые объедки
 Совали с бранью в руки ей,
 Ломали девочку, как ветки
 Растущих к солнцу тополей.
 Так иногда росток зеленый,
 Едва пробившийся на свет,

¹ Бешик — колыбель особого устройства.

¹ Тут — шелковица.

Загубит ураган студеный,
 Морозный медленный рассвет.
 Зейнаб случайно не погибла:
 Одна бездетная семья
 Взяла в гнездо, крылом накрыла
 Измученного соловья,
 Лепешку и, чтоб спать, соломку
 Приемной дочке дали в дар,
 И стала матерью ребенку
 Седая тетушка Анар.

VI

Зейнаб вставала до восхода,
 Косички гребнем заколов,
 Несла в тяжелых ведрах воду,
 Для печки набирала дров,
 Заря тюльпаны рассыпала
 Над гребнями далеких гор.
 Зейнаб водою поливала
 И подметала круглый двор.
 Так время шло. Когда повсюду
 Был виден красный солнца шар —
 Скоблила медную посуду
 Зейнаб для тетушки Анар,
 Полуголодная, босая,
 В одежде плохонькой своей,
 На крыше старого сарая
 Она кормила голубей,
 В часы последнего намаза,
 Уж близко к полночи, она
 К соломе жесткой шла и сразу
 Тонула в мягких волнах сна,
 Чрез горы перевалит солнце,
 Светильник в тьме зажжет луна,
 И снова к жизни встрепенется
 Душа, надеждами полна,
 Промчатся горестные годы,
 Но не забудутся они.
 Все огорченья и невзгоды,
 Тревожные былые дни,
 Как камень в глубине колодца,
 Заключены у нас в груди,
 От тени их светлее солнце,
 Видней дорога впереди.

VII

Годов кремнистых перевалы
 Советский строй преодолел,
 Цветы в пустынях расцветали
 И соловей над ними пел.
 Колхозы выросли в долинах,
 Семья Анар вошла в колхоз,
 И у Зейнаб уж двое длинных
 Прилежно застеленных кос.
 Она работает на поле
 И слава про нее гремит.
 И учится в вечерней школе,
 И ночь за книгою сидит.

VIII

А на закате, днем свободным,
 В семье у тетушки Анар,
 Над Зеравшаном полноводным
 Звонит задумчивый дутар.
 Рука Зейнаб по старым струнам
 Легко, уверенно летит

И в голосе гортанном, юном
Живое счастье звенит.
Она почет и уважение
Теперь в семье приобрела.
Спокойно каждое движение,
Улыбка быстрая светла.
Ей жизнь протягивает яства
На расписных подносах дней.
Пред нею — все земли богатства,
Дороги все открыты ей,
Она о спутнице мечтает,
О друге преданном, родном.
Она доверчиво желает
Согреть его своим теплом.

IX

А между тем в семье Сабира,
Неподалеку, каждый день
Поспешно чистится квартира,
Ковры вывешивают в тень —
Идут приготовления к свадьбе...
Твердя в ночи корана стих,
Сабира мать в своей усадьбе
Устроить хочет молодых.
Она Анар уговорила
И обе заняты мечтой,
Чтоб празднество богаче было,
Чтобы пышней удался той.

X

Но нет Сабира в доме гулком
И нет в тенистом кипляке.
Он учится большим наукам
От нив родимых вдалеке.
По залам университета
Веселым шагом он идет,
И солнце нового рассвета
Над головой его встает.
А мать, забыв свою тревогу,
Готовит сыну пышный той,
Глядит на пыльную дорожку
И ждет его скорей домой.

XI

И, наконец, Зейнаб решила
С Анар своей поговорить
И что Амана полюбила
Приемной матери открыть.
Но только взглянет на морщины,
В раздумье добродушных глаз,
Как стыд внезапный без причины
Ее охватит. И тотчас,
Вся покраснев, в изнеможенье,
Ответит что-то невпопад
И отойдет она в волнение,
Не в силах встретить строгий взгляд.

XII

Одной Хури лишь поверяет
Зейнаб тревоги и мечты.
Ее до дому провожает
Одна Хури среди темноты.
Они в ночи, обнявшись крепко,
По лунной улице идут.

Цветущие срывают ветки
И речи тихие ведут.
Волнениям Зейнаб и планам
Хури внимала до зари
И познакомила с Аманом
Ее веселая Хури.

XIII

И в сумерках, путем вечерним,
Зейнаб и бойкая Хури,
Пылая дружным нетерпением,
Вошли тихонько в ичкари.
С Анар обнялись и присели
На край паласа. В котелке
Варился ужин. Еле-еле
Трещали сучья в очаге.
Зейнаб взволнованно молчала,
Анар глядела на Зейнаб
И словно радость освещала
Лицо старухи. Не поняв
Ее внимательности пылкой,
Хури хотела рот открыть,
Но та с приветливой улыбкой
Решила первой говорить.

XIV

«Зейнаб моя! Давай а тобою
В согласи переломим хлеб.
Твой жребий вещью рукою
Начертан в письменах судеб.
Ведь доля девушки — любить,
И к сроку замуж выходить,
А тот, кто этого лишен,
Навек с печалью обречен..
И звери парами живут,
И птицы о любви шуют.
Айшу взял замуж Мухамед,
Когда ей было девять лет.
И весь подлунный мир с тех пор
Вершит пророка договор.

XV

Был мудр, Зейнаб, родитель твой,
Оставил он завет благой.
Тебя Сабиру поручил,
Детей на брак благословил..
Теперь, Зейнаб, ты знать должна,
Кому навеки вручена,
Веленье твоего отца,
Желанье матери твоей
Исполнить нужно до конца.
И той отпраздновать скорей».

XVI

Так тетушка Анар вещала.
А девушки поражены —
Зейнаб дрожит, как ветка тала,
И губы у Хури бледны..
«Ты выросла, красивой стала,
Умней тебя не отыскать.
Не мало б юношей желало
Тебя невестой назвать,
Но городской Сабир виднее
Всех наших сельских женихов,

Приедет за Зейнаб своюю —
 На весь кишлак наварит плов!
 Готово к свадьбе все, но только...»
 Остановилась тут Анар,
 Прихлопнула дверную щелку,
 Прикрыла крышкой самовар.
 ...«Чтоб слава не пошла плохая,
 Подумать нужно об одном:
 Уже нельзя тебе, родная,
 С открытым выходить лицом.
 Придется, (временно хотя б,
 Закрывать лицо тебе, Зейнаб».
 Зейнаб поникла, онемела
 И слова вымолвить невмочь.
 Не глядя на Анар, несмело,
 Сидит безмолвная, как ночь.
 Хури, как речка, горячится,
 Выходит вся из берегов,
 Разубедить Анар стремится
 И не находит нужных слов.

XVII

«Прости, апа, своей рукою
 Ты хочешь рабство нам вернуть —
 Ударить девушку темною!¹
 И под замок ее замкнуть,
 Как это можно — даже слова
 Зейнаб несчастной не сказать,
 Готовить свадьбу, шить обновы,
 От свах подарки принимать?
 А, может быть, Зейнаб мечтает
 Совсем не о такой судьбе?
 А, может быть, Зейнаб желает
 Другого в спутники себе?
 Что будет, если поспешила
 Зейнаб другому клятву дать
 И, торопясь домой, решила
 Тебе об этом рассказать?»

XVIII

Зейнаб молчала. И досада
 Темнела в горестных глазах...
 Анар кипит, как пламя ада,
 Она вскочила впопыхах,
 Седые косы растрепались,
 Глаза горят, как янтари,
 И взгляды стрелами вонзались
 В лицо румяное Хури:
 «Чего ты хочешь? Что за чушь?
 Да где найдется лучший муж?
 Иль не красив Сабир-ока,
 Иль не учтив Сабир-ока?
 Весь край родимый обойдешь, —
 Его красивей не найдешь!
 Иль не богат Сабир-ока,
 Иль стар халат Сабир-ока?
 Весь край обещешь, обойдешь, —
 Его богаче не найдешь,
 Ведь изучает хлопок он,
 А край наш белым хлопком полн,
 И будет у него добра,
 Как в горных речках серебра.
 И все красавицы у нас
 С его пути не сводят глаз.

¹ Теща — род топора.

А как Сабир умен к тому ж...
 Да где найдется лучший муж?
 Весь край обещешь, обойдешь, —
 Удачней мужа не найдешь!
 И наконец, и наконец, —
 Так повелев Зейнаб отец,
 Он брака этого желал,
 Он, умирая, клятву дал...
 Какой подлец, злодей какой
 Растопчет пламя клятвы той?»

XIX

Зейнаб попрежнему молчала,
 Смотрела в угол ичкари
 И вдохновенно защищала
 Подругу (страстная Хури:
 «Я понимаю, вам согласие
 Родных не хочется ломать,
 Но ведь Зейнаб достойна счастья,
 Способна за себя решать.
 Зейнаб Амана полюбила,
 Дала ему любви обет,
 Ужель хотите вы, чтоб было
 Ей тягостно глядеть на свет,
 Чтоб, замуж выйдя по ошибке,
 Зейнаб страдала целый век?
 Она ведь не товар на рынке,
 Она — свободный человек!
 А если девушка вольна
 И клятва девушкой дана,
 Какой подлец, злодей какой
 Растопчет пламя клятвы той?»

XX

Как море черное, бушует
 Душа смятенная Анар,
 Дрожит, краснеет, негодует
 Огнем спаленная Анар.
 Одежды все свои в волнении
 Она готова разорвать,
 В поту, в тревоге и смятении
 Зейнаб на клочья растерзать.
 «Негодница! Так вот что в этом
 Колхозе ты приобрела!
 Вот как работала ты летом —
 Любовника себе нашла!
 Бесстыдница! В семье моей...
 Распутница! Стыдишь людей!
 Ты — потаскушка, девка, тварь!»
 Кричала тетушка Анар.

XXI

И встала девушка, как будто
 Ее ударил молний взмах,
 И подняла к Анар надухой
 Лицо, намокшее в слезах.
 — «Душа моя, апа, не надо!
 Я умоляю, перестань.
 Не подливай мне в душу яда,
 Словами резкими не рань.
 Апа! Меня ты пожалей —
 Была ты матерью моей.
 Смотри, укор в глазах Зейнаб,
 Смотри, ковер в слезах Зейнаб...
 Ты хочешь ли, чтоб свободы дней

Тюрьмою (сделались моей,
 Чтоб, не взлетевши, мне ползти,
 Чтоб, не расцветши, отцветсти
 Чтоб жизнь, как шепел, как комок,
 Втопталась в пыль у чых-то ног?
 Апа моя, взгляни добрей
 И выслушай, и пожалей».

XXII

«Беспутная! Что толку в этом?
 Что толку мне в слезах твоих?
 Ко мне не шла ты за советом,
 Когда топтала честь родных.
 Но если разума крупинки
 В тебе остались, расскажи,
 Кто сбил тебя с твоей тропинки,
 Разврату научил и ажи,
 Какой убудодок нас ославил?
 (Да стинет он от слов моих!)
 Кто он, проклятый этот дьявол,
 Что спал в объятиях твоих?
 ..А мы-то жили и не знали,
 Как из двора взглянуть на свет.
 Меня, ведь, замуж выдавали
 Без малого в пятнадцать лет.
 И с кем судьба мне жить велела,
 Стыдась, не спрашивала я,
 В углу сидела и краснела,
 Тревогу девичью тая.
 За чимылдыком¹ ночью первой
 Впервые мужа увидала,
 Была ему подругой верной,
 Беды и горя не узнала,
 Так жили все родные наши,
 Все предки испокон веков...
 И попирают ноги наши
 Обычай древних стариков.
 И ты, топчя без сожаленья
 Отцов своих закон благой,
 Какого хочешь снисхождения,
 Любви и жалости какой?»

XXIII

«Апа! Мне очень горько стало,
 Не за себя, апа, — за вас.
 Апа! Ты мужа увидела
 За чимылдыком первый раз?
 Рабыней, света не выдавшей,
 Невольницей, тебя, как ком,
 Швырнули в угол, рот зажавши
 Узорным свадебным платком.
 Ты, как медведица в берлоге,
 Сосала лапу целый век,
 Ты обмывала мужу ноги,
 Не поднимая тяжких век,
 А он тебе, лоснясь от сала,
 Бросал обглоданную кость,
 И ты услужливо пладала
 Слезами политую кость.
 И это счастьем называлось!
 Вы детям прочили его!
 Прости, апа, я отказалась,
 Ушла от счастья твоего.

¹ Чимылдык — занавес, за которым пов-
 вращные проводят первую ночь.

XXIV

Скажи, ужель тебе не страшно,
 Сейчас, закрывшись от людей,
 Припомнить этот день вчерашний,
 День горькой юности твоей,
 Когда, как чимылдык, спустилась
 И жизнь твою одела ночь,
 Когда ты плакала и билась,
 И отойти не смела прочь,
 Когда за крупном лошадиным
 Плелась ты жалкою рабой,
 А муж, хлыстом играя длинным,
 В седле качался над тобой?
 Слепой была ты и глухою,
 Варила пищу, — яд пила,
 Что жизнь бывает и другою
 Услышать даже не могла.

XXV

А мне — и горестно, и страшно:
 Прости, апа, из глаз твоих
 День слез и пылок, день вчерашний,
 Глядит в простор очей моих.
 Мне твоего не нужно счастья,
 Твоих законов, черный день!
 Я отрекаюсь от проклятья
 Теней твоих, позорный день!

XXVI

Весна моя! Цветы степные,
 Звезды сиянье на волне
 И тополя в ночи седые —
 Идите все на помощь мне!
 Любовь моя! Моя отрада,
 Мое страданье в тишине,
 И свет доверчивого взгляда —
 Зову тебя на помощь мне!
 Вы приходили на рассвете
 В лицо любимому взглянуть
 И, закрасневшись, словно дети,
 Не узнавали прежний путь.

XXVII

Какой прекрасною казалась
 Тогда знакомая земля,
 И, забывая про усталость,
 Работала на поле я.
 Я имя милое твердила
 И поле пело в тишине...
 Аман! Любовь моя и сила!
 Зову тебя на помощь мне.

XXVIII

Не буду я женой Сабира,
 Пусть и красив и знамен он,
 Пусть он умней ученых мира,
 Пусть в шелковом калате он.
 Я — не купец, не на базаре,
 Сабир далекий, — не товар...
 Забудь, что молвила в угаре,
 Оставь Амана мне, Анар!
 Меня согрела ты в ненастье,
 Взяла к себе в сырую ночь,
 Благослови теперь на счастье
 В ненастье выросшую дочь».

XXIX

Зейнаб спокойно ждет ответа,
Анар попрежнему в огне:
«Не выйдешь за Сабиря? Это,
Одно лишь это, молви мне!» —
«Апа, не выйду никогда». —
«Ну, я или Аман — тогда!» —
«Что делать, душу взяла Аман».
«Но кто он? Из каких он стран?» —
«Кто он — скажу, откуда — нет,
В каком краю увидел свет,
Какая у него семья
И дом где — не спросила я».

XXX

«Ах вот что? Сгинь с очей моих
И тяжесть скинь с плечей моих!
Кому б женой ты не была,
Забудь, что у меня жила!
Забудь, что был твоим мой дом,
Забудь об имени моем,
Что хлеб мой ела — позабудь,
Держи на улице свой путь!
.. Когда позор и стыд найдешь,
Когда распутной прослывешь,
Тогда ты вспомнишь в злой судьбе,
Что сделала Анар тебе!
Пока не пала ты, прощай,
Змеей не стала ты — прощай!»

XXXI

«Прощай, апа. Когда ты снова
Придешь в себя — не проклинай,
Не думай обо мне дурного
И слов своих не вспоминай,
За все спасибо. Путь мой будет
Высок иль нет — самой итти,
Быть может, люди не осудят,
Помогут люди на пути,
И ты, апа, однажды взглянешь
Глазами светлыми кругом,
Тогда раскаиваться станешь,
И поминать меня добром,
Тогда вздохнешь ты: не сумела
Своей заботы оправдать..
Прощай! Ты этого хотела.
Позволь удачи пожелать».

XXXII

И медленно, глотая слезы,
Зейнаб в свой уголок ушла,
Тетрадки, тюбикеек розы,
Одежду — в узел собрала,
Остановилась на пороге,
И прочь пошла из ичкари.
.. И вот они уж по дороге
Идут в ночи вдвоем с Хури.
В лицо им свежий ветер дует
И пыль клубится по следам.
Анар кричит и негодует
Вслед удалявшимся шагам,
А девушки по темной дали
Идут вперед, скрываясь в мрак..
На утро все кругом узнали:
Сабир вернулся в свой кишлак.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

I

Когда спускался темный вечер
На берег золотой реки
И в кишлаке ему навстречу
Огонь вздували старики,
И стлался дым густою синью,
И обнимала горы мгла, —
Тропой, поросшею полынью,
Зейнаб к обрыву подошла.

Все тихо. В голубом безмолвьи
Родной кишлак спокойно спит.
И долго, полная любовью,
Зейнаб у берега стоит.
И только волны, не смолкая,
Поют и плачут нараспев,
И только в небе молодая
Луна восходит, заалев.
Но вот — Аман. Он издалека
Увидел глинистый откос
И платые солнечного шелка,
И черное сверканье кос,
И очарованный виденьем,
Как бы спугнуть его боясь,
Остановился в отдаленьи,
Едва дыша, не шевелясь.

II

«Но что с тобой, Зейнаб родная?
Глаза твои полны тоской
И слезы в них дрожат, блистая..
О чем ты плачешь? Что с тобой?»
«О мой Аман, Как вышло это?
«Всем сердцем я люблю тебя,
А как ты жил, родился где ты,
Где дом твой и твоя семья,
И сам ты кто — я не узнала.
Спросили у меня когда —
Я, растерявшись, замолчала,
Я покраснела от стыда,
Скажи, откуда ты и чей,
Джигит мой, свет моих очей?»

III

Аман молчал.. Перед глазами
В колючем солнце и в пыли
Степями, черными песками
Дороги старые прошли.
Босого детства злая повесть:
Чужой кишлак, чужой порог
И подтянувший туго пояс
Мальчишка посреди дорог.
Он не привык делиться горем,
Но больше уж молчать нельзя —
Полны страдающим укором
Зейнаб прекрасные глаза,
Он не видал добрее глаз,
Он тихо начал свой рассказ.

IV

«Тревожный взор твоих очей
Спросила меня — ты кто и чей?
И долго в памяти моей
Искал я ласковых теней.

О ком я должен рассказать?
 Чьи имена тебе назвать?
 Безмолвна память и темна,
 Родные скрыты имена.
 Прости, Бессилен я, Зейнаб,
 Назвать тебе одно хотя б,
 Вопрос твой душу жжет мою,
 Вопрос твой душу рвет мою,
 В нем столько скорби и беды,
 В нем мир печали и нужды.
 Коль нужных слов мне не найти,
 Коль буду груб, — Зейнаб, прости.
 Коль слезы горя упадут —
 Прости, о девушка, и тут.

V

Наш старый мир, моя Зейнаб,
 Издревле лаской напоен,
 Ко всем, кто мал еще и слаб,
 Любовью материнской полн.
 Мать — это сад весенним днем,
 А дети — это розы в нем.
 Едва малыш откроет рот
 И розовый сосок возьмет,
 Как слово «мама» по утрам
 Произносить умеет сам.
 А мать от горести любой
 Ребенка заслонит собой,
 Орлицей заклюет врага
 И львицей разорвет врага.
 Собака, сына потеряв,
 Кусает впалые бока,
 Корова водит между трав
 Смешного рыжего телка
 И птицы прячут под крыло
 Птенцов, чтоб было им тепло.
 И даже злобный скорпион
 Любовью к детям наделен,
 И даже черный жук, и тот
 Жучка «мой беленький» зовет.
 Лишь я на пасмурной земле
 Без материнской ласки рос,
 Грел руки в брошенной золе,
 Глотал сырую горечь слез.
 Лишь я один во тьме ночей
 Ребенком разучился спать.
 Мечтал о песне я твоей,
 Меня покинувшая мать.
 Как часто слушал я в тоске
 Прохожих женщин голоса,
 Казалось — где-то вдалеке
 Следят за мной твои глаза,
 Казалось — скоро ты придешь,
 Родная, полная любви,
 И горе детское возьмешь
 На руки теплые свои...
 О, как я ненавидел их,
 Детей, имеющих родных!
 Я озирался, как звздек,
 На теплый и чужой порог,
 На дом, где чья-то мать сидит,
 Где чей-то сын спокойно спит.

VI

Когда мне было девять лет,
 Старуха нищая одна
 Загородила мне весь свет,

Как пень обугленный черна.
 Движеньем высохшей руки
 Она меня подозвала
 И тихо на берег реки
 Вслед за собою повела.
 «Сказать по правде, ты, сынок,
 Рекою этою рожден,
 Никто б у нас назвать не смог
 Твоих родителей имен,
 Но знают все: ночной порой
 На этом берегу крутом,
 Нашла тебя я, мальчик мой,
 И принесла в свой бедный дом.
 Рычал огромный Зеравшан,
 А ты пронзительно кричал.
 Сказала я тебе: «Аман»¹,
 И ты для всех Аманом стал...
 Сынок, окончилась война,
 Вздохнула вольная страна,
 Как знать... А, может, близко тут
 Твои родители живут,
 Быть, может, плачет мать вдали,
 О сыне брошенном в пыли...
 И может быть, сам Зеравшан
 Тебе подаст знак тайный свой,
 И ты сквозь горестный туман
 Увидишь свет любви живой...
 Вставай, Аман, Иди вперед.
 За часом — час, за годом — год,
 Страну большую обойди —
 Сердца родимые найди».
 Все это рассказавши мне,
 Молитву старая прочла
 И, обратив глаза к луне,
 Вослед мне руки подняла.

VII

И я пошел. Передо мною
 Как разъяренный ураган,
 Сверкая рыжею волною,
 В камнях бился Зеравшан.
 И я, как он, по кручам бился,
 На горы черные взбегал
 И падал в пропасть, И стремился
 К степям. И степи проползал.
 Я от истоков и до устья
 По берегам реки блуждал
 Среди камышей зеленых хруста,
 Среди песчаных серых скал,
 О, сколько спрашивал я встречных,
 О, сколько троп я обыскал —
 Никто ни близко, ни далеко
 Моих родителей не знал.

VIII

Как верблюженек, потерявший
 Свой караван среди песков,
 Я шел голодный и дрожащий
 К огням далеких кишлаков,
 И в доме, и в лачуге каждой,
 Где б я воды ни попросил,
 Томимый голодом и жаждой,
 Мне каждый житель говорил:
 «Не знаем тех, кого ты ищешь,

¹ Аман — здравствуй.

Кому ты дорог был и мил.
Ты не узнаешь, не отыщешь
Ни их имен, ни их могил.
Они погибли в дни бурливой
Войны, разрухи и беды.
Нельзя найти под свежей нивой
Пожара черные следы».

IX

А сколько трав зазеленело
На берегах родной реки!
А сколько радостного дела
Узнали наши кипшаки!
А сколько золота на пашни
Принес наш старый Зеравшан!
И счастье нашел вчерашний
Скиталец, горестный Аман,
В твой край пришел усталый странник
И, здесь прожив не мало лет,
Стал человеком среди равных,
Участьем дружеским согрет.
Того, что желтым был саманом¹,
Глядел упрямо на людей,
Не назовет никто Аманом,
Аман — и лучше, и добрей.

X

Кто я? — Спроси миндалей белых,
Что первыми весной цветут,
Спроси у старцев поседелых,
Что на реке еще живут,
У веток ивы, наклоненных
Над убегающей волной,
Спроси у соловьев бессонных,
Что вместе плакали со мной!
На Зеравшане про Амана
Никто плохого не слышал.
Тебе все люди без обмана
Наскажут про меня похвал, —
И ты избавишься от грусти,
Забудешь горький свой упрек.
Взять этот камень не берусь я —
Его поднять бы я не смог.
Зачем, зачем ко мне пришла ты
И ядом раны полила?
Зачем забытые утраты
Ты вновь в душе моей загла?
О, если ты добра, подруга,
И если чуткость есть в тебе,
Не спрашивай ты больше друга
О прежней горестной судьбе.

XI

Цветы над быстрою рекою
Меня садовником зовут,
Про нелюбимого тобою
Амана иволги поют,
И куст хлопчатника зеленый
На тихом поле по весне
Свой лист, росой рассвета полный,
Смеется, протягивает мне,
Чей сын я? — Нашего колхоза,
Народа нашего я сын.

¹ Саман — солома.

В его садах растил я розы,
Потоки приводил с вершин,
Поля сверкающие хлопком
Я засевал рукой своей.
Я здесь в волнении глубоким
Нашел участливых друзей!
И все, чем это сердце бьется
В его изменчивой судьбе, —
Богатство все свое и солнце
Я ютдаю, Зейнаб, тебе.
И дом мой, и моя семья —
Улыбка добрая твоя».

XII

Темнела ночь. Река шумела.
И, вырвавшись из глубины,
Звезда зеленая летела
На пребне вспененной волны,
И поглядели на Амана
Глаза Зейнаб — глаза любви.
И все сады Узбекистана
Им принесли цветы свои.
На сером талистом откосе,
Голубоватом под луной,
Зейнаб распущенные косы
Сверкали черною красой...
Амана очи полыхали
В слезах иль в блеске лунных струй.
И только волны усылажили
Влюбленных тихий поцелуй.
...И Зеравшан к обрыву мчался,
Он видел: вместо двух людей
На берегу стояло счастье
В открытой красоте своей!

XIII

На утро, с первыми лучами
Румяной, радостной зари,
Опять по тропке запагали
Зейнаб и верная Хури,
Прошли горой, у поворота
Свернули в угол кипшака,
И смело стукнула в ворота
Зейнаб веселая рука.
Здесь дом Сабира, у окошка
Он чай зеленый допивал.
Прямой, задумчивый немножко,
Он девушкам навстречу встал.
Сабира мать от изумленья
Застыла, спрятавшись в углу.
Отец, скрывая нетерпенье,
Молчал, уставясь в пилу.
Зейнаб на них не поглядела,
К Сабиру молча подошла,
Слегка замаялась, покраснела
И речь, волнуясь, повела:

XIV

«Сабир! Пришла я за участьем...
Ты был далеко и не знал,
Что между девушкой и счастьем
Ты для себя нежданно встал.
Услышь, Сабир: твои родные
С приемной матерью моей,
Обряды чтя свои седые,

От нас таясь, уж много дней,
 Готовились к большому тою.
 Обычай старый сохранив,
 Хотели нас женить с тобою,
 Заочно нас соединив.
 А я Амана полюбила,
 Аману клятву я дала,
 Мне душу эта весть разбила
 И сердце кровью облила.
 Я чуть дышу от оскорблений,
 Я умираю от обид!
 О, сколько горя и мучений,
 И бранных слов — припомнить стыд —
 Я вынесла. И вот сегодня
 Пришла к тебе. Прости меня!
 Ты видишь: я тебе не ровня,
 К Аману, отпусти меня.

XV

Джигиты по весне выводят
 На скачки кованых коней,
 И девушки смотреть выходят,
 Кто скачет по степи быстрее,
 И вслед тебе глядят, конечно,
 Твоей красавицы глаза,
 И ты поймешь, как безутешна
 Любви соленая слеза,
 Аман судьбою мне сосватан,
 Я с ним от горя далека..
 Будь для меня ты старшим братом,
 Прости меня, Сабир-ока!»

XVI

Сабир безмерно удивился.
 Переставая понимать,
 Тревожным взглядом устремился
 На девушку. Потом на мать
 Взглянул внимательно и строго.
 Потом внезапно побледнел
 И, в гневе помолчав немного,
 Родным приблизиться велел.
 И радостно Зейнаб смотрела,
 Как, жгучей горечью обжигая,
 Самоуверенно и смело
 Пришел на помощь старший брат.

XVII

«Послушайте меня, родные,
 Я книг не мало прочитал,
 Страну объездил, но доныне
 Подобной свадьбы не видал..
 Довольно чувствами чужими,
 Чужим достоинством играть
 И человеческое имя
 На черном рынке покупать.
 Мы стали гордыми, И к быту
 Былому в клетку не пойдем.
 Пред нами все пути открыты,
 Мы друга по сердцу найдем.

XVIII

И у меня, сейчас незримый
 За тенью роцц, за тьмой полей,
 Есть тоже свой цветок любимый,
 Есть тоже милый соловей.

Пусть рук чужих прикосновеенья
 Не осквернит ее любви.
 О, девушка, твое волнение
 Могло б кипеть в ее крови..
 Пусть стану я последний нищий,
 Когда их слушать захочу,
 Когда, исполнив их обычай,
 Обычай сердца растопчу!
 Иди спокойно, дорогая,
 Иди, красавица, домой.
 Пусть, жизнь твою оберегая,
 Доволен будет милый твой».

XIX

Зейнаб, как утро, засветилась,
 Как роза, сразу расцвела,
 Сабиру низко поклонилась,
 И радостно домой пошла.
 Как в детстве взапуски бежали
 Они домой с Хури вдвоем,
 И все Аману рассказали,
 И счастьем был наполнен дом.

XX

И вот пошла по переулкам,
 Роняя на ходу слова
 По всем кишлачным закоулкам,
 О происшествии молва.
 Скрипели каждые ворота,
 Стучали двери и дувал
 С полудня до ночной дремоты
 Об этом вести повторял.

XXI

Все говорили непрестанно,
 Расходя вся пыль и жар,
 О радостной судьбе Амана,
 Об огорчении Анар
 И о Сабира благородстве.
 И было без конца речей
 О чистом сердце и геройстве
 Зейнаб застенчивой моей,
 О будущей неожиданной свадьбе,
 Кто будет там и как одет..
 И в каждой маленькой усадьбе
 Подолгу не тушили свет.

XXII

С утра большой колхозный двор
 Был полон гомоном и криком,
 На конях, статных на подбор,
 На арбах праздничных со скрипом
 И просто на своих двоих —
 На праздник поспешили гости.
 Немало стариков седых
 Шло, опираясь на трости.
 Слегка привстав на стременах,
 Им путь джигиты уступали
 И на горячих скакунах
 По шумной улице скакали,
 А девушки глядели с арб,
 Как птицы из листвы боярки.
 Они везли на той Зейнаб
 Свои гостиныи и подарки.
 Поток лился разговор,
 Остроты, смех, обрывки песен..
 И стал большой колхозный двор
 В то утро необычно тесен.

XXIII

Украшен красными коврами
И золотыми сюзане,
Колхозный клуб играл цветами,
Как лут тюльпанов по весне,
А на коврах, на поле белых,
Еще немых скатертей,
Лежали горы фруктов спелых,
Подносы с грудками сластей.
Здесь виноград, чуть золотистый,
Иссия-черный, наливной,
Румянец персиков пушистый
И яблоч глаянец молодой.
Гранат пунцовые фиалы,
Фисташки, горки миндаля..
И разноцветные пиалы
Стоят, боками шеvelя,
...Облокотившись на подушки,
На одеялах, по краям,
Уселись гости. Песни, шутки
Взлетали вверх то тут, то там,
И, славя свадьбу, в небеса
Неслись девичьи голоса:

«Разожжем костер мы в Андижане,
В дальнем Оше будет виден дым.

Ой, яр-яр!..

Мы наполним белые пиалы
Нашим чаем черно-золотым,
Ой, яр-яр!»

А джигиты на другом краю
Пели песню старую свою:
«Нам знаком тот берег Зеравшана —
Мы наездники родных степей,
От тяжелой золоченой сбруи
Стерлась шерсть на крупах у коней.

Ой, яр-яр!

Раньше я стрелой одной ресницы
Сто красавиц сразу убивал,
А сейчас от твоего прищура
Воробьем убитым я упал.

Ой, яр-яр!»

Так перекликались голоса,
И летели песни в небеса..

XXIV

Все горячей джигиты пели,
Звенел сааз, звучал дутар,
Вдруг двери тихо закрипели
И в комнату вошла Анар,
Как будто вся окоченела,
Как будто падал снег с ресниц,
И мать Сабира к ней подсела.
Они, как пара серых птиц,
В углу сидели, ели мало,
А в центре, как звезда светла,
Веселая Хури блистала,
Она хозяйкою была.

XXV

Но вот на блюдах задымился
Рассыпчатый, янтарный плов,
Бокал искрящийся налился
Вином испытанных сортов.
Фазаны утопали в масле,
Шашлык поджаристый хрустел,
Лепешки пряностями пахли,

Ширмай рассыпчатый белел.
А после множество подносов
Сладчайшей дыни принесли,
И нежные, и словно в росах,
В тарелки ломтики легли.
Плоды большого изобилья,
Плоды колхозного труда,
Как на параде, важно плыли,
Не иссякая никогда.

XXVI

Потом, под мерные удары
Большого бубна, в тишине,
Поплыли медленные пары
По ало-бархатной волне.
Легчайшим облаком скользила,
Летела Халима Ханум,
Руками в воздухе парила,
Порхала Назира Ханум.
И быстрым птицам подражая
Движеньем рук и головы,
Как пери сказочного рая,
Как розы посреди листьев,
Плясали пятеро красавиц,
Пять звезд, пять полуночных лун
Узбекский несравненный танец,
Традиционный гуль-уюн¹.
...И, как во сне, сидели рядом,
Смущенной всех и всех светлей, —
Зейнаб счастливая с Аманом,
Аман с невестою своей.

XXVII

Была веселой свадьба эта,
Колхоз устроил знатный той.
И возле самого рассвета
Счастливых повели домой,
Их провожали дружкой пылкой,
Радужной дружкой без конца.
Была приветливой улыбкой
Улыбка каждого лица,
На весь кишлак звенел дутар
И пели девушки: яр-яр.
«Ой, на том ли берегу припрятан
Золотой закрытый сундучок.
Перед ним на кустике зеленом —
Молодой хлопчатника цветок!
Чтоб поднять тот сундучок тяжелый,
Нужно руки сильные. Яр-яр!
Чтоб добиться счастья с любимым,
Нужно сердце сильное. — Яр-яр!

Ой, яр-яр!»

И ветви лунных тополей
Склонялись пред Зейнаб моей.
...И вот веселыми гостями
Вошли два друга в новый дом,
И сад шумел вокруг листьями,
Передрасветным цветником.
Темнела ночь, Река шумела,
И чистым золотом горя,
Над сонною землей взлетела
Нежданно-алая заря.
И над бурливым Зеравшаном,
Над светлой родиной своей,
Над всем большим Узбекистаном
Пел песню утра соловей.

¹ Гуль-уюн — танец цветов.

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Кино-сценарий*

С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙН

Текст песен Луговского.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

В прологе:

Великий Князь Московский Иван Васильевич
Елена Глинская, его мать
Князь Телепнев-Оболенский
Боярин Шуйский
Боярин Вельский
Посол Ливонского Ордена
Посол Ганзейского Союза
Царь Великого Князя

В фильме:

Великий Князь Московский, в дальнейшем царь Иван IV
Анастасия Романовна, царица
Князь Андрей Михайлович Курбский
Боярин Кольчов, в дальнейшем митрополит Московский Филипп
Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский
Алексей Басманов
Федор Басманов, его сын
Генрих Штаден, немец

Евфросинья Старицкая, тетка царя Ивана
Владимир Андреевич Старицкий, ее сын
Пимен, епископ Новгородский
Петр Вольнец, его послушник
Евстафий, духовник царя
Осип Непея, царский посол при английском дворе
Королева Английская Елисавета
Король Сигизмунд Польский
Посол Ливонского Ордена
Шут короля Сигизмунда

Ермей } братья Чоховы —
Фома } пушкар-литейщики

Демьян Тешата — холоп бояр Старицких, в дальнейшем опричник
Никола Большой Колпак — юродивый
Каспар фон Ольденбок — фохт замка Вессенштейн
Амброджио, секретарь Курбского
Пенинский, старик-боярин, приближенный рода Старицких

НАДВИГАЕТСЯ ГРОЗА

«ИВАН ГРОЗНЫЙ»

По экрану проносятся тучи.

Поют голоса:

«Туча черная
Поднимается,
Кровью алою
Заря умывается».

Сверкают молнии. Грохочет гром.

Поют голоса:

«То измена лихая —
Боярская —
С государевой силой
На бой идет»

В ответах молнии появляется название фильма:

* В интересах композиции сценария некоторые, внутренне связанные между собой, события автором несколько смещены во времени.

Кроме того, по творческим соображениям, автор счел нужным допустить в отношении отдельных второстепенных персонажей исторические отступления.

Мчатся тучи.

Поют голоса:

«То настало время
Померяться,
Уберечь, сласти
Землю русскую.
Извести на Руси
Лютых ворогов,
Не жалеть отца, мать родимую —
Ради русского царства великого»

Поют голоса:

«Встала туча
черна,
Настают времена:
Поклянись Руси
Клятвой тяжкою,
Клятвой страшною».

Сквозь раскаты грома поют голоса:

«Государство беречь,
За Москву стоять,

Города стеречь,
На костях врагов
С четырех концов
Царство русское поднимается».

Возникает надпись. Идет она под возрастающую мощь музыкальной темы Грозного: «Надвигается гроза».

«В тот век, когда в Европе — Карл пятый и Филипп второй, Екатерина Медици и герцог Альба, Генрих Восьмой и Мария Кровавая, костры инквизиции и Варфоломеевская ночь, — на престол великих князей московских взшел тот, кто первый стал даром и самодержавцем всея Руси, — Царь Иван Васильевич Грозный».

Тема Грозного достигает апогея.
Черные тучи поглощают экран..
В темноте ревут голоса:

«Туча черная расстилается,
Кровью алой заря умывается.
На костях врагов,
На пожарище
Воедино Русь
Собирается».

Разом обрывается прохот. Резко обрывается музыка.

ТЕМНАЯ ПАЛАТА.

В глубине светлой точкой выделяется восьмилетний мальчик, пугливо прижавшийся в угол.

Крупно — испуганное лицо мальчика. За кадром — иступленный женский вопль. Мальчик подался в сторону.

Мальчик на полу. По нему пробегают тени людей со светильниками.

Внезапно отворяется низкая дверка. Резкий луч света падает в палату. В луче вбегает и падает около мальчика женщина в облачении княгини.

Княгиня около мальчика. Лихорадочно говорит: «Умираю.. Отравили.. Берегись яду!.. Берегись бояр..»

Вбежали девушки, подхвалили княгиню. Увели ее обратно в горницу. Захлопнулись двери.

Снова темно. Перепуганный мальчик. Резкий голос в темноте: «Великая княгиня Елена Глинская преставилась!» Загосили женские голоса.

У верха лестницы. Кто-то в темноте кричит: «Хватай Телешнева-Оболенского!» Бегут ноги в темноте. По лестнице волокут красавца Телешнева-Оболенского. Два-три человека высоко держат светильники.

У низа лестницы Телешнев вырвался из рук. Бросился к дверям княгини.

Из двери, нагнувшись, вышел и вырос глыбой на его пути боярин громадного

роста (Андрей Шуйский). Телешнев отскочил от боярина.

Голоса: «Души княгинина любовника!» Телешнев метнулся в сторону. Увидел мальчика. Бросился к его ногам: «Великий Князь Московский, защити!»

Телешнева схватывают и оттаскивают от ног Ивана.

Телешнев отчаянно хватается за тонкие ножки Великого Князя.

Из темноты сверху резкий голос Андрея Шуйского: «ВЗЯТЬ ЕГО!»

Телешнева оттаскивают к лестнице вниз. Его бьют, топчут ногами. Рвут на нем шелковую рубаху.

Снизу двинулись факелы. Телешнева волокут в подземелье. Светильники скрылись вверху. Факелы — вниз..

Мальчик Иван один дрожит в темноте.

ПРИЕМНАЯ ПАЛАТА.

Много народу. Торжественная обстановка ожидания. Бояре.

Над престолом — фреска: Ангел Гневный — апокалипсический — вселенную ногами попирающий.

Великокняжеский престол. Еще пустой.

Бояре группами сидят на низких лавках. Шапки еще не надеты. В руках их держат.

Между собою беседуют. Непосвященным объясняют: «Сам Великий Князь послов принимать будет». «Ответ даст, кому Москва платить будет». «Либо Ганзе, либо Ливонцам».

На послов косятся. Друг другу послов показывают.

В стороне двумя группами стоят послы: представитель Ливонского Ордена — Каспар фон Ольденбок — рыцарь в белой мантии до полу.

Рядом с ним секретарь-гуманист, похожий на Эразма Роттердамского, с умным и хитрым лицом.

В другой группе — рыжебородый купец, похожий на морского разбойника — представитель Ганзейского Союза немецких торговых городов.

Фон Ольденбок и рыжебородый купец недружелюбно переглядываются.

Гуманист про себя улыбается тонкими губами.

Приемная палата полна людей. Общее движение. Послы подтянулись.

Отворилась дверь. Вышли ближние бояре, телохранители, Рынды. От двери через палатку к великокняжескому креслу идет в окружении свиты худенький мальчик Иван в полном великокняжеском облачении. Ему тринадцать лет. Тонкая шейка торчит из массивного золотого ворота.

Широко раскрыты глаза. В них испуг. Он робко идет между боярами. На его пути все падают перед ним на колени.

По обе стороны кресла — Андрей Шуйский и Бельский земно кланяются ему. Иван неуверенно всходит к креслу. Его поддерживают. Усаживают.

По знаку подходят послы. Преклоняют колена.

Все на коленях перед Иваном.

В страхе и смущении глядит Иван на поверженное к его ногам боярство. На коленапреклоненных послы.

И в смертельном страхе, но четко и внятно произносит — по знаку Шуйского — торжественные слова обращения:

«Божьей милостью мы...»

Как один, поднялись бояре. Почтительно склонившись, стоят послы.

Иван на троне. Былинкой торчит тоненькая шейка из тяжелого золота облачения. Широко раскрыты детские глаза.

Но окружающая обстановка начинает действовать: постепенно исчезает робость. Мальчик плотнее усаживается в кресло.

Бельский торжественно возвещает:

«Великий Князь Московский Иван Васильевич...» Все кланяются. «...счел за благо договор торговый заключить и за пропуск товаров по Балтийскому морю платить Великому Ганзейскому Союзу немецких торговых городов».

По знаку Бельского к рыжебородому ганзейцу подходит дьяк со свитком с печатью.

Ганзеец протянул руку за свитком. Его остановил стук жезла Андрея Шуйского.

Громко возвещает Шуйский: «Великий Князь Московский Иван Васильевич передумал: договор с Орденом Меченосцев Ливонских заключает».

И по знаку Шуйского внезапно появляется второй дьяк с совершенно таким же свитком с печатью и поспешно подходит к Каспару фон Ольденбок.

Старик-гуманист быстро схватывает свиток и прячет его в складках длинного черного своего наряда.

Все поражены.

Бельский взволнованно кричит Шуйскому: «Ганзе Немецкой! Ганзе! И ближняя Дума Ганзе порешила!»

Шуйский: «Воля Великого Князя — и решения Думы отменить».

Бельский: «Да, и слово государево дано!»

Шуйский: «Великий Князь и слову своему один хозяин. Хочет — даст, хочет — отменит. Воля Великого Князя — закон».

Бельский горячится. Чуть не плачет. «Но воля Великого Князя — Ганзе Немецкой отдать!»

Мальчик Иван ерзает на троне. Ему явно не нравится, что другие говорят от его имени. Кажется даже, что у него

по этому поводу есть свое собственное мнение.

В испуганном мальчике проснулся орленок. Мальчик хочет заговорить.

Шуйский не дает. Опять за него говорит:

«Воля Великого Князя — привилея Ливонскому Ордено вручить».

В толпе бояр кто-то громко с завистью вздохнул: «Крепко перекупили Шуйского!»

Хитро улыбается секретарь Ливонского посла. Свирепо глядит Ганзейский купец.

Бельский, задыхаясь, извивается. Визгливо пытается что-то прокричать.

Иван хочет заговорить.

Но властно ударяет жезлом Андрей Шуйский. Торжественно объявляет: «Великий Князь Московский Иван Васильевич от дел посольских устал. А посему прием оконченным полагает».

Бельский пытается возражать: «Но...» Прикрикнул на него Шуйский: «Воля Великого Князя — закон!»

Снова стукнул жезлом. И снова все падают ниц перед Иваном. Все перед Иваном раболепствуют.

Ножки Ивана беспомощно с престола висят. Болтаются: до полу достать не могут...

Не достать пока Великому Князю Московскому под ногами желанной опоры.

А над Князем Московским: Ангел Гневный — апокалипсический — твердой ногою вселенную попирает...

ХОРОМЫ ИВАНА.

«Про океан! Про океан!» — весело кричит, вбегая в опочивальню, Иван.

Высоко задрав великокняжеское облачение, он припрыгивает на одной ножке. Торопливо, на ходу, расстегивает облачение.

Старуха-мамка и двое постельничьих помогают Ивану разоблачаться.

Мальчику не терпится вылезть из золотого хомута. Старческим голосом поет мамка:

«Океан-море,
Море — синее,
Море — синее,
Море (славно...)»

Иван снимает шапку великокняжескую.

«Ты до самых небес расстилаешься,
До высокого солнца волнами
бьешь...»

Скидывает Иван тяжелый, золотом кованный воротник. Вслушивается. Задумывается.

«... Прибегают к тебе
реки русские.
На твоих берегах
города стоят...»

Задумчиво глядит перед собой Иван. Разоблачаться перестал. Песней захвачен.

«Города стоят
наши древние.
Черным ворогом
полоненные...»

Шумно входят бояре. Спорят.
Тявка, прыгает вокруг Шуйского Бельский: «С ганзейцами договариваться надобно!» Грозно отвечает Шуйский: «С ливонцами договариваться будем!»

Старуха Ивана раздевает. Еще слышно поет:

«... Океан-море,
Море — синее,
Море — синее,
Море — русское...»

Шуйский грубо обрывает песню. «Чего мальчишке голову морочишь? Бон пошла!»

Старуха поспешно уходит через молельню. Иван с тоской глядит ей вслед. Исподлобья на Шуйского косится.

Бельский надрыгается: «Ганзейцам платить способнее!» Шуйский свое твердит: «Ливонцам платить будем!»

Иван почти раздет. Тут же постельничьи складывают части облачения. Под облачением на Иване скромная рубашка. Почти бедная. Но в глазах прислушивающегося Ивана сохранилось что-то от взгляда его на троне.

Но не унимаются Шуйский с Бельским: «Ганзейцы государству полезнее!» «Не государству — тебе полезнее!» «А тебя ливонцы купили!»

Визгливо кричит Вельский: «Ганзейцам платить надо!»

«Ливонцам платить будем!» — отвечает Шуйский.

Среди роскошно одетых бояр у Ивана почти что нищенский вид.

Но гордо звенит голос Ивана:

«Никому платить не обязаны! Приморские города нашими дедами построены. Потому земли те — исконные наши вотчины. Москве принадлежать должны!»

Говорит Шуйский насмешливо: «Охочих нет — приморские города обратно отдавать!»

«Что с возу упало — пропало», — услужливо подкакивает своему противнику Бельский.

Говорит Иван: «Добром не отдадут — силой отберем!»

Общий смех.

Шуйский: «Силой!» Бельский: «Откуда таку силу взять?»

«Сила русская вами расторгована!» — кричит Иван. — «По боярским карманам разошлась!»

Общий хохот.

Шуйский, заливаясь хохотом, кидается в кресло: «Умерил еси... Господи!» — Ногу на постель закидывает.

Вскинулся Иван. Задыхаясь от ярости, кричит: «Убери ноги с постели! Убери, говорю, Убери с постели матери..»

Сквозь зубы добавляет: «... матери, вами-псами изведенной...»

«Я — пес?!» заревел Шуйский, зверем с кресел подымаясь. «Сама она сухой была! С Телешневым-кобелем путалась: неизвестно от кого тобой оценчилась!»

Громадная фигура Шуйского наступает на Ивана. Тяжелым железом на него замахивается: «Сучье племя!»

Иван закрывается от удара руками и, внезапно, неожиданно для самого себя, истерически выкрикивает: «ВЗЯТЬ ЕГО!»

Все, в том числе и Иван, оторопели от неожиданности.

Бояре попятились к дверям. Шуйский, как вкопанный, стоит.

Иван идет глазами.

В проходе, в молельне, заметил своих псарей.

Те тоже замерли.

И уже решительным голосом Иван приказал: «Взять!»

И... псарь схватил главу государства — Андрея Шуйского.

Поволокал в другую дверь.

Остальные бояре побежали, испуганно переговариваясь: «Старшего боярина — псарям выдал!»

Иван остался один. Он перепуган собственной решительностью и неожиданностью всего случившегося.

Силы покидают его. Он снова беспомощный, слабый мальчик.

Он тычется головой в постель матери. И, как бы на груди у нее, всхлипывает. Вздрагивают худенькие плечики.

По проходу посылались торопливые шаги. Скрипнула дверь.

Иван съехался, боясь обернуться.

Боязливо в дверь вошел один из псарей. Осторожно трогает Ивана за плечико.

Иван вскинулся.

Переминаясь с ноги на ногу, псарь виновато говорит: «Переусердствовали малость... придушили боярина...»

Крупно лицо Ивана. Сперва растерянное. Потом сосредоточенно-суровое. «Княжий» взгляд в глазах. И во взгляде — одобрение.

«Сам властвовать стану.. без бояр...»

Псарь опасливо глядит на Ивана.

...«Царем буду!..»

Глаза Ивана устремлены вдаль.

Конец пролога.

УСПЕНСКИЙ СОБОР.

Неистовый звон колоколов.

Идет обряд венчания. Слышно пение. Но самого обряда мы еще не видим.

Перед зрителем проходят отдельные группы, внимательно вглядывающиеся вперед.

Первой группой мы видим на фоне темных фресок — группу возмущенных иностранцев посланцев.

Иностранцы горячатся: «Откуда внезапно вынырнула этот новый Московский царь?» «Московский князь не имеет права на царский чин!» «Папа не признает такого венчания!» «Император откажется называть его этим титулом!» «Европа не признает его царем!»

Слышно, возглашает голос митрополита Пимена: «По древнему нашему чину венчается царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич...»

Среди иностранцев на видном месте — знакомое лицо: это — гуманист, известный нам по Ливонскому посольству в прологе. Он не очень постарел — прошло только четыре года. Но сейчас он уже сам посол Ливонии. И рядом с ним — молодой секретарь.

Возглашает голос Пимена: «... И нарекается боговенчанным Царем Московским и всея Великая Руси Самодержцем!»

«Кири злейсон!» — восторженно несет ся с правого клироса. «Кири злейсон!» — восторженно отзывается левый клирос.

Гуманист-посол внимательно следит за переменой и шепчет про себя: «Далеко вперед ушел этот птенчик...»

«Кири злейсон!» — унисоном сливаются оба клироса.

И под восторженные возгласы, на фоне темных фресок, в лучах солнца возмущаются иностранные послы:

«Папа не признает такого венчания!» «Император откажется его называть этим титулом!» «Европа не признает его царем!»

И только посол-гуманист говорит про себя, еле шевеля тонкими губами: «Сильным будет — признают...»

Кто-то из иностранцев говорит другому: «Впрочем, и его некоторые подданные не очень восторгаются этим венчанием...»

И мы видим группу бояр со Старицки во главе.

Группа явно недовольна. Особенно это заметно по лицу высокой старухи. Рядом с нею, очевидно, ее сын — у него безразличное выражение лица и отсутствующий взгляд.

Иностранец поясняет другому: «Недовольство тех вельмож понятно. То — кузен великому князю — Вольдемар Старицкий с матерью...»

Слова его ложатся на изображение княгини Евфросиньи Старицкой и сына ее Владимира Андреевича. И видно, что они думают о том же, что говорит посол: «Венчание Иоанна царем усложняет их путь до трона Московского!»

Третий иностранец вмешивается в разговор: «Но есть, как будто, и сторонники Иоанна...»

И его слова ложатся на группу Захарьиных и Глинских. «То — родственники невесты великого князя...», — поясняет иностранец.

Ливонский посол-гуманист язвительно поправляет первого иностранца: «Не великого князя, а... царя!»

Иностранец фыркает. Но Ливонский посол повторяет: «Уже царя!»

И мы, наконец, видим, что оканчивается таинство помазания на царство.

Обряд совершает пожилой митрополит Московский Пимен.

Перед Пименом — спиной к зрителю — Иван в бармах и полном царском облачении.

Вокруг — епископы важнейших епархий.

Берет с золотого блюда Пимен царский венец — шапку Мономаха. Дает ее поцеловать Ивану. Возлагает ее Ивану на голову. Произносит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа...»

Иван склоняет голову.

Возглашает Пимен: «Блюди и храни венец сей, возвеличь его на престоле правды, утверди мышцу свою и покори под ножи своя всякого врага и супостата.»

Иван распрямляется и поворачивается.

Ему семнадцать лет. Осанка гордая. Глаза горят. Как вкопанный, стоит Иван, пока идет возглашение:

«Яко твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа...»

Радостно глядит на Ивана Анастасия. Радостно глядят Глинские и Захарьины. «... И ныне, и присно, и во веки веков!»

Мрачно, исподлобья, смотрят Старицкие.

«Аминь!» — звонко поет хор.

Иронически поглядывают иностранцы.

К Ивану подходят: слева — молодой златокудлый русский князь, справа — пожилой чернобровый боярин.

Берут Ивана под руки. Сводят его вниз со ступеней преддворного амвона.

Им подносят чаши золотых монет.

И высоко чаши подняв, они, согласно обряду, осыпают молодого царя золотым дождем.

Звонко льется золотой дождь.

Под восторженное: «Кири злейсон!» сорного хора. Под радостный звон колоколов. Под приветственные клики народа...

Но вот — затих звон. Затихли колокола.

И бесшумно расстилаются под ноги Ивану — шитые золотом ковры.

Затихли клики народа. Все затихло...

И сквозь золотую дремоту затихшего собора двинулся Иван.

Не поспевают служители ковры раскла-

тать: быстрой походкой на них Иван на-
ступает.

Как молодой зверь, — гибкий, строй-
ный, страстный, — вбегает он в тишине
по восьми ступеням возвышения в сере-
дине храма — «на архиерейский амвон,
именуемый феатром».

В лучах солнца посреди собора оста-
навливается.

В необъятность собора погружен. Изу-
мрудом в полумраке сияет, в отвесатах
солнца игрою огня переливается.

Словно юный барс, с возвышения гла-
зом сверкает.

Юный. Бледный. Остроглазый. Слегка
асимметричное лицо. Кудри черные до
плеч.

Как икона в оклад — царь в золото
одеяний закован.

Весь кипит. Крепче золотых оков — во-
лей нрав укрощает.

Сдерживая себя, старается говорить ти-
хо. Сдерживая себя, старается говорить
равно.

Но мысль гонит мысль. Слова на сло-
ва наступают.

И безудержным страстным потоком
льется речь молодого царя.

Сперва речь звучит глухо. Иван гово-
рит о власти:

«Ныне впервые Князь Московский ве-
нец царя всея Руси на себя возлагает...»

Но вот в словах неожиданно проступи-
ли первые искры гнева. Иван вспомнил
о боярском управлении:

«И тем навеки многовластию — злокоз-
ненному, боярскому — на Руси предел
кладет».

Потемнели лица боярские. «На бояр-
скую власть руку подымает!» — шипит
группа Старицких.

С возрастающей силой гневно продол-
жает Иван: «Но дабы русскую землю в
единой длани держать — сила нужна!»

Доволен молодой златокудрый князь.
Задумчив чернобровый боярин.

«А посему отныне учреждаем мы вой-
ско служилое, стрелецкое, постоянное...»

Моря рокотом гнев боярский на слова
его отзывается..

Продолжает Иван голосом вкрадчивым:
«Кто же в войсках тех государевых
сам не сражается, — тому в великих по-
ходах царских деньгами участвовать...»

Взрывом ответным гнев боярский на
слова его прорывается.

Евфросинья шипит: «На свою же голо-
ву свою денгу нести!»

Продолжает Иван смиренно, будто гне-
ва того не примечая:

«... Тако же и святым монастырям ве-
ликими своими доходами отныне в во-
инском деле участвовать. Ибо казна и
земли монастырские накаплиются, а рус-
ской земле пользы с них нет...»

Движение среди духовенства: растеря-
ны архимандриты. Озадачены протопре-
свитеры. Поражен митрополит. Потрясе-
ны епископы.

Пимен от неожиданности — посох ро-
няет. На ходу его боярин чернобровый
подхватывает. Пимену подает. С Пименом
глазами встретился. Видно, что встретил-
ся и мыслями.

Мыслями духовенство с боярством
встречается. В ответ царю волна ярости
духовенства прокатывается. С гневом бо-
ярским сливается.

Видит Иван — возрастающую злобу.
Видит Иван — гнев растуший. Видит —
недовольство.

С еще большей силой продолжает:

«Нужна сильная власть, дабы выи-
гнать тем, кто единству Державы Рос-
сийской противится...»

Загудели ответно Старицкие. Метнул
глазом в сторону Старицких Иван.

Вскинулась ответно Евфросинья в яро-
сти. Метнул глазом гневным в Евфро-
синью. Владимир мать удерживает.

Молодой князь златокудрый, одесную
царя, восторженно на Ивана глядит

По другую сторону царя — боярин
чернобровый потемневшим взором поту-
шился.

Одни иностранцы насмешливо глядят.
Дело их как будто не касается. Лю-
бопытствуют насмешливо, — чем разлад
молодого царя с боярством, духовенством
окончится...

Да внезапно речь Ивана в их сторону
метнулась неожиданно. Тихо, еле слыш-
но продолжает Иван:

«... Ибо токмо при едином, сильном,
слитном царстве внутри — твердым мож-
но быть и вовне...»

Затаили дыхание иностранцы. Послы
насторожились.

Еще тише продолжает Иван. И в голо-
се его будто звучат далекие отзвуки пес-
ни про «океан-море, море синее, море
русское»..

«... Но что же наша отчизна, как не те-
ло, по локти и колени обрубленное? Вер-
ховья рек наших: Волги, Двины, Волхо-
ва — под нашей державой, а выход к мо-
рю их — в чужих руках...»

И еще отчетливее кажется, что в сло-
вах царя звучит напев — «Море синее,
море русское».

«... Приморские земли отцов и дедов
наших — Балтийские — от земли нашей
отторгнуты...»

Взволновались послы. Видит Иван их
волнение.

Забеспокоились иностранцы. Видит
Иван их беспокойство.

И громогласно возвещает венценосный:
«... А посему в день сей венчаемся мы

на владение и теми землями, что ныне — до времени — под дружными государствами находятся!»

Страшное возбуждение среди послов. Ливонский посол поднял брови: «Ай да птенец!»

Не птенец уже — орел на возвышении. Как горный орел, выше бури парящий, так Иван над бешеным морем людского прибоа высится.

Песнь о море синем, море русском — высоко в куполе звенит. — И сквозь бурю ярости послов, бояр, духовенства, людей растерянных, сквозь страсти, пенье, бешенство, — заключительно Иван бросает:

«Два Рима пали, а третий — Москва — стоит, а четвертому не быть! И тому Риму третьему — Державе Московской — единым хозяином ольшне буду я ОДИН!»

И на этом речь внезапно обрывает.

Ураган перекрывая, возглашает диакон:

«Великому Князю Московскому Иоанну Васильевичу всея Руси царю и самодержцу — многая лета!»

По собору буря ураганом пронесится.

Среди бури бледный, с горящими глазами, как утес, Иван стоит.

Иступленно подхватывает хор: «Многая лета! Многая лета!»

Радость Глинских-Захарьиных, бешенство Старицких, гнев послов и церковное песнопение сливаются.

Словно улей, собор кипит.

«Многая лета! Многая лета!»

Шипит Евфросинья Старицкая: «На завтра свадьба назначена. Учиним же свадьбу сему хозяину!» В кучу тесную Старицкие сплосились.

Песнопения разливаются. Колокола неистовствуют.

Иностранцы: «Папа не допустит!» «Император не согласится!» «Европа не признает!»

Говорит Ливонский посол: «Силен будет — все признают!» И добавил секретарю: «Надо, чтобы силен не был...»

И пока горячатся остальные, старый дипломат со вздохом говорит: «Пришло время развязывать кошель...»

И в то время, как по собору разносятся церковно-славянские песнопения и неистовый звон колоколов, —

старый дипломат и молодой секретарь начинают внимательно разглядывать окружение Ивана: на кого можно делать ставку.

Аппарат остановился на молодом князе слева от Ивана. Молодой князь восторженно глядит на Ивана.

И неожиданно именно о нем голос посла говорит: «ЭТОГО!»

Секретарь удивлен: «Но это же первый

после Ивана человек. Первый друг Ивана и второй человек в государстве!»

Но медленно отвечает посол: «Честочебие страшнее, чем корысть... Не может быть доволен человек, пока он — первый... после другого...»

Не удивляется молодой секретарь: «Но у него есть все! Ему ничего не нужно!»

Но снова возражает старик: «Никто не знает границ человеческого вождения...» — И смотрит в сторону молодого князя. Туда же глянула и секретарь.

И мы видим, что молодой князь переводит взгляд с Ивана на Анастасию. И взгляд его становится угрюмым.

Иронически глядит Ливонский посол на секретаря. Секретарь виновато опускает голову. И деловито говорит старый дипломат:

«Займитесь князем Андреем Михайловичем Курбским».

И под неистовый звон колоколов мы видим задумчивое лицо молодого князя — Курбского.

Он глядит на Анастасию.

И по выражению его лица мы убеждаемся в том, что посол, быть может, не так уж неправ...

«Многая лета!» «Многая лета!» — неистовствует хор.

ЛОБНОЕ МЕСТО.

Улицы.

Неистовый звон колоколов переходит в громкий гул толпы. Сияющая внутренность собора — в темные улицы Москвы. Улицы кипят народом. Гул прокатывается по спешащим толпам.

И вот перед нами площадь Лобного места.

Родичи Старицких тут и там спуют в толпе. Народ мутят... Народ призывают к голосу с Лобного места прислушиваться.

Слушает народ.

Слушают братья Чоховы: Фома и Ерема.

«Околдован царь!» — несетя голос с Лобного места: «Родней будущей царицы околдован! Глинскими околдован!»

И мы видим высокую фигуру Юродивого, неистово, с пеной у рта, выкрикивающего призыв к народу — спасти юного царя от чар злодеев:

«Ближнюю родню свою — Старицких — отстраняют. Верных своих бояр теснит. На сокровища церковные, монастырские, посягает!»

С пеной у рта кричит Никола Юродивый: «На народ за это Господь Бог великие беды ниспослет! Огонь небесный обрушит!»

И в ответ несетя над толпой: «Бей Глинских!» — кричит Фома.

И видно, что здесь подхватываются возгласы, умело подобранные сторонниками Старицких.

Пуще всех горячится рослый рыжий парень дворянского облика — Григорий.

Стоит гул над ночной площадью. Коптят факелы. Звонят колокола.

Звонница.

К звонарям на звонницу подымается один из приближенных группы Старицких. С ним холопы — Козьма и Демьян. Притаились в стороне.

Лобное место.

«Бей Глинских!»

Все настойчивее кричат.

Стоит гул над площадью.

Гул со звоном сливается.

Кипит черная ночная площадь.

ЗОЛОТАЯ ПАЛАТА

Далеко от площади до хоромов царских. Издали до свадебной палаты звон доносится. С криком «горько! горько!» сливается.

И под крик пирующих царь от губ царицыных после поцелуя отрывается..

Смущена Анастасия. Радостен царь. Кричат гости. Звонят вдали колокола.

К колокольному звону царь прислушивается: «Что так сильно Москва колоколами раззванивается?»

И с высокого места посаженной матери царя отвечает Евфросинья Старицкая — заискивающе: «Радость народная по Москве раззванивается..»

С Пименом, что на почетном месте сидит, Старицкая переглянулась.

Лобное место.

Над Москвой колокольный гул неистовый.

«Бабка царская — Глинская — колдовство разводит!» — не унимается Никола Юродивый Большой Комак: «Из людей сердца вынимает. Кровью людскою дома кропит! От той крови огонь зарождается: дома горят!»

Речь захваченный, орет Григорий: «Самих Глинских жги!»

И сторонники Старицких пронзительно кричат: «Айда Глинских жечь!»

Стоит гул над площадью.

Гул со звоном сливается.

Кипит черная ночная площадь.

Золотая палата.

В золотой палате свадебной — обращается Иван к Курбскому и Колычеву с во-

просом: «Отчего, друзья мои ближайшие, нынче не веселы?»

Курбский уклончиво говорит: «Что же, царь-государь, в народе не зря говорят: с женитьбой бывает дружбе конец..»

Анастасия обернулась к Курбскому. Курбский взгляд в сторону отвел.

Иван смеется. Обращается к другому другу: «А что Федор Колычев ответит?»

Колычев встает. Кланяется царю. Говорит: «Порываешь, царь, с древними обычаями, через то — смута большая будет..»

Лобное место.

И, как будто вторя словам Колычева, — бурным морем разливанным с дальней площади Лобного места народ толпами валит. Крики слышатся: «К царю!»

Золотая палата.

Далеко от площади до хоромов царских: до хоромов царских крик не доносится.

Продолжает Колычев: «Супротив царя итти не смею. Рядом с тобою итти не могу..» С поклоном сказал: «Отпусти в монастырь..»

С места почетного Евфросинья к дальнему звону прислушивается.

Иван задет. Отвечает Колычеву: «Царя земного на царя небесного меняешь? Что же, меж тобою и царем небесным становиться не буду». Махнул рукой: «Ступай!»

За нас, грешных, молись!..»

С грустью Колычеву в глаза глядит. Взволнованно говорит:

«Одного прошу: в беде не оставь — в нужный час по призыву нашему вернись..»

Низко поклонился Федор Колычев царю..

К Евфросинье подбежал подручный — будто вина налить, — а сам шепчет ей на ухо вести тревожные. Весельем глаз Евфросиньи заиграл.

Где-то далеко колокольный звон в набат переходит. Где-то далеко неясный гул идет. Сквозь напевы свадебные слышится.

Гул слышнее. Кое-кто, кто ближе от окон, к гулу дальнему прислушивается.

Царь на Анастасию глядит: ничего не слышит..

Подшел Колычев к митрополиту Пимену. И под гул сочувственно митрополит на боярина глядит. Благословляет. Говорит: «В Соловецкий монастырь ступай. Игуменом рукоположу..»

Громче гул. И, чтоб гул тот заглушить, Евфросинья платком знак подает.

Звонко раздается песня свадебная:

«По за-городу царь ходит,
Он невесту ходит-смотрит,
В терема домов заглядывает,
Лебедь белую высматривает...»

За окном гул ширится. Евфросинья второй знак подает — звучит песня гремит:

«Отворяйтесь ворота,
Отворяйтесь широки...»

Распахиваются двери. Гул и песня гонут в кликах радости — по широкой лестнице плывут блюда: лебедей жареных несут, лебедей белых, кокошниками серебряными наряженных.

Под крики звучит песня:

«Плывет лебедь белая,
Белая-дебелая,
Белая-желанная,
Венцом осиянная».

В честь царицы припев повторяется:

«Белая-желанная,
Венцом осиянная».

И на фоне общего восторга, торжественно, с чашею в руках подымается мать посаженная Евфросинья.

Плывут блюда с лебедями. Над царицей лебеди белые проплывают. Кокошниками серебряными играют...

Возглашает Евфросинья зычным голосом, всех и вся перекрывая:

«Будь здоров царь Иван Васильевич!
Да воссияют дела твоя. Слава!»

Все чаши подняли. К устам чаши подносят. Царя чашами славят.

«Слава!» — кричат.

Первым чашу осушает друг ближайший царский — Курбский. Высоко пустую чашу подымает — обрядово. Замахнулся: «Э-э-эх...» Поглядел на Анастасию. Взором помрачнел.

Улыбнулась Евфросинья насмешливо-понимающе. Из других — никто не приметил...

Подымаются все чаши пустые. Об пол бросить их собираются — обрядово.

Замахнулись: «...Э-э-эх...» Треск раздался огуластительный. Не от чаш, об пол разбиваемых — от окон камнями вдребезги выбиваемых!..

В окна разбитые набат колокольный врывается. Гул толпы палату криком заливает. Сквозняк в оконницу разбитую с востом врывается, одним дыханием сотни свечек тушит...

В тьму палата погружается. В ту тьму — зловецким алым языком — зарево далекого пожара стелется...

К окнам бросились. За окном — пожарище: «Замоскворечье горит!»

Во дворе — народ гудит. За окном пламя бушует.

Над бушующим огнем колокольня вы-

сится. Люди Старицких звонарей со звонницы сбрасывают.

Подручный Старицких — Демьян — веревки колокольные ножом перерезает.

Помогает Демьяну деятельно — Никола Юродивый Большой Колпак. И вид у Николы совсем не безумный.

Вниз, в огонь валится колокол наибольший — Благовестник.

За ним колокола малые — горохом сыпятся.

Через оконницы разбитые бояре на огонь глядят.

В необъятной палате царской пиршественной — только двое во мраке остались: голубицей белой Анастасия, свечью одною, — незатухшей, последней — бледно-освещенная.

Да Иван — в лучах зарева кровавого — великаном гневным высится.

«На меня народ подымаете, бояре! Не мира — меча восхотели...»

Распрямылся — черным призраком тень по сводам промчалась. Неотрывно в зарево глазами впивается.

«Меча и познаете!»

С гулом, с грохотом двери валятся: в палату народ вламывается.

Факелами длинными палату освещает.

Переходы.

Охрану на лестнице теснит. Мнет... Сминает.

Золотая палата.

Курбский с Кольчевым к Ивану на выручку спешат. Ст народа царя ограждать хотят.

А Иван требует: «Пустить народ!»

Охрана царя не слушает: лесом бердышей народ не пускает.

Обозлясь, народ охрану теснит. Пуще всех — рыжий парень Григорий.

Схватка разрастается.

Иван бросился схватку разнимать. В то мгновение — рывком богатырским — Григорий сквозь охрану прорывается. Богатырским взмахом кувалду вверх подняв, на Ивана наталкивается.

С криком жмурится Анастасия. Неминуемо кувалда Ивана раздробить должна...

Но в мгновенье последнее подскокить поспекает Курбский.

Собой Ивана прикрывает: в сторону удар отводит.

Кольчев Григория хватает. На колени перед царем бросает. Злобно глядят Курбский с Кольчевым на Григория...

Смяв охрану, народ с разбегу, словно вкопанный, стоит. Царя узнает. Царю в ноги валится.

«Великий государь, на Глинских челом бьем!» «Управы просим!» «Воружбу Глинские развели», «Захарьины тебя с пути сбивают».

Говорит Фома Чохов: «Над Москвой знаменье страшное...»

Говорит Чохов Ерема: «Со звонниц колокола сами падают!»

И вставая с колен, народ кричит: «Покорись, царь, знаку божьему!»

Впереди других больше всех горячится рыжий парень Григорий.

Не отстают братья Чоховы: Фома и Ерема. Кипятятся.

Долго глядит на народ царь Иван. Его от народа отделяют друзья — Курбский и Колычев.

Это первая встреча Ивана с народом — лицом к лицу.

Властным движением раздвигает царь охрану, ставшую между ним и черным людом. Отстраняет Курбского, удаляет Колычева. Подошел к возбужденному великану — Григорию.

Народ затих. Курбский стал на защиту Анастасии.

Иван: «Чары — говоришь? Колокола подавали?» Протянул руку: «Иная голова, которая чарам верит, — сама, что колокол...» Стучит пальцем по лбу Григория: «...пустая».

Кругом смешок.

Иван: «А нешто голова сама слететь может?»

Кругом уже смех. Григорий опешил.

Говорит Иван — ласково: «Чтоб слетела — срезать надо». Провел пальцем по шее Григория. Да так сверкнул глазом, что Григория мороз по коже продрал. Что-то от будущего Грозного пронеслось во взгляде молодого Ивана.

Но весело продолжает Иван: «Так и с колоколами. Ну, а кто без царского веления колокола срезал, тем недолго по царскому указу и головы посрезать!»

Народу царские слова нравятся. Одобряет царя братья Чоховы.

Фома: «Царь-то, видно, башковит!» Ерема: «Прямо в корешок глядит!»

Народ одобрительно смеется.

После паузы неожиданно захохотал и сам Григорий, почувяв, что гроза прошла.

Зато в глубине палаты Владимир Андреевич Старицкий опасливо проводит рукой по собственной шее... Поймал на себе суровый взгляд матери. Сконфузился: спрятал руку в длинный рукав.

Опасливо на Ивана глядят холост Старицких — Демьян...

Горячо говорит народу Иван: «И срезать головы будем нещадно! Крамолу изводить. Измену боярскую с корнем рвать!»

Нравится народу царская речь.

Народ одобрительно крикает.

Как замороженная глядит на царя Анастасия. Невольно в восторге руки Курбского жмет.

Жмет ответно руку Курбский...

Оглянулась Анастасия. Взгляд его на себе поймала. Руки отняла. Коротко сказала: «О таком, князь, и думать не смей! На пути великого служения стою — царю Московскому — верная раба!»

Потянулась в сторону Ивана. Восторженно глядит.

Омрачился Курбский. Злобно ус кусает.

А вдали Иван с народом говорит. Не кричит. Не горячится. Рассудительно, похозяйски, степенно речь ведет:

«Земли наши великие и обильные, да порядку в них мало. Не варягов призывать будем. Сами порядок наведем. Крамолу изведем. Людей работающих, торговых, посадских в обиду давать не будем...»

Так говаривал Иван на земских соборах, на соборе Стоглавом...

Слушает народ внимательно царя. Около царских ног на землю усаживается.

Не того ждала Старицкая, не то затевала.

Подбегает к Старицкой подручный Демьян, взволнованно сообщает:

«Из Казани три посла к царю...»

Загорелись блеском глаза: «Впусти!» — велит.

Прерывая царские слова, со звоном входят три казанских посланца.

Народ на посланцев оборачивается.

Главный посланец говорит: «Казань Москва дружбу рвет. Союз Москвой кончат. Войной Москву идет!»

Как один человек, народ вскопчил. Медленно Иван поднялся. Плечи распрямил.

Продолжает посланец: «Казань — большой. Москва — маленький».

Второй посланец пояснил:

«Клячкин...»

Говорит первый: «Москва кончился. Великий хан...» — посланцы кланяются.

«...нож посылает. Русский царь — позор не имей: русский царь — сам себе кончай!»

Третий посланец выкрикивает: «Кутарды!»

Первый посланец протягивает Ивану ржавый кинжал.

Но и здесь эффект обратный тому, чего ждали Старицкие.

Иван к послу подсакивает. Ржавый кинжал выхватывает. Горячо кричит:

«Видит Бог — не хотим мы брани. Но прошли времена, когда могли приказывать московскому царю. И нож сей тех пронзит, кто руку на Москву поднял!»

Прокичал: «Навсегда с Казанью покончим...» Повернул кинжал острием на посла. «Сами походом на Казань пойдем!»

«На Казань!» — первым восторженно подхватил призыв Григорий. «На Казань!» — восторженно подхватил народ.

Тот же крик со двора несется. В окна
арывается.

«На Казань!»

Переходы.

Под окнами на дворе народ неистовст-
вует.

Золотая палата.

Иван, взволнованный и упоенный успе-
хом, ищет Анастасию.

Ее, сияющую от счастья, к Ивану под-
водит Курбский. *

Иван обнимает Курбского. Возглашает:
«Головной полк вести назначаю!»

Курбский горд. Торжествуя огляды-
вается кругом.

Растерянно стоят три казанских по-
сланца.

Еще громче крики: «На Казань!» Гремит
музыка. Общее движение толпы.

«НА КАЗАНЬ!»

Кузницы.

Протяжный крик переходит в песню:

«Куйте пушки медные
— пушкири —
И пищали верные
— пушкири...»

Куются пики и секиры.

Куют Фома и Ерема.

«Будут пушкам сестрами
— пушкири —
Пики-сабли вострые
— пушкири».

Литейная.

Льются пушки.

Протяжно несется припев:

«Путь-дороженька,
степь татарская,
Славный город — Казань —
горе-горькое».

Под припев из огня пушки рождаются.
Новые. Громадные...

«Хороша пушка!» — внезапно раздается
голос Ивана: «А как звать?»

«Молодец!» — тихо отвечает пушкар-
ский начальник.

«Молодец и есть!» — весело говорит
царь. Остальные пушки, знакомые, под
мирный стук молотов, по именам назы-
вает: «Лев!», «Волк!», «Певец!», «Васи-
лиск!»

«Молодец!» — кричит Фома. Еще звонче
песня:

Кузница.

«Ставьте пушки царские
— пушкири —
Двиньте башни на стены
— пушкири...»

Кует секиры Фома.

Литейная.

Льет пушки Ерема.

Песня продолжается: «На стены казан-
ские пушкари — молодцы московские —
пушкари».

Льются пушки.

Ерема: «Хорошо куют ребята...»

Кузница.

Куются бердыши.

Фома: «Удивительный народ».

Дорога на Казань.

«Путь-дороженька,
степь татарская,
Славный город Казань —
дело трудное...»

По вязким дорогам тащут пушки. Пуш-
ки огромные и неповоротливые.

Натягиваются жилы, напрягаются кана-
ты: пушку «Василиск» тащут, надрыва-
ясь, двадцать пять коней...

Идут стрелецкие полки. Лес секир.

Подкоп.

Некоторое время совсем темно. В тем-
ноте смутно ощущается какое-то движе-
ние. Слышны скрепящие звуки лопат
и тяжелые удары заступов.

В оркестре звучит песня пушкарей. И
тяжко в ритм ударяют заступы...

КАЗАНЬ.

Подкоп.

Постепенно из темноты вырисовывают-
ся отдельные фигуры. Идет горячая ра-
бота лопатами, кирками, мотыгами. Среди
копающих распоряжается здоровый дети-
на. Он — старший.

Где-то заела работа. Старший выхватил
у кого-то кирку и сам бросается в работу.
Яростно разворачивает грунт.

На санях оттаскивают черную землю.
Вместе с санями к выходу из подкопа вы-
бирается детина. Это — Григорий. Он чер-
ный от земли, потный, разгоряченный, но
довольный и возбужденный.

Казань.

Григорий вылезает из ямы. Как рыжий
кот, жмурится на свету. Широко раскры-
вает глаза.

Перед ним — над ямой — стоит царь
Иван. Рядом с Иваном — Курбский. Ино-
земец — инженер Расмуссен. Начальники.
Звонят голоса:

«Ой ты горе-горькое —
степь татарская».

Сверкает царь на предрассветном небе

кольчугой. На груди золотое солнце горит.

Сияет Курбский латами серебряными, светлыми.

«Дело трудное,

дело царское...»

Григорий докладывает: «Можно подкоп зорехом набивать».

Иван доволен: «Месяц ждем. Заждались. Пора на приступ итти!»

Григорий нырнул обратно под землю.

И мы видим в первых лучах восходящего солнца, что перед нами не только подкоп, но весь русский лагерь на северной стороне реки.

На шанцах стоят пушки.

В окопах стрельцы — среди них дватри человека из врывающихся в царские палаты.

На другой стороне реки — в туманной мгле — проступают солнечный мрак, очертания осажденной Казани.

И вот уже светает. Наступает день штурма на Казань.

На шанцы Курбский татарских пленников выводит. На виду у города, полураздетых, прикрутили их к тынам. Курбский через переводчиков велит им кричать к защитникам Казани последний раз предложение сдаться. «Кричи: Казань, сдавайся!»

Кто-то с отчаяния кричит: (по-татарски). Кто-то мрачно уставился в землю. Кого-то кричать заставляют: (по-татарски).

Крик доносится до казанских стен. Высовывается несколько голов. Прислушиваются. Внезапно над стеною поднимается рослый старик в белой чалме. С ним князья молодые — татарские военачальники.

И кричит старик в чалме с высоты Кремля Казанского татарским пленникам связанным: «Лучше вам погибнуть от наших рук, чем умирать от гяуров теобрезанных!»

Стаи стрел понеслись с казанских стен: на тыну повисли убитые пленники.

Курбский злобно махнул рукой: «Не готят — не надо».

Знак Курбского подхватили. Передали.

Покатали бочки с порохом в подкоп. Гулко катятся бочки.

И под гул их в ярости спешит Иван к Курбскому на шанцы. Яростно обрушивается Иван на Курбского за бесцельную жестокость:

«Лютость бессмысленная — глупость. Даже зверь неученый разумен в злобе своей!»

Курбский задет за живое. Вскипел. Не сдерживается. Схватывает Ивана за грудь. Иван поражен дерзостью Курбского.

Вбежал Григорий с донесением. Видит сцену. Поражен.

Иван крепко вцепился в Курбского. Курбский сообразил, что зашел слишком далеко.

Между схватившимися пролетает стрела. Две другие ударились в тын.

Молниеносно Курбский прижимает Ивана к тыну. Григорий готов броситься на Курбского.

Но Курбский объясняет Ивану, что он хотел оградить его от стрелы: «От стрелы тебя уберечь хотел...»

Григорий яростно глядит на Курбского.

Нарастает подземный гул катящихся бочек.

Иван говорит Курбскому: «Коль от стрелы... так спасибо». Знаком руки отсылает его к головным отрядам.

Григорий с ненавистью глядит вслед Курбскому. Курбский на коня садится. Про себя говорит: «Прав был ливонец — вечно мне при нем в щенках ходить».

Иван ловит взгляд Григория на Курбского. Григория к подкопам отсылает. Вслед смотрит другу своему.

Исчезает в войсках Курбский на белом коне.

Медленно, задумчиво — Иван говорит: «Иная стрела ко времени пролетает...»

Сбоку голос от Ивана как бы мысль его договаривает: «Хуже стрел татарских ненависть боярская...»

Обернулся царь. Перед ним — пушкарский начальник, вдумчиво говорит: «Не стрел — князей-бояр опасайся».

«Имя как?» — метнул на него глазом Иван. — «Алексей Басманов», — говорит: «Данилов сын».

Добрая улыбка по царскому взгляду прошла: «Имя боярского ненавистника запомню...»

Повернулся. К шатрам пошел.

Говорит Басманов парню молодому — подручному:

«Гляди, Федор! Гляди, сын: царь всея Руси...»

«Царь...» — повторяет Федор благоговежно. Не моргая, на Ивана глядит. Глаза широко раскрыты. Глаз с царя не сводит.

Высоко Иван пред шатрами — над Казанью — в утреннем небе рисуется...

Подкоп.

Григорий в подкопе среди бочек пороха. Там же братья Чоховы: Фома и Ерема. Между бочками вместе с пушкарями свечку ставят.

К основанию свечки Григорий фитили прикручивает. Первый раз в жизни молчат Фома и Ерема: важностью минуты охвачены...

Казань.

Такую же свечку — у всех на виду — на поверхности земли ставит иноземец — инженер Расмуссен.

Подкоп.

Горит свеча под землей.

Казань.

Горит свеча на поверхности.

Глядит Иван на Казань.

Глядит Курбский. Впереди своих отрядов.

Пушкири глядят..

Свечка медленно горит. Чуть-чуть по ветру колышется.

Глядят стрельбы. Глядит Ерема.

Тишина кругом.

На стенах глядят татары. Медленно свеча горит.

Крупно — Иван у шатра. Крупно — пламя. Крупно — Курбский. Крупно — свечка. Уже полсвечи.

Тяжко дышит перемазанный, черный великан Григорий: волнуется.

Волнуется, колышется пламя. Еще четверть свечки слизнуло.

Неподвижно истуканом глядит царь. Замолкли перед иконами попы. Кусает Курбский ус. Разбегается пламя по огарку. Зажмурился Григорий. Догорела свечка..

Тишина. Не дышит царь. Напряжен Курбский. неподвижны пушки.

А взрыва нет..

Крикнул царь: «Где же ваши громы подземные?!»

Сорвался Григорий. Бежит к подкопу. Иноземец — инженер Расмуссен — хватает его за шиворот. Не пускает. Держит за руки.

Поглядел Курбский насмешливо на царя. Сдвинул брови царь: «Пушкарей сюда!»

Волокуют пушкарей к царским ногам.

Потасили пушкарей к виселице.. Сорвали с пушкарей кафтаны. В белых рубахах оставили.

Петли на шею надели.

Свечи в руки дали.

Вырвался от Расмуссена Григорий. Перед царем на колени бросился: «Не измена, государь: — на ветру свеча горит быстрее, а в земле идет тише..»

Не слушает его царь. Велит вздернуть пушкарей.

Григорий к пушкарям кидается. Сам на себя петлю надевает. «Святой крест!» — клянется. «Господи!» — на колени валится.

Медленно тянутся веревки по виселице.

Под землей, в темноте, догорела свеча до фитилей. Побежал огонь по фитилям.

Вскинул голову Григорий. Потянулись вверх веревки по виселице.

Грянул взрыв — стена зашаталась.

Второй взрыв — башня Казанская посыпалась.

Третий взрыв.

Подбежал Григорий, как был с петлей на шее, к царю.

«Выдать пушкарям пятьдесят рублей!» — Иван обрадованно в ответ кричит.

Курбский на приступ помчался.

Загремела песня:

«Черным порохом рванули —

— пушкари —

Полетела конница

— пушкари...»

Проскакали войска через брешь.

«Полетели вороны

— пушкари —

Помолились воины

— пушкари...»

Навстречу — ни выстрела. Слово все вымерло.

Понеслись вперед с осадными лестницами. Курбский впереди.

Отворачивается Иван. Не выдерживает: за друга боится. Голову в складки шатра прачет.

Тут внезапно разразилась Казань градом стрел, камней, потоками горячего пара...

«Ой ты горе-горькое,

степь татарская..»

Из рядов каждого третьего повырывало..

«Дело трудное —

дело царское..»

Обернулся Иван: Курбский цел — на солнце латами блестит.

Подал знак Иван: «На подмогу Курбскому!»

Пушки грохнули.

Выкликает Иван имена любимые: «Лев!» «Волк!» «Певец!» «Молодец!..»

Грохочут пушки под ряд. Грохнули разом.

И вот уже Курбский на стенах: первым забрался.

Стягом размахивает. На стене, сквозь дым, светлой точкой латами сверкает.

Над пушками Иван высится. «Теперь поистине царем буду! Повсюду признают царя Московского!»

Пушек грохотом, колоколами, фанфарами, музыкой — откликнулось восклицание, музыкой, колоколами разливается.

Лобное место.

Вырастает куполами на Лобном месте храм Покрова Божьей Матери (собор Василия Блаженного).

И несметным потоком движутся, Московского царя славят. Под власть Московского царя идут,

посольство Астраханское,

посольство Черкасское.

Дары Сибирь шлет.

Переходы.

Возглашают имена посланцев глашатаи на царском дворе.

На дворе: лев со львицею — «Славному

царю Московскому сестра его королева Аглицкая подарок шлет...»

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ.

Переходы.

В грохот музыки постепенно влетает — одинокий, заунывный колокол.

И уже народ молча стоит около царских хором. На лестницах и переходах. В горести склонив колена, стоит Расмуссен. Стоит Выродков.

Стоят бояре молча в палатах.

Под сводами опечаленные купцы Строгановы.

И совсем вдали, у низа лестницы, в темной одежде военной — начальник Алексей Басманов.

В приемной палате — послы. Здесь сплелись Запад и Восток: Англия и Персия, Сибирь и Италия.

Иностранцы перешептываются: «Как царь?», «Как здоровье царя Московского?», «Царь болен».

Слово «царь» произносится всеми с особым уважением и трепетом.

Молодой иностранец объясняет кому-то: «Еще возвращаясь из Казани, царь занемог».

Ливонский посол говорит ему насмешливо: «Теперь он и для вас сделался царем?»

Иностранец сердито отвернулся.

Группа бояр. Немного в стороне — Курбский. Среди бояр — Евфросинья Старицкая. Со вздохом говорит: «Справедлив Господь! Вознесся выше других князей — князь Московский. Тут ему и каюк...»

Задумчиво стоит Курбский. Сбоку от него голос:

«Ну, князь, всюду второй?...» Курбский обернулся.

Перед ним — Евфросинья Старицкая. Беззвучно смеется.

«Анастасию любила — Иван взял. Казань воевал — Ивану досталась. Ему — слава, а тебе...» — ядовито подчеркнула: «... за службу государеву — землицы малую малость прирежут...»

Резко изменив интонацию, быстро сказала: «Завоевал ты Ивану Казань — на беду боярам, да на свою же башку...»

Курбский недовольно отвернулся. А за кадром голос Евфросиньи: «Да и башку тебе недолго таскать...» Курбский настоужился.

С расстановкой Евфросинья продолжает: «Не скоро царь про стрелу казанскую забудет...»

Курбский вскинулся.

Евфросинья удержала его за руку и, в упор глядя ему в глаза, говорит: «А если сам забудет... есть кому напомнить!» Внезапно оба вздрогнули и глянули вбок: мимо них по лестнице медленно прошла тень Малюты.

Евфросинья шепнула на ухо Курбско-

му: «При живом Иване Курбскому не жить...»

Скрылся из виду Малюта.

«Да милостив бог!» — добавила Евфросинья и показала на процессию, идущую во внутренние покои царя.

Впереди митрополит Пимен со святыми дарами. За ним: схиму черную несут. Семь священников. Монахи с зажженными свечами.

Дьяк объясняет иностранцам: «Царя соборовать пошли...»

Иностранец иностранцу говорит: «Это у них делают перед смертью...»

Заунывно бьет одинокий колокол. Монахи поют псалом 50-й: «Помилуй мя, Боже!»

Процессия скрылась во внутренних покоях. Издалека донеслось: «Паки, паки миром Господу помолимся...» Заглохло: дверь закрылась. Полная тишина. Заунывно бьет одинокий колокол.

Одиноко, среди роскоши, весь в темном, печальный стоит Басманов.

Евфросинья строго Курбского спросила: «Крест кому целовать будешь!?»

Курбский удивлен: «Сыну Ивана — наследнику Дмитрию...»

«И Анастасию?! — оборвала его Евфросинья: «К вдове в Телепневы лезешь?»

Курбский оскорбленно вскинулся.

«Смотри, князь, не зарвись!» — и после паузы добавила: «Владимиру Андреевичу крест целуй!»

Курбский вопросительно взглянул на нее, перевел взгляд на палату.

В углу сидит Владимир Андреевич. С глубоко-блаженным видом — мух ловит. Не в переносном — в прямом смысле. Только никак поймать не может: все промахивается.

Курбский перевел насмешливый взгляд с него на Евфросинью. Евфросинья поняла его мысль. Грубо сказала: «Потому и целуй!» — с жаром добавила: «Таких, как ты, не за деньги покупают. Таким — государство подавай. При Владимире — Москвой ворочать будешь...»

Скорее обиженно, чем скорбно продолжала: «Хуже дитяти он. Умом прискорбный...»

Владимир за мухой потянулся. Опять промахивается...

Закончила Евфросинья: «Полным хозяином будешь!..»

Опочивальня.

В опочивальне Ивана соборование идет своим ходом.

Пимен берет Евангелие. Раскрывает его, разгибает и «возлагает письменами на главе больного, как бы руку самого Спасителя, исцеляющего недужных чрез прикосновение».

Лицо Ивана закрыто Евангелием. Евангелие придерживают семь священников. Горят семь свечей в их руках.

Побелевшие губы Ивана непрестанно

шепчут из-под Евангелия: «Господи помилуй... Господи помилуй... Господи помилуй...»

Руки крестом на груди сложены.
Хором семь иереев голосахт...
Плачет Анастасия.

Переходы.

Ловит мух в глубине палаты Владимир Андреевич. Все промахивается. Рядом с ним боярин Пеннинский и казначей Микита Фуников. Оба глядят на Евфросинью с Курбским. «Уломает старуха?.. Эх, хорошо бы! За Курбским все пойдут. А так — вола вертят».

Евфросинья наклоняется к Курбскому: «Владимиру крест целуй!» Оба обернулись.

Из-за лестничного столба на них глядит Малюта.

Курбский схватил Евфросинью за руку. «Слышал?» И успокаивающе сказала Евфросинья: «Донести не успеет...»

Из внутренних покоев выходит со святыми дарами Пимен и монахи.

Малюта зовет бояр к царю: «Царь зовет...»

Бояре двинулись к внутренним покоям. За ними, царственно подняв голову, Евфросинья, старик Пеннинский, Фуников, Владимир Андреевич.

Запрокинув голову, царственно шагает Евфросинья. Перед нею, словно перед царицей, бояре почтительно расступаются. Вперед ее пропускаяют. Не сошел с дороги лишь один — невзрачный, в темное одетый полувоенное — Басманов. Печалью скованный, с двери царской глаз не сводит, Евфросиньи не замечает.

Наступает на него старуха властная. Гневно брови сдвигает. Посохом в бок Басманова отодвинула: беззвучно-почтительно Басманов вбок отошел. От потока пышного, золотого, боярского в сторону она осталась.

Внезапно около Курбского выросла темная фигура Ливонского посла: «А в случае чего — король Сигизмунд всегда рад. Ему нужны способные военачальники... У короля большие планы...»

Курбский двинулся мимо него к царской опочивальне.

ОПОЧИВАЛЬНЯ ИВАНА.

Опочивальня.

Иван лежит в горячке. Сбоку у постели — Анастасия. В стороне — люлька с младенцем Дмитрием. В углу угрюмый Малюта. Под киотом — схима приготовлена... Семь свечей, в пшеницу воткнутых, догорают. У изголовья Ивана — высокий соловецкий монах.

Входят бояре.

Иван, еле шевеля губами, через силу говорит: «...Конец пришел... С миром про-

щаюсь... Крест целуйте наследнику... законному...» Иван слабеет.

Анастасия плачет.

Вызывающе смотрят на него Евфросинья Старицкая и Владимир Андреевич.

Иван по глазам видит отказ. Поднимается на постели. Его поддерживает Анастасия.

Иван просит крест целовать сыну: «Крест целуйте сыну моему Дмитрию...»

Бояре молчат.

Иван умоляет: «Сыну крест целуйте...»

Бояре молчат.

Иван со слезами на глазах убеждает их: «Не за себя. Не за сына: за Русскую землю прошу. Токмо власть единая — единокровная — Москву оградит. От врагов. От распри. Него татары снова вторгнутся. Поляки-ливонцы двинутся!..»

Бояре молчат.

Иван встал с постели. Бросился на колени.

С колен, обливаясь слезами, обращается к боярам.

Обращается к каждому в отдельности: «Шуйский Иван... Щенятов Петр... Ростовский Семен...»

Бояре отворачиваются.

Еще горячее, еще отчаяннее Иван к боярам обращается: «Иван Иванович — Турунтай-Пронский, пример подай!»

Молчит Турунтай...

«Немой-Оболенский! Почто молчишь?»

Отворачивается Оболенский...

«Курлегов! Фуников!»

Страшный приступ ярости душил Ивана. Он поднимается на ноги.

Кричит боярам: «Во все времена за то — прокляты будете!»

Теряет сознание. Падает. Никто не помогает.

Одна Анастасия возится около него. Малюта бережно укладывает ноги Ивана на постель.

Иван в глубоком обмороке.

И внезапно, позабыв про робость, бледная, разгибает стан Анастасия. К боярам обращается: «Только в сыне — его спасенье. Если не под властью единой будете, то пусть крепки, пусть и храбры, пусть разумны будете, — но правление ваше подобно безумию будет: ненавядя друг друга, иноземным государям служить станете!»

Горят щеки Анастасии. Лицо, убежденным светится. С лица бледность сошла. За плеча голубица всгупается.

За великое дело — мужнее — орлицей стоит.

Из двери, слов не слушая, Курбский Анастасией любитесь...

Разъяренной львицей Евфросинья с места двинулась. Разъяренной львицей на голубицу наступает. Мать — на мать. На защиту своего детеныша поднялась. «Не бывать боярству славному, исконному — под пятою Глишских!»

И сочувственно галдят бояре: «Надо крест целовать Владимиру Андреевичу!»

Мать на мать надвигается. Мать от матери отступает. Мать матери с ненавистью в глаза глядят...

Люльку с наследником Анастасия собою прикрывает.

Мирно спит младенец.

Неподвижно Иван лежит.

Владимир ухмыляется.

Громче гул боярский: «Надо крест целовать князю Владимиру Андреевичу».

Рычит Евфросинья. На царицу наступают. Анастасия защитно собою Дмитрия прикрывает.

По Ивану судорога пробегает. Но лежит неподвижно. Только пальцы глубоко в одеяло впились.

Пошел Курбский в дверь. Глазами с Анастасией встретился.

Анастасия умоляюще на него глядит, взором защиты просит.

Меж царицей и Евфросиньей Курбский встал. На Ивана глазом уставился. Налитыми кровью глазами за Курбским Малюта следит.

И кричит старик-боярин Пенинский — приближенный Старицких, мнение общее высказывая: «Власть должна перейти к боярскому царю! Чтобы власть с боярами делил! Волю боярскую вершил!»

Неуклюжий пентюх — князь Владимир Андреевич — довольно ухмыляется.

И кричит Евфросинья: «Царю Владимиру крест целовать надобно!»

Ивана передернуло. Но лежит Иван, как мертвый.

Курбский взглядом пристальным глядит ему в лицо. Над Иваном наклоняется.

Каменно-мертвое лицо Ивана. Только капли холодного пота на лбу.

Курбский успокоился. Отрывает взгляд. В галдеж боярский врзается. На Анастасию глядя, всех зовет вон из палаты итти. Шумливо бояре уходят. Курбский за ними.

Как ужаленный, подымается на локоть Иван, глядя им вслед. В лихорадке царь, но жизни в его взгляде, по крайней мере, на троих. Вскочил Малюта.

Анастасия подошла к Ивану. Уложила. Притих Малюта, поглядывая на Ивана.

Внезапно отворяется дверь опочивальни. Сильно ослабевший, опираясь на Анастасию и Малюту, показывается царь Иван: «Святые дары принесли облегчение...»

Бояре встревожены. Иван подходит к Курбскому. В страхе перед царем Андрей стоит.

Говорит Иван: «Ты был первым при царе. Но еще выше вознесешься. Тебя ставлю на самое знатное дело. С Казанью, с Востоком покончено: и ты — Курбский, — поведешь войска русские... на Запад! На Ливонию! К морю!» Обнимает Курбского.

И как будто голос мамки старой слышится:

«..Океан — море,
Море — синее,
Море синее,
Море русское..»

Курбский через плечо Ивана встретил взгляд Анастасии.

Темен взгляд ее светлых глаз: в душе князя читает. Резким поворотом головы от князя взор отводит.

Отвел голову и Курбский. Глазом с Малютой встретился.

Недоверием полно лицо Малюты. Ненавистью глаза пылают:

Курбский потушился. И поспешно склонился перед Иваном.

Все кричат Курбскому: «Слава!»

Продолжает Иван: «А наши южные рубежи от Крымского хана защищать поставлю...»

Все дышание затаили: кому царь великую честь окажет?

Говорит Иван: «..Алексея Басманова..»

«Кого?!» — пронеслось по рядам удивленного боярства дородного.

В дверях скромно показался Басманов. Одет он невзрачно: в темное, по-военному.. Все глядят на него — с удивлением.

Не глядя ни на кого, подошел Басманов к Ивану. Преклонил колено. Опустил руку царь на плечо Басманова. Оперся. Тяжелым взглядом обводит присутствующих царь Иван..

ПАЛАТА СТАРИЦКИХ.

«Никому царь не верит!»

«Ближних бояр отстраняет!»

«Людей неведомых приближает!»

«Им доверие оказывает!»

Евфросинья бояре жалуются. Среди них Евфросинья — бабой каменной стоит. «Знаю», — говорит.

«С земель старых, вотчинных, на новые, незнакомые переводит.»

«Бояр преследует!»

«Щенятов схвачен!»

«Курлетов взят!»

«Знаю», — Евфросинья говорит.

«Убегу!» — пронзительно кричит Турунтай-Пронский: — «Не могу. Страшусь. В Литву сбегу.»

«Иван Иванович, постыдись», — Евфросинья говорит: — «Митрополит к царю поехал: отмолит...»

Распахнулись двери. Сам митрополит в дверях. Быстро палату проходит. На скамью низкую повалился.

Подбежала Евфросинья. Остальные сгрудились.

Говорит Пимен, задыхаясь: нето от бега, нето от ярости. «..Никого не милует.. Меня — заступника — самого сана ли-

шает.. С Москвы в Новгород переводит..»
 «Убегу!» — кричит Турунтай-Пронский:
 «Крест святой — убегу!»
 Убегает из палаты. Мимо бояр растерянных.

«Труссы — пусть бегут», — злобно в спину крикнула ему старуха Старицкая. «Кто останется — штарться будет».

Двое бояр поспешно выбежали за Турунтаем... Остальные вокруг Пимена сомкнулись.

Говорит Пимен горячо: «Пока ближний друг Ивана — Курбский — далеко.. царя к рукам прибрать надобно».

В сторону сказала Евфросинья: «Дружбе Курбского цену еще узнаем...»

Пимен поучает: «Первым делом — Анастасию от Ивана отвести...»

Все погупились. Перед собою глядят.

«Это — я на себя беру...» — говорит Евфросинья. На колени перед иконой ставовится. Широким крестом крестится..

ХОРОМЫ ИВАНА.

Х о р о м ы.

Звон. Проклятье. Бьется посуда. Разбиваются вещи.

Приступ ярости Ивана.

П е р е х о д ы.

Потому опасливо разбегаются по углам, лестницам; дрожат столы, по-стельничьи и прочие слуги царские.

Х о р о м ы.

В гневе, с пеной у рта кричит Иван: «Города прибрежные, Балтийские города — мне нужны!»

Подбежал к серебряным моделям Риги, Нарвы, Ревеля. На моделях — гербы шведские и ливонские нагло красуются. «Ревель, Рига, Нарва мне нужны!» Видом гербов распаляется.

«Снова ливонцы, снова ганзейцы товары аглицкие задержали. Снова без свинца, без серы, без олова, без ученых мастеров мои пушки оставили!»

Схватил Иван Ревель серебряный: «Ревель! Будешь мой!»

Ревель серебряный об пол грохнул. Вдребезги разбил. На осколки наступил: «Снова русским именем — Кольванью — наречешься!»

С в е т л и ц а.

Рядом в горнице хворает Анастасия. Огневицей мучается: в горячке лежит.

Черной птицею над нею сидит Евфросинья Старицкая. С больной глаз не сводит.

Ярость Ивана криком и звоном до Анастасии доносится.

Анастасия встать хочет, к Ивану пойти:

«К царю пусти.. Нужна я ему.. помочь ему надо!»

Не пускает Евфросинья. Снова укладывает. Сама прислушивается.

Затих грохот.

Х о р о м ы.

В хоромах Иван. Мокрый весь от ярости стоит. Тяжело дышит. В кресло раскладное бросается. Дух переводит. Голос переменяет. Гнев пересиливает. Человеку с умным лицом, в стороне стоящему, глухо говорит:

«Видишь, Непея, сколь военный союз тот мне нужен..» Подвигает ему роскошный набор шахматных фигур: «В дар свезешь их сладостной сестре нашей Елисавете, да на образинах этих все ей изяснишь...»

Складывает Осип Непея фигуры в шелковый платок.

«Да напомним ей, что царь Иван кому хочет — прибылей даст. Кого не захочет — в государство свое не пустит. Кого полюбит — тому пути на Восток откроет...»

Подождал к послу, отпустил его, да вслед ему крикнул: «Да гляди, лишнего не пей, Непея: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке...»

Низко кланяясь, уходит Непея. За окнами дождь. Холодно. Царя знобит. В шубу кутается.

С в е т л и ц а.

Рядом в горнице — черной птицей — над Анастасией Евфросинья Старицкая сидит. Через дверь за царем следит. Встрепенулась. На лестницу скрылась.

Иван в горницу вошел. Над Анастасией — дугой лампы неугасимые. Кругом — воздуха, руками парилы расшиты. Наклоняет голову Иван к Анастасии..

«Озобчен царь Иван?» — говорит царика. Волосы Ивана разглаживает. Сквозь слезы царя утешает.

Говорит Иван: «Никому верить нельзя. Курбский далеко, в Ливонии сражается. Кольчев — еще дальше: в Соловках молится. Одна ты у меня...»

Ниже наклоняется. От забот на мгновение забыться хочет.

Не дают царю забыться. Не дают царю отдохнуть..

С донесением бегут: «Из Рязани от Басмановых!»

Вскакивает Иван. В донесение жадно вливается. Вчитывается: «Опять они!» Анастасии страстно жалуется: «Опять бояре делу нашему противятся. Басманову с народом Рязань защищать не дают. Город Крымскому хану отдать готовы!»

Говорит Анастасия: «ТВЕРДЫМ БУДЬ!» Злобно слушает из темноты слова ца-

И не на чем стать.

Вошел в глубину вод,

И течение их увлекает меня...»

Иван в глубоком отчаянии около гроба,

«Я изнемог от вопля,

Засохла гортань моя,

Истомились глаза мои...» —

шепчет за аналоем монах псалом.

Слова псалма со словами Малюты переплетаются: Малюта донесения читает.

Иван в одну точку уставился. Ни молитв, ни донесений не слушает.

А донесения — тревожные.

«Князь Иван Михайлович Шуйский в литовские земли укрылся... Иван Васильевич Шереметьев в пути перехвачен... Боярин Иван Тугой Лук Суздальский в ливонские земли перебежал...»

Шепчет монах:

«Ненавидящих меня без вины

Больше, нежели волос на голове моей.»

Спокоен лик мертвой Анастасии. Иван с тоской глядит на нее. В горе бросился ниц...

Шепчет Иван:

«Прав ли я в том, что делаю? Прав ли я? Не божья ли кара?»

Продолжает монах:

«Чужим стал я для братьев моих

И посторонним для сынов матери моей...»

Продолжает Малюта:

«Князя Ивана Ивановича Турунтая-

Иронского в пути схватили.

Назад повернули...»

Обратно доставили...»

Иван поднялся с земли и уставился взором в мёртвый лик:

«Прав ли я в тяжелой борьбе своей...?»

Молчит мертвый лик Анастасии. И удаляется в край гроба царь Иван.

«И плачу, постыясь душою моею. —

И это ставят в поношение мне...»

Вбежал в собор Басманов-отец. С ним сын — Федор.

«И возлагаю на себя вместо одежды вретиче,

И делаюсь для них притчею...»

Добежали Басмановы до Малюты. Шепчули ему на ухо. Передвинуло Малюту.

«О мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино...»

Упал Малюта на колени перед Иваном. Об измене Курбского донёс: «Курбский к Сигизмунду бежал...»

Поднял голову Иван. Непонимающим взором уставился вдаль. Понял. Быстро зашептал: «Андрей, друг... за что? Чего тебе не доставало? Или шапки моей царской захотел?..»

Шепчет монах:

«Извлеки меня из тины,

Да не увлечёт меня стремление вод,

Да не поглотит меня пучина,

Да не затворит надо мною

Пропасть зева своего...»

Но о худшем шепчет Ивану Малюта: «Бояре вновь супротив тебя народ поднимают. Поражением Ливонским смущают...»

Шепчет монах:

«Поношение сокрушило сердце моё,

И я изнемог!

Ждал сострадания —

Но нет его,

Утешителей искал —

Но не нашел...»

Вскинул голову Иван.

И крикнул на весь собор: «Врёшь!»

Шарахнулся в сторону монах, шептавший псалом. Аналой опрокинул.

На весь собор раздалось проклятие: «Не сокрушен ещё Московский царь!»

Подбегают на крик к Ивану те, что остались близкими ему. Мало их — в пустоте собора теряются...

«Мало вас!» — кричит Иван. И велит: «Звать ко мне друга верного, последнего, единственного — Кольчева. — Он в далёком Соловецком монастыре за нас молится!»

«Царь! Не верь боярину Кольчеву». — Алексей Басманов, молчаливый, страстно царю говорит: «Окружи себя людьми новыми. Всем тебе обязанными. Сотвори из них вокруг себя кольцо железное, шитами острыми против врагов!»

Жадно слушает Иван.

Басманов продолжает: «Из людей таких, чтоб отрекались от роду-племени, от отца-матери, только царя бы знали, только бы волю царскую творили!»

Схватил сына Федора. Перед царем на колени поверг.

«Первым в то кольцо железное, на то дело великое — сына родного, единого, — единоутробного тебе отдаю!»

Жадно слушает Иван Басманова-отца. Басманов сына по волосам треплет.

Плечист Федор: вахлак и вояка. Широко раскрыты глаза на Ивана глядят: восторгом преданности горят.

Продолжает Алексей: «Ими одними власть держать будешь. Ими одними боярство сломишь. Изменников раздавишь. Дело великое сделаешь.»

Жадно слушает Иван: «Верно говоришь, Алёшка! Железным кольцом себя опояшем. Братию железную вокруг себя соберём. Опричь тех опричных никому верить не буду. Железным игуменом стану...»

Сверкают глаза Ивана мыслью мудрою, вперед мысли Басманова залетающей: «Москву брошу. Покину. В Александрову Слободу уйду...»

И не на чем стать,
Вошла в глубину вод,
И течение их увлекает меня...»

Иван в глубоком отчаянии около гроба.

«Я изнемог от вопля,
Засохла гортань моя,

Истомились глаза мои...» —
шепчет за аналоем монах псалом.

Слова псалма со словами Малюты переплетаются: Малюта донесения читает.

Иван в одну точку уставился. Ни молитв, ни донесений не слушает.

А донесения — тревожные.

«Князь Иван Михайлович Шуйский в литовские земли укрался... Иван Васильевич Шереметьев в пути перехвачен... Боярин Иван Тугой Лук Суздальский в ливонские земли перебежал...»

Шепчет монах:

«Ненавидящих меня без вины
Больше, нежели волос на голове моей».

Спокоен лик мертвой Анастасии. Иван с тоской глядит на нее. В горе бросился ниц...

Шепчет Иван:

«Прав ли я в том, что делаю? Прав ли я? Не божья ли кара?»

Продолжает монах:

«Чужим стал я для братьев моих

И посторонним для сынов матери моей...»

Продолжает Малюта:

«Князя Ивана Ивановича Турунта-
Пронского в пути схватили.

Назад повернули...
Обратно доставили...»

Иван поднялся с земли и уставился взором в мёртвый лик:

«Прав ли я в тяжелой борьбе своей...?»

Молчит мертвый лик Анастасии. И удаляется в край гроба царь Иван.

«И плачу, постыжь душою моею. —

И это ставят в поношение мне...»

Вбежал в собор Басманов-отец. С ним сын — Федор.

«И возлагаю на себя вместо одежды
вретиче...»

И делаюсь для них притчею...»

Добежали Басмановы до Малюты. Шепнули ему на ухо. Передернуло Малюту.

«О мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино...»

Упал Малюта на колени перед Иваном. Об измене Курбского донёс: «Курбский к Сигизмунду бежал...»

Поднял голову Иван. Непонимающим взором уставился вдаль. Понял. Быстро зашептал: «Андрей, друг... за что? Чего тебе не доставало? Или шапки моей царской захотел?..»

Шепчет монах:

«Извлеки меня из тины,
Да не увлечёт меня стремление вод,
Да не поглотит меня пучина,

Да не затворит надо мною
Пропасть зева своего...»

Но о худшем шепчет Ивану Малюта: «Бояре вновь супротив тебя народ поднимают. Поражением Ливонским смущают...»

Шепчет монах:

«Поношение сокрушило сердце моё,

И я изнемог!

Ждал сострадания —

Но нет его,

Утешителей искал —

Но не нашёл...»

Вскинул голову Иван.

И крикнул на весь собор: «Врёшь!»

Шарахнулся в сторону монах, шептавший псалом. Аналой опрокинул.

На весь собор раздалось проклятие: «Не сокрушен ещё Московский царь!»

Подбегают на крик к Ивану те, что остались близкими ему. Мало их — в пустоте собора теряются...

«Мало вас!» — кричит Иван. И велит: «Звать ко мне друга верного, последнего, единственного — Колычева. — Он в далёком Соловецком монастыре за нас молится!»

«Царь! Не верь боярину Колычеву», — Алексей Басманов, молчаливый, страстно царю говорит: «Окружи себя людьми новыми. Всем тебе обязанными. Сотвори из них вокруг себя кольцо железное, шилами острыми против врагов!»

Жадно слушает Иван.

Басманов продолжает: «Из людей таких, чтоб отреклись от роду-племени, от отца-матери, только царя бы знали, только бы волю царскую творили!»

Схватил сына Федора. Перед царем на колени поверг.

«Первым в то кольцо железное, на то дело великое — сына родного, единого, — единоутробного тебе отдаю!»

Жадно слушает Иван Басманова-отца. Басманов сына по волосам треплет.

Плечист Федор: вахлак и волка. Широко раскрытые глаза на Ивана глядят: восторгом преданности горят.

Продолжает Алексей: «Ими одними власть держать будешь. Ими одними боярство сломишь. Изменников раздавишь. Дело великое сделаешь».

Жадно слушает Иван: «Верно говоришь, Алёшка! Железным кольцом себя опояшем. Братию железную вокруг себя соберём. Опричь тех опричных никому верить не буду. Железным игуменом стану...»

Сверкают глаза Ивана мыслью мудрою, вперед мысли Басманова залетающей: «Москву брошу. Покину. В Александрову Слободу уйду...»

Засверкали ответно глаза Малютины:
«На Москву походом двинешься!»

«Завоевателем возвратишься!» — Алексей Басманов кричит.

Но Иван к соратникам наклоняется:
«Не походом вернусь...»

Опешили.

Продолжает царь: «Не походом вернусь... на призыв всенародный возвращусь!»

Растерялись Басманов с Малютою: куда царскую мысль заносит!

Возражает Басманов яростно: «Невозможно призыва всенародного ожидать». И гудит Малюта укоризненно: «Невозможно горлопанов слушать. Братья голоштанной доверять!»

Обозмился царь: «Эк куда, рыжий пёс, заносишься! Царя учить лезешь, как поступать?!»

Говорит неистово: «..В том призыве... власть безграничную обрету. Помазание новое приму. — на дело великое — БЕСПОЩАДНОЕ!»

Ищет Иван замыслу небывалому подкрепление. У соратников не находит: мрачно Малюта в землю уставился. Мрачно Басманов в землю глядит.

От царя ближайшие отвернулись — с царем не согласны.

Ищет Иван замыслу неслышанному подтверждение: у ближайших его не находит.

К верной спутнице, советнице — к Анастасии — обращается.

Но молчит Анастасии мёртвый лик: веки опущены...

Лишь одни глаза во мраке собора светятся. Неотрывно на царя глядят глаза Федора Басманова.

«Ты скажи!»

Отвечает твердо Федор: «Прав!»

Вскинулись Малюта с Алексеем Басмановым.

Но стрелой взлетел Иван на возвышение. Выше гроба высится. В мёртвые черты глядит.

Очертания лика мёртвого словно бы смягчились. Одобрением лик Анастасии будто светится...

И не скорбью уж, а решимостью — Иван на тот лик глядит.

Говорит Басманов — Федьке, шопотом: «Быстро же постиг, как опричь царя никого не слушаться...»

Неотрывно Федор на царя глядит: отца не слушает.

«Быстро отца отцом сменил...»

Музыка вступает: тема Грозного — «Надвигается гроза...»

Распрямяется над гробом царь Иван. Смыслом новою глаза горят, решимостью.

Руку над Анастасией простирает и клянется клятвою великою:

«В том призыве всенародном волю Вседержителю прочту. В руки меч карающий от Господа приму. Дело великое за вершу: Вседержителем земным буду!»

Ширится в оркестре тема Грозного — «Надвигается гроза».

Ожил огнём собор. Загудели своды соборные. К царской затее великой готовятся.

Высоко в огнях стоит Иван. Говорит:

«Два Рима пали, а третий: — МОСКВА! — стоит. И четвертому — Риму — не быть!»

Ревёт в оркестре трубами тема Грозного: «Надвигается гроза...»

В огнях — Иван. За Иваном: Малюта, Басманов, Полны решимости, Федор.

Иван целует Анастасию в лоб...

МОСКОВСКАЯ ОКОЛИЦА.

Околиц а.

Снегом занесенная околица Москвы. Сквозь снег сани за санями — обозом движутся. Полозья скрипят.

Но обоз тот — не простой обоз — особенный. Не рыбу, не соль, не зерно везёт: под рогожами — оклады икон горят. Под рогожами — посуда навалена. Под рогожами — сундуки коваными боками блестят.

Слуги конные по бокам обоз провожают.

Слуги с секирами на полозьях саней стоят — саней не простых: царских.

В них — царский профиль мелькнул. Профиль царя Ивана, в шубу закутанного.

Народ за санями бежит. Недоумевает. Никак не поймет, что случилось...

Слуги царские твердят одно. «Царство царь бросает... Уходит от изменников — бояр... Уходит от предателей...»

Выехали сани за околицу,

Скрылись царские обозы вдали.

Недоумевает народ. Шепчется.

Улицы.

Замерла покинутая Москва.. По пустой Москве стелется шопот: «... Бросил царь... .. Покинул царь...»

АЛЕКСАНДРОВА СЛОБОДА.

Палата.

Из-под темных сводов лицо Ивана проступает.

Песня звучит:

«Перед Богом клянусь
Клятвой верною,
Клятвой тяжкою,
Клятвой страшною».

То под сводами Слободы Александровой для клятвы опричники собираются. В их руках свечи горят. Полукругом стоят. За отцом-Басмановым слова клятвы повторяют.

Опричники: «Перед Богом клянусь
Клятвой страшною».

Басманов: «На Руси государю, как пес, служить».

Опричники: «Города и посады метлой мести».

Басманов: «Лиходеев, злодеев зубами рвать».

Опричники: «По цареву приказу костями лечь».

Вместе: «РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА
ВЕЛИКОГО...»

Полукругом опричники стоят.

Со свечами горящими. Во все черное облаченные...

Первым Федор слова клятвы произносит:

«Перед Богом клянусь
Клятвой верною:
Погубить врагов государевых,
Отказаться от роду, от племени,
Позабыть отца...»

Пристально глядят друг на друга Басмановы: отец и сын.

«...мать родимую,
друга верного, брата кровного, —

РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА
ВЕЛИКОГО...»

Черной тенью высится Иван. Клятву не слушает. В думы ушел. Тонкими пальцами перебирает.

«От Москвы гонца дожидаться?» — царю Малюта шепчет.

Резко царь к Малюте вскинулся. Сам как будто к дали московской прислушивается.

Ничего вдали не слышать...

Только клятва под сводами гремит:

«Перед Богом клянусь
Клятвой тяжкою:
Исполнять на Руси волю царскую,
Истребить на Руси лютых врагов,
Проливать на Руси кровь повинную,
Жечь крамолу огнем,
Сечь измену мечом,
Ни себя, ни других не жалеючи —

РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА
ВЕЛИКОГО...»

Отворилась дверь: Непея у царевых ног:

«Корабли аглицкие в Белое море зашли!»

Засверкали Ивана глаза радостью. Сжалась кулаки. В рост поднялся.

«Новый Мир», № 10—11.

А вдали — далеко — будто пение церковное, дальнее.

Пенья дальнего царь не слушает. Радостью глазами в темноте сверкает.

«Коль нарушу я клятву страшную,
Да пронзят меня братья-опричники
Без пощады ножами-кинжалами...»

Басманов-сын: «Да постигнут меня капы смертные».

Басманов-отец: «И проклятья, и пытки кромешные».

Басманов-сын: «И позор, и мучения адские».

Опричники: «Да отринет меня мать сыра-земля».

Гулко отзвук по сводам прокатывается...

Четче в него пенья дальше — многоголосное — влетается.

Слышит царь пение дальше. Страстно в пение вслушивается.

А под сводами клятва завершается. С дальним хором сливается:

Опричники:

«Перед богом моя клятва страшная,
До скончания времен нерушимая,
На земле и на небе единая —

РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА
ВЕЛИКОГО...»

Замолчали опричники..

Возглашает Басманов-отец на звучание хора дальнего, приблизившегося:

«А стоять ему веки-вечные
Нерушимо во веки веков».

«Аминь!» заключает царь.

Распахнулась дверь. Вбежал Малюта. С лучом света ревом пенья крестного хода врывается.

В луче света Иван выходит.

В залитом солнцем необъятном снежном пространстве на крыльце стоит.

Перед ним бесконечным потоком крестный ход с Москвы тянется...

Крестами, иконами, хоругвями — на снегу горит.

Царя видит. Замолкает. В ноги падает. «Вернись на царство!» — голос умоляюще кричит.

«Отец родной!» — голоса подхватывают. Распрямляется Иван. Ноздри раздуваются.

Склонив головы, стоят: Пимен, Евфросинья, Владимир. Да пяток бояр.

Общим возгласом: «Вернись!» народ кричит.

В музыке — тема Грозного ширится.

Вдруг лукаво своим ближним — опричным — царь улыбается:

«Седлай коней!»

«На Москву скакать!..»

Снежные холмы.

Из короткого напыльва крики: «Гойда! Гойда!»

Через снежные холмы покатые скачет лава черная: черной тучей мчатся всадники.

В черных кафтанах. У седла метла и собачья голова.

Опричники.

Ревёт в оркестре тема Грозного.

Среди всадников на коне САМ ЦАРЬ.

Грозен вид царя. Царь осунулся. Постарел. Глаза горят.

За ним скачут Басмановы: Малюта.

«Гойда! Гойда!»

Черной тучей по снегу бешено мчатся всадники..

Конец первой серии.

ВТОРАЯ СЕРИЯ

Титры идут под возрастающее усиление музыки песни

«Океан-море
Море синее»

Идет надпись:

1565 ГОДА ФЕВРАЛЯ 3-ЕГО ДНЯ ЦАРЬ ВЕРНУЛСЯ..

Еще на титре резко врывается крик: «Гойда! Гойда!»

Пронзительный свист.

И из быстрого затемнения.

ОКОЛИЦА МОСКВЫ.

О ко л и ц а.

Безгранично тянется из Москвы поле снежное...

Слышны свист и гиканье. «Гойда! Гойда!» — несутся крики.

Через снежные холмы покатые катится навстречу лава черная: черной тучей мчатся издали всадники невиданные.

В черных кафтанах. У седла — метла и собачья голова. Среди всадников на коне — сам царь.

За ним скачут Басмановы, Малюта.

У околицы Московской народ в ноги валится.

Грозен царь. Не глядит на народ. Гневно мимо скачет.

Черной тучей промчались всадники..

ПРИЕМНАЯ ПАЛАТА.

И вот стоят они друг против друга, словно рати, к бою готовые...

По одну сторону — бояре в золоте.

По другую — черной стаей опричники.

Между ними — царь Иван Васильевич.

Между теми и другими прохаживается...

Облик царя изменился. Он осунулся.

постарел. Изменилась и речь царская. Стала желчной, язвительной.

«Что? Попались? Не ждали возвращения? Царскому уходу обрадовались? С головой себе выдали, изменники... Землями сами править захотели?»

Остановился против бояр растерянных.

«Ну, и пусть! Отныне земли русские в управление вам даю. Земщиной вас нарекаю».

Движение среди бояр.

Снова между боярами и опричниками царь заходил. Сокрушенный, согбенный, говорит:

«И от той земли, овдовев, долю вдовью, малую, опричную — себе оставляю.

Города заocchi: Белев, Козельск, Воротыньск, — гнездо княжат Воротыньских, Одоевских и Белевских. Суздаль, Вязьму, Можайск — на путях в Литву; Старую Руссу — на пути к Балтийскому морю, Поморье до моря Белого...»

Отчетливо сказал: «Ярославль...»

Продолжил:

«С тех городов безопасность государственную блюсти буду. Рубежи Российские защищать...»

Остановился. Голоса не повышая, еле слышно, с расстановкою, сказал:

«... Да крамолу изводить...»

Глазом по рядам боярским прошел. Дрожь по рядам прошла.

Снова мимо бояр царь ходит. На бояр поглядывает. Говорит:

«А поелику вам, боярам, моего доверия нет.. своих исполнителей воли царской, как Господь Адама, из праха воздвиг...»

Поднялся на престол: «...ОПРИЧЬ ЕЕ НИКОМУ НЕ ВЕРЮ — ОПРИЧНИНОЙ НАРЕКАЮ».

На опричников показал.

Глядят черными ядами на бояр опричники. Малюта, Басманов-отец, Басманов сын, сотня молодцов в черное одета.

Глядят на бояр опричники..

В ужасе бояре. Из среды бояр внезапно вышел игумен Филипп.

Иван обрадован. Но суров Филипп.

Говорит против царских затей: «Затея твоя не от Бога — от лукавого!»

Угрожает: «А которое царство свои законные обычаи переставливает — тому царству не долго стоять!»

«Молчи, молчи, владыко!» — озабоченно Иван кричит, вспышки собственного гнева опасаясь. И поспешно Филиппа в сторону отводит.

Опричники на бояр двинулись. Федька впереди. Теснят опричники «земских» к выходу.

У престола царского одни, лицом к лицу, други бывшие стоят: Иван и Филипп — один на один.

Федька с опричниной «земских» в дворовых переходах теснят. С «земщиной» хамят. Грубо обращаются.

А в палате все стоят они, друг против друга, — как противники, — один на один: царь и поп.

Ангел Гневный, апокалипсический, над ними — вселенную ногами попирает. Хочет царь Филиппа обнять. Филипп не дается.

Приласкать Филиппа хочет, но суров Филипп.

И кричит Иван Филиппу с места царского, с тоской: «Что суров со мной, Федор Колычев? Что жесток? Друг! Пожа- леть бы надобно...»

Не глядит Филипп. Взор суровый в зе- млю вперил. Говорит: «Я — смиренный инок Филипп. Волю Господа творю, а твоим делам — не пособник...»

Сокрушается Иван — в кресле царском, как когда-то мальчиком, на том самом ме- сте в тревоге сидит.

«Был ближайший друг — Анастасия. Оставила меня. Был мне близкий друг...» Запинается. Имени не произносит. Глу- хо говорит: «... Изменил он мне... Не мне — делу великому...»

Пробегает молнией по лицу Ивана су- дорога. Губы перекашиваются. В плечи шея тонкая уходит, изможденная. В склад- ки облачения Филиппа Иван в страхе прячется.

«... Не крамолы боюсь. Не ножа. Ни яду, ни предательства не боюсь... За себя не страшно. Мне: страшно за дело великое, молодое, начатое...»

И через желчные черты лица царско- го ужас вдруг проскакивает — ужас дет- ской, ребячий, младенческий...

Глядя мимо царя, отвечает Филипп тор- жественно:

«Нет удела более великого, чем по старине державой владеть. По примеру отцов, дедов, прадедов править. Бояр слушать. С боярами власть делить...»

Быстро глаз Ивана сощурился. Губы сжались — разжались: «Врёшь, чернец! Не- сешь окоlesiцу!» — разъярился царь. В наступивших сумерках молнией глаза сверкают.

Но и поп не трус, да и кротости не то, чтоб голубиной: «Не желаешь слушать пастыря? Так сиди один...» И как коло- кол гудит анафемствующий: «... поноси- мый, обреченный, проклинаемый!» Вы- рвал облачение. Холодом повеяло: «...ОДИН!» К двери ринулся.

Ловит облачение Иван с места царско- го. Цепко держит облачение из угла по- лутемного. Пастыря не выпускает. За Филиппом устремляется. В мантии пу- тается. Спотыкается. Неожиданно у ног Филиппа оказывается.

Тянет пастыря к себе. Просит жалобно: «Не как царь, как друг, прошу. — Тяж- ким бременем власти раздавленный...»

Молчит Филипп. Недвижим стоит. Од- нако глазом смягчается.

Видя то, царь к Филиппу ближе при-

жимается. Крепче держится: «Не бро- сай меня в одиночестве. Будь со мной: помогай мне крепить державу Рус- скую...»

Золотая палата.

Уж почти темно кругом.

«...И прими для сего на Москве метро- полию Московскую...»

Глубоко Филипп задумался.

Царь с тревогой за игуменом следит.

Брови на челе Филиппа сдвигаются. За бровями — мысли собираются: как бояр- ство опрадать, на Москве митрополитом будучи...

Отвечает медленно: «Право дашь мне перед тобою печаловаться? За тобою осуждаемых заступаться?» Сам пытливо на Ивана смотрит.

«Нет напрасно осуждаемых...» — вспы- лил было Иван. Осекается.

Тяжело на запрос Филиппа Ивану дать согласие. Тяжко нрав крутой кро- тить. Но и чуёт: без согласия уйдет Фи- липп. Вновь один останется.

И смиряет нрав — в тело белое ногтя- ми впиивается. Подчиняется. Через силу против воли голову роняет: соглашае- ся...

Просветлели очи Филипповы. Ивану руку протягивает. Как друзья — в бы- лое время — царь с владыкою обнима- ются.

Только не совсем: в пол-улыбки царь улыбается — дружбе купленной не рад. Не по той дружбе тоскует. Не такой цен- ной дружбы ищет... Над собой усилию не рад...

А суровый лик Филиппа во всю ширь улыбається. В лоб царя Филипп целует. С царем примиряется. Мир-союз заключает. Взгляда Ивана не замечает.

От того Ивана взгляд пуще прежнего тускнеет...

Суетится пастырь: победе рад. Спутни- ка Евстафия подзывает. К царю подво- дит: «Дружбе новой залог прими! инока сего — Евстафия — в духовники тебе даю».

Молод Евстафий. Мал ростом. Глаза го- лубые. Лучистые. Чистые.

Горесть чувств разочарованных царь скрывает. Филиппа провожает. К руке Филиппа почтительно прикалывается.

Гордо поп поверх царя глядит. И, обняв царя, уходит.

Евстафий Филиппа провожает.

Опустил царь голову. Задумчиво сто- ит...

«Пошто власть такую над собой попу даешь?» — словно мысли царские вслух из-за столба хриплый голос произносит.

Резко обернулся.

Из-под свода на царя Малюта глядит: «Пошто от попа-чужеви униженье прини- маешь?»

«Не твое, пес, собачье дело!» — срезал царь.

Не узнать Малюту: не смолчал. Не унижается. Злобно на царя рычит.

«Пес?! Знаю — пес. Пес и есть. Да предан — пес. Не выдст — пес. Зря попа — псу предпочитаешь...»

Ближе подошел: «Знаю — дружбы ищешь... Без друзей тоскуешь...»

Поражен Иван дерзостью неслышанной:

А Малюта продолжает. Напористо: «А того не видишь, что Филипп одно норовит: рясой от тебя врагов прикрыть».

Издевается: «Хорош друг! Чай, не лучше Курбского!»

Прохрипел Иван, собой овладевая: «Имени того называть не смей!»

Иван бросился в кресло. Малюта подползает. И у уха самого царя шепчет, глаз сощура понимающе: «Слово дал попу — обещание. Понимаю: слова не вернешь...»

Иван вслушался.

Малюта: «Понимаю... поступить так надобно, чтоб и слово царское в силе было... И изменников чтоб извести...»

И, как малое дитя, царя заботливо спросил: «...Чай, об этом сокрушаешься...?»

Иван голову склонил.

Шепчет Малюта царю на ухо, к нему склоненное: «... Выход есть: смерд один... Да не смерд... А так — пес рыжий... один вылезет...»

Горячится: «Смерд один — Малюта, один пес — Малюта — всю грязь на себя возьмет».

Гордо голову назад откинул: «Срамом великим в память народную войду».

С силой говорит: «Душу за царя положу. Душу погублю, да святость слова царского соблюду!» Голову перед царем склоняет..

Взял Иван Малюту за подбородок, голову поднял. Верному псу рыжему в глаза вглядывается.

Говорит Малюта хитро, глаз сощуриив, с расстановкою: «Гончий пес чего творит, коли зверь хитрит — в нору стрелой летит...»

Говорит Иван задумчиво: «Обгоняет. Обскакивает... Зверя обходит...»

Мысль Малюты улавливает: «Попа обскакать... обойти предлагаешь? Так начать, чтоб заступиться не успел?!»

Не любит Малюта в Иване задумчивости. Видит в очах Ивана — неладное.

К выходу спешит — торопится: как бы Иван не передумал. Как бы Иван решения не переменял.

Исчезает Малюта в сумерках.

Медленно Иван с кресла поднимается. В рост вырастает, голову руками стискивает. Про себя шепчет:

«...Каким правом судишь, царь Иван? По какому праву меч карающий заносишь?..»

С тоской, мольбой, ужасом, в своды вверж устался.

Руки вверх воздел.

Медведем послушным, меха черные с

плеч упав, у ног кресла послушно свились, полегли — раскинулись...

Вдур согнулся весь, Сьежился. По косяк через Золотую Палату побежал.

Взбежал по широкой лестнице, за сводами скрылся.

Из двери — на выходе — вслед глядит ему Малюта. Федьке Басманову говорит: «За царем присмотри, глаза не спуская беспризорного...»

Светлица.

Бежит Иван, задыхаясь, по лестницам. В светлицу терема Анастасии вбегает..

СВЕТЛИЦА АНАСТАСИИ.

Все попрежнему в светлице. Воздуха, руками царицы расшитые... Над постелью дугой лампы неугасимые... Кубок на столе, как перед смертью царицыной стоял...

Только нет царицы... — в могиле давно...

На колени пред лампадами царь бросается.

«Да минует меня чаша сия...» — молится.

«Не минует!» — за спиной царя Федор говорит: Хотя чаши ныне ядом полны... Вскочил Иван, глянул: пред иконою — чаша стоит. Чаша, что пред смертью Анастасии подавал. «Чаша...»

Глядит Иван на чашу глазами безумными: «Отравили? — шепчет. — Отравили? — кричит, — юницу мою?!»

На пол хочет броситься. Ловят Ивана руки крепкие, Руки Федора Басманова! «Твердым будь!»

«ЕЕ СЛОВА!» — Иван кричит. Схватил Федора. Федора в объятиях сжал.

«Кто царице чашу... последнюю... подносил?»

У царя ноги подкашиваются. Царь на ложе опускается. Далеко от себя руки отводит: «Из моих рук приняла...» В ужасе на руки глядит. Наклоняется к Ивану Федор: «А тебе кто подносил?»

Вскочил Иван: «ЕВФРОСИНЬЯ!» — закричал. Нерешительность отбросил. «Идем!» — прокричал. С Федором умчался.

Переходы.

Мчатся Иван с Федором лестницами, переходами.

К тайному оконцу спешат. Ставню потайную железную открывают.

В оконце тайном под лестницей глаз Ивана горит, светится.

Под оконцем — опричники: с криком бояр волокут. По лестницам стаскивают. По снегу тащат... По снегу — Малюта, по пояе раздетый, растегнутый.

На колени перед ним — бояре повержены. Трое их. Все из рода Колычевых. Гордые.

Держат их опричники, во все черное одеты.

Горды бояре — голлов не гнут. Только младший — перепуганный — расставаться с жизнью не охочь.

Переходами, проводив Филиппа, духовник царя — Евстафий — возвращается. Видит — во дворе — Малюта приговор читать кончает:

«...За измену делу государеву — головы долой». Саблей замахивается.

С криком Евстафий с крыльца срывается. По снегу бежит. К Малюте подбегает. На лету саблю подхватывает.

«Стой, смерд!» — кричит: «Я — духовник царя...» Испуганием светлые глаза горят.

Неожиданностью Малюта удержан. На замахе саблю остановил. В его руку руками Евстафий уперся.

Осужденные с любопытством, с удивлением глядят: посторонним в дело казни вмешиваться не принято.

Морда рыжая Малюты в улыбку расплывается. Ряд зубов неровных раскрывает: «Духовник царя?..» свирепеет вдруг:

«А я — телесник! Тело царское, да дело царское спасаю! Сомнений ваших поповских я царевой душе не допускаю...»

Опускает руку тяжелую — пудовый кулак: «А ты место знай свое: в дела государственные не суйся!»

Словно комара, словно муху назойливую, — Мир-Ликийца нового, неудачного, — в снег смахнул.

На снегу Евстафий лежит. С ужасом на зрелище непривычное глядит. На житье монастырское непохожее.

Свистом сабля — головы сносит!

Первому боярину... Второму, задержавшись, — третьему — младшему.

Первым двум, сверкнув по кругу, земле параллельному: не сгибая вый, стоят бояре упрямые. Третьему сверху вниз: в горести, склонив голову к земле, — третий, младший, согнувшись, стоял..

Зуб на зуб у Евстафия не попадает. Глаза чистые, лучистые — слез полны. В подворотню забивается. На снегу дрожит..

Саблю о подола Малюта обтирает. Евстафия подмигивает: вот какая мне сейчас от царя Ивана благодарность будет. И широким шагом по двору идет.

Опричники, искоса, любопытствуя, на гела поглядывают, удары Малюты осуждают. Быстроте и меткости поражаются. Силе удивляются.

В переходы дворцовые Малюта поднимается. Видит: сам навстречу Малюте царь по лестнице спускается. Рукой об стенку держится, по двору направляется. На Федьку опирается.

Гордый на пути царя Малюта стоит — одобренья ждет: поцелуя след на лбу звездой незримой горит. Близнаца ему потелеснее — изумруда настоящего — Малюта себе на шапку ждет... Федору гово-

рит: «Вот какое мне сейчас от царя одобрение будет...»

Широко глаза Ивана раскрыты. На Малюту не глядит. Мимо Малюты царь проходит. Видом казенных поглошен. Черной шубой длинной по крыльцу скользит. На метелью заносимых, казенных смотрит.

Сняли шапки опричники. В пояс кланяются. И на них не глядит..

Весь впился в царя глазами Малюта. Вытянулся. Слово пес на стойке, на царя уставился: вот-вот глаз Ивана восторгом блеснет. Вот-вот в благодарности Малюте рассыпится.

Да не то царь делает. Восторгом глаз царя не горит: горит скорбью.

Благодарностью царь не рассыпается: шапку снимает.

Широким крестом памяти умерших крестится..

И внезапно: «Мало!» — говорит.

Изрыгнул Малюта проклятие: «Мало тебе? — Больше будет, царь Иван Васильевич!»

В бешенстве вьюном сквозь метель, через трупы, спотыкаясь, к коням черным опричным по двору пустился.

С криком «гойда, гойда!» вскачь со своей черною с царского двора умчался..

За ними Федька — стрелой полетел. Через мертвые тела, на бегу приплясывая. В метели исчез.

Царь один стоит. В дальний плач вслушивается.

Евстафий в подворотне всхлипывает.

Мимо тел убитых, по снегу, царь в Евстафию подходит. Евстафия поднимает. В глаза кроткие Евстафия с жалостью глядит. На крыльцо, шубой прикрыв, Евстафия ведет.

На крыльце утешает; нето сам себе нето Евстафию говорит:

«Тяжело дело царское. Потруднее подвига монастырского. Державу строить — не акафист читать...»

Всхлипывая, рыдая, Евстафий царской шубой, словно епитрахилью исповедника, прикрытый, на царской груди отогретый, сквозь олезы шепчет: «Хоть тела родным для отпевания выдай...»

Свистит по двору метель. Завывает. В глубине двора тела казенных убирают. Метлами следы казни заметают.

Метет метель по двору..

Лобное место.

Метет по Москве-городу, словно, царь Московский, метелью кралоу выметающий. Яростно метет метель. Скачут опричные кони, с гиком сквозь метель опричники мчатся — расправу чинят. Скачут кони.

Метет метель. С воем метели слова опричной клятвы сливаются.

Улица.

С воем, по окружным улицам метель гуляет, бояр, волоком тащимых, смехом провожает...

Боярский двор.

От вечерни к дому боярыня спешит. Добежала до дому, глядит: полон двор опричников А на воротах собственного дома — боярин висит. В снег без чувств грохнулась боярыня..

А опричники через двор боярскую казну в царскую казну тащат.. Ими сам Басманов-отец распоряжается..

Разгромленные хоромы.

А меньший Басманов — Федька — в хоромках разгромленных гонится за девушкой: в угол зажал.

Это — дебелия, перезрелая девица. Между ними — стол. Федька — через стол. Девушка в угол забивается. Басманов бросился к ней.. Неожиданно кричит: «Дура, — да я не за тем.. за сережками!»

Этого никак не ожидала девица, от обиды в обморок грохнулась.

Федька снимает с нее серьги. Подручный утаскивает девицу. Федька любит-ся сережками. Сам нарядно одет — причесан.

Вдруг тяжелая рука хватает Федора за шиворот. Перед Федькою — отец Басманов: «Федор брось! Не для грабежа опричнина создана. Но для царского суда и царской казны».

Отнял серьги у сына. В собственный карман глубокий, объемистый вложил..

Сокрушено вздохнул Федор, в глубине добро боярское выносят.

Околица.

С воем мчатся опричники.

МИТРОПОЛИЧЬЯ КЕЛЬЯ.

Келья.

Не светло в келье: темная ночь. Чадом келья наполнена: без числа свеч горит.

Криком келья наполнена: стоном стон стоит. «Со святыми упокой...» — издали доносятся.

Посреди кельи — Филипп.

Обступили бояре Филиппа кругом. Между свеч к Филиппу руки прогягивают. Защиты просят.

Истуканом Филипп сидит.

Над ним — старец гневный — Пимен Новгородский — к мести зовет: «Властью пастыря, данною от Бога, царя смири. Царя от церкви отлучи!»

Недвижим среди свеч Филипп сидит: перед собою на три гроба глядит.

Перед ним — три гроба открытых. В них три тела трех казненных, Малютой убитых.

Истуканом над ними Филипп сидит. Пимена не слушает. Несмотря на обиду лютую, неохота Филиппу на разрыв с царем итти: «В монастырь вернусь...»

Возражает Пимен: «Не посмеешь... Коль царя не обуздаешь: перед богом ответишь!»

Истуканом Филипп сидит. Молчит..

Распахнулась дверь: по свечам от двери дунуло, заходило пламя по свечам, как из двери на колени Евфросинья рухнула.

С Евфросиньей вся семья.

С колен к Филиппу Евфросинья взывает: «Управы — защиты, не себе — делу боярскому прошу. Не прошу, владыко, — требую!»

Слушает Филипп те слова огненные, речи гневные, стоны сокрушенные. И растет в самом Филиппе — под покровом одеяний пастырских, смиренных — гнев великий, боярский, мятежный, воинственный..

«Не защиты от царя: на царя узды — прошу, не прошу — требую!»

«Со святыми упокой...» — издали доносятся.

Полный благодати, к Евфросинье наклоняется митрополит. Поднимает старую Филипп. Подняв с полу, — распрямляется. На глазах у всех переменяется: расправляет постриженный плечи богатые боярские — Кольчевские. Задирает голову высоко — по-кольчевски.

Кольчевским блеском митрополичьи глаза блестят. Кольчевским зычным голосом Филипповы слова гремят:

— «Видит Бог — не за себя, не за родичей своих умученных — за дело боярское меч поднимаю: есть управа на царя! Против церкви царю не устоять. Хоть и в расе я — все же Кольчев! Хоть и Кольчев, но и церкви князь!! Быть всем завтра в Пещном Действе — в соборе: согну царя, усмирю. Раздаваю церковью!»

СОБОР. РАДОСТНЫЙ НАВАТ.

ПЕЩНОЕ ДЕЙСТВО.

Успенский собор.

Много народу. В середине собора, откуда некогда речь произносил Иван, — амвон — «Халдейская пещь».

Маленький парнишка звонким голосом спрашивает мать: «А что есть Пещное Действо?»

Рядом стоит Евфросинья Старицкая. Многозначительно поясняет:

«Действо Пещное, — о том, как Ангел Господень трёх отроков — Ананию, Азарию и Мисаила — из пещи огненной, халдейской, вывел. А ввергнул их в пещь огненную грозный царь языческий...»

Рядом вздохнул князь Владимир Андреевич: «А ныне — перевелись те ангелы...»

Общее движение. Перед Пещь выходит с прочим духовенством — митрополит Филипп: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа...» — благословил начало Действа.

Мальчика подняли на плечи.

И вот уже ведут в Пещь трех отроков: Ананию, Азарию и Мисаила. Отроки свя-

заны убрусами - полотенцами. Гонят их с шутовскими ужимками два халдея.

Отроки остановились у амвона, Хрустальными голосами ангельскими жалобно поют:

Ввергаемы мы есмы безвинно
Царю языческому за непослушание

В Пещь огненную,
Пламенную,

Халдеями распаленную...»

Группа бояр гулко вздыхает. Евфросинья их одергивает.

Отроки двинулись в Пещь. Перед Пещью — два халдея:

Первый халдей: «Халдей, а халдей!»

Второй халдей: «Чего?»

Первый халдей: «Это дело царево?»

Второй халдей: «Царево!»

Первый халдей: «Царя не слушались?»

Второй халдей: «Не слушались».

Первый халдей: «А мы ввергнем их в Пещь».

Второй халдей: «И начнем их жечь!»

Отроки появились в Пещи, зажгли свечи. Халдеи под Пещью разводят пиротехнический огонь (ликоподий жгут).

Поют отроки — Анания, Азария и Мисаил, светом свечек озаренные. Звенят хрустальные голоса:

«Преданы мы есмы ныне
В руки владык беззаконных,
Отступников ненавистнейших,
Царю неправосудному
И злейшему на всей земле...»

Издали голоса в алтарь доносятся. В алтаре: Филипп на митрополичьем месте — в кресле каменном.

Справа — епископ Новгородский Пимен. Слева — епископ Ростовский. Поодаль: епископы — Рязанский и Суздальский.

Слышно ангельское пение отроков в Пещи:

«Нет у нас ныне
Ни царя, ни князя
Праведного,
Господу угодного,
Дабы отроков защитить,
Божий суд совершить,
Царя прегордого укротить...»

Собор.

Шопот одобрения среди бояр. На Владимира и Евфросинью глядят...

Алтарь.

Ангельское пение отроков в алтарь доносится. Но не ангельские речи в алтаре... Ростовский епископ возбужденно говорит Филиппу:

«Князь Турунтай-Пронский вдругорядь в земли Ливонские убегах, схвачен бых, Венец мученический приял...» — крестится.

«А земли князевы в опричнину взяхом...» Все молча крестятся.

Гневно сдвинул брови Филипп: «Широко шагаешь, царь Иван!»

Издали пение отроков слышится:

«Умалены мы, Господи,
Паче всех народов,
И унижены ныне
На всей земле...»

Но Пимен Новгородский худшее сообщает:

«Горше того — царь церковные земли в казну отбирать начал...»

В бешенстве вскочил Филипп:

«Широко шагаешь, — на кого наступаешь: против церкви не устоишь! Хоть и в рясе я, все же Колычев! Хоть и Колычев, — но и церкви князь! Согну царя. Смирю, Раздавлю церковь!»

В рост поднялся. Гневный на митрополичьем месте стоит.

Хрустальными голосами отроки вдали повторяют:

«Умалены мы, Господи,
Паче всех народов,
И унижены ныне
На всей земле...»

Но вбегает Пётр — послушник Пимена. Сообщает: «Царь к собору движется...»

Гневно двинулся Филипп вон из алтара. С ним — епископы.

Собор.

Внезапно в собор входит царь.

С ним — опричники. Среди них: Малюта, Басмановы — отец и сын.

На всех накинуты монашеские рясы. На царе — клобук.

Выходит Филипп. Перед Пещью становится.

Иван с опричниками по собору движется.

Отроки поют хрустальными голосами, бесстрастными, без выражения, смысла слов не понимая: ангельским напевом прозрачным.

И царю навстречу слова летят:

«Пошто, халдеи бесстыдные,
Царю беззаконному
Служите?
Пошто, халдеи бесовские,
Царю сатанинскому —
Хулителью, мучителю —
Радуетесь?..»

Остановился царь. Удивленно в слова вслушивается. Рядом с царем — Федор Басманов. Закипает злобою.

Поют отроки:

«...Пошто огнями мучаете,
Пламенем опаляете...»

Остановились опричники.

Иван — будто слов не слышит. К Филиппу под благословение подходит.

Филипп отворачивается...

Трижды Иван голову преклоняет. Трижды Филипп отворачивается.

Удивленно народ глядит. Дыханье за- таил.

Ангельскими голосами отроки в мертвой тишине поют:

«Ныне чудо узрите!
Будет унижен
Владыко земной
Небесным владыкою».

Федор к Филиппу подсакивает. Уко- ризненно говорит: «Царь всея Руси бла- гословенья просит!»

Резко говорит Филипп: «Не узнаю царя православного в нецарских одеждах».

Иван вспыхнул. Филипп продолжает: «Не узнаю царя православного и в деяниях языческих».

Опричники двинулись к Филиппу. Иван, задыхаясь от ярости, опричников останавливает. Гневно говорит:

«Что тебе, чернец, за дело до наших царских деяний!»

«Кровожадного зверя деянья твои!»

«Молчи, Филипп! Не прекословь держа- ве нашей. Нето постигнет тебя гнев мой!»

Отроки по одному растерянно замол- кают; вторым повторили:

«Ныне чудо узрите!
Будет унижен...»

Анания умолк. Азария и Мисаил про- должают:

«Владыко земной...»

Азария умолк. Мисаил — вершник — один, хрустальным гласом отзвенея:

«Небесным владыкою...»

— «Аминь!» — сплонули халдеи. Пере- пуганно под Пещь залезли...

В народе движение.

С высоты амвона Филипп на Ивана об- рушивается: «Как Навуходоносор жжешь, Иван, ближних своих огнем. Но и к ним снизойдет ангел с мечом и выведет их из темниц!..»

Подымает руку к куполу: там на крюке от снятого паникадила болтается на ве- ревке громадный пергаментный ангел...

А л т а р ь.

Старательно держат конец веревки два монаха. Переглянулись, вниз смотрят.

«Покорись церкви, Иван, и покайся! Упраздни опричнину. Пока не пришли последние времена!»

Страх прошел по опричникам: а ну, как царь согласится!..

Выжидательно смотрят Малюта и Бас- манов-отец.

Федор на Филиппа броситься готов.

Но кричит Иван: «Молчи, Филипп!»

В ярости к Филиппу подскочил. С ним опричники. Вот-вот царь Филиппа ударит.

В ужасе бояре обмерли.

Внезапно в полной тишине раздается детский голос мальчика: «Мамка! Это, что ли, грозный царь языческий?»

Владимир Андреевич было ухмыльнул- ся...

Оглянулся Иван...

По лицу судорога прошла.

Иван улыбку на лице Владимира пой- мал. Словно взглядом улыбку снял: улыб- ка с лица Владимира сошла...

На Евфросинью Иван глаза перевел: вздрогнула Евфросинья, потупилась...

Резко повернулся Иван: «Отныне буду таким, каким меня нарицаете!»

Ударил жезлом.

Вскинулась Евфросинья.

А л т а р ь.

Растерялись монахи. Конец веревки выпустили. Стремительно из купола опу- скается гигантский ангел.

С о б о р.

Хор ликующе завопил:

«От смерти спасает.
Из пламени избавляет.
Царя низвергает,
Укрошает...»

Ангел падает в Пещь. Из-под Пещь бьют языки пламени. Часть молящихся падает на колени, халдеи падают ниц.

В окружении огня Иван стоит: «ГРОЗ- НЫМ БУДУ!»

У СТАРИЦКИХ.

П а л а т а С т а р и ц к и х.

«Филиппа взяли!» — кричит Евфросинья Старицкая, от царского взгляда не оправившись, к боярам вбегает. Остолбенели бояре.

Владимир Андреевич добавляет: «В монастырь не отпустил, лютым судом судить будет».

«Засудит!»

Старик Пенинский со вздохом говорит: «Эх, кабы по старине боярским судом судили — не дали бы Филиппа в оби- ду».

Евфросинья: «Не старое поминать — вы- хода искать надо!»

«Выхода нет!» «Всем погибель!»

Говорит Евфросинья: «Выход есть!»

Все насторожались. «Один выход. Пос- ледний: царя убить!»

Общий испуг. Растерянность.

Владимир Андреевич, заплетаясь, пере- пуганно пытается возражать.

Чует Евфросинья, что выбора нет. Гово- рит: «Либо царя убить, либо самим на плаху ложиться».

Все захвачены. Особенно Фуников.

Но спрашивает голос чей-то: «А кто убьет?..»

Снова все растеряны. Каждый боится.

Встает старик Пимен — епископ Новгородский.

родский. Он сидел в стороне. Теперь говорит: «Только чистый сердцем подвига подобного достоин...»

Он показывает на послушника своего Петра.

Тот в страхе падает на колени. И Пимен молча благословляет его на подвиг. Евфросинья передает в его дрожащие руки — нож.

Владимир Андреевич в испуге отворачивается.

Все спешно уходят.

Евфросинья подошла к Пимену. Пимен говорит: «На земля церковные посягнули! изничтожим зверя!»

Евфросинья: «Надо бы спасти Филиппа. Ведь за нас он гнев Ивана на себя принял.»

Отвечает Пимен Новгородский: «От того сие зависит, кто в суде судить Филиппа будет...»

Вопрошает Евфросинья озабоченно: «Кто за старшего в суде? Кому золото, меха, посуду посылать?»

Отвечает Пимен коротко: «Я — за старшего в суде...»

Восклицает Евфросинья радостно: «Стало быть — спасен!»

Но свинцовой тяжестью падает ответ: «Стало быть — погиб...»

Растерялась Евфросинья. Вопросительно глядит.

Поясняет Пимен:

«Мученик Филипп — делу нашему нужнее: мертвый мученик, святой, для борьбы страшней...»

Осеняет Евфросинью знаменем креста: «Мертвого святого и царю не одолеть...»

В ризах белых, с темным пламенем фанатика в глазах, из хором уходит Пимен...

Поднялась с поклона Евфросинья. Словно громом пораженная стоит.

Столько злобы лютой, столько зла двуликого, столько коварства благонаученного даже ей, Евфросинье, не снилось...

Молча смотрит Старицкая старцу вслед — как лунь белому, седовласому: с виду — белому, душой коварному — черному...

Бросился, молчанье Евфросиньи оборвав, к матери Владимир. В ужасе, боясь убийства, шепчет:

«И пошто меня на власть толкаешь?!»

Сына обняла старуха властная. Как дитя, Владимир к матери приник.

Утешает сына мать. Сыну колыбельную поет.

Колыбельную чудную, зловещую:

«На реке,
На речке студеной,
На Москва-реке

Купался бобер, купался черный,
Не выкупался — весь загрязнился,

Покупавшись, бобер на гору пошел,
На высокую гору стольную.

Обсуживался, отряхивался,
Осматривался, оглядывался,

Неидет ли кто, не ищет ли что,
Охотнички свищут, черна бобра ищут.

Охотнички рыщут, черна бобра сыщут.
Хотят бобра убити, хотят облупити.

Лисью шубу шити, бобром опушити,
Царю Владимиру подарити...»

С воплем ужаса Владимир от матери шарахнулся. В кресло дальнее, высокое, точеное забился.

Вслед за ним Евфросинья с лавки поднимается, на колени перед сыном падает. Ноги сына обнимает.

Говорит: «Сотню раз тебя в муках вновь рожать готова. Лишь бы на престол возвести. На престоле узреть...»

Владимир Андреевич заслушался... Но Владимира кровь пугает: «...Кровь страшна...»

Утешает мать его. Как ребенка мало-го, к груди прижимает: «...Не ты убьешь — Петр убьет...»

Но боится Владимир Андреевич: «А потом всю жизнь казниться: его перед собой видеть. Вечно видом его, взглядом его — укоряться...»

Отворилась дверь беззвучно: проводивши Пимена, — Петр вошел...

В страхе Владимир голову прячет: вида Петра не выдерживает, к матери прижимается.

Медленно в дальний угол Петр прошел.

Наклонясь над сыном, шепчет на ухо Владимиру старуха, издали на Петра поглядывая:

«Уж чего-чего, а этого тебе бояться нечего — на престол взойдешь, первым делом — цареубийцу казнишь...»

Петр на лавку сел...

«Да не одного его...»

Как ужаленный, Владимир из объятий матери вырывается. Словно обжегшись, от кресла отбегает. Тяжело дыханье переводит. Прячет голову: страшных слов ее слушать не хочет.

А слова ее змеинные звучат издали: «Государь не должен уклоняться от пути добра, — ежели возможно, но должен вступать и на путь зла, — ежели сие необходимо...»

К сыну двинулся.

Вновь рванулся было сын: осекся.

Снова дверь открылась. Пустотой зияет. Петр вскочил.

В дверях — Малюта.

Вздрыгнул Владимир. Вскинулась Евфросинья. Между Владимиром и Малютой встала. С собой Владимира прикрыла. Обняла. Окаменела.

Но не грозен Малюта: скромн и тих. Словно собака прибитая.

Скромно поклон отвешивает. Почти-тально. Евфросинья говорит: «Жалует тебя великий государь чашею вики...»

Евфросинье чашу, шелковым платком покрытую, подает.

Ещё ниже — Владимиру кланяется: «А брата своего двоюродного — Владимира Андреевича — великий государь к трапезе царской пожаловать просит...»

В оцепененье Евфросинья с Владимиром.

Малюта с любопытством на Петра поглядывает.

Но внезапно загораются огнем старухины глаза. Шепчет сыну на ухо: «Божий черт! Делу нашему — удача...»

Добавляет громко, весело, будто милостью царя обрадованная: «...С Петром на пир и поедете...» Сына в лоб целует.

В дверь выходят: Петр, Владимир Андреевич, Малюта — позади.

Вслед им Евфросинья Владимиру заботливо кричит: «Да не позабудь новый кафтан надень!» Усмехается — слов тех смыслу двойному...

Одна осталась довольная. На чашу воззрелась.

Платок сняла. Под платком — чаша золотая.

ПУСТАЯ..

Золотым дном светится. Золотом на лице Евфросиньи отсвечивает.

Удивилась Евфросинья. Чашу повернула: узчала!

Чаша та, из которой Анастасия перед смертью яд приняла...

Вздрыгнула старуха. Поняла. Далеко в угол чашу отбросила. Себя в руки взяла: «Кто кого, царь Иван?! Ты меня? Или нож — тебя?!»

Спохватилась вдруг: «Владимир!..» — промчалась.

По палате заметалась. Платок схватила. В него облеклась. Быстро выбежала.

ПАЛАТА.

Трапезная.

Лязг посуды. Стук. Грохот. Крики: «Гойда! Гойда!»

Сорок мучеников со сводов низких вниз глядят. Золотыми венчиками поблескивают.

Пир в разгаре. Дико пляшут черные кафтаны. Среди них — девка в сарафане. Пьют опричники. Кричат: «Гойда! Гойда!»

Царский пир в разгаре. Пьют опричники. Кричат.

И сам царь кричит: «Гойда! Гойда!»

Девка вертится вьюном. Лицо девки машером прикрито, красками расписанным: под кокошником косы русые, глаза раскосые. Лицо белое. Румянец — кругами на щеках.

Посреди опричников — затерялись «земские»: родней бедной по углам жмутся...

За отдельным столом — татарские князья со свитой. Им — почет особый: с царского стола блюда подают.

Вдоль стены вереница слуг. Среди них — послушник Петр. Черным воронокком среди белых слуг сидит. Черной рубашкой атласной выделяется.

Рядом с царским местом — Владимир Андреевич. Иван подливает ему вина. Ласково подпавает. Владимир Андреевич сильно захмелел. Хмель у него добродушный.

В пляске кружатся опричники. Между ними девка в сарафане. Машкер мертвой хищной улыбкой улыбается. Оскалом песью голову напоминает...

От лица того белого, сквозь пляс неподвижного, еще хлеще — пляс неистовый, еще черней — кафтаны черные. Благодушно над столом развалился Владимир Андреевич. Царь ласково перебирает его кудри.

Много выпил царь Иван, но совершенно трезв. И под крик и пляс наклоняется над Старицким: «Эх, не любишь ты меня, брат Владимир... Нет в тебе любви ко мне, одинокому... Сирота я покинутый, пожалеть меня некому...»

Стукнул по столу кулак Басманов отца: «Не гоже царю с земщиной якшаться: пуще всех со Старицким!»

Не выносит царь Иван порицания поступкам царским. Грозой гневной раздражается:

«Не тебе, Алёшка, царя учить. Не тебе руку на царский род поднимать!»

А Басманов в ответ:

«А не ты же учил дубы-роды корчевать?»

Возражает царь: «Царский род — родам род. И подобен не дубу земному, но дереву тамаринду небесному.»

А Басманов все не унимается: «А не мы ли новый лес, вокруг тебя вырастающий?»

Продолжает царь: «Не затем дубы крушу, чтоб осиннику убогому место расчищать. Рода царского не трожь, близость кровную к царю — святыней почитай!»

«А не мы ли, ближние тебе, с тобою много пролитого — кровью связанные...?»

Но в ответ роняет царь: «Не родня вы мне. Вы холопья мне. От гноища поднял вас, чтоб бояр-изменников подмять. Через вас волю свою творю. Не учить, — слушать ваше дело холопское. Место своё знайте, Басмановы!»

Царь Басманова злит.

Ухмыляется Малюта: «Боярским порокком, Алешка, захварываешь... Местничеством. Другим завидуешь: сам одесную царя сидеть хочешь».

Злобно тряхнул гривую седю, львиною Басманов-отец: «Я святой обет давал — с ботрами, земщиной не зняться!»

Резким поворотом из-за трапезы поднялся. С грохотом по рядам пирующих прошел. Мимо пляса разудалого. Взволновались плясуны, гнев Басманова заметили.

Завертелся сарафан. Взвился, будто от земли отделился. По хоромам ураганом прошелся. Около царского места вьюном завился. Резким рывком остановился. Бусы набок. Косы вбок. Из-под машкера — кудри черные. Из-под бровей — знакомый глаз. Из-под сарафана — знакомый стан. Любит царь рядиться. Любит других наряжать. Машкеры-потехи строить. Вот и тешит пляскою царя Федька, наряжаясь ластихою.

Слышит Федька царские слова: «Сирота я покинутый, любить, жалеть меня некому...» Обида Федора берет. Ревность берет Басманова: близость к царю Владимира волнует. Тревогой глаза горят. В полприщра глянул на него Иван. Подмигнул. Успокоился Басманов: понял, что игру заводит царь.

Пуще прежнего вьюном пошел. Пуще прежнего крики: «Гойда! Гойда!»

Поет Федька, заливаясь:
«Гости въехали к боярам во дворы,
Загуляли по боярам топоры...»

Дико пляшут опричники:

«Гойда, гойда!
Говори, говори!
Говори, приговаривай.
Говори, приговаривай!»

Федор:

«Топорами приколачивай!»

Свист пронзительный.

Опричники:

«Ой, жги, жги, жги...»

Сплюнул Алексей Басманов. Мрачно в дверь ушел.

Пуще прежнего крики: «Гойда! Гойда!»
Пуще прежнего ор и пляс.

Пуще прежнего Федька заливается:

«Раскололися ворота пополам,
Ходят чаши золотые по рукам».

Пуще прежнего пляшут опричники:

«Гойда, гойда!
Говори, говори!
Говори, приговаривай,
Говори, приговаривай!»

Федор:

«Топорами приколачивай!»

Свист пронзительный.

Опричники:

«Ой, жги, жги, жги!»

И под пляс и ор пьяным лепетом Владимир Андреевич царю твердит: «Ай, не прав ты, царь, царь всяя Руси... Есть друзья тебе...»

И совсем хмельной бессвязно лопочет. Иван весело речи пьяные поддерживает. Разговор звучит, как балагурство:

«Нет друзей!»

«Нет — есть!»

«А и кто?»

«А хошь я!»

«Ай, не верю!»

«Побожусь!»

«Не божись — делом докажи!»

«Докажу!»

Лукаво Федька негромко поет:

«А как гости с похмелья домой
пошли,

Они терем за собой зажгли».

Понимающе вполголоса опричники поют:

«Гойда, гойда!

Говори, говори!

Говори, приговаривай,

Говори, приговаривай!»

С расстановкой Федор говорит:

«Топорами приколачивай...»

Дикий свист пронзительный. Во все горло рякнули опричники:

«Ой, жги, жги, жги...»

Кончил Федор пляс. На скамью вскочил.

С криком лезут плясуна обнять. Тычут чаши пьяные. Машкерадный сарафан на части рвут.

И сверкает Федор в белом кафтане ослепительном, жемчугом расшитом. Звонким смехом заливается. Похвалам, восторгам радуется.

Вдруг улыбка с уст сошла. В угол взгляд метнул: на Петра уставился. Сдвинул брови.

И подручного Демьяна коротко спросил: «Почему среди челядинцев чужой человек — послушник епископа Пимена?»

Поясняет Федору подручный: «Пимен его ныне отписал к челяди Владимира Андреевича...»

Намотал на ус Басманов безусый, головой мотнул, а сам в сторону царя внимательно глядит. Царю на Петра глазом показывает.

И Иван продолжает будто балагурствовать, пьяного Владимира дразнить:

«Не докажешь, врешь!»

«Докажу — не вру!»

«Гойда, гойда!»

Ор стоит пронзительный: на блюдах жареных лебедей несут. Лебедей не белых, — черных.

Черных лебедей слуги, в черное одежье, обносят.

Плывут золотые блюда: словно лебеди черные по воздуху над Владимиром проплывают.

Впереди самый большой: венцом украшенный.

А Владимир пьяным шопотом лукавым, хитро улыбаясь, царю выбалтывает: «Вот пируешь ты, а не чуешь, что убрать тебя хотят».

«Да ну?»

«Ей-богу!»

«А кого ж заместо меня?»

«Ай не отгадаешь!»

Еще хитрее глупое лицо Владимира улыбается. Владимир к лебедю на блюде — черному, венчанному, — тянется. Рукавом солонку задел. Опрокинул.

Соль просыпалась...

Оцепенели близ сидящие: приметы зловещей испугались.

Петр Волынец со своего далекого места поднялся. В малую дверь пошел...

Только Федор да Иван его уход приметили. Переглянулись.

Царь солонку на место поставил. Пировать продолжает.

Бережно собственной рукой Владимира из чаши вином поит...

Владимир Андреевич про себя лопочет: «Я ей говорю, какая радость царем быть? — Заговоры, казни. А я — человек смиренный: мне бы чарку залить, да козла подоить...»

Задумался Иван со слов: «какая радость...»

Задумчиво говорит: «Истинно, истинно: какая радость царем быть? Трудное дело — подвиг царский... Тяжело дело царское».

Владимир Андреевич совсем размяк. Капризно продолжает. Под нос бубнит: «Вот я ей говорю: на што мне сие... А она свое тянет: бери, бери шапку, бери, бармы...»

Иван уже давно внимательно в слова Владимира вслушивается. А сам вид делает, будто не думая, слова его повторяет: «Бери шапку... Бери бармы... бери...»

Неожиданно кричит: «Бери! Братик! И верно, почему б не взять? Братик, — возьми!»

И уже, как бы затеяв очередную шутку, царь хлопает в ладоши.

Все останавливаются...

Любит царь рядиться. Любит других наряжать...

Велит: «Принести уборы царские!»

Надевают Малуца с Басмановым на Владимира уборы царские. Перемигиваются.

Сам Иван Владимира на царское место усаживает. В ноги ему кланяется.

Все кланяются в ноги Владимиру Андреевичу.

И сцена кажется пародией на то, как в прологе, на троне сидел маленький Иван...

Владимир Андреевич растерян и сконфужен. Все кланяются.

Но и тут кресло делает свое дело: дураку на кресле сидеть нравится. Сладко дурак на кресле улыбается. Плотнее усаживается.

С земли за Владимиром Иван следит. Улыбку видит. Замыслы тайные в ней вычитывает. Глазом темнеет...

Раздается дальний звон к заутрене.

Федька с земли на Ивана глянул. Иван с земли его взгляд поймал. Распрямился. Поднялся: «Шутовству конец!» К прекращению пиришества зовет. Зовет к молитве.

Возглашает: «Прекратим блудодейство окаянное!» И все мгновенно перестраивается на монастырский лад.

«Воззовем, братие, ко Господу!»

Все накинули черные рясы.

Федор на Ивана наряд игуменский на-

дел — мантией черной облек. Черный клобук подал.

«Вспомним о чаше смертном!»

Надел Иван клобук.

Замерли напевы озорные: по рукам свечи зажженные пошли...

Один на полу — мертвой улыбкой — Федькин машкер улыбается.

Иван велит Владимиру: «В собор веди!» Владимир Андреевич в полном облачении ведет.

Около малой двери, у выхода, Владимир Андреевич спохватывается. С него сходит хмель. Он не хочет дальше итти...

А Иван говорит ему — наставительно: «Не пристало царю отступать. Царю надлежит всегда впереди итти...»

Заставляет всех кланяться, просить.

Владимир Андреевич хочет подойти к Ивану. Не удается. Вынужден итти. Идет, — зная, что его ожидает...

Собор.

В полумраке, между столбами левого крыла собора, прошла и исчезла фигура Петра...

Трапезная.

Шатаясь, в дверь входит Владимир Андреевич. Все — за ним.

ВНУТРЕННОСТЬ СОБОРА.

Собор.

В полумраке собора движется процессия опричников. В монашеских рясах. Со свечами в руках. С глухим пением:

«Перед Богом клянусь
Клятвой верною,
Клятвой тяжкою,
Клятвой страшною...»

Впереди идет Владимир Андреевич. Между столбами скользнула тень Петра и скрылась.

Идет Владимир Андреевич.

«...На Руси государю, как пест, служить:
Города и посады метлой мести,
Государево дело мечом беречь,
По цареву приказу костями лечь —

РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА
ВЕЛИКОГО...»

Длинная панорама: страшно Владимиру. В руке свеча дрожит.

За каждым столбом Владимиру чудится убийца. Волнение его возрастает. Внутренность собора все темнее и темнее. Вдали свечи и глухое пение опричников Гулко отдается пение под сводами.

«...Перед Богом клянусь

Клятвой тяжкою:

Исполнять на Руси волю царскую,

Истребить на Руси лютых ворогов,

Проливать на Руси кровь повинную...»

Двигается Владимир Андреевич. Дви-

жется хор. Двигается Владимир Андреевич.

«...Жечь крамолу огнем,
Сечь измену мечом,
Лиходеев-злодеев зубами рвать...»

Под сводом маленькой двери в темноте стоит Петр. В руке — нож блестит...

«Ни себя, ни других не жалеючи —

РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА
ВЕЛИКОГО!..»

Двигается Владимир Андреевич.

Стоит Петр.

Поют опричники:

«...Коль нарушу я клятву страшную,
Да пронзят меня братья-опричники
Без пощады ножами-кинжалами...»

За одним из столбов мелькнула тень Малюты.

Владимир Андреевич вздрогнул и повернулся в ту сторону.

И в это мгновение Петр с размаху всадил ему нож между лопатками.

«...Да постигнут меня кары смертные,
И проклятья, и пытки кромешные,
И позор, и мучения адские...»

Владимир Андреевич рухнул лицом в каменный пол. Петр отскочил в темноту двери.

«...Да отринет меня мать-сыра земля...»
Как вкопанные, остановились опричники.

По собору пробегает ликующая Евфросинья. Подбегает к труп. Становится на него ногой.

Ликующе кричит: «Народ, гляди! Ивану конец: умер зверь. Восияет Русь под державою боярского царя — Владимира!»

Вдруг остановилась.

Ряды опричников раступились. И из глубины к ней медленно... движется Иван.

Евфросинья вздрогнула. Посмотрела вниз. Опустилась. Перевернула труп. Узнала сына. С воплем бросилась к нему на грудь.

К Ивану подводят схваченного Петра. Его держат Малюта и Федька, крепко закрутив ему руки за спину. Они готовы тут же разорвать его на части. Угрожающе вокруг них сомкнулись другие опричники.

Тяжело дышит Петр. В их руках извивается. Иступленным зверенышем кричит: «Казните! Пытайте! Ничего не скажу! Никого не назову!»

Краем уха слышит царь слово последнее. К Петру двинулся. К Петру приближается...

Замер Петр... Опричники застыли... Оцепнели.

Но... благодушен царь. Петра ласково по шее треплет.

Говорит Малюте и Федору: «Пошто его держите? Он царя не убивал. Он шута убил. Отпустите его...»

Те удивленно его отпускают.

«Не шута убил... злейшего царского врага убил. Благодарствую...»

И обнимает Петра. Все остолбенели.

Иван снимает с пояса кошель с деньгами. «Жалую царским подарком», — отдает ему кошель.

Федька, ничего не понимая, глядит на Ивана.

Иван улыбается одними глазами, как бы говоря: «Потом поймешь».

«А ее...» — (повернулся к Евфросинье).

Над трупом сына сидит слабая, разбитая горем, беспомощная старуха...

«ЕЕ...» не закончил словом обычным: «Взять!» — молча знак рукою подал..

На Евфросинью нашла тень Малюты.

Федька за ноги уволок труп Владимира.

Евфросинья вскрикнула.

С пением, истово молясь, процессия двинулась дальше.

«...Перед Богом моя клятва страшная,
До скончанья времен нерушимая,
На земле и на небе единая —

РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА
ВЕЛИКОГО!..»

Впереди Иван.

Процессия затерялась в глубине собора.

«..А стоять ему веки вечные
Нерушимо во веки веков.»

Петр один. Дрожит. Стучат зубы.

«... Аминь!»

Из рук Петра выпало несколько монет. Слабо прозвенели...

ЗАМОК ВОЛЬМАР.

Серым камнем тяжелые своды друг в друга врезаются. Как смертельные враги, в каменном объёте навек замерли. Гроб тяжёлый, каменный, на сводах поддерживают. Герб со зверем причудливым над Замком Вольмаром высится.

Снизу шопотом голос доносится. Голос Курбского, над грамстой склоненного: «Верно, верно, Иван, поступаешь! Без крови дела не сделаешь... Без крови державы не выстроишь...»

«Лютый зверь!» — внезапно разъяряется: «Ныне и гробницы отверсты об отмене к небу взывают. Камни вопиют. Трубы небесные глас испускают. За святых, тобою умученных. Пиши... нет, стой!»

Итальянец юноша-писец Амброджио остановился. Взглядом вопросительным на князя воззрится.

Курбский говорит задумчиво: «Верно, Иван, поступаешь.»

Зубами скрежещет: «Почему ж не я, ты — во славе там. На стезе дела великого...»

Простонал: «А я... Я во прахе лежу пред величеством высоты твоя?»

На сундук с пергаментом князь опускается. Хриплым свистом грудь надрывает.

«Почему не этими руками дело великое строится?..»

Заревел он в отчаянии: «Пиши, убийца, изверг, ада исчадие!»

Сам словам своим лютым не верит, но кричит неистово: «Пиши: ад крошечный на Москве разводишь! В море крови Русь погружаешь. Русскую землю насилуешь!..»

«Ложь!» — вопит. Добавляет шопотом: «Ты велик, Иван...»

Подскочил к Амброджио. В плечи узкие Амброджио вцепляется. Дыханием огненным в итальянца дышит: не ему — себе, не себе — миру целому словно мысль свою раскрыть собирает. Говорит с отчаянием: «Ты пойми его, Амброджио. Не легко ему: груз несет нечеловеческий — один, друзьями покинутый!..»

Говорит восторженно: «Среди крови сияет невиданный... Слово Саваоф над морем крови носится: из той крови — твердь творит. На той крови зиждет дело невиданное: царство Российской строит...»

Удивленно поднимает голову Амброджио — Курбского спрашивает: «Если царь Московский так велик... Почему же вы не вместе с ним?..»

Еле слышно вопрос прозвучал. Но ужасным грохотом слова в душе князя-изменника отзываются: словно своды замка Вольмара в сердце князя обрушились. «Почему? — Сам не знаю!» И с размаху на ложе широко князь бросается. Золотом кудрей в подушки зарывается.

Давят своды тяжелые. Друг в друга врезаются. Как смертельные враги, в каменном объёме навек замерли. Пробегают под сводами шаги торопливые.

«Князь!» — кричит Амброджио.

Неподвижно Курбский лежит.

«Князь!» — кричит Амброджио.

Поднимает Курбский мутный взор. Кудри спутаны.

«Князь!» кричит Амброджио. «К вам с Москвы гонец!..»

Как стрела из лука, князь взвизгивает. На Амброджио кидается: «Неужели царь простил? В Москву зовет?..»

Обнявши Амброджио, как клинок стальной, весь спружиненный, выжидательно стоит. На груди — польский крест блестит.

Холодом чело очерчено. Бледностью черты покрыты.

Не посол царя, — посол Евфросиньи Старицкой, боярин Пенинский вбегает: князю низко кланяется.

Князя передернуло. В глазах потемнело.

Словно зверь, на вошедшего боярина кидается. «Ты?! — кричит. Польской руганью: «Пся крив!» — вперемежку с русской бранью: «Адов пес!» — старика-боярина осыпает: «Блудный кал!» — старика в трепет повергает...»

Князь кричит: «Пошто медлите? Погубить меня хотите — перед другом Сигизмундом осрамить? Почему восстанье медлит? Города поднимать пора! Чего ждет Псков?! Чего — Новгород?! Рвать в куски пора Русь Иванову!»

Пенинский, заикаясь, извиняется: «Города готовы. Готов Псков. Готов Новгород. Нехватает только мужества: перед царем трепещут, кары боятся...»

«Вот и будет знак: как посмеет царь на вольные города руки поднять — на Новгород двинуться — по всей Руси в колокол ударить! Со всех концов Русь огнями восстаний подпаливать. К Литве отходить!..»

Подозвал к себе: «Генрих Штаден!..»

Вырос немец-рыцарь перед ним. Плотоядные губы. Белокурые волосы. Ржавые латы. На ободранного орла похожий. Отеки лица от пьянства. Мешки под глазами.

Над мешками — глаза. Сероголубые. Колючие. Пустые, жестокие. Кажется, что в их сером холоде навсегда задержалось отражение холодного Северного моря.

Генрих Штаден плечист. Костист. Руки длинные и цепкие. Кураки — рыжим пухом покрытые. Веснушчатые. «В опричники вотрешься... Крошечником прикинешься. Сведения о царских войсках сообщишь...»

Из шкатулки кошель с золотом вынул. Штадену подал.

Сам подлетел к Амброджио. Прокричал: «Сигизмунду пиши — начинать пора!»

БИБЛИОТЕКА ГРОЗНОГО.

Библиотека.

Открывается дверь в подземелье. Быстро входит Малюта. За ним Петр Волынец.

Кругом много книг. Цицерон. Тит Ливий. Стоят Федька и духовник царя. — Евстафий. Петька держит в руках Светония. Евстафий, не глядя, перелистывает Аристофана.

За кадром четко диктует голос Ивана: «... Как не стыдишься, Курбский, злодеев мучениками называть, не рассуждая, за что кто пострадал...»

Мрачно перед собою говорит Иван: «...И как же не быть тебе, Курбскому, приравненным к Иуде-предателю?»

Пауза. Остановился писарь.

Ни на кого не глядя, двинулся Иван к своему креслу. В одну точку устремлен взгляд потухших глаз.

Петр бросается на колени перед Иваном.

Малюта шепчет Ивану: «Сказать хочет...»

Глянул с кресла Иван на Петра. Ост-

рым вниманием глаз заиграл. Видно, что Иван ждал этого прихода. Это видно из восторженного взгляда Федьки на Ивана.

Это видно по довольному ответному взгляду царя.

Между тем, Петр плачет у ног царя. Возвращает деньги: «Недостойн принять. Не сознался. Скрыл правду от царя... Казни, царь, меня недостойного..»

Иван ласково, «как любящий отец», успокаивает его. Дает ему воды. И внимательно выслушивает...

«Про злодейство все скажу.. Не один в том деле убийца — трое. В убийстве том — три руки замешаны..»

Наклоняется Иван...

«Одна рука — зарубежная — на измену поднимала. Другая рука — проповедью вдохновляла. Третья — нож в руку да..»

Ниже наклоняется Иван. Слушает:

«Курбский — первая рука..»

В горести прошептал Иван:

«Андрей.. Андрей.. Чего тебе не достало? Неужели шапки моей царской заточил?!»

Продолжает Петр: «Пимен — другая рука». Взвился в кресле Иван: «Пимен — старший в суде, к смертной казни над Филиппом призывавший?» Продолжает Петр: «Имя третьей руки — сам Филипп. Он за одно дело с Пименом стоял, наученье Пимена во всем выполнял. Меня — страстную речь в соборе убедил..»

Истуканом Иван сидит. Головой об стол грохнулся. Застонал: «Филипп... Филипп... Друг последний, единственный..»

Продолжает Петр Вольнец: «Мало этого. В заговоре том — вместе с Пименом — Псков и Новгород...»

Малюта насторожился. Федор придвинулся. Евстафий крестится.

«Псков и Новгород с Пименом, воеводами, боярами, от Москвы отделяются, под Ливонскую державу идут.»

«Ложь!» — крестясь, кричит Евстафий пронзительно.

Царь косится на Евстафия. Подозрение в царском глазу искрой проносится.

Возражает Петр: «Подтверждение — грамота целовальная: договор Пимена с Курбским, с Польшей, с Ливонией — в тайниках Софийского собора за иконой Божьей Матери — Троеручицы!»

В сердце самое предательством друзей пораженный, головой о стол упершись, Иван сидит. Еле слышно Евстафию шепчет: «Что делать, отец?»

С неожиданной силой говорит малый ростом духовник:

«Пощады не знать! Огнем и мечом карать Новгород!»

Петр оторопел, слыша от этого, с виду кроткого человека, такие страшные слова.

Но слова звучат еще страшнее. Фанатично выкрикивает Евстафий: «Как Иуда Маккавей, как Иисус Навия против неверных, — так царю новым крестовым походом итти против Вавилона нового — против Новгорода!» Чтоб земля содрогалась. Чтоб вся русская земля встрепенулась, видя, как великий государь изменников карать идет!»

В глазах Евстафия слезы убежденности. Федька схватился за меч.

Петр захвачен.

Один Малюта недоверчиво глядит исподлобья.

Иван обнимает духовника: «Снаряжать поход на Новгород..»

По лицу Ивана скользнула улыбка. «Но не с шумом и литаврами.. Со смиренным — тайным походом двинемся.. Чтоб никто не знал.. Чтоб никто: ни человек, ни зверь, ни птица — не донесли городу мятежному, как грозой на него движется гневный царь..»

Продолжает Иван: «Связь прервать с Новгородом всякую..» Понимающе глядит Малюта.

«Против Ливонцев заслон поставить..» Федор с приказом торопится.

Глянул царь на Евстафия: «Тебе — на Москву оставаться». Удивлен Евстафий.

Лукаво Иван сощурился: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Паче же сего: не гоже праведнику при свершении греха быти. Как потом исповеднику в тех прехах каяться?»

Широко раскрытыми глазами Евстафий вслед царю смотрит.

Лучистые глаза в затемнение уходят.

СНЕЖНАЯ РАВНИНА.

По снежным равнинам бесшумно скользят лыжи.

Скользят лыжи по снегу. Двигутся по снегу на лыжах отряды лыжников пешей опричнины.

За ними конные. Среди конных — царь.

Позади дома разваленные, снегом заваленные. На снегу — порубленные.

Скользят лыжи по снегу..

На заставе, в дозоре — воины новгородские.

Бесшумно лыжи подъехали.

Луки вскинулись. Взвились стрелы.

Упали в снег дозорные новгородские..

«... Чтоб никто — ни человек, ни зверь, ни птица — не донесли городу мятежному, что грозой на него движется гневный царь..»

Двигутся по снегу на лыжах опричники.. Лежат на снегу люди, стрелами протреленные и саблями порубленные. — Скотина прибитая.

Побежала было собака в сторону, стре-

ла ее настигает. Хрипло взвизгнув, собака зарылась мордой в снег.

В тишине скользит по снегу войско царское. А среди опричников—новое лицо. Немец опричник Штаден по снегу движется. Внимательно ко всему приглядывается...

Стрелы сбивают птиц небесных—«...чтобы никто—ни человек, ни зверь, ни птица—не донесли городу мятежному, что грозой на него движется гневный царь...»

Скользят лыжи по снегу...

Царь угрюм. Измена Филиппа тяготит его.

Подзывает Малюту. Шлет его с поручением: «... В Тверской Отрочь Монастырь поспедай...»

Угрюмо идет на фоне снежной равнины Иван.

Далеко впереди—головные движутся.

Вдруг вдали головные заметили.

Обгоняя их оврагами, кто-то впереди их торопится.

Припустили лыжи. Понеслись головные.

А тот—наутек.

Погнались за ним. Молча гонятся: голос подавать не велено.

Луки вскинули.

Три стрелы в беглеца ударились.

Лыжным ходом движутся опричники... Перевернулся на снегу беглец. Выхватил из шапки грамоту. Ко рту поднес. Зубами кусок оторвал.

Тут наехали головные на него. Грамоту выхватили.

Наехал Федька Басманов. Но ничего узнать не смог: умер беглец.

Едет немец—опричник Штаден, во все внимательно вглядывается...

Едет, движется опричнина на лыжах. Скользят по снегу лыжи.

Царь угрюм.

Позади его понурый Малюта.

Подлетают к царю на лыжах головные. Подает царю Федор грамоту; шопотом говорит: «Из Москвы—донос Новгороду, что идет походом Московский царь... А где подпись,—там оборвано...»

Сдвинул брови царь. Сжал в кулак грамоту. Бросил в сторону. И быстрее двигаться велел.

Близок Новгород. Впереди царя—город мятежный. Позади царя—пустыня снежная.

Занесенный снегом лежит московский гонец.

Торчат из него три стрелы...

ЗТМ.

НОВГОРОД, РАССВЕТ.

Палата Пимена.

Большая палата у Пимена. Слабо освещено громадное помещение. Пимен с группой бояр и воевод Новгородских.

Среди них—боярин Пенинский, бывший у Курбского.

Не узнать Пимена Новгородского. Изпод белых риз—темным пламенем пылает. Восковой лик, бесстрастный—восторгом дышит. Тело исхудалое, немощное, на мощи похожее, победной судорогой клочочет.

Цели жизни достиг. До совершения дел своих дожид. Предвкушением победы упивается. Пламенно вешает: «Час настал! Осенясь крестным знаменем—в бой идет. Подыдем Псков и Новгород. Псков и Новгород поведут остальные города.»

Пришла грамота от Курбского: все готово для вторжения.

С Москвой быть не хотим. От Москвы откальваемся—к Ливонской державе примыкаем!»

Ближе подошел к доверенным: «На Москве у меня—люди верные, лазутчики. Если вздумает Иван к Новгороду двинуться: из селения к селению, от заставы к заставе, как огонь, как птицы небесные, как ветры буйные,—вести полетят: с оружием в руках встретят царя Псков и Новгород...»

Сел: «С часу на час жду гонца с Москвы. От верного человека, царю близкого, по имени...»

Открыл рот, чтобы имя того человека назвать—запнулся... Глазам не верит: супротив него в дверях—царь Иван стоит. За ним—Малюта. Басмановы. Опричники.

Обомлели воеводы и бояре новгородские. Раздалось короткое: «ВЗЯТЬ!»

Гневный лик Ивана ушел в затемнение.

УГОЛ ВНУТРИ СОБОРА. В МОСКВЕ.

Страшный суд.

Гневный лик царя небесного—Сазаофана—на фреске Страшного Суда.

Страшный Суд вершит небесный царь праведников к себе зовет, грешников в Геену огненную ввергает.

На клиросе голос монаха читает:

«Помяни, Господи, души усопших раб своих и рабынь,

Прежде века сего почивших.

От Адама и до сего дни...»

Вокруг царя небесного—огненные круги: чины ангельские расписаны. Огненные мечи вниз направили крылатые опричники небесного царя. Вниз—туда, где в вечном пламени вечным огнем грешники горят.

Читает голос монаха:

«Помяни, Господи, раба божия Владимира, князя Старицкого...»

Из темноты проступает силуэт монаха:

«Помяни, Господи, княгиню Евдокию,

В мире Евфросинью Старицкую,
Еже бысть потоплена в реке

Шексне...»

Кончил монах читать один свиток. Новый синодик имен разматывает:

«Помяни, Господи:
Души раб своих
Новгородцев...»

Тянется заунывное перечисление имен. Бесконечным свитком разматывается синодик.

«Помяни, Господи, Преосвященного Пимена, владыку Новгородского, в мире Прокопия Черного, Казарина и двух сынов его, Ишука, Богдана, Иоанна, Иоанна, Игнатия, Григория, Федора, Истому... Князя Василия...»

В темноте под фреской Страшного Суда в углу, где особенно ненасытно вечный огонь грешников гложет, распростерт лежит — царь Иван.

За ним дальше, в глубине Малюта, Басмановы: отец и сын. В тени немец — опричник Штаден...

Не все имена убитых известны, и потому от времени до времени перечисление прерывается словами:

«Имена же их ты, Господи, веши».

Звучит над Ивановом голос монаха:

«... Бахмета, Иоанна, Богдана,

Михаила, Трифона, Артемия,

Ивановых людей двадцати человек.

Имена же их ты, Господи, веши...»

Распростерт во прахе Иван. Высится над ним Страшный Суд. Восседает на престоле надзвездном небесный судия. Молнии мечут очи Саваофовы. И гневен темный лик его...

У ног его — вечным огнем грешники горят.

Но страшнее адского огня мучат, жгут, грызут угрызения душу царя земного — Московского. Страшный ответ перед самим собою держит. Градом льется пот со лба. Градом — слезы жгучие из закрытых глаз. Царь исхудал, осунулся. И кажется постаревшим на десятки лет...

Читает монах:

«Князя Петра, Никифора с женою
и двумя сыны.

Симеона с женою и с тремя дочерьми,
Чижа с женою, и с сыном, и с дочерью.

Суморока, Охлопа, Нечая...»

Сообщает Малюте Басманов-сын: «Всех казенных в Новгороде одна тыща пятьсот пять душ...»

И шепчут губы Ивановы, как бы оправданье делу страшному: «Не по злобе. Не по гневу. Не по лютости. За крамолу. За измену делу всенародному...»

Ждет ответа Саваофова. Но молчит стена...

Четко имена синодика слышатся:

«Анны, Ирины, Алексея, Агафьи,

Ксении.

Два сына ее, Исаака, Захария две дочери,

Гликерии, Евдокии, Марии.

В Новгороде побиенных пятнадцати баб, Имена же их ты, Господи, веши...»

Сообщает Малюте Басманов-отец: «Монастырей обобрано да разрушено сто семьдесят...»

И спешит Иван с изъяснением делу кровавому: «Не себе. Не корысти ради. Для отчизны. Не по лютости. А для дела ратного...»

И с мольбой глядит в очи лика черного. Не глядят очи вниз: вдале глядят намалеваны...

Четко в тишине имена синодика слышны:

Никифора, Каалинника,

Парфения.

Князя Бориса, Князя Владимира,

Андрея, Князя Никиты.

Подъячих три. Да простых пять человек.

Имена же их ты, Господи, веши...»

Говорит в тоске Иван: «Молчишь?..» Выждав. Нет ответа.

В гневе, с вызовом, повторил — царь земной царю небесному — угрожающе: «Молчишь, небесный царь?!»

Молчит.

И бросает дланью мощною царь земной в царя небесного деревянным посохом с каменьями.

Разбивается посох о стенную гладь. Рассыпается камнями самоцветными. Как мольбы Ивана, к небу все обращенные...

И сникает царь земной, беспощадностью царя небесного раздавленный.

«Не даешь ответа царю земному...» — шепчет, обессилив, ударяясь в стену, царь Иван.

Но молчит сурово расписной настенный Саваоф, восседая на престоле величия надзвездного. Вкруг его молчат чины ангельские. Молчат грешники: в вечном огне извиваются.

«Алексия с женой, Василия с женой, Андрея с женой, Сына его Лазаря,

Богдана с женою.

Неждана с женою. Болобана с женою...»

С тоской в очах глядит Федор. Жалко Федору царя. Шепчет: «Тяжело дело царское...»

Хрипит на земле Иван. Извивается. Огонь душу гложет...

«... Молчана, Всячину, Грязнова,

Иоанна, Поливово, Обернибесова,

Псаря приезжево,

Нелюба...»

К Алексею Басманову подручный подошел — Демьян, что у Старицких в холмах служил: «Золотые оклады с икон церкви Федора Стратилата Новгородского куда везти? На Чеканный двор или...»

«На Чеканный двор. В казну», — оборвал

его Басманов-отец. Да сам глазом метнул в сторону сына.

Полны слез глаза Басманова-сына. Нетронуто глядит на Ивана. Не слушает.. «... Немчина Роба. Литвина Максима, Рыболова Корепана. Повара Моливу. Рыболова Ежа.

В Иванове Большом семнадцати человек.

В Городищи трех человек...
Имена же их ты, Господи, веши...»

И сквозь зубы Демьяну добавляет Басманов-отец: «Треть возов свезешь в подмосковную Басмановых — чтоб никто не знаа. Как всегда вози...»

Рядом раздался голос веселый:

«Возы покупаю!»

Немец Штаден подошел:

«Собояями плачу. В Новгороде... приобретенными!»

Оглянулся неожиданно.

На него Федор в упор глядит.

Широко раскрытыми глазами Федор на немца уставился:

«Казну обманываешь? Царя предаешь?»

«Алексей Данилыч — завсегда так поступает...» — Демьян оправдаться старается..

Повернулся Федор резко: «К царю иду!»

В перепуге Демьян к стене прижался. Алексей Басманов сына за руку схватил.

Бледный Штаден сквозь зубы прошепел:

«Меня выдашь — отца выдашь?»

Словно звери друг на друга уставились. Друг другу в лицо дышат.

Демьян в стороне дрожит.

Глухой стук прерывает их. Глядят.

Частые земные бьет поклоны царь Иван. Лоб о камни бьет. Кровью глаза наливаются. Взоры кровь застилают. Разум мутится. В глазах темнеет.

Спину разогнул, шатаюсь. Руки разводит. Воздух хватает. Опоры ищет.

«Пастыря, пастыря...» — шепчет иссохшие уста. С колен в рост поднимается.

Потутился Федор. Голову отвернул. За столом исчез.

Алексей вслед сыну потянулся. Руками в воздухе повис. Иронически Штаден улыбается..

Шатаюсь, по собору Иван движется.

«Как Бог свят, царю выдаст» — про ебя, стуча зубами, шепчет Демьян. И крестясь, в темноту собора ныряет...

Мимо Штадена с Басмановым, никого не видя, Иван проходит.

Каменным лицом Алексей вслед Федору глядит.

В глазу не испуг — тоска Тоска по сыне, навеки для отца потерянного.

Ободрающе Штаден старика по спине хлопает..

С о б о р.

«Исповедаться.. — глухо хрипит голос Ивана. И, шатаясь, нетвердою поступью, спотыкаясь, пошел в темноту собора — к клиросу. Мимо теща безучастного. Мимо Царских Врат позолоченных. К двери майлой с ангелом.

Тихо скрипнула, отворившись, дверь.

«Кто вызывает ко Господу?» — раздался из алтаря ясный голос Евстафия.

«Раб недостойный, Иван...» — глухо отозвалось с полу каменного..

«Помяни, Господи, души раб своих, тысящо пятьсот пяти человек..»

Тяжелая пауза.

Страшный суд.

Молча, склонив голову, стоит Малюта, Федор вдали. Тяжким уделом царя подавленные..

Неподвижно отец Басманов на сына глядит.

Новый свиток монах начинает:

«Помяни, Господи, души раб своих..»

Пимена, пресвященного, владыку Новгородского, в миру Прокопия Черного..»

Исповедь.

Наклонился над царем Евстафий. Слушает.

Из-под епитрахили голос Ивана. Грудь прерывисто дышит. Душа стоном разрывается. «Тяжело такую цену державу строить...»

Пот кровавый по лбу катится. Имена называет. Рядом с ним крест духовника висит. «Презаскозненного рода крамольного Кольчевых..»

Вздрыгнула крест духовника.

Иван называет: «.. Митрополита Московского Филиппа, в Тверском Отрочь монастыре удавленного..»

Побледнело лицо духовника. Ангельская ясность его глаз сменилась тревогою. Прошептал, имя повторяя: «.. Филиппа...»

Рядом с Иваном крест ниже опустился. Продолжает Иван: «... того недостойного Филиппа братьев родных: Андрея, Василия, Венедикта..»

В страхе смертельном спрашивает духовник: «А... Тимофея?»

Вскинул глаз Иван. Его удивил вопрос. Говорит: «.. Доискиваются..»

Задыхается духовник: «.. Михайлу?»

Ивана берет подозрение. Сдвинул брови. Говорит с расстановкою: «Добираются..»

Духовник рванулся в сторону. Тяжело дышит.

Говорит Иван: «Токмо до меньшего никак не доищутся..»

Духовник хочет распрямиться. Иван схватил его за крест. Потянул вниз к себе..

Лицом к лицу с духовником оказался:

«Уж не ты ли сам из этого рода погано-

го: меньшей из рода Колычевых, без вести пропавший?..»

Подвигается ближе к духовнику: «Не тебя ли — последнего — Филипп Колычев у меня укрыл: в самой пасти льва сохранил?..»

Впивается глазами в Евстафия: «И не от тебя ли грамотка Новгороду была?..»

Цепко держит Иван Евстафия за крест. По цепи руками перебирает. По цепи креста к горлу духовника подбирается...

И вот уже на коленях — духовник. И восторженно над ним навис царь Иван: «Говори!.. говори!..»

Цепочка на шею стягивается... Духовник задыхается. «Все скажу!..» — кричит. К уху царскому тянется.

Прерывисто шепчет: «Курбский только знака ждет.. Все заставы на границе — Ливонским послом подкуплены!.. Тебя врагу выдадут своим же бояре..»

Прочь швырнул царь Иван Евстафия. В ярости лицо руками закрыл.

С земли продолжает духовник:

«А в том заговоре — казначей Микита Фуников, князь Афанасий Вяземский, воеводы с застав Ливонских, князья — Лобанов, Бычков, Хохолков — Ростовские!.. Наступил Иван на Евстафия — как на голову ехидне наступают: «Еще скажешь — кого клеветой опутывал?..»

Ни жив, ни мертв, на полу духовник. Из темноты возник Малюта, Съехался Евстафий.

«Взять!.. Выведать!.. происповедать!..»

Сгреб Малюта Евстафия.

Отвел руки от лица Иван. Новой силой сшибает глаз. Громко крикнул: «Федька!» Вбежал Басманов. С диким весельем приказал Иван: «Пищи сюда!»

Прибежал писец: — «Пиши... Курбскому!»

И добавил с расстановкою: «А подпишешь грамоту... именем... Евстафия!»

ДВОРЕЦ СИГИЗМУНДА.

«Иван в наших руках!» — кричит, вбегая, восторженный Курбский.

Он расправляет на столе грамоту, тайно прибывшую из Москвы.

Над ней жадно наклоняются представители коалиции против Московского государства.

Курбский показывает текст. Объясняет: «Заставы на Ливонской границе подкуплены. Путь на Москву открыт».

Бледно улыбается Сигизмунд. Подагра за эти годы ухудшилась. И нога скрючена жестокой болезнью. Бездействует правая рука. Он не может дать привычного знака рукой.

Но улыбки короля достаточно — все восторженно кричат: «Виват!»

Ведь никто же из присутствующих не видит, что грамота эта — подозрительно похожа на ту, что собирались диктовать Иван в предыдущей сцене.

И что грамота подписана... именем Евстафия.

Но Сигизмунда внезапно берет сомнения.

Молча, с мучительной гримасой поворачивается он к одному из вельмож.

И вельможа высказывает мысль королю: «Но Англия?..»

Сигизмунд показывает левой рукой на другого вельможу, и вельможа произносит вопрос короля.

Вельможа: — «Есть союз Ивана Московского с королевой Елисаветой?..»

И общую мысль подсказывает веселый круглолицый шут: «Король хочет знать, не ударит ли нас рыжая Бэсс по...»

Шут звонко хлопает себя по заду. Всклакивает на середину стола, опускается тяжелым задом на раскинутую на громадном столе карту.

И, сидя где-то на подступах к Московии, — между Литвой и Ливонией, — как между двух стульев, — шут хитро улыбается.

Отрицательно качает головой и звенят бубенцы, берет лютню и начинает напевать

БАЛЛАДУ О РЫЖЕЙ БЭСС.

«Корабль заблудился в тумане седом, К Британии он пристает, Человек идет в королевский дом — Умные речи ведет...»

Вступают мандолины.

Кудрявый паж поет в амбразуре тюдоровского окна:

«И знает лишь бог с высот небес, Кого по ночам принимает Бэсс, Кому на свете мед дает, Кому на свете воск дает, Кому на свете жало дает — И всякому в свой черед.»

Говорит:

«Рыжая Бэсс..»

А в это время на экране:

УГЛОВАЯ КОМНАТА ВИНДЗОРСКОГО ДВОРЦА.

Виндзор.

Тайная аудиенция у королевы Елисаветы английской.

Годы наложили свой отпечаток на облик королевы-девственницы. Наряд ее стал еще пышнее. Еще больше белил на ее лице. И от этого волосы кажутся еще более огненно-рыжими.

Еще моложе стал ее очередной фаворит, полускрытый за золотом кружев ее облачения.

Как солдат на карауле, стоит вся в золоте, навтыжку перед собственным королевским креслом, могучая костистая фигура королевы.

В полумраке за ней — очередной любимец. Это — еще не Эссекс. В эти годы Эссекс еще ребенок. Может быть, это — Кристофор Хэттон или Эдуард Нере. Но вероятнее всего — юный Чарльз Блоунт — «Курчавый мальчик с безупречной фигурой, с нежным лицом, вспыхивавшим румянцем, когда взгляд ее Величества благосклонно останавливался на нем».

Перед королевой — тайный посол. Строгие одежды облакают его.

И только по круглому лицу мы узнаем того, кто под маской шута проводил волею немецких имперских князей при дворе Сигизмунда. Сейчас лицо потное и усталое. Немец хрипит и прерывисто кашляет.

Поет паж в амбразуре:

«И день, и ночь человек говорит —
Судит миллион чудес.

Поет человек, человек хрипит.
Молчит королева Бэсс...»

Видно, что много часов длилось красноречие. У немца подкашиваются коленки. И с суевренным ужасом глядит немец-посол на каменную неподвижность королевы, способной простоять, не дрогнув, долгие часы нескончаемых аудиенций...

Надрываясь, в десятый раз, немец твердит королеве:

«Коалиции против Ивана нужно, чтобы Англия развязала нам руки.

Немцам нужно, чтобы Англия не мешала нападению на Москву.

Коалиции нужно, чтобы Англия помогала немцам...»

Паж поет:

«Но знает лишь бог с высоты небес» — отирается немец.

«Кого покупает, кого продает — рыжая Бэсс, — стекляннным взором глядит Елисавета вдале.

«Кому на свете мед дает,
Кому на свете воск дает,
Кому на свете жало дает...»

Поет паж в амбразуре:

«И каждому в свой черед
Рыжая Бэсс...» —

рисуеться около королевского кресла юный Блоунт.

Томительная пауза.

Пронзительно звенят мандолины. И, наконец, королева роняет долгожданное согласие:

«ПОЛКИ АНГАЛИИ БУДУТ В РОССИИ».

Конечно, как все решения Елисаветы, и это решение высказано многозначно и двусмысленно: при желании этим словам можно придать смысл совершенно противоположный тому, что в них хочет услышать немец. Но вконец измученный посол уже не способен разобраться в ответе королевы. Он в восторге от ее слов. И поспешно удаляется через маленькую потайную дверь.

Малая приемная.

Хлопает дверь, и неожиданно резко вступает хор конюхов во дворе — за окном малой приемной залы Виндзорского дворца.

«Так выше за Бэсс ледяной стакан
Пейте, гуляки, бей океан!»

— «Уф!» — бегаёт немец.

Хор:

«За нашу Бэсс,
За чортовую Бэсс,
Рыжекудрую Бэсс...»

Силы покидают немца. Коленки подкашиваются. Чьи-то дружеские руки не дают ему упасть...

«Она хитра и коварна, как бес», — стонет немец.

Взгляд посла падает на того, кто его поддержал: перед ним посол Москвы — Осип Непея.

Хор:

«Старая Бэсс,
Мудрая Бэсс.
Бесстыжая Бэсс.
Великая Бэсс.
Королева англичан.»

Заносчиво подымается немец, упоенный успехом. Иронически улыбаясь, уходит...

«Ха-ха-ха» — несется из-за двери солдатский смех королевы Бэсс.

Озабоченно глядит Непея на дверь.

Но за дверью неподвижный сфинкс ожил: мальчишески-весело кончает Елисавета фразу, обращенную к юноше Блоунту: «.. Как всегда — немец готов платить шкурой — неубитого медведя. На этот раз — русского!..»

Блоунт удивлен: «А как же ваш ответ, королева?»

И в ответ ему сама напеваёт рыжая Бэсс:

«Ведь знает лишь Бог с высоты
небес:

Кого покупает, кого продает
Рыжая Бэсс...»

«Учись дипломатии!» — говорит королева.

В амбразуре окна поет паж:

«Кому на свете жало дает,
Кому на свете воск дает,
Кому на свете мед дает...»

Королева берет нежный, пушистый подбородок Блоунта в свои длинные когтистые пальцы.

«.. И всякому в свой черед...»

Королева хлопает Блоунта по щеке.

Паж:

«Рыжая Бэсс...»

Королева бросается в кресло и во все горло хохочет:

«Из всех проказниц города
Виндзора
ты, Бэсс, остаешься самой
бедовой!» —
говорит Блоунт, целуя ей руку.

Королева хохочет.

И трудно репнуть, над кем смеется рыжая Бэсс — над немецким посланником, над собственными мыслями, или над фразой своего любимца, которая к концу ее царствования запечатлется в названии бессмертной комедии..

Но вероятнее всего, что она смеется совсем по другому поводу.

Королева глядит на Блоунта. Нежное лицо Блоунта вспыхивает румянцем...

Нарастает вдали звон мандолин. И — как бы уходя на цыпочках — затухает звучание хора:

«Наша Бэсс...
Рыжая Бэсс...
Бесстыжая Бэсс...
Королева англичан...»

Сцена уходит в затемнение. Прозвонительно звенят мандолины.

Внезапно врывается тяжелейший удар меди.

Один. Второй. Третий.

ЦАРСКАЯ ПАЛАТА. В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЛОБОДЕ.

Трапезная.

Тризна.

Царь и опричники в монашеских одеждах.

Над царем и опричниками — на небесном фоне, по своду сорок мучеников расписаны. Вниз глядят. Венцами золотыми поблескивают.

Звонко Федька поет. За столом стоит. Любимой шуткой Ивана забавляется, псалтырь вверх ногами перед собою держит. Звонко озорную песню про казенных на осьмой глас запекает.

Ему вторит хор.

Федька:

«Со святыми упокой,
Христе,
Души бояр воевод —
Крамольников —
Заставы царевны предавших
днесь,
Принявших злато, серебро и
десть...»

Глухо ударяются друг в друга чаши брашные — шесть пар: словно колокола гудят.

«... для ради мощны обогащения»

Ударяются чаши две.

«И дела сатанинского свершения»,

Ударяются чаши. Две другие.

«За серебрянники царство продавших».

Ударяются чаши. Третьи — две.

«Немцу ворота отворявших».

Ударяются чаши. Все.

Говорит Федор:

«.. И ныне в обитель попавших...»
Хор опричников:

«..Идеже несть
Болезнь, печаль,
Ни воздыхание.

Но жизнь бесконечная...»

Чином плясовым:

«Надгробное рыдание творяще песнь...»
под быстрый звон ковшей отмахали.

«Помилуй мя, боже, помилуй мя...»

Звонче всех — Федька Басманов. Сам — взгляда отцовского избегает. С немцем Штаденем глазами встретиться не хочет.

Неотрывно старик Басманов на сына глядит.

В центре трапезы царь Иван. Позади царя — райский град Небесный расписан.

Но царь перед собой глядит. Сосредоточен, угрюм и задумчив...

Пение лихо продолжается. Федька:

«Со святыми упокой,
Христе,
Ду-у-ши бояр воевод,
Изменников —
Пламенем адовым палимых.

В котлах, аки раки, варимых...»

Глухо ударяются друг в друга чаши брашные — шесть пар: словно колокола гудят.

«Главами обрубленных».

Ударяются чаши. Две.

«На плахе загубленных».

Ударяются чаши. Две другие.

«В петле непотребно висящих».

Ударяются чаши. Третьи — две.

«В Москве, яко падала, смердящих...»

Ударяются чаши. Все.

Говорит Федор:

«... И днесь предстоящих...»

Хор опричников:

«Идеже несть
Болезни, печаль,
Ни воздыхания.
Но жизнь бесконечная...»

Чином плясовым:

«Надгробное рыдание творяще песнь...»
Чем мотив зазорнее, тем угрюмее царь.

Чем мотив озорнее, тем мрачнее царь. И внезапно царь обрывает пение. Говорит:

«Дело опричнины,
Дело не шутейное,
Дело священное,
Все притихли.

Еле слышно в тишине одиноко чаша звенит. Отзвенела.

«...Но есть среди нас и такие, что дело опричное на наживу променяли...»

Опричники жмутся друг к другу.. Продолжает царь: «Есть такие, что царское доверие обманывают. Клятву священную, опричную — продают...»

По мере нарастания речи, возрастает взволнованность. Бледные опричники сидят: каждый думает — не о нем ли речь.

Федор в упор на Штадена глядит. Шта-

дену—дурно. Судорожно за клинок держится: «Помилуй мя, Херр-Готт, помилуй мя», — сквозь зубы цедит..

Продолжает царь неумолимо: «Есть старейший среди вас, кому величайшее доверие оказано...»

Иван смотрит перед собою.

Но опричники, глядя друг на друга, постепенно начинают все глядеть в одну сторону..

Царь продолжает: «... Но сей недостойный обманул доверие. Царя обманул. Навеки славное дело опричнины корыстью посямил...»

Все глядят в одну сторону: на старика Басманова.

Не видит их взгляда Басманов — каменным взглядом в чашу уставившись, сидит.

Глянула на Басманова и царь — взгляд тяжелей перевел.

В бок толкнул Басманова. Вскочил Басманов-отец.

Федор в угол отвернулся.

На сына Басманов-отец уставился. Шепчет: «Неужели сын..?»

Молчит Федор. На отца не глядит.. Повернулся Басманов к царю. Оправдаться захотел. Да вдруг видит:

под доктем у царя поднос. На подносе — виноград. Царь берет веточку. Ко рту подносит.

А поднос-то держит бывший холоп князей Старицких — бывший подручный Басманова — Демьян Тешата.

Хитро улыбается Демьян.

Осекся Басманов. Вздохнул: «Не сын.. Слава Богу».

И покорно из-за трапезы вышел.

Стал среди палаты. Голову опустил.

В первый раз сын на отца взглянул. Горем лицо перекошено.

Горя того отец не видит: опустив голову, стоит..

Царь обводит взглядом присутствующих: «Кто достоин такую мудрую голову срубить?»

Все потупились. Один Малюта на Ивана глядит.

Взгляд Ивана с тоской скользит по лицам опричников.

Прячут взгляд. «... Не тверды в страшной своей клятве...»

Остановила царь взгляд свой на Федоре. Опушена голова Федора Басманова..

Почувствовал Федор на себе царский взгляд. Как бы против воли поднялась голова.

Открытым взглядом глядит Федор в очи Ивана. И великое испытание на Федора налагает царь: еле заметно Федору головой кивает..

Вышел из-за трапезы Федор Басманов. Подошел к отцу. Повел старика.

По пути глянула на Штадена.

Понял Штаден, что его — немца — жизнь только жизнью Басманова-отца держится и что жизни той Басманова-отца кожей

пришел.. И под взглядом Федора — немец ерзает.

Отвернулся Федор. Отца повел.

Вывел.

Демьян вслед отцу и сыну улыбается..

Бросил царь сквозь зубы: «А его — предателя — исам на растерзание!»

ТЕМНОТА.

В темноте стоят Басмановы. Отец и сын. Молчат.

Говорит отец: «Не горюй. Соблазнился. Провинился. Попался.. Сам виноват. Тебе наука. Дай, обниму перед смертью!»

Обнимает сына.

И внезапно страстным шопотом говорит отец сыну на ухо, чтоб никто не слышал:

«Золота у меня горы накоплены. Все для сына берег. Для рода Басмановых...»

Сын взволнован. Отец продолжает: «Для тебя единственно грех на душу брал. Клятву преступал. Не себе. Тебе. По тебе тоскую. Тебя потеряв. О тебе забота, для тебя убиваясь».

Сын испуган. Сомневается.

«А не грех ли то? Не предательство? Не за то ли сам от руки моей погибаешь?»

Страстно говорит отец:

«Не страшна мне смерть.. Род бы жил. Богател и множился. Матерел и ширился. Чтоб росли сыны-внуки-правнуки, в тех сынах-внуках-правнуках чтоб я веч. но жил. Для того казну Басмановых крепил, чтоб сыны-внуки-правнуки мои с царскими сынами-внуками-правнуками в веках тягаться могли.

Чтобы золотом моим я с Иваном после смерти потягался: неизвестно — чья возьмет. Неизвестно — чья порода живучее. И какое дерево-другое в веках перестет...»

Слушает Федор те слова крамольные, искусительные. Заслушивается.

Жадным взглядом, последним, предсмертным, в очи сыну отец с тоской глядит.

Слышит отзвук крови своей и крови сыновьей. Но и видит колебание... Слово клятвы страшная в воздухе звучит — от решения Федора удерживает..

И хватает отец шею белую сыновнюю мощными ручищами — басмановскими.

«ЗАДУШУ...» — хрипит: «Прокляну перед смертью, коль не свяжешь себя клятвой страшной!»

Шарит рука Федора по груди отца. Глаза вдаль, в года устремлены.

Клятву опричную, предаваемую, беззвучно побелевшими губами повторяет: «...Отказаться от роду, от племени, позабыть отца, мать родимую...»

Пальцы ко кресту натальному отцовскому под кафтаном гнутся..

«Покайся, что все скоронишь от рода Иванова! Покайся, что все скоронишь для рода Басманова!»

Потемнело в очах у Федора: в отцовских руках задыхается. Прохрипел: «Клянуть!» И впился губами в крест нателный на груди отца.

И лобзаньем тем нечеловеческим распростились навеки Басмановы..

«С плеч гора..» — вздохнул отец. Распрямился сын: «Ожидает царь — кончать пора».

Говорит отец: «Молиться буду. За молитвой и кончай меня.. как изменника Турунтая-Пронского сообща кончали.. Тем ударом, которому под Казанью сам тебя обучил».

Отвернулся в угол. Расстегнул ворот. Наклонил голову, вытянул шею. Зашептал молитву..

Сверкнула в темноте сабля Федора Басманова и вчистую снесла седую голову Басманова-отца.

ПАЛАТА.

Трапезная.

Дверь закрытая..

Напряженно на ту дверь закрытую опричник Штаден глядит.

Клинок в руке у немца-опричника дрожит..

Еще напряженнее Царь Иван на дверь глядит: мучается..

Отворилась дверь. Федор показался.

Голова опущена. Волосы слиплись на лбу.

Поднял голову.

Сматривает ему Иван в глаза.

Но нечист уже взгляд федькиных глаз бегают.

Перекосились губы царские.

Глухо произнес: «Родного отца не пожалел, Федор. Как же меня жалеть-защитить станешь?..»

Понял Басманов: разгадал Иван их тайный сговор с отцом..

Захотел сказать: поздно.

Раздалось короткое: «ВЗЯТЬ!»

Как обезумевший, пытается Федька броситься на царя.

Путь ему — прыжком — Штаден преграждает.

Нож в Федора всаживает.

Сгорбленная фигура Ивана в кресло опускается: «Вот уж и Басмановых не стало..»

Недвижим Федор лежит. Стеклянным взором вверх — на венцы сорока мучеников умирающий глядит.

Одинокая слеза по седой бороде царя Ивана прокатывается..

На конце бороды повисла, словно надпробное рыдание твоя.

«Помилуй мя, боже, помилуй мя..»

Чья-то чаша тихо прозвенела. Смолкла..

Вдруг тревогой глаз умирающего загорается — через силу на локоть Федор поднимается.

Из последних сил, из объятий смерти обратно вырывается.

Долг последний — посмертный — выполняет:

«.. Немпу, царь, не верь!» — царю кричит.

Голову кудрявую назад откинул.

Умер..

Словно ангел падший, Федор на полу лежит. Рясой черною, словно крыльями, по плитам раскинулся..

Поднимает царь веки тяжелые — на немце Штадене взор останавливает. «Больно резв, иностранный гость, за царя, против его же опричников, заступаться..»

На плечо Штадену тяжелая рука Малюты ложится.

Стуча зубами, Штаден из-под малютиной руки приподняться пытается — тяжелая рука — не подымешься..

Вдруг за дверью звон. Обернулись все.. И внезапно в палату — гонец врывается: «ЛИВОНЦЫ ИДУТ!»

Все забыто.

Все с мест повскакали.

Загорелись глаза Ивана. Сквозь зубы с дикой радостью произнес: «Попался, князь Андрей Михайлович!»

Малюта досказал:

«Попался Курбский..»

Громко крикнул Иван: «В ПОХОД!»

Сброшены черные рясы. Загорелись золотом кафтаны. Засверкали выхваченные клинки.

«НА ЛИВонию!» — кричат.

И Малюта кричит: «К МОРЮ БАЛТИЙСКОМУ!»

Дорога к границе.

И вот уже, сверкая, мчится русская конница к границе.

Вместе с конницей мчится песня:

«Океан-море,
Море синее,
Море синее —
Море славное..»

Сияют стяги царские. На них — золотое солнце горит.

Скачут опричники, и золотом горят их кафтаны.

«Подымается
Рать Московская —
Грозной тучей,
На моря идет:
Отбивать воевать
Наши вотчины..»

Резко бьют малые барабаны-тулумбасы, подвешенные к седлу каждого всадника. И дробь эта гонит вперед боевых их коней..

«Океаны-моря
Доставят копьём,
Кораблями пройти
Во все стороны..»

Скачет царь Иван.

Скачет Малюта, ведя за собой полки. И плотно на них сидят тегеляи: и кажется, что отлиты они из свинца.

«Океан—море,
Море синее,
Море синее,
Море русское!»

ШАТЕР КУРБСКОГО.

Шатер внутри.

Ночь. Большая роскошь. Горят канделябры. Много серебряной посуды.

И еще больше беспорядку: вперемежку—ядра, бочки пороху, богатое оружие и роскошные латы.

На низком столе разбросаны карты военные. И по ним, как бы влетающая в мудрую игру стратегии—безумие игры азартной разбросаны карты игральные и игральные кости — и более уместны они для безумия и этого похода на Москву...

К Курбскому вбегает немец-посол, бывший на приеме у Елисаветы Английской. И безумие похода на Москву становится очевидностью.

«Московит поймал нас в ловушку, рыжая Бэсс на его стороне!»

Курбский в ярости: «Обманула рыжая ведьма!»

«Отступать немедленно!» — кричит Курбский.

«Наступать!» — кричит немец.
«Молнией лететь на Москву, дорога свободна, заставы подкуплены!»

«Благодарение Всевышнему!» Патетически преклоняет Курбский колено.

Воздевая руки, восклицает: «Родина любимая! Прими в объятия любящего сына!»

Полчища врагов на отечество посылают.

«НА МОСКВУ!» — предатель кричит.

Шатер.

Трубачи к губам фанфары подносят. Заиграть не успевают: в тишине внезапно гулкий выстрел раздается — пушечный...

А за ним—второй. Третий.

Курбский растерян.
Трубачи опустили трубы.
Гулкая стрельба вдали.

Вбегает гонец: «Застава на Гнилом Болоте встретила огнем!»

«Ажешь!»—в ярости кричит Курбский.
Влетает второй гонец: «Застава на Кривом Ручье—огнем встретила!»

Еще яростнее кричит Курбский: «Ложь!».

Падая, вбегает третий гонец: «У Сучьево Замостья—несметное количество русских войск!»

Немец бросился вон из шатра.

Задыхаясь от ярости, слов не находя, с пеною у рта, Курбский на упавшего гонца бросается. Поднимает его, в бешенстве трясет.

Пригрок.

С пригорка в лагерь стреляют русские мушкеры—зажигательными снарядами.

Братья Фома и Ерема Чоховы—за старших командуют.

Благообразные—в бородах, в воеводских одеяниях.

Узнаем среди новых и старые пушки: «Соловья», «Льва», «Молодца».

Благообразные, в бородах, братья Чоховы: Фома и Ерема.

Да попрежнему молодым озорством—былым, казанским,—глаза горят.

Все-одно по быломu шуткой перекидываются:

Фома: «Мы с тобою старики...»

Ерема: «Зато пушками крепки!»

Фома: «Соловья» Фома наводит...»

Ерема: «А Ерема—«Молодца»!

Смеются пушкари.

Залпом грохочут пушки.

Шатер.

Курбский в ярости отшвыривает гонца. Гонец падает в грудy серебряной посуды. Внезапно ядром сносит верх шатра.

Виден горящий лагерь. Курбский только-только поспекает спастись из шатра.

В шатер влетает зажигательный снаряд. Влетает на полном скаку Малюта. Рядом с ним Петр Вольнец. Пусто в шатре... Один снаряд шипит.

Конь Малюты бьет широким копытом по картам: по военным и по игральным. И видно по тем и другим, что игра проиграна.

Пусто в шатре: одни латы роскошные в углу блещат.

Поднял концом шестопера забрало Вольнец: пусто внутри. (Как при князе): «Удрал!» Отнял шестопера...

Зашатались золоченые латы. Рухнули. Со звоном пустого ведра к ногам Малюты покатались...

«Не вошь, Вольнец!» Вздрыбил Малюта коня. «Догнать!»

Вспыхнул шатер.

Черным столбом дыма в небо взвился. Умчался Малюта. Еле поспекает за Малютой Вольнец.

Дорога на Вольмар.

На фоне зарева мчится с конницей царь Иван. Волосы развеваются по ветру. Ноздри раздуты. Глаза горят:

«И будем, подобно предку нашему великому государю Александру Невскому, нещадно гнать немцев с нашей земли!»

Царь кажется помолодевшим на двадцать лет.

На фоне зарева мчится с конницей царь Иван.

ЗАМОК ВОЛЬМАР.

Вольмар.

Ночь. Темно. Стрельба. Пробегают слуги с огнями.

Кричат: «Русс идет!»

Через постель широкую скачут: шкуру спасают.

На постели Курбский просыпается. В ужасе вскакивает. Полураздетый убегает.

Дорога на Вольмар.

Мчится русская конница.

Вольмар.

Входит Иван. Рядом с ним — Петр Во-лынец, Малюта.

Радостно восклицает Иван: «Не дождаются города германские бранного боя, но сами преклоняют гордые головы свои!»

Еще восторженнее кричит Иван писцу конец текста второй эпистолии Курбско-му:

«... И где думал, Курбский, успокоиться от трудов своих в Вольмаре! И туда Бог нас на твою голову принес! И отсюда тебя с Божьей помощью согнали!»

В комнату врываются крестьяне-латыши, ведут за собою отбивающегося, помятого немца-опричника — Генриха Штадена.

Бросаются на колени перед Иваном. Иван спрашивает: «Что такое?»

Крестьяне говорят: «Имущество наше грабил, селения жег!»

Штаден хочет оправдаться.

В ярости на него наступает Иван: «Не завоёвателями пришли, но в исконные свои земли!» — обратился к крестьянам: «Кто такие?»

— «Оброчники Ливонского ордена», — отвечают. К царю руки мозолистые протягивают.

И велит Иван: «Зерна выдать! Пусть запашут нашу — отныне и до века — русскую землю!»

Крестьяне бросились к Ивану, окружили его.

Для Штадена — это уже слишком.

Разразившись проклятием, он выскакивает в окно. Крестьяне устремились за ним.

Звон цепов в воздухе стоит...

И диктует Иван дьяку-писарю, конец письма Курбскому:

«Писан в нашей отчине Лифляндские земли во граде Вольмаре, лета 7086(1577)».

Дорога на Вессенштейн.

Двигаются пушки. Впереди — Фома и Ерема.

Скачет Малюта.

Скачет русская конница.

Осада замка.

Вкатываются пушки на пригорок. Ставят пушки: «Волка», «Льва», «Василиска».

Перекликаются Фома и Ерема. Благообразные, бородатые, в воеводские наряды одетые.

Фома: «Как Фома наводит «Льва»!

Ерема: «А Ерема... «Василиска»!

«Бум!» — грохнул «Василиска» во все дуло: Ерему из затруднения вывел.

ЗАМОК ВЕССЕНШТЕЙН НА РАССВЕТЕ.

Зал.

Большой готический зал. Вдали грохочут пушки. Приближается канонада.

Судорожно вздрагивает громадная люстра. Она из оленьих рогов. С золоченой Мадонной посредине.

За столом — фохт Вессенштейна — Каспар фон-Ольденбок. (Когда-то давно он ездил с посольством к Ивану, и зритель помнит его по прологу фильма).

Сейчас постаревший фохт смертельно бледен.

Кругом него рыцари. Капеллан. Военные. Встревоженные дамы.

В стороне — князь Курбский.

Говорит фон-Ольденбок: «Драться с этим варваром невозможно... Он ведет и русские и татарские полчища.

Наши же рабы — эсты, латы, литы — воюют на его стороне.

В Вольмаре выдал им рабочий скот. В Вендене зерно роздал.

От края и до края ждут московского варвара. И признают его законным царем...»

Понизив голос, добавил: «Наш же гарнизон ночью перешел на сторону русских!»

«Смерть перебежчикам!» — пронзительно Курбский кричит...

Общее движение. Все повскакали со своих мест.

Бледнее Ольденбока, Курбский кричит: «Бежать, бежать! Сильнее русской рати на свете нет!»

Язвительно говорит холодный голос: «Князю-перебежчику это хорошо известно... по славной битве под Невелем!»

И мы видим за столом еще и толстого немца, неудачника — посла к Елизавете...

Курбский в бешенстве вскочил. Хочет броситься на обидчика...

Оглушительный грохот близкой канонады. Голос пушки Курбский узнает: «Это — «Соловей»!

Второй грохот. Курбский: «Лев!» «Волк!» «Певец!» «Молодец!» — любимые пушки Ивана!»

В полном ужасе кричит: «Значит — и сам Грозный близко!»

Грохот выстрела: «Василиска»!..

И неизвестно: к пушке ли, к царю ли — обращен этот возглас, полный ужаса...

Общее замешательство. Кто-то падает на колени.

С колен призывают Христа и Мадонну молящиеся дамы.

Истерически кричит Курбский: «Бежать, пока не поздно!»

Говорит фон-Ольденбок: «Честь не позволяет нам спастись бегством...» Пояснил германскому послу: «Наши же вчерашние рабы нас перевешают...»

Фохт подходит к маленькой потайной двери. Открывает ее. «У него нет чести — может бежать»...

Пауза.

Все смотрят на Курбского. Гулко слышна канонада...

Курбский срывается с места. Устремляется в проход. Слышен звон удаляющихся шпор...

— «А мы...»

Фохту подносят золотую цепь. Надевают на него. В цепи весу — двадцать один фунт.

«Мы...»

Фохт подал знак на хоры.

Оглушительно вступил оркестр. Нарастающую канонаду заглушить старается.

Потайной выход.

Из маленькой калитки выскакивает Курбский. Слуга держит коня. Курбский: «Один конь? А для тебя?»

Слуга: «Господин фохт знал, что понадобится только один конь...»

Курбский ударяет слугу хлыстом. Ускакивает через кустарник.

Слуга заходит обратно в калитку. Нажимает рычаг. Камни заваливают выход.

Зал.

Обезумевшие от сознания безысходности — рыцари и военачальники устремились к дамам.

Льется пиво. Кружатся в плясе. Звук канонады и удары тарана.

Играет оркестр. Сотрясается зал.

Остановились. Вслушались. На паузе: гулко бьют тараны.

Осада.

Бьют тараны.

Бьют пушки.

Зал.

Истерически кружатся в плясе.

Осада.

Бьют пушки.

Бьют тараны.

Зал.

С немцем — шутком, послом дипломатом — к другой двери потайной Ольденбок подходит.

Говорит: «А мы... молиться Всевышнему пойдём...»

С немцем дипломатом лестницею каменной в подземелье спускаются.

Подземелье.

В подземную часовню входят.

Гулко бьют вдали тараны. Глухо в зале высокой танцуют.

Осада.

Таранят.

Зал.

Танцуют.

Осада.

Таранят.

Зал.

Танцуют.

Осада.

Трубят трубы русские — к приступу зовут.

Иван троих полководцев войска вести посылает.

Малюта в гневе ногти грызет. Завидует. Трубят трубы. Команду русский подал...

Подземелье.

Глухо слышно в подземелье: с грохотом дальним русские на приступ помчались...

Ольденбок факел к фитилю подносит.

Осада.

Мчится приступ.

Зал.

Пляшут.

Танцуют.

Осада.

Взрыв!

Стена повалилась.

Зал.

Пляс остановился.

Подземелье.

Рад фон-Ольденбок. Шут дрожит.

Зал.

Пуще прежнего пляс пошел.

Осада.

Трубы взвыли.

Подземелье.

Топот слышится.

Зал.

Пляс идет.

Осада.

Тараны таранят.

Двое русских, знакомых нам по осаде Казани, мерно работают таранами.

Слышен стук пляса и музыка.

Один говорит другому: «Ох, и задал бы нам жару царь Иван, кабы так замки защищали!»

Подземелье.

Топот слышится.

Ольденбок факел ко второму фитилю подносит.

Осада.

Войска на приступ лезут.

Зал.

Пляс идет.

Осада.

Тараны бьют.

Подземелье.

Ольденбок напряженно слушает.

Осада.

Взрыв!

Зал.

Зал рушится.
Войска отпрянули. Войска вспять бегут.

Подземелье.

Рад фон-Ольденбок. На колени перед алтарем бросается.

Осада.

Войска вспять бегут.

До Ивана добегают. В бешенстве Иван: «Вперед!» — орет, в ярости у Петра Воынца царский стяг хватывает. В войска сам устремляется.

На пути его Малюта вырастает. Каменной стеной перед Иваном высятся. Ивана не пускает: «Тебе державу строить. Не на порох лезть!»

На колени падает:

«Я пойду. Двадцать лет чести жду. Стяг мне дай!»

Глядит Иван:

войско стадом сгрудилось — взрывов боится.

Решать надобно...

Стяг Малюте отдает:

«Один ты у меня... Последний! Единственный».

В лоб целует. Лоб Малюте крестит. На стену посылает.

Царским обътием окрыленный, заревел Малюта.

Трубы рев тот подхватили. Царский стяг взвился. Войска на приступ ринулись.

Подземелье.

Ольденбок вскочил. Ушам не верит: «Снова войско русское на приступ кидается?»

Сбросил покрывало с алтаря: из бочек пороха алтарь сложен. Черной змеей фитиль по полу вьется.

Осада.

Подбегает к стенам Малюта. Со щита на щит карабкается. Не карабкается — взлетает. Воынец за Малютою не поспевает.

Трубы трубят. Войска на приступ летят.

Подземелье.

Ольденбок последний — третий — фитиль зажег... Фитиль занялся.

Осада.

Малюта со щита на щит летит. Войско за собою ведет.

Подземелье.

В подземелье вдруг — вопль отчаяния. Немец смерть сообразил, к Ольденбоку в страхе смертельном бросился, к фити-

лю гнется — фитиль затушить хочет. Держит Ольденбок немца рукою железною. К фитилю потянуться не дает. Огонь по фитилю бежит.

Осада.

Поднимается на стену Малюта.

Иван в упоении за любимцем следит. Воынец за Малютою не поспевает. Торопится. Спотыкается. От Малюты отстает. Падает.

Подземелье.

С воплем немец вырвался. Ольденбока отшвырнул. Зубами в фитиль вцепился. Фитиль вырвал... С фитилем по полу катается. Тушею своею фитиль тушит.

Осада.

На стену Малюта взлетел, крикнул: «Князь Андрей Михайлович, слышишь!»

Болото.

Где-то по болотам Курбский скачет. Выстрел. С лошади слетел. По болоту зайцем побежал.

Осада.

Стяг Малюта высоко поднял.

Подземелье.

Ольденбок факел взял. Размахнулся факелом.

Немец увидал, с криком на Ольденбока бросается.

Осада.

Стяг Малюта торжествующе в стену водружает.

Подземелье.

Немец Ольденбока душит. Через немца Ольденбок факел в бочки с порохом бросает.

Осада.

Третий взрыв — последний — раздается. Башня вверх взлетает. Камнями, балками на Малюту рушится. Царский стяг нерушимо золотом в пыли кипит.

В исступлении Иван командует. С войсками к Малюте торопится.

Силою нечеловеческою свод собою Малюта удерживает. Свободной рукою стяг протягивает. Смену кличет.

Царь с войском торопится.

Грузно на Малюту стена ползет.

Держит стену Малюта одной рукой. Другую стяг протягивает. Стоном глубоким к смене взывает.

Войска на приступ летят. По обломкам башни Петр Воынец к Малюте взлетает.

Ползет стена... Оседает. Держит стену Малюта рукою. Ногами-коленями упирается. Стяг Воынцу передает.

Петр стяг хватает, Малюте помочь хочет.

Орет на Волынца Малюта: «Не волынь, Волынец!»

Ползет стена...

«И себя, и стяг погубишь!» Через силу добавил: «Вверх лети: стяг в самое небо воткни!»

С грохотом стена ползет. На Малюту съезжает.

Хрустят кости малютины. Жилы на шее бычьей вздуваются. Глаза из глазниц вылезают. Из-под ногтей — кровь бежит.

Исступленно ревет: «Уходи! Собачий чорт!!!» Захрипел: «Люби Ивана — бережь его некому!»

Слезы брызнули из глаз Воынца. Стягом взметнул.

Взлетел на обломки башни: стяг в небе звездой зажег.

Глянул Малюта и, как был, со стеною и балками, вниз рухнул.

Водрузил Волынец стяг.

Докатился вниз Малюта...

Подлетел к Малюте Иван. Над Малютою склоняется. Кругом приступ бушует.

Глянул Малюта и, как был, со стеною замка вьется, вторым солнцем в небе горит.

Шепчет Малюта: «Одного жаль... Моря не увижу...»

Вырос в рост Иван: «Увидишь!»

Подымает на носилки Малюту.

Преследование.

Горят леса. Двигутся русские. Бегут ливонцы.

Трясина.

Очертя голову, бежит по болотам Курбский... Провалился в топь...

Холм.

На холме Иван и Малюта. «Чуешь?» У обоих раздуты ноздри. «Соленым несет!»

Преследование.

И снова скач. Русские рубят ливонцев. Бегут рыцари.

Холм.

И снова холм. На холме Иван и Малюта. «Слышишь?» И сквозь музыку боя слышны дальние мерные удары волн. «Слышу...»

Преследование.

К ногам Ивана падают стяги... Грохочут пушки. Около пушек Фома.

Москва—Кратово 1941 г.
Алма-Ата—Каскелен 1943 г.

Скачет конница, впереди Еремей.

И сквозь хаос топота, стрельбы и труб мерно слышны удары волн и рев уже недалекого моря...

Дюны.

И вот Иван и Малюта уже на дюнах.

Малюта обессилен. Кругом все как бы притихло. Глаза Малюты закрыты.

И тихо шепчет ему Иван: «Видишь?»

Море.

Вдали узкая полоска Балтийского моря. По морю бегают беляки.

Дюны.

Приподнялся Малюта. Широко раскрыл глаза. Зычно прокричал: «Вижу!»

И умер.

Море.

И взревели валы в ответ Малюте. Вдываются и рушатся вновь. И ревут трубы.

И замороженный сходит к волнам царь Иван. И смиряется море.

И медленно к ногам его склоняются валы. И лижут волны ноги Самодержца Всероссийского.

«И отныне и до века да будут покорны державе Российской моря...»

Море.

Повернулся царь к войскам.

Глядит на него Петр.

Глядит Фома.

Глядит Ерема.

Глядят на него старые.

Глядят на него юные.

Глядит на него воинство русское.

И в ответ на царские слова взревели войска.

Взыграли трубы.

Зашумело море. Взвились валы.

**«НА МОРЯХ СТОИМ —
И СТОЯТЬ БУДЕМ!»**

Несется с экрана

Окончание фильма:

«Океан—море!

Море—синее,

Море—синее,

Море—русское!»

ПУШКИН НА ЮГЕ

Роман*

ИВАН НОВИКОВ



— Но почему же вы не хотели, чтобы Россия вступила в войну на стороне, которой вы сами сочувствуете? — воскликнула Пушкин с горячностью. — Это мой «государственный ум» отказывается понимать.

— А между тем вы это поймете очень легко и, несомненно, поняли бы и сами, когда бы имели время размыслить, ибо предположительные мысли уже были выражены. Вредно все то, хотя бы оно само по себе было и хорошо, что мешает главному делу всей жизни. Правительство наше теперь созревает к тому, чтобы упасть. Популярная война его укрепила бы, новый подъем народного чувства поглотил бы множество его грехов, и все, что можно сейчас... противопоставить, — все это было бы смято и смыто, и доведено до небытия. А Александр.. а император был бы опять на пьедестале, с которого именно пора уже его свергнуть!

Вот оно что! Да, теперь это было ясно. И это было не «вообще», а очень предметно и точно. Пушкин с минуту глядел на Пестеля. В глазах полковника был режущий блеск. И сам он, казалось, из глыбы кристаллов высечен был острым резцом.

— Но почему же, — спросил Александр, стремясь уяснить все окончательно, — почему же вы были, сколько я знаю, и против Владимиреско? Вот Владимир Федосеевич..

— Знаю. Тут мы с ним разошлись. Множество не есть еще сила, сила в организации. Бунт не есть революция. Точный расчет говорит: надо найти точку приложения силы, тогда отпадет стихийность. Такие дела требуют точности, краткости.

— Это дворцовый переворот, но не революция, — сказал Пушкин.

— Назовите хоть так. Важно, кто ста-

нет у власти и будет осуществлять новый порядок.

«Пусть так, — подумал Пушкин. — Но тогда это все же не революция. Где же тогда сам-то народ? Может быть, из нас троих более всех был прав именно Владимир Раевский, и настоящая сила — только в народе».

Но, как редко с кем в разговоре, Пушкин в этой беседе не раз себя останавливал. Основное теперь и без того представлялось ему значительно более ясным. Не надо дробить! Александр был несколько утомлен разговором. И причина тому никак не бессонная ночь: бессонную ночь он умел прокинуть, как карту. Дело было в другом — в его собеседнике. Но молодость в этом ни за что не признается. «Так, — думал он, — Пестель со мною теперь, и я еще с ним живу».

Да и Павел Иванович встал. Какая-то новая, легкая тень легла на его высокий лоб.

— В Кишиневе теперь без Раевского пусто, — сказал он совсем неожиданно. — По тому, как Раевский держится перед Сабаневым, видно, каков человек Владимир Раевский.

Это сказано было с таким непередаваемым чувством, где уважение и любовь составляли единое.

С крепким рукопожатием собеседники растались, и через минуту, стоя у окна, Пушкин слушал те же ровные и четкие шаги — шаги полковника Пестеля.



Из Тульчина Пушкин уехал с впечатлением, очень своеобразным. Эта ровная и размеренная, но и приподнятая внутренне жизнь, по мере того, как он удалялся, все яснее звучала своей особою музыкой, как если бы исполняли ее на органе. Но музыка самого Пушкина не укладывалась в несколько строгое это звучание. Она была сложнее и беспокойнее. Этот его побег из Кишинева многое

* Окончание. Начало см. «Новый мир», № 7—8, 9, 1943 г.

ему дал. Множество новых впечатлений омывали его, как воды большой реки. Он был и на людях, и ничто не мешало ему быть с собою самим. Не отрывать от жизни и физически ощущать собственный свой внутренний рост — какое это блаженство!

Он ехал в эту поездку тем самым путем, каким некогда шли дружины Олега и Святослава. Он здесь вспомнил написанную им полгода назад «Песнь о вещем Олеге». Степи далеко раскинуты, спокойные, ровные, как сама вечность. И травы были все те же, те ж облака, и поступь коня, и мреющий воздух, и синева на горизонте. Он прочел эти стихи про себя от начала и до конца. Было странно: эта песнь об Олеге была столько же его, как и песню этих беспредельных русских пространств. Она не противоречила им, она широко и спокойно здесь пребывала — своя. Он остался доволен этим своим ощущением. Какая-то правда была: верность земле, народу, истории.

И впечатление это было гораздо шире и обмычивее. Не одна эта песня, не счастливое какое-то единичное соответствие, найденное поэтом, нет! Было совершенно чудесно, как если бы степной русский вечер без слов говорил: вопросы, сомнения, поиски — все хорошо; ошибки — лучше б поменьше ошибок; труд, рост непрерывный, ответственность — о, непременно! А тогда — да, тогда уже весь человек неотрывен земле, народу, истории. (Таков несовершенный перевод с этого языка, ведомого всякому, кто не зарос с головы и до пят, хотя бы и самыми кудрявыми мыслями, но лишь о себе и благополучии собственном.)

Пушкин ехал теперь — простой. Кто-то вернул его самому себе. Многие ключи со свежей силой били в нем и звенели, всему было место и ничто ничему не мешало. Но когда тенистая Каменка показалась невдалеке, сердце его запрядало более сильно и неукротимо, чем та простенькая деревенская повозка, которая умела подскакивать также на славу. Он и одет был очень небрежно, и на голове не было шляпы, ветер вихрил его волосы, сам он приподымался в повозке и вновь опускался, — немудрено, что дворовая девочка бросилась от него в дом с пронзительным криком:

— Батюшки! К нам привезли сумасшедшего!

Тут Пушкин не выдержал и захохотал, замахав вслед ей руками, как крыльями. Это было внешнее, произвольное-дикое выражение сильнейшего волнения нежности и тревоги.

...Теперь, шагая к Ивану Никитичу с повинной головушкой, вспоминая сие, он улыбался. Дом в Каменке был полупуст. И коренные хозяева оказались не дома.

Ну что же: на два часа, так на два часа! Он обошел все памятные места в парке, поглядел на спокойные воды Тясмина, посидел на его берегу, съел, вернувшись, с большим аппетитом деревенских щей, выпил немного вина и на отдохнувших конях направился в свой Кишинев.

Он не переживал этого своего напрасного заезда в именье Давыдовых, как какого-либо несчастья. Так крепость и простота, какой его напоили украинские степи, доселе его не покидали, и к Инзову шел, как если бы просто, соскучившись, давно не видав, шел повидать. А и сам Иван Никитич встретил его не менее просто.

— Что же палку с собой не захватил? Нечем побить!

— Разве так, Иван Никитич, встречают блудного сына?

— Еще не хорошо? Да вы что же и впрямь, Александр Сергеевич, обиделись за караул?

— Немножко обиделся. Но ушел я не потому.

— По воле соскучился? Говорят, ты с цыганами там кочевал? А я объявил, что одного отослал в Новоселицу, а другого, то-есть тебя, в Измаил, Караул? Да ты знаешь, Рутковский — что за человек? Я сам его выписал. А он не человек, а истинная язва, он такого нагородил бы! И поверь, не себя оберегал.

Инзов увел Пушкина к себе в кабинет. Там они, старый и малый, проговорили часов около трех.

— Так говори, что был в Измаиле. А нет, лучше — с цыганами. Да нет, самое лучшее — ничего вовсе не говори. Ты знаешь, твой этот дурак.. он оказался не глуп.

— Какой мой дурак?

— А Никита Козлов. Я его спрашиваю то, и спрашиваю другое, а он знает одно: «Не могу знать!» Это ты его так научил? Да когда я бы был молод, я бы и к себе в услужение взял!

Пушкин смеялся. И Инзов явно соскучился без своего подопечного, и Пушкину с ним опять хорошо.

Совсем при расставании Инзов сказал:

— Только ты мне обещаешь? — больше ни-ни и никогда! То-то. Ты пишешь по-русски, и тебе это знать не мешает, как старики говорят. «Горюшко мне с тобой, — они говорят, — горюшко мне с тобой, радость ты моя!»

Инзов этого от стариков никогда не слышал, он только прикрыл «стариками» эти слова, в нем сейчас зародившиеся. Он обнял Пушкина и отпустил.

ТРУДЫ И ДНИ

Так и остался этот рейс Пушкина утаенным. Он последовал совету Ивана

Никитича, но только всем советам сразу: кому говорил про Измаил, кому про цыган, кому «Не могу знать!» Дни вошли в свою колею, и время опять переменялось. Когда происходят события, время летит, а как вспомнишь потом, есть что вспомнить, и в воспоминаниях — времени кажется много. В однообразии же совершенно напротив: каждый день бесконечен, и время ползет, а как месяц пройдет, вспомнишь — как не было месяца: и не прошел, — пролетел! Так и для Пушкина: дни стали тянуться, но, вместо событий, их ускоряла — работа.

Теперь Кишинев жил сравнительно тихо. Возвращению Орлова перестали верить уже и оптимисты. Пушкин вместе с Липранди помогал укладывать его библиотеку, которую переправляли в Киев. Охотников не возвращался. Он угасал от чахотки. Вельман уехал. Сам Липранди вскоре подал в отставку и тщетно искал себе места, очень нуждаясь, но не теряя своей загадочной осанки. Инзов ездил на охоту, а по вечерам собирал в бумажные самодельные конвертики семена от цветов, сортируя и провевая их на ладони. Осень, и Пушкин все чаще уходит в работу. К осени и у него созревали свои семена: и их собирать, сортировать, провевать.

Так он разгружал казенную почту, посылая «с okazji» то «Гавриладиу», то «Братьев разбойников». Только этот отрывок он и сохранил, остальные же сжег, как неудавшиеся. Да, впрочем, и хранить их было б, пожалуй, неосторожно.. «Кавказский пленник» уже был отпечатан и прибыл в Кишинев вместе с «Шильонским узником» в переводе Жуковского. «Приехали пленники», — писал Пушкин своему издателю Гнедичу, но как-то не радовался уже так по-детски, как это было, когда получил «Руслана и Людмилу». Как время бежит, и как сердце мужае! Тогда его тронуло до глубины все решительно: и винетка, и переплет, и даже самый формат письма Гнедича, который точно был соразмерен с форматом поэмы. Легкая тень разочарования порою теперь ложилась на душу..

Он воли, однако же, ей не давал в своем «Бахчисарайском фонтане», который теперь зашумел: Раевские давно уже о нем спрашивали, но Пушкин умел ждать своего времени. Начало — великая вещь, надобно точно уметь его угадать. И работа тогда идет, сама себя подгоняя. С «разбойниками» что-то не вышло отчасти поэтому, они затянулись, перебивались, и в результате остался и уцелел для самостоятельной жизни только фрагмент.

Ясный ум Пушкина был занят в ту осень и новыми поисками. Он уже пробовав прозу, записав еще ранее два молдавских предания, слышанных им от гетеристов. Проза ему трудно давалась.

Даже письма свои он нередко переписывал по нескольку раз. И это не было для него простым расширением писательских своих возможностей, это было порождено прежде всего властной потребностью выражать свои мысли, и это было заботой о русском языке, страстно любимом, но еще не нашедшем в себе точных форм для выражения всего богатства внутренней жизни человека.

Он не повторял теперь: «век наш не век поэтов», но он отдавал должное и стихам, и прозе. Литература — он теперь в том утвердился — это и есть его жизненный путь. И тогда уже он понимал, что слова поэта есть дела поэта.

Он писал для себя и заметки о том, какова должна быть русская проза, и живо отзывался на тот же вопрос в письме к Вяземскому. «Ты меня слышишь огорчил предположением, что твоя живая поэзия приказала долго жить. Если правда — жила довольно для славы, мало для отчизны. К счастью несомненно тебе верю, но понимаю тебя. Лета клонят к прозе и если ты к ней привыкнешься не на шутку, то нельзя не поздравить Европейскую Россию». — «Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластно, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, — а там, что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России, тогда надеюсь с тобою более сблизиться»..

И все же, когда холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца запросились однажды под перо, они вылились в письме к брату — по-французски. Впрочем, это было столько же письмом, как и набросок нового характера, стоявшего и над пленником, и над разбойниками, и просившего для себя большого места, — в предчувствии уже возникшего образа Онегина.

Так за «Бахчисарайским фонтаном», где в музыке строк прежде всего было слышно биение собственного сердца, в очередь встали «Цыганы», «Онегин»; там все также свое, но там поэт не только распрощается с Байроном, но станет и над собою самим.

Дни напряженного труда сменялись, однако ж, и днями безделья.

Время почти останавливалось. — «Который час?» — «Вечность!»

Князь Долгорукий уезжал в Петербург. Он ехал в отпуск, но не намерен был больше возвращаться. Инзов его не очень долюбивал и удерживать не стал. Он только сказал на прощанье:

— Все лучшего ищите, князь, но ведь вы и туда себя ж повезете!

Долгорукий жестоко обиделся бы на эту точную правду, да не расслышал.

— Что вы изволите говорить, ваше превосходительство?

— А то говорю, — сказала Инзов по-

громче, — что сам я за тридцать три года службы отпуск брал всего один раз. — И как то было правдой про князя, так это было тоже истинной правдой о себе: Извоза не было надобности никуда от себя уезжать.

Александр отослал с князем письмо к отцу, и до такой степени начисто забыл о его отъезде, что через несколько дней писал Левушке, будто письмо это отправил по почте и только потом спохватился — «виноват: с Долгоруким»...



Редко когда в Кишиневе так было похоже на русскую зиму, как в наступившие святки. Снег выпал щедрый, густой. Все веселились, катаясь на санках. Полость заиндевела, полозья скрипят, мелкая снежная пыль взвивается из-под копыт и опускает ресницы; мороз холодит, кровь горячит: «Кучер живей!» У Крупенского карты, танцы у Варфоломея; подлинный, коренной Кишинев!

Егор Кириллович Варфоломей, откупщик и крупный чиновник, богат и гостеприимный хозяин, бадами своими славился на весь город. У него было шумно и весело. Самый дом его был небольшой, но он пристроил к нему огромную танцевальную залу, разрисовав ее под трактир. Пушкин живо помнил первые свои впечатления от боярских молдавских палат. Вельтман однажды, еле пробившись через пеструю толпу арнаутов в передней — в не менее пестрое сонмище гостей и хозяев, прислуги и музыкантов, весело продекламировал:

— Вы помните... как это у Державина? —

Повисли в воздухе мартышки,
И свет стал — полосатый шут!

Вельтман любил такие вольные композиции из отдельных строчек, тут это было кстати. Теперь Вельтмана нет, но «мартышки» все на лицо. Однако не только экзотика всех сюда привлекала, был и другой сильный магнит.

Пушкин входит и издали видит уже Пульхерицу Варфоломей. Она всегда перед ним пронесется в облаке — то розовом, то голубом, то сиреневом. Она не многоречива, и говорит более улыбка, нежели словами. У нее очаровательный очерк губ, в уголках рта как бы, по запятой, хвостиком вверх. Это было необычайно своеобразно и мило. Пушкин любил ее немного смущать. Она в ответ улыбалась, из воздушного платья выделялась ее маленькая ручка в перчатке, в ней веер, и движением веера она как бы говорила: «Ну что вы! Какие вы право!» Это было очаровательно.

Впрочем, изредка те же точно слова она произносит и вслух, и это.. тоже очаровательно.

Не было, кажется, ни одного человека из молодежи, кто бы ею не увлекался, но она была со всеми равна: мила со

всеми одинаково и как будто равно ко всем равнодушна. Отец с отчаянием взирал со своих высоких подушек, тщетно стараясь отгадать, кого же судьба пошлет, наконец, ему в зятя. Но судьба Пульхерицы словно уснула возле нее.

У самого Варфоломея были не только одни понятные отцовские чувства. Он торопился закрепить за дочерью свое состояние, отделить ее от себя. Он предвидел возможный крах своих дел по откупам и стремился себя обезопасить. Ему нужен был зять — русский и с сильной рукой. Он ловил Горчакова, Вельтман казался ему необходимым, о Пушкине он недоумевал: ссыльный как будто, а принят везде, и будто бы сам государь его опекает... Так при случае мог бы напомнить, как его величество сами изволили, при проезде через Кишинев, с Пульхерицей польский протанцовать... Но как судьбу угадать? — как судьбу разбудить?

Пушкин танцует мазурку со страстью. Пульхерица едва успевает одну улыбку сменить другою улыбкой, еще более милой. Веер вместе с приподнятым платьем в правой руке. Приходится ротиком между улыбок самому говорить:

— Ну, что вы! Какие вы право!

Мазурка кончается. Девушка делает легкое движение благодарности. Она убеждает, зарозовевшая: поудрить лицо, отдышаться.

— Пофтым! Пофтым!. Милости просим!

Варфоломей весь изгибается, манит к себе Александра.

— Вы Александр и государь есть Александр. Вы одинаковы есть. В танцах особенно.

Самое трудное дело для Егора Кирилловича вести беседу по-русски, и он говорит «винегретом», как называл это Вельтман: русский, французский, молдавский. Однако же, можно понять, что он, Варфоломей, есть очень несчастный боярин, потому что несчастный боярин есть тот, у которого нет русского зятя с сильной рукой. С Пушкиным он уже не стеснялся и откровенно советовался.

— Я говорил мусье Горчакову, что он может, это есть правда, положиться на мое уважение и благодарность, то-есть, любовь. А он мне..

Пушкин махнул рукой Горчакову. Тот подбежал.

— А ты как ответил?

Горчаков уже знает, в чем дело: история эта рассказывалась не однажды!

— А я отвечал: «Я очень ценю вашу привязанность, но не с вами мне жить!» — И, смеясь, убежал.

— У него оччень хорошая память, — грустно отозвался Варфоломей, — но ведь истинно мне нужен зять..

— Русский и с сильной рукой? — перебивая его, спросил Пушкин. — Вы упустили такого.

— А кто именно есть?

— Не есть, Егор Кириллович, а именно что был. Был и уехал.

— А может не вовсе уехал? Я очень ценю вашу привязанность, но кто же такой?

— Князь Долгорукий. Он был без памяти от вашей дочери...

Варфоломей слушал с разинутым ртом. А Пушкин, подумав, серьезно и даже немного печально добавил:

— Как, впрочем, и все мы: кто больше, кто меньше.

Про Долгорукова он говорил сущую правду. Князь был застенчив и скромнен, мечтателен. Он создан был для семейного уюта. Он почти нигде не бывал, и лишь в городском саду любовался этим воздушным видением, всегда окруженным сонмом подруг, но никогда не осмеливался к ней подойти. Чувство его к Пульхерице никак не развивалось, не углублялось, но и не теряло ничего, не возбуждая ни сильных желаний, ни сколько-нибудь осязательного страдания. Девушка воспринималась им более всего через зрение, как чудесный рисунок, чуть лишь тронутый красками подлинной жизни.

— Вы меня, то есть, не очень расслушиваете? А как, между тем, этот князь?

— Вот именно князь, и беден, и холост. Что князь — хорошо, что беден и холост — нехорошо. А когда бы стал вашим зятем, перестал бы быть беден, и перестал бы быть холост. И вам хорошо, и ему.

— Но почему же раньше вы мне не сказали?

Варфоломей хлопнул в ладоши. Молодой арнаут, как на театре, выбежал из-за занавеса. Он был спорен, красив — в лиловой бархатной одежде, в кованой из серебра позолоченной броне; на голове из богатой турецкой шали чалма, другая такая же шаль вместо пояса, за нею воткнут ятаган.

Хозяин ему подал знак, и он тотчас удалился, склонив тяжелую голову и почтительным движением руки давая понять, что приказание принято. Тем временем Варфоломей продолжает угощать своим «виноградом». Но Пушкин не слушает и мечтательно следит за Пульхерицей, танцующей с Горчаковым. И Горчаков, розовый, кругленький, крутится, как пастушок вокруг пастушки. Остановить — и можно поставить их между других статуэток, каких на камине не мало.

Вельтман не раз утверждал, что Пульхерица не существо, а вещество, что он ни разу не видел, как она ела, что это изумительный кукольный механизм. Но Вельтман причудлив, он, как и все, не имел, конечно, успеха и, вместо того, чтобы обидеться или грустить, выдумал сказку. Но жизнь интереснее сказки. В природе бывает — подснежник? Планеты

для глаза горят, ничуть не горя? Но Пульхерица дышит, и ее дыхание теплое. Она малоречлива и оттого дыхание ее, вместе с улыбкой, особенно красноречиво..

Но бабушка Пульхерицы многоречив, и он пыхтит, как кузнечные меха:

— Пофтьм! Пофтьм!

Босая и грязноватая, чудесная девочка-цыганка с глазами, похожими на маленькие темно-коричневые вишни, уже принесла на серебряном подносе крошечные чашечки густого ароматного кофе. Пушкин ей сделал пальцами «козу», и она вся задрожала мелким смехом, уже вся теперь став изящною, тоненькой веточкой вишни. Еще немного, и с листьев ее брызнет роса... Но девочка поднос удержала и ловко поставила его на низенький столик перед знакомым ей гостем.

Варфоломей дал Пульхерице время вновь отдышаться и вновь тронуть лицо себе пудрой. Потом снова дал знак музыкантам, и снова запели цыганские скрипки. Таков Кишинев — коренной Кишинев!

И опять Варфоломей хлопнул в ладоши, и опять арнаут. Теперь он и Пушкину тоже, став на колено, раскуривает длиннейшие трубки. Он обтирает кисейным платком, наброшенным на руку, драгоценный мундштук. Платок вышит золотом, в каждой стежке дышит Восток. Наконец подается чубук и ставится на пол под трубку медное блюдечко. Скрипки поют, молодежь... — как бы ткется ковер из живого движения рук: Восток!

А по стенам, на диванах, подушках, на собственных пьедесталах расположились, как на гряде, спелые дыни, куконицы-мамаша. От них пышет жаром и только что не поднимается над диванами пар. Платья на них европейские, но как язык молдаванско-французский, так и тут поверх тончайшего шелка — кацавейка без рукавов — фермеле, — шитая золотом. Но вот они все заколыхались:

— Джок! Джок! Пульхерица, джок!

А в ответ на этот призыв, шопотком, шопотком из рядов молодежи уже слышится легкий припев, сложенный все тем же странником Вельтманом:

Пульхерица легконожка,

Кишиневский наш божок,

Встань, голубушка, немножко,

Пропляши с бабакой джок!

— Пофтьм! Пофтьм! — закричали все разом и залескали в ладоши.

«Бабака» Варфоломей улыбался с пышного своего дивана. Раз в год действительно он танцевал с дочкою «джок». Это было редкое зрелище, и жажда увидеть его была велика. Варфоломей был знатен и тучен, и «важен, важен, очень важен» — как настоящий папа, не

взирая на то, что в молодости, с господским чубуком в руках, стоял на запятках яского господаря Мурзи. Но самая пышная важность в том-то и состоит, чтобы иногда «снизойти». И Егор Кириллович снизошел, вернее сказать, с дивана его низвели два гайдука огромного роста, в косматых папахах, неизвестно откуда возникшие по тайному знаку госпожи Варфоломей.

Вельтман звал себя странником, потому, что все странствовал, разъезжая по сямкам, но так его можно было прозвать и по его странностям. В прошлом году, во время такого же танца, он уверял, что каждый раз, как, танцуя, отец приближался к Пульхерице, он незаметно для всех повертывал заводной ключ, проделанный через корсет божественной куклы. Это была клевета! Ни с кем Пульхерица так иегко и свободно не танцевала, как со своим не слишком-то поворотливым родителем. А, быть может, и то, что именно на фоне этого медведя-паши собственная ее воздушная резвость казалась особенно очаровательною.

Все ходили в огромном одном хороводе, чуть не во всю просторную залу, подпевая, приплясывая, выкидывая коленца. За спинами гостей — из кухни и дворни, из девичьей сбежали все присные дома. Повар и поварята, в белых колпаках, но с лицами, вымазанными сажей, как у трубочиста; кучера, свои и чужие, в армяках с заткнутыми за подпояски кнутовищами; пестрозатканные арнауты; старые и молодые цыганки в ярких монистах, лентах и бусах, серьгах: все это звенит, подпевает, все движется, шевелится — вот-вот ветер от скрипок и труб, жалеек, цимбал сдует их всех и понесет по залу, как яркую осеннюю листву в листопад.

Но это лишь рамка и окружение: танцующим довольно простора, чтобы из замиранья, томленья, иногда наступавших в течении танца, вдруг ринуться прочь друг от друга и закружиться, завертеться — бабака вокруг одной своей ноги, Пульхерица — бабочкой, порхающей меж цветов. И бабака вдруг — се! И Пульхерица опустилась к нему на колени и обняла, не выпуская веера, его разгоряченную шею. Все заплескало в ладоши, и все закричали, выражая восторг.

Та же цыганочка принесла триумфатору на том же серебряном подносе блюдечко варенья и высокий бокал холодной воды, дуть же с у, дабы прохладиться. А пока «паша» отдыхает и прохлаждается, молодежь, с разрешенья хозяйки, задерживает из толпы уходящего люда цыганку Земфиру. Впрочем, госпожа Варфоломей зовет ее Земфиреской и приказывает спеть. Скрипки молчат, зарыдала гитара. Земфира отвесила низкий поклон, все украшения ее прозвенели,

как колокольчики, яркая юбка под незаметным движением пальцев вскинулась в стороны, и дуновенье бесчисленных складок и складочек, за минуту мирно дремавших, пронеслось по всей зале. У Земфиры блеснули глаза и, как в зеркалах от огня, у всех загорелись ответные огоньки и уже не погасали, пока она педал:

Арды ма, фрыджи ма,
На карбуне пуне ма!

Тут Пушкин, пока звенел этот голос, в котором дышала и ночь, и степные костры, и скрипенье арбы, и вырывался порюю стукот огня, летя в темноту, мгновенный и дерзкий, и пахло в лицо мятой и чебрецом, придорожной полынью, и вдруг у реки соловей, — пока эта дикая и нестройная стройность, стройная жаркою страстью, все расплавляющей, пока она жаром дышала в лицо, все он забыл и ничего больше не видел, кроме этих, то белым, то черным сверкающих глаз.

Земфира закончила и дико глядела перед собою. Потом вдруг очнулась, покачалась, прозвенела опять, и гордою, вольной походкой, чуть поводя от внутренней дрожи плечами, покинула зал.

Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.

Все хотели теперь, чтобы Пушкин читал эти стихи: ту самую песню порусски, которую педал цыганка. Но он не хотел, отказался. И он лишь медленно уходил от этой грозы, которая целиком его захватила. Волнение это было нерасчленимо, в нем ни один живой случай не возникал, это было и шире и глубже всякого отдельного случая, всякой слишком определенной мысли: это было криком самой торжествующей жизни, слышим воедино печали и радость, муки и восторг. Да, для него вечер уже завершен. Он хочет уйти, поворачивается, и видит Пульхерицу. Она глядит на него, на сей раз забыв об улыбке. Но она вся, как улыбка, как роза в росе. Он делает движение, чтобы к ней подойти, но Варфоломей, отдохнувший, вернувшийся к постоянной своей, лишь на минуточку покинутой думе, останавливает его.

— Что беден и холост, это, то-есть, мы переиначим, а князь это оставим. Скажите, возможно? Я все... предпринять! В этих руках. — И он сжимает пустую, пухлую горсть.

Пушкин глядит, наклоняясь, в небольшие его вопрошающие глазки и говорит — ничуть не озорно, а скорее с какою-то тихою грустью:

— Но ведь нужна, Егор Кириллович, и еще одна безделица: чтобы и она его полюбила.

— Вот в этом-то вся и беда! — восклицает Варфоломей; эту последнюю фразу он уже хорошо выучил по-русски.

Пушкин идет от «бабаки», но Пульхерица уже не одна, возле нее щебечет стайка подруг. Он к ним подошел, шутит, прощаясь, и на устах его девы уже опять порхает обычная милая улыбка.

Варфоломей глядит издали. Думы его выдает невольный вопрос:

— Да сам-то он кто?

— Вы о ком изволите говорить, Егор Кириллович? — подобострастно вопрошает случившийся по близости кто-то из мелких чиновников.

— Я говорю о господине Пушкине. Ну кто ж он, скажите!

— Пушкин, Егор Кириллович, хоть и невольник, а вольная птичка.

— Птичка? Не понимаю.

— Пушкин — поэт.

— Вот в том-то беда!

Танцы будут еще продолжаться, Варфоломей еще будет пить кофе и курить, размышляя, куконицы-мамаши и дальше не смогут остыть, и Пульхерица будет еще в танце порхать и улыбаться, но улыбка ее будет немножко печальной. Только этого никто не заметит. Пушкин ушел.

Ровные, белые улицы. Снег перестал. Звезды зажглись над миром, над Кишиневом. Танцы у Варфоломея, а у Крулевского карты.

— Кучер, живей!



Пушкин обратился с просьбой в Петербург о предоставлении ему отпуска. Ответ затягивался.

— Если меня в Петербург не отпустят, я от вас все равно куда-нибудь уйду.

— Не убежишь.

— Почему?

— А потому: обещал больше не бегать.

Тон у Ивана Никитича спокойный, простой. Не скажешь даже — уверенный: за показною уверенностью часто стоит именно что неуверенность, человек как бы сам себя подкрепляет, а когда говорит так естественно, как естественно дует ветер или идет дождь, что тут возразишь?! Пушкин не возражал.

— Тогда отпустите в Одессу!

В Одессу просился он уже не в первый раз, но Инзов не считал это удобным, во всяком случае пока нет из Петербурга ответа.

Вскоре пришел и ответ, адресованный Инзову: царь в отпуске Пушкину отказал. Пушкин ответил царю, выпустив на пасхальной неделе одну из птичек, живших у Инзова в клетках.

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать;
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Иван Никитич, которому Александр прочел эти стихи, был душевно растроган.

— Ну погоди, дай срок. Только без дела я тебя отпустить не могу. Поедешь лечиться на море.

Пушкин повеселел. У него забрезжили надежды перебраться в Одессу совсем. Он много работал, гулял. «Бахчисарайский фонтан» был закончен, начал «Онегина». Если в небольших по размеру стихотворениях он откликался тотчас на блеснувшую мысль, на взволновавшее чувство, то поэмы всегда долго вынашивались. Он должен был отойти, чтобы увидеть все в целом, постигнуть гармоничную пропорций и дать всему точное место. Так он издали видел и обнимал единым взглядом далекую семью снежных вершин; так, отъехав от города и обернувшись, схватывал общую его физиономию и соотношение отдельных частей.

Точно так было и с поэмами: Кавказ, екатеринославские разбойники, Бахчисарай, — все это уже нашло свою форму, но цыганы еще искали себя, они как бы еще кочевали в творческих его раздумьях. Онегин, — уже одно то, что поэту понадобилась еще большая даль, чтобы увидеть свою петербургскую юность, предсказывало вещь и по размерам превосходящую прежние. Если в Вольтеровой «Девственнице» была двадцать одна песнь, то отчего бы не написать «поэму песен в двадцать пять»? А впрочем, это скорее роман, и герой в нем может сделаться спутником самой жизни.

Пушкин снова переживал то совершенно особое чувство, которое сопутствует началу нового большого труда. Нечто подобное испытывает человек перед отправлением в далекое путешествие: припасы в дорогу уложены, мешок с овсом привязан веревками позади экипажа. День начался раньше обычного, он моложе, чем всегда, и будет расти у вас на глазах. Деревья проснулись, но еще умываются холодной росой. Немного еще — и солнце подает им, дабы обсушиться, тончайшее полотенце лучей: их хватит на все и на всех. Самые звуки, и то, как добегают они к вашему уху, — все молодое.

А между тем сила, готовность, приподнятость — как в дереве соки весною, мысли и образы наливаются жизнью, как почки на ветке. Бывают минуты: кажется брызнут все сразу. Но на то и человек, а не самое хотя бы великолепное дерево. Вы садитесь в повозку и вы управляете ею. Каждый поворот дороги приносит новое видение, но глаза неизменно ваши, хотя и они становятся все

острее и зорче. Они видят все, но выбирают то, что нужно. И из всех слагаемых главное: он же творец и организатор, — сам поэт.

Но и то, начальное, чувство — готовность брызнуть и процвести всему сразу — и оно не пропадает, этим единством будет пронизана, в конце-концов, и вся завершенная вещь. У нее будет свое дыхание, манера и краски, и автор будет глядеться в нее, как в воды озера, — того самого озера, которое сам окопал, обсадил, где плотину воздвиг и перекинул мостки. Забота и мысли, сосредоточенность, щедрость души, самозабвенность в работе, — все это радость труда, рождающего новую жизнь!

Однако, быть может, это уводит и от людей, и от событий, протекающих в жизни других, в жизни народа? Смешное предположение! Пушкин отнюдь не уходил в какую-то рабочую келью: ведь и река не только струится в течении, но и бьет в берега.



Какой-то период в Кишиневе явно заканчивался. Из Киева пришла весть, что Орлов был зачислен «по армии» и нового назначения не получил, это значило: оставлен совсем не у дел. Он настаивал, чтобы его предали суду, но в этом было отказано. Охотников, так же, как и Орлов, уехал в Москву, а вскоре получено было известие, что он там скончался. Шли разговоры о назначении графа Михаила Семеновича Воронцова в Одессу. Липранди долгу в прежние времена служил у него, и потому было естественно для Воронцова взять его на службу к себе.

Владимир Федосеевич Раевский все еще подвергался в Тирасполе длительным и тяжелым допросам. Но от него ничего не добиться. Не через Липранди, иными путями до Пушкина дошло в новой редакции «Послание к друзьям». Там были строки, обращенные прямо к нему: они с новою силой его взволновали:

Оставь другим певцам любовь!
 Любовь ли петь, где брызжет кровь,
 Где пламя чуждое с улыбкой
 Терзает нас кровавой пыткой,
 Где слово, мысль, невольный взор
 Вскрут, как явный заговор.
 Как преступление, на плаху.
 И где народ, подвластный страху,
 Не смеет шопотом роптать.

Так и из тюрьмы, как голос совести, звучали призывы Раевского. Но и вне тюрьмы лежала, казалось пороку, пустыня, мертвая тишина. Пушкин пытался найти какой-то обобщающий образ, но все это оставалось в черновиках. Большой, взволнованный, вольный Кишинев отходил в прошлое, оставался Кишинев

жарт и балов. И этот Кишинев казался огромным, ибо он был только малым кусточком целой России.

Инзов видел томления Пушкина и, наконец, в Одессу его отпустил.

У СИНЕГО МОРЯ

«Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу — Ресторация и Итальянская Опера напомнили мне старину и ей богу обновили мне душу. — Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. — Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и выехал оттуда навсегда — о Кишиневе я вздохнул. — Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к Европейскому образу жизни — впрочем, я нигде не бываю, кроме в Театре».

Так двадцать пятого августа Пушкин писал Левушке в Петербург. Тот, вероятно, и сам, еще ранее Александра, знал кое-что о предстоявшем переходе брата из-под опеки Инзова под опеку Воронцова. Об этом усиленно хлопотал, побуждаемый Вяземским, Александр Иванович Тургенев, которому удалось склонить к этому плану и министра Несельроде, и самого Воронцова. Граф Михаил Семенович Воронцов сообразовал выразить согласие — взять к себе молодого поэта, дабы «спасти его нравственность» и «дать таланту досуг и силу развиваться».

Пушкин, однако же, очень скоро почувствовал это снисходительно-обидное к нему отношение любезного вельможи, и в том же письме к брату, жалуясь на безденежье, твердо заявлял: «На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно».

Итак Пушкин снова у моря, где суждено протекать последнему году его южной ссылки.

Он остановился в гостинице Рено, в угловой комнате с балконом и видом на море. Просыпался он рано и отправлялся прямо на пляж, а выкупавшись, шел в одну из турецких кофеен, которых было немало вдоль берега. Там он посиживал часто в пестром своем кишиневском архауке с феской на голове, наслаждаясь ароматом крепкого черного кофе. Чашечки были миниатюрны и наполнены полны осевшей гущи; в этой гуще

и была главная выгода расчетливых и степенных хозяев.

В приморских кофейных множество разного люду: шкипера и матросы с иноземных кораблей, прикащики и доверенные торговых фирм, подпольные адвокаты и люди без определенных занятий или с такими занятиями, о которых они могли бы рассказать лишь доверительно. Здесь совершались сделки и дарил запах денег; чаще всех других слов звучали цифры больших и маленьких сумм.

На пристани, куда приходили корабли с разноцветными флагами, было куда интереснее. Живая разноязычная толпа была подвижною и шумной. Тут встречали и расставались, узнавали новости. Корабли, привозившие заморские товары, отдыхали недолго и грузились отечественною тяжелой пшеницей, шерстью и кожами. Пушкин являлся сюда уже не в феске и не в архалуке, по улицам он проходил в черном, наглухо застегнутом сюртуке и черной шляпе, но всегда со своею железной палицей.

Он и в Одессе продолжал неустанно работать. «Онегина» писал едва ли не каждый день. Он так привык теперь к его оригинальной строфе, что часто даже на улице или в казино приходили к нему короткие живописные строки, которые точно сами спешили занять предназначенные им места. Ранее Пушкин отдавался в поэмах свободному сочетанию рифм и вольному течению повествования. Он и здесь не стеснял себя переходами и отступлениями, но налицо четырнадцатистроичной строфы, ее обязательность и неизменность, были чудесною точкой опоры: роман в стихах, но не поэма!

Весь роман в целом еще не был виден отчетливо ясно, он только чувствовался, но эта его расчлененность на отдельные главы давала возможность сосредоточиться в пределах каждой главы, а соотношение написанных и еще оставшихся строф создавало точное ощущение формы, размера каждой главы, внутренней ее емкости. В думах о работе был свой большой план и малые планы, и каждая строфа также была в своем роде законченною отдельностью. И оттого все движение романа, не взирая на отклонения и нестесняемую внутреннюю свободу поворотов в его развитии, было, однако же, строго соразмерно.

Больше того. Можно сказать, что именно эта строгость и давала законное бытие свободе. Это было очень своеобразное и по-своему бодрящее ощущение. И была, конечно, еще та художническая радость, которая сопутствует всякому новому нахождению самого себя. Точно дерево тянет в простор новую ветвь, так неожиданно изменяющую и обогащающую его видимую форму, к которой уже

само оно как бы привыкло. Такой же находкой и радостью были «Цыганы», которых он начал, уже обжившись в Одессе, зимой: там была свежая радость — найти живой диалог.

Пушкина видели только снаружи: живого, веселого, остроумного, порою язвительного, порою проказливого. Но что в этом особенного? Это могло быть мило, забавно, иногда неприятно, если посмеются над тобою самим, или, напротив, приятно, если на зубок попадетесь не вы, а приятель, но в этом ведь нет еще очарования. А Пушкин дышал, иногда даже только цапнувшись какой-нибудь, — дышал этим очарованием. Не парадокс ли это? Ничуть. Дышала как-раз большая творческая душа — без всякого с его стороны напряжения, — неразгадываемая, но осязаемая и живая.

И все случалось, что этот внутренний мир становился видимым, ясным и открывался порою даже весьма далекому внутренне человеку.

Был у Пушкина старый знакомый по «Арзамасу», Филипп Филиппович Вигель, умница, но человек неприятный, неуживчивый и злопамятный. Летом двадцать третьего года он был назначен на службу к Воронцову и поселился в той же гостинице, рядом с Пушкиным. Он вел записки, и было в них столько же недоброжелательства к людям, как и чернил. Но и такой человек записал: «Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаюсь моей черными думами. отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое будущее, часто заставляла меня забывать и собственное». — «Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка».

Вигель увидел также ум и веселость Липранди, который то появлялся в Одессе, то исчезал, исполняя задания Воронцова; он видел и другое — как Пушкин в Одессе томился, более даже, чем в Кичине. Оба эти жестковатые человека, друг друга совершенно непереносившие, — однако же были равно под обаянием Пушкина, правда что постигая его прежде всего со стороны именно ума. Но в Одессе и чувству Пушкина было много простора: в Одессе жил он опять — у моря!



В ноябре в Одессу приехала Мария Раевская — проведать сестру свою Елену, жившую у Воронцовых: Раевские состояли в родстве с графиней Елизаветой

Ксавьерьевой. Здоровье Елены особого опасения не внушало, но она была очень худа, и ей постоянно надобно было беречься. Даже в танцах она не принимала участия и лишь глядела, как танцуют другие. Она все больше и больше уходила в себя. С братом Александром, который часто и подолгу теперь пребывал в Одессе, останавливаясь у Воронцовых же, как-то она совсем разошлась, а приезду сестры так была рада, что от радости не спала по ночам.

Мария приехала в ноябре и пробыла почти до Рождества. Казалось бы — возвращался Юрзуф! Но ничто не повторимо, и на Юрзуф не положе было нимало.

Вся семья Раевских, братья и сестры, отец — все они крепко жили в душе Пушкина. Это была единственная, пожалуй, семья, которую он неотрывно любил. И после Кавказа и Крыма отношения их не только не прерывались, но временами казалось, что Пушкину и не суждено от этой семьи оторваться. Глядя теперь, издали, он понимал, что из трех дочерей генерала Раевского он наиболее близко соприкасался именно с Марией, чудесно выросшей на его глазах из угловатого серьезно-шаловливого подростка в красивую и строгую девушку с чистым и твердым характером. Он сознавал, что у них бывали минуты, которые могли стать решающими. Но они таковыми не стали. Что же мешало?

Основное, что их разделяло, было, кажется, то, что оба они, каждый по-своему, были — характеры. Это чудесная, трудная и редчайшая вещь, когда два человека с собственными, отчетливо выраженными индивидуальностями, не теряя их, могут составить единое и гармоническое целое. Чаще бывает иное: один покоряет другого; один из двух покорился, и найдена — прочность. Мария же рано определилась и выросла, а Пушкин рос непрерывно и далек еще был от завершения роста, который осуществлял, внешне будучи пленником, в полной душевной свободе.

К тому же, хотя он и был уже необычайно своеобразен, характерен, но характер его был в движении. И для него совсем не пришло еще время (да и позже оно долго не приходило), — когда появилась бы властная потребность — устроения собственной жизни.

А страсть? Да, налетающий этот ураган мог бы, как буря, разметать все, что стоит на пути. Но этому ветру, как заслон, противостояла вся роща Раевских: общая его к ним любовь, чистое и прочное уважение. И страсть, ничего не обещающая и ни к чему не обязывающая, — она не возникла.

Мария и Пушкин не имели между собою никаких объяснений. Отношения их не были внешне испорчены, но, как-то само собою это произошло, друг от дру-

га они отдалились. Мария была горда и ни единым словом и ни движением не выказала того, что в ней происходило. Он себе говорил: «Да, она никогда не понимала моего чувства к ней. Графу Олизару откажут, но теперь сюда приезжает Волконский, будет еще один светский брак!» Так он умел иногда подумать, — холодно и зло, сам хорошо сознавая, как был к ней несправедлив. Пушкин был не без слабостей, но огромная, редкая сила его в том и была, что он их видел и знал, и не оправдывал.

Впрочем, сейчас на отношениях своих с Марией не очень он останавливался: было ему не до того, он сгорал, как свеча, и обретал новые силы только в работе. И все же, образ Марии Раевской был в нем неистребим. На время, и на долгое время, могли в нем замолкнуть рожденные ею сердечные звуки, но истинное — что бы то ни было — не умирает и лишь ждет своего, после тумана, ясного срока.



Город был полон рассказов о смотре войск второй армии Витгенштейна. Государь остался доволен и всех осыпал милостями. Окончательно забыта была дуэль Киселева с генералом Мордвиновым, который был им убит. Об этой дуэли также спорили много, и Пушкин горячо ратовал за убитого Мордвинова, доказывая, что он проявил более чести, вызвав лицо, стоящее выше его по службе. Он не высказывал, однако же, истинной причины, почему Киселев так его раздражал: лишь недавно ему стало известно, что Владимир Раевский был арестован по его приказанию. Как бы то ни было, Киселев остался любимцем императора. Но и что же?

Пушкин услышал также и о Павле Ивановиче Пестеле. Год назад ему дали совершенно расстроенный вятский полк, и за один год он привел его в образцовый порядок. Царь отозвался: «Превосходно! Точно гвардия». И царь пожаловал Пестелю три тысячи десятин земли.

Пушкин ни на минуту не усомнился в полковнике Пестеле. Но какова же должна быть его выдержка, и... для чего он себя бережет?

Порою Пушкину казалось, что ничего так-таки никогда и не произойдет. Он завидовал Байрону, уехавшему сражаться за свободу Греции, но в Одессе он видел одну непримечательную изнанку греческого движения. За Пиренеями французские войска разгромили революционную Испанию, уничтожили конституцию и восстановили королевскую власть. Вождь революции Диего был казнен. Когда известие о том, что он заключен в тюрьму, было получено царем во время обеда после смотра, и государь громко и ясно о том сообщая, Воронцов вос-

кликнул: «Какая счастливая новость, ваше величество!»

В Одессе, как и там, за царским столом, все были смущены этою выходкой. Пушкин позже отвел себе душу убийственной эпиграммой, еще сгустив краски: новость в его стихах гласила не об аресте, а о казни Диего.

Сам государь такого доброхотства

Не захотел улыбкой наградить:

Льстецы, льстецы! старайтесь

сохранить

И в подлости осанку благородства.

С Александром Раевским Пушкин виделся часто. Они много и о разных вещах говорили. Пушкин читал ему «Бахчисарайский фонтан». Поэзия до этого слушателя доходила с трудом, но тем интереснее были отдельные его злые замечания. Он очень издевался и хохотал над «обмороком в бою» хана Гирея и с наслаждением повторял:

Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю и с размаху
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха.
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.

— Хорошо, что хоть слезы порой проступают, а то совсем статуя, монумент.

Пушкину трудно было, что-нибудь возразить. Ему живо вспомнилось, как в Юрзуфе однажды он также задумался над неподвижным своим черкесом, который, однако же, «пашкою сверкал».

— Ты прав, — отвечал он Раевскому. — Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Читателя это может смешить.

Александр Николаевич был доволен, но все не унимался:

— А, впрочем, и слезы делу не помогают. Это просто какой-то второй Бахчисарайский фонтан: монумент, источающий влагу.

Пушкин на это ничего не ответил, но про себя подумал: «А что ж, это и критика, и не плохая находка!» Он очень ценит такие непроизвольно возникавшие соответствия, и стихи остались, как были.

Но гораздо все было тяжелей и мрачней, когда разговор заходил о политике — тут же, или в какую-либо другую из встреч: «Печальны были наши встречи»...

Оба они опять вспоминали письма Орлова к Александру Раевскому из Кавказа. «И я очень думаю, что девятнадцатый век не пробегит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий». Пушкин считал уже эти сроки, теперь считал и Раевский:

— Это писал он мне в двадцатом году. Осталось немного до истечения чет-

верти века. И что ж? Странные происшествия действительно уже наступили, но только... для самого Орлова. Он назначен теперь «состоять по армии», а это значит состоять «по фабрике, и заниматься своими делами». Так он сам определил в письме к Катеньке. Вот и все «происшествие!»

Пушкин и сам испытывал великую духоту, а речи Раевского могли довести до отчаяния. Он думал и о самом себе, о тех мыслях, которые, как семена, он кидал в мир. Нужны ли они кому-нибудь?

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ядро с премудрками да бить.

Но неужели ж таков его отзвук на голос «певца из темницы»!

Эти строки полны были горечи по отношению к самому себе и глубокого сарказма, обращенного к неудачникам революции и восстаний. Пушкин не переменялся в своих убеждениях, но он чувствовал великую боль народов, как свою собственную. Он не призывал народы «пасться», он кидал этот призыв, как сознательно наносимое оскорбление, чтобы возбудить чувство протеста. Это было в руках его острым оружием. Но где и как его применить?

Так, подобно морю, на берегах которого жил, душевная жизнь Пушкина была беспокойна, и множество противоречивых, или кажущихся таковыми движений в нем возникало: тоска и хандра, о которых писал в письмах и что отмечал Липранди; покорность Александру Раевскому и одновременный бунт против него; страстное увлечение Амалией Ризнич, в котором топил себя, как в вине, и острые шипы, внезапно вонзавшиеся в него до ощущения физической боли. «Бог, это тот, кто посылает добро и кто посылает зло» — вспоминалась ему не раз магометанская мудрость, слышанная им в Бахчисарае.

Но Пушкин отнюдь не погибал и не сдавался. Великая сила в руках его — творчество, труд, в котором была его настоящая жизнь. Здесь он был истинно на берегу. Здесь он строитель, хозяин, художник.

★

Стояло уже лето двадцать четвертого года. Много событий произошло за прошедшие месяцы. Вспомнил не раз он и Марию Раевскую. Завалявавшись, она за-

претила ему печатать последние строчки ей посвященной «Таврической звезды». А их напечатали в «Полярной звезде». Он строго выговаривал Бесгужеву: «Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики — Голова у меня закружилась». Но голова Александра кружилась в те месяцы и от другого, целиком его захватившего чувства...

Оно зародилось в нем почти незаметно, как где-то вдали возникающая музыка, но что ни день, все полнее и ярче овладевавшая им. Это не было молнией и не было волшебством, оно было подобно заре, все разгоравшейся на востоке. Он едва еще смел самому себе в этом признаться, как любовь уже пела в нем победную песнь. Она была лишена всяких вопросов: можно ль, зачем, что будет дальше? Так все живое, покорное единственно голосу солнца, голосу жизни, не знает этих вопросов.

Но эти вопросы, и в гораздо более резкой форме, знал муж Елизаветы Ксавьерьевны — граф Воронцов. И уже между ними возникла борьба. Вся страсть и весь гнев эпиграмм были оружием Пушкина, вся сила была в руках властителя края. Впрочем, и Воронцов прибегал также к перу, и его письма в столицу властно подготавливали новое изгнание Пушкина.

Сам Александр отдавал себе в этом ясный отчет. Он думал теперь о побеге, но не верил в побег, хотя кое-что даже и предпринимал.

Чета Воронцовых уехала в Крым. Скоро они должны возвратиться. А пока Пушкин бродил по пыльной Одессе — один — с думами, с думами.

Так незадолго до вечера однажды, забывшись, он далеко зашел за город. Солнце стало косые лучи, как бы удлиняя поля. Было безлюдно, пустынно. Александр шел, глубоко задумавшись, медленно, как очень редко ходил. Порою и вовсе, не замечая того, останавливался. Думы были без слов, но в них было все, что дышало на глубине.

Была и эта любовь, также корнями своими глубоко оплетшая душу. Если Ризнич была — краски и свет: смеялась земля, то именно музыкой звучала любовь к Елизавете Ксавьерьевне, но не элегической музыкой, а музыкой трепетной жизни — И это судьба готова была оборвать.

Как теплое облако подымалось и ощущение всей семьи Раевских. Он не смел даже мысленно произнести милое имя. И не потому, что он ему изменял. Оно пребывало в нем неизменно. Но потому, что об этом не надлежало и думать. Было слово, которое объемлет жизнь, быть может, еще полнее, теплее, чем слово — любовь. Раевские были — да, именно и

для него, как — семья: то, чего был лишен, чем однако же так незабываемо дано было ему насладиться среди них, и что — отошло. И, может быть, в жизни никогда более не вернется.

И были думы его о работе, о призвании, о мощи, какую порою почти физически чувствовал. И как же душа жаждала отклика! Если бы это, так все хорошо.

Он едва не натолкнулся на какой-то предмет. Тронул рукой: холодное. Холодное дуло. Он машинально начал разглядывать пушки.

— Эй, кто такой? — послышался окрик.

Пушкин взглянул. Издали быстро к нему приближался молодой офицер.

— Что вы здесь делаете? Кто вы?

Пушкин дал ему подойти.

— Я — Пушкин, — просто сказал он.

Офицер отдал ему честь и быстро побежал прочь, махая рукой и что-то крича. Весь лагерь встревожился. Александр несколько отошел, так как все бежали прямо к орудиям.

— Смирно! — закричал офицер. — Слушать команду! К орудиям! Приготовься к стрельбе. Пла!

Грянул залп. Офицер, с сияющим, красным от возбуждения лицом, подошел к Александру.

— Честь имею представиться, дежурный офицер Григоров.

Пушкин, улыбаясь, пожал ему руку.

— А зачем вы палили?

— В вашу честь, Александр Сергеевич! В честь любимого поэта России.

«И плащ его покроет всю Россию» — вспомнился Пушкину Вельтман. Он был очень растроган. Легкая краска проступила у него на лице. Подошли другие офицеры. За ними на отдалении — солдаты.

— Идите, идите! Это же Пушкин. Это же дали мы залп в его честь.

— Спасибо. Спасибо вам от души. Но не пришлось бы вам отвечать из-за меня?

— Пусть и отвечу. Я рад, что так вышло. Мы чтим вас превыше начальства.

Григоров говорил несколько приподнято. Как на параде. Но это был особый, духовный парад. Пушкин чувствовал это. Он и сам заволновался.

— Вы говорите, как истинный друг, — сказал он. — А у меня... у меня очень мало друзей.

— О, у вас много друзей! Мы знаем вас хорошо. Мы вас читаем.

Пушкину вспомнилось, как в недавнем своем «Послании цензору» он писал о себе, о поэте политических вольных стихов:

И рукопись его, не погибая в Лете,

Без подписи твоей разгуливает
в свете.

«Так в пригородной этой пустыне, где я гулял, еще до меня, как вижу, разгуливали стихи мои». И он улынулся.

— Что это там, неужели картошку пекут? — спросил он у Григорова. — Я давно уж мечтал... как у цыган. Это не нарушит у вас дисциплины?

— Дисциплина у нас, не расходится с сердцем, — с тем же подъемом и с неподдельной искренностью воскликнул молодой офицер.

Пушкин побыл и у солдат, и в офицерском шатре. Этот костер — как на поле сражения; как на биваке — в офицерском шатре.

Посреди веселого чествования на Пушкина налетело облачко задумчивости. Он вспомнил погибшего в Греции Байрона. Пушкин недавно еще в письме одному приятелю, жалуясь на разложение греков, которое видел в Одессе и которое его оскорбляло, все же писал: «Ничто еще не было столь народно (и подчеркнул это слово), как дело Греков». Так он это и чувствовал. Он хотел писать и о Байроне, но не выходило пока.

Нет ветра — синяя волна

На прах Афин катится.

.....

Высокая могила зрится,

Об этом властители дум хотелось сказать не так элегически, — ярче, проникновеннее. Вот поэт, сочетавший свободу, лиру и меч!

Молодые хозяева заметили мгновенную задумчивость Пушкина. Все невольно притихли и от наступившей вдруг тишины Пушкин очнулся. Чуть задрожавшей рукой он протянул над столом налитый бокал и произнес очень негромко:

— За Байрона...

— Павшего за свободу, — добавил Григоров.

В молчаньи все чекнулись, а через минуту беседа вновь загорелась с новой силой и оживлением.



На обратном пути Пушкин уже не шагал бы так медленно. Напротив того, была большая потребность одолевать — быстро, легко — любые просторы. Но его усладили в полковую тележку.

Было уже совершенно темно, когда подъезжал он к городу. Одесса мерцала

огнями. Море ловило их отблески, дрожало волнами, играло. Береговой бриз как бы подгонял Пушкина.

Но и мысли, и чувства его не были сейчас беспокойны. Напротив, внутри разогнало все тучи. И это не было удивление, покоящееся в самом себе. Это было, как мужественная ясность, готовность встретить все, что судьба пошлет на пути. Он предчувствовал расставание с морем, с Одессой, новое изменение жизни. Пусть. Что бы ни произошло, он получил сегодня удивительную крепость. Он существует не только в этом вот сюртуке, шляпе и сапогах. И он не один. У него есть друзья. Может быть, много друзей.

Александрю сегодня видеть никого больше не захотелось. Весь остаток дня он провел у себя. Поздней ночью море зарокотало, как бы суля близкую бурю. А как хорошо умело оно по вечерам шуметь о любви! Словно в предчувствии скорой разлуки и расставания с югом, Пушкин отдался ветру воспоминаний. Они находили какую-то свою последовательность, не всегда совпадавшую с последовательностью во времени, но по-своему верную.

Если «целый роман — три последние месяца», как писал брату Левушке, то что же сказать про весь этот год, про все четыре года, проведенные здесь, на Юге? Да и одно это последнее лето — мучительное и дорогое — разве оно не целый роман? Но для воспоминаний о нем вовсе не нужно целого тома, он увезет их с собою в дорогу. А дорога — она неизбежна.

От синего моря поднимался туман, и Одесса уже была для него как бы в дымке минувшего. Но сквозь этот туман и синеву набегавших уже сонных видений — эта встреча за городом, этот «салют» — светили они, как маяк.

Да. Будет дорога. Будут воспоминания. Эту способность души человеческой Пушкин очень ценил. Воспоминания не раз ему полнили жизнь. Порою они не менее живы, чем сами события, прошлое в них как бы гостит в настоящем. И, сопутствуя жизни, они не так скоротечны, как миг настоящего.

Так это и было, когда — очень скоро — Пушкин вынужден был покинуть Одессу и ехал на север — в Михайловское. Последние дни свои у синего моря — он увез их с собою.

СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

В. ЩЕРБИНА



1

Сергеев-Ценский начал писать более сорока лет тому назад. «Это очень большой писатель: самое крупное, интересное и надежное лицо во всей современной литературе... Я читаю его с опромным наслаждением, следя за всем, что он пишет», — писал о нем Горький литератору С. А. Недолину в 1912 году. Глубокая вера Горького в силу таланта Сергеева-Ценского целиком оправдалась в дальнейшем.

Ранние рассказы Сергеева-Ценского сразу привлекли внимание читателей своеобразием стиля, остротой и оригинальностью сюжета. Талант Ценского оказался прочным. Сергеев-Ценский внес настоящий вклад в русскую литературу. Его голос нельзя спутать с другими голосами: он крепнул с годами, в то время как многие бледнели, стирались и часто совершенно замирали. На долю Сергеева-Ценского выпало счастье, доступное только большим художникам, — утвердить себя во времени и получить народное признание.

Пройденный писателем путь велик: десятилетия упорной и трудной литературной работы. Много труда и большие результаты: многолетняя эпопея «Севастопольская страда» удостоена Сталинской премии. Недавно писатель избран действительным членом Академии наук СССР.

Всегда старался он самостоятельно разобраться в окружающем. Не обходилось без ошибок и заблуждений, но писатель имел мужество преодолеть их и идти дальше по пути все более глубокого и всестороннего воспроизведения действительности.

Сергеев-Ценский родился в 1875 г. в Тамбовской губернии. Начал литературную деятельность со стихов: в 1901 г. в Павлограде вышел сборник «Думы и трезвы». С января 1902 года печатается в литературно-художественных журналах: «Русской мысли», «Мире божьем», «Современном мире», «Образовании», «Новом пути», «Вопросах жизни», «Журнале для всех» и др. Жил писатель это время в провинции, где служил учителем в разных городах. Во время русско-японской войны, мобилизо-

ванный как прапорщик запаса, пробыл в армии почти полтора года.

Свои повести и рассказы он посылал почтой и до конца 1906 года ни разу не видел ни одной редакции, ни одного писателя.

Первый писатель, которого увидел Сергеев-Ценский, был А. Куприн. Он приехал осенью 1906 года в Алушту, где Сергеев-Ценский в то время поселился и где прожил до начала войны в 1941 году.

Куприн убедил его (уже бросившего в то время учительскую службу) приехать в Петербург, чтобы там, в издательстве, организованном при журнале «Современный мир», выпустить свои сочинения, которых набралось на три тома.

К этому времени произведения Сергеева-Ценского уже пользовались широкой известностью. Писатель не мог пожаловаться на отсутствие внимания читателей и критики, но отношение их было порой недоуменным или даже отрицательным. Горький вспоминал об этом:

«Внимание было острое, но недоверчивое и даже, пожалуй, враждебное... Люди, которые читают книги лишь затем, чтобы развлечься и хоть на время забыть свою скучную жизнь, инстинктивно почуяли, что этот писатель не для них: он был слишком серьезен. Для тех, кто считает искусство орудием исследования жизни, стиль нового писателя был слишком затейлив, перепружен образами и откровениями, не всегда достаточно понятными. Критики ворчали. Они не знали, в какую рубрику поместить Сергеева-Ценского: в рубрику роман-тиков или реалистов...

Пораженные необычностью формы, критики и читатели не заметили глубокого содержания произведений Сергеева-Ценского. Лишь когда появилась его «Печаль полей», они поняли, как велико его дарование и как значительны темы, о которых он пишет». (Предисловие к французскому и английскому изданиям 1-й части романа «Преображение», 1924 год.)

С первых же рассказов для творчества Сергеева-Ценского характерны искренность и

непосредственность в изображении жизни. Его искусство всегда целеустремленно. Всюду писатель ищет ответа на вопрос о судьбе человека в обществе и природе. Художник чрезвычайно постоянен в своем интересе к этим вопросам. Иногда кажется, что истоком его творчества и являлась непреодолимая жажда познания смысла человеческого существования и места человека в обществе и общем круговороте жизни. Это традиционная тема русской литературы.

«Все еще немножко ясно, — писал Горький, — хотя становится яснее, что в лице Сергеева-Ценского русская литература имеет одного из блестящих продолжателей колоссальной работы ее классиков — Толстого, Гоголя, Достоевского, Лескова. Типично русское в книгах Сергеева-Ценского, так же как у названных мною авторов, не скрывает «общечеловеческого» — трагических противоречий нашей жизни».

Действительно, трагические противоречия жизни у Сергеева-Ценского необычайно обострены и выдвинуты на первый план. Об этом свидетельствует содержание первого рассказа «Тундра», появившегося в журнале «Русская мысль» (1902 г.), и многих других произведений.

Этот рассказ открывает цикл произведений, проникнутых настроениями и мыслями, общими для всего раннего творчества Сергеева-Ценского.

Сюжет рассказа несложен. За кратковременную радость любви кроткая и одинокая женщина платит жизнью. Ее убивает бессердечие и жестокость окружающих людей, погрязших в тине темного и безрадостного существования.

Картина жизни, нарисованная писателем, угрюма и безотрадна: «Мне почудилось вдруг, — говорит герой рассказа «Тундра», — что среди этих домов и толпы, и шума я в тундре, в холодной, ледяной, огромной тундре, дохожей на проб, обитый газетом. И все они, эти люди, только кружатся по ней в беспокойном вихре, выхода ищут, а выхода нет, и кругом пустыня без конца и края, и холод, и снег, и не видно солнца, а серое небо давит, как склеп, и оттого так тяжело в тундре, и оттого ее убили...» Многие люди в городе, но человек в нем одинок, как в тундре! Несомненно, что в многолюдье буржуазного города человек часто чувствовал себя одиноким и беззащитным. Чувство это у Сергеева-Ценского обострено и гиперболизировано. Неудовлетворенность человеческим существованием в самодержавной России была присуща всем крупнейшим русским писателям. Темнота и нищета, на которые правящие классы обрекали подавляющее большинство населения страны, вызвали бесчисленное количество драм и трагедий.

Произведения раннего Сергеева-Ценского погружают нас в тяжелую и душную атмосферу несчастий, разрушенных планов, обманутых надежд, мучительных и острых размышлений.

Понятие неумолимой судьбы, таинственного «рока», тяготеющего над людьми, в истории мировой литературы не ново. В основе «траги-

ческого рока», как правило, лежит идея фатальности, а зачастую и непонимание неумолимой закономерности общества, основанного на темноте и угнетении человека человеком. У Сергеева-Ценского бессмысленная сила рока в ряде произведений является чуть ли не основной темой. Реальные звенья действительности выпадают из поля зрения художника, и людские несчастья в старом обществе воспринимаются, как необъяснимый загадочный закон неумолимой, несчастной судьбы человека. Сфера творчества писателя еще узка: она ограничивается только индивидуальной, частной жизнью. Общество в широком восприятии, история еще не включены в круг наблюдений Сергеева-Ценского. Отсутствие широкой общественной темы еще не позволяет художнику создать картины подлинно исторического обобщения. История, общество и человек еще разделены. Жизненное содержание представляется в эскизной форме одиночного человеческого существования. Зато в изображении трагичности судьбы и несчастий индивидуума Сергеев-Ценский достигает огромной остроты и исключительной пластичности.

На фоне равнодушной природы проходит кратковременная человеческая жизнь. Заглавие «Неторопливое солнце» — наиболее полное выражение мысли о вечности окружающего людей мира. А под «неторопливым солнцем» разыгрываются человеческие драмы. Показательны заглавия ранних произведений Ценского: «Дифтерит», «Убийство», «Бред», «Скука», «Испуг», «Умру я скоро».

Конечно, на молодом писателе до известной степени указались и литературные влияния. Сергеев-Ценский никогда не был слепым последователем какой-либо литературной школы или какого-либо писателя. Но в первый период художественной деятельности его свободный творческий порыв иногда разбивается о ту систему представлений о жизни, которую исповедывали близкие тогда к нему художники: Достоевский, Андреев. Представления их стали в некоторой степени представлениями Сергеева-Ценского. Трудно было писателю сразу отказаться от распространенной тогда в кругах русской интеллигенции мысли, что жизнь человеческая призрачна и непрочно. Вернее, трудно было убедиться в противном. Привычная и распространенная идея часто глушила здоровый порыв писателя нарисовать человеческую радость, поворачивала его взгляд в одну и ту же сторону.

Стремление разобраться в жизненных противоречиях проникает все произведения Сергеева-Ценского.

Герой рассказа «Дифтерит» Модест Гаврилович — кипучий и жизнедеятельный человек. Однако из этой жизнедеятельности ничего не получается. Его эгоистическая вера в прочность всего существующего терпит крушение.

Он горячо возражает своему знакомому Ульяну Ивановичу, который любит рассуждать на тему о превратностях судьбы и развивает целую философию господства в жизни людей случайного: «Не должно быть ни судьбы, ни

случая, никакой этой ерунды не должно быть, все должно быть ясно! Есть следствие, значит должна быть причина, и больше ничего». Сталкиваются два мировоззрения. Одно, утверждающее жизнь в ее раз навсегда данном виде, как стройное сцепление очень узко понятых причин и следствий, и другое, подчиняющее все слепой и жестокой силе случая. Все действие в рассказе доказывает, как рушится первое представление и торжествует второе. События сметают, разносят в прах самоуверенность Модеста Гавриловича и все его упования на устойчивость жизни. Случай нарушил ее стройное течение. Заболевает дифтеритом и умирает ребенок. Вскоре гибнет второй. Мать сходит с ума, сам Модест Гаврилович в недоумении и горе вопрошает: «Целую жизнь для того и работал, чтобы все умерли?» Между тем Ульян Иванович в этом случае видит фатальную неизбежность. «Уж у меня такая примета, — говорит он, — чуть что тебе удастся для самого себя сделать приятное, то-есть веселье втакое какое-нибудь, — так и знай, что не к добру веселился... Там уж что-нибудь ждет такое... возмет и кокет... Сядешь на зеленую траву, помечтаешь о том, о сем, хорошо тебе: тень, прохлада и птички чирикают... Уж на что кажется невинное удовольствие. Ан нет. В тебя уж там вцепилось что-нибудь такое, насморк, кашель... За что?»

Это малая философия. Но и Модесту Гавриловичу начинает казаться, что не люди подлиннее хозяева своей судьбы, а кто-то другой, несоизмеримо более сильный. Он путает все расцеты, сводит на-нет плоды человеческих трудов и забот. И в душе Модеста Гавриловича заколыхался животный страх перед чем-то большим и всесильным, имя которому на человеческом языке «Жестокость». «Оно встало перед ним, ледяное и гладкое, и закрыло под собой все то, что называлось раньше «справедливостью», «причиной», «дологом» и другими, теперь лишенными значения словами».

Многозначительна картина, когда окончательно разбитый и отчаявшийся Модест Гаврилович стремится как бы нагнать и раздавить судьбу.

Из конца в конец по огромному пустырю выла метель. Полновластной хозяйкой носилась она по его земле, купленной трудами целой жизни. Она издевалась и над его булаными, и над медвежьей полостью его саней, и над ним самим. Она хохотала прямо ему в уши дребезжащим, подлым смехом.

И, поднявшись на ноги и злобно сжав зубы, Модест Гаврилович изо всей силы ударил вожжами по лошадям. Лошади вздрогнули, рванули задами и понеслись, храпя и подбрасывая сани.

Уж давно промелькнули во мгле кудловатые ветлы и опушка леса, темной грудой осталась в стороне длинная усадьба Модеста Гавриловича, с пустым высоким старым домом, а он стоял злобный, раздавленный, непонимающий и жадный и жестоко бил и гнал лошадей, точно хотел нагнать и раздавить Судьбу».

Нет, не нагонит и не раздавит он судьбу: она опережает человека, берет верх над ним—

таков вывод можно сделать из этого рассказа, как и из других ранних произведений Сергеева-Ценского.

Автор часто прибегает к символическим образам, именуя целью дать широкие художественные обобщения. Примером такого обобщения может служить «Лесная топь», символизирующая беспросветность и темноту старой крестьянской жизни, в которой гибло много талантливых людей.

Повесть «Лесная топь» написана в октябре 1905 года. Большой печалью о народе проникнуто это произведение, полное грустного лиризма. В нем рассказывается о жизни темных людей, находящихся в полной власти общественных и природных стихий. Мрачна и безрадостна жизнь крестьян Антонины. Страшна и случайна ее смерть. Мы понимаем, что подлинный виновник ее гибели — весь общественный уклад. Хозяин Антонины промышленник Бердонос не давал возможности людям выйти из топи, всю жизнь рабочие должны были «днем стоять по колена в холодной лесной воде, резать торф, ругаться, проклинать болото, нужду, артельщика, хозяина, тех людей, которым будет тепло оттого, что холодно им, — а ночью спать вповалку тяжелым сном». Угнетающие и губящие условия жизни обобщены писателем в символическом образе «лесной топи», которой приданы черты живого существа:

«Никто не заметил, когда поднялась топь. Случилось ли это ночью, более глубокой и мудрой, чем день, или днем, но далеко от человека, под защитой густого ольшанника и верб, или утренние зори разгадали тайну, — только топь поднялась высоко и властно и залила лес...»

Она плотно охватила снизу дубы и березы, точно они и так не были в ее власти, и деревья стали еще более неподвижными и тихими, чем были: она победно шумела, мчась по оврагам, гнула ивы и ломала хрупкий сушняк; она взползала на высокие дороги и лениво и довольно, как собака после охоты, отдыхала там на солнышке, влажно вглядываясь в небо мутными от опьянения собственным разгулом глазами».

«Лесная топь» у Сергеева-Ценского — широкое и распространенное понятие. Стихий господствуют над человеком и в «Тундре», и в «Береговом», и в «Печали полей».

Исключительное внимание Сергеева-Ценского к трагическим жизненным конфликтам не дает, однако, нам права назвать его пессимистом, как, например, Леонида Андреева. Оба не видели гармонии в человеческой судьбе, подчеркнута изображали диссонансы жизни. Но поздний Леонид Андреев не верил в то, что существует, кроме «бездны», еще яркое и теплое, голубое небо. Сергеев-Ценский, напротив, видел просветы этого неба.

Так же, как и Горький, он мечтает о другой солнечной жизни. И припомнил герой рассказа «Тундра», что «где-то там на юге, чистое высокое небо, горячее солнце, весна. Подумал я, что там можно жить и не видеть обуха над головой, и обрадовался на минуту».

как мальчик: выход есть, далеко где-то, но есть». В душе писателя как бы живут и спорят два человека: один создает трагические картины, другой мечтает о светлой человеческой жизни. Не сразу смог писатель найти во всей полноте это новое и радостное в жизни. Но он все время всей душой стремился к нему. Противоречивость художественного мировоззрения Сергеева-Ценского, вызванная сложностью самой живой действительности, характеризует и последующее его творчество. И можно сказать, что именно это стремление найти выход из узкого угнетающего человека мира и двигало творчеством Сергеева-Ценского вперед, составляло его душу, хотя писатель не всегда шел по верной дороге к свету, а иногда сбивался в сторону — заходил в тупик, как, например, в романе «Бабаев».

II

Большое влияние на Сергеева-Ценского оказал М. Горький. Об этом говорит и сам Сергеев-Ценский.

«В Петербурге я познакомился с некоторыми редакциями, печатавшими меня несколько лет, и с некоторыми писателями, — правда, весьма немногими, как Л. Андреев, М. Арцыбашев, Ф. Сологуб, — Горького в то время не было не только в Петербурге, даже в России: после московского восстания в 1905 году он, как известно, уехал за границу.

Между тем из всех подвизавшихся тогда в русской литературе художников слова он был единственным искренно и глубоко мною любимым еще с 1895 г., когда я, будучи совсем зеленым юнцом, прочитал в «Русском богатстве» его «Челкаша».

Многие общие черты роднят этих двух писателей, но много и разного в их творчестве.

Для Горького русский, тогда еще угнетенный народ был величайшей творческой силой. Он видел среди него людей, призванных впоследствии повести массы на революционное свержение неправды и насилия. Отсюда бодрость, оптимизм и ясность горьковского творчества. Отсюда и его гордость человеком: «Человек — это звучит гордо».

Сергеев-Ценский любил человека и страдал за него. Но в круг его зрения не попали еще люди активной борьбы с насилием. У Сергеева-Ценского нарисованы просто хорошие русские люди, страдающие от неправды, но у него еще нет народа, как великой могучей силы. Как-то странно представить себе, что Сергеев-Ценский — ныне автор общеизвестных исторических полотен, звучащих гимном великому русскому народу, — в течение долгого времени творчески не ощущал народа, его славной истории.

Человек у Сергеева-Ценского был одинок. Тему человеческого одиночества, являющегося источником страдания, чрезвычайно распространяющую в русской литературе XX века, писатели трактовали по-разному. Биологиче-

ское эгоистическое одиночество нашло своих певцов, например, в лице замечательно талантливого Леонида Андреева (после революции 1905 года). В таких произведениях, как «Тюрьма», «Мысль», «Анатэма», одиночество рисуется Андреевым, как наивысшее проявление человеческого духа.

У писателей прогрессивного направления тема одиночества звучит иначе. Горький в образе гордого Ларры осудил идею отъединения от коллектива, попытку личности встать над людьми.

У Сергеева-Ценского тема одиночества получила своеобразное воплощение. Он далек от мысли видеть в отъединении личности от коллектива идеал существования. В отличие от Леонида Андреева, именно в одиночестве людей, по мнению Ценского, источник их беззащитности перед лицом рока. Сергеев-Ценский с большой силой воспроизвел ужасы насилия над человеком, драмы отдельных людей, слабость и одиночество людей перед стихиями. При этом писатель мечтает о лучшей жизни для своих соотечественников. Любовь к родине у Сергеева-Ценского носила тоскующий характер. Хотя это не убивает веры писателя в то, что мир должен когда-то стать другим, светлым и справедливым, но пока что человек у него выглядит слабым и беспомощным. Горький в переписке с Сергеевым-Ценским впоследствии дружески полемизировал с ним:

«Расхожусь я с Вами в отношении к человеку, — писал он. — Для меня он не «жалок», нет. Знаю, что непрочен человек на земле, и многое, должно быть, навсегда скрыто от него, многое такое, что он должен бы знать о себе, о мире и «дана ему в плоть мучительная язва, особенно мучительная в старости», как признался Лев Толстой, да разве он один? Все это так, все верно и, если хотите, глубоко оскорбительно все. И может быть, именно поэтому у меня — тоже человека — к нему — человеку, непоколебимое чувство дружеского любия. Нравится он мне и «во гресех его смрадных и егда, любви ради, душе своея служа, отмечает яко сор и пыль близкия своя и соблазны мира сего». Такое он милое, неуклюжее, озорное и — Вы это хорошо чувствуете — печальное дитя, даже в радостях своих. Особенно восхищает меня дерзость его, не та, которая научила его птицей летать и прочее в этом духе делать, а дерзость поисков его неутомимых и бесплодных. «Не для рая живем, а мечтою о рае», — сказал мне, юноше, старик сектант, суровый человечище, холодно и даже преступно ненавидевший меня. Это он хорошо сказал. Мечтателей, чудиков, «беспорядочных» одиночек — особенно люблю.

Горестные Ваши слова о «жалком» человеке я могу принять лишь, как слова. Это не значит, что я склонен отрицать искренность их. Увы, моралисты! В каждый данный момент человек искренен и равен сам себе. Притворяется? Ну, как же, конечно! Но ведь это для того, чтобы уравнять себя с чем-то выше его. И часто наблюдал, что, притворяясь, он притворяется в мир. Это не игра слов, нет.

Это иной раз игра с самим собой и нередко — роковая игра.

Большая тема «человек», Сергей Николаевич, превосходный художник, отлично знающий важность, сложность и глубокую прелесть этой темы.

Сергеев-Ценский действительно посвятил себя великой и сложной теме — «Человек». Иногда в его творчестве мелькали «улыбки» — вещи, как бы наполненные солнечным светом, но основной тон творчества оставался болезненно-напряженным. Страдания людей ранили сердце писателя. «... Много ли найдется, — замечает Сергеев-Ценский, — среди больших писателей-художников не только в нашей, но и в мировой литературе также, вполне здоровых людей? И не сравнивал ли Гейне поэта с жемчужницей, моллюском, рождавшим жемчуг только тогда, когда в его тело попадала песчинка, причинявшая рану и боль? (Была в старину такая теория происхождения жемчуга)».

Сохраняя свою индивидуальность, Сергеев-Ценский с каждым годом все глубже постигает окружающую действительность, каждое новое значительное произведение его отличается от предшествующего. Чрезвычайный интерес представляют рассказы «Маска» и «Сад». Если в большинстве ранних произведений Сергеева-Ценского основные события происходят под влиянием некоей стихийной могущественной силы, то в рассказах «Маска» и «Сад» показаны реальные носители общественного зла. Автор подчеркивает свое отрицательное отношение к господствующему правопорядку. Именно он мешает жить трудовому народу, создает затхлую атмосферу корыстного собственничества. Его представители первобытны и дикы, и этого даже не может скрыть их внешняя цивилизованность.

Студент Хохлов (рассказ «Маска»), высланный в провинцию за участие в «беспорядках», случайно попал на маскарад в местном клубе, где «было жарко и пахло противной смесью духов и пота». Ему омерзительен этот запах. «Было что-то позорное для человека, рабское, животное в этом запахе пота, бояливо скрашенном духами». На маскараде Хохлов быстро опьянел с непривычки и не мог отличить уродливых масок от настоящих человеческих лиц. Особенно поражает его лицо купца, городского головы Чинникова. «Неотступно идя вслед за купцом, он хотел точно определить, сколько в нем человека и где он спрятан. Ему казалось ясно, что на человека здесь кто-то сознательно наverts толстые бинты, просолил их мясом и жиром, в отверстие рта воткнул хищные зубы, — и вышел Чинников».

«Сними маску!» — настойчиво требует студент.

«Это вы, должно быть, ошиблись, господин студент, это мое, собственное лицо».

Обуреваемый хмелем и яростью, Хохлов бросается на Чинникова и пытается насильно снять «маску». «Сними маску», — кричит он. И когда его выводят из зала, он, с чувством обиды за человечество, недоумевая, все повто-

ряет, обращаясь к окружающим: «Это человеческое лицо?»

Произведения Сергеева-Ценского данного периода раскрывают, что за «стихийная» сила губит людей, рушит их жизненные планы и расчеты. Таинственными «кто-то», «жестокостью» оказываются виновники угнетения народа. Часто встречаются в его рассказах образы людей хозяйственных, трудолюбивых, но в конце-концов терпящих крушение и гибнущих. Таковы Шевардин в рассказе «Сад», Антон Антонович в повести «Движения».

Шевардин, окончив земледельческую школу, не прельщается казенной службой. Он пытается осесть на земле, начав с аренды фруктового сада у священника. Ему кажется, что на земле всем хватает места и главное — труд. Но скоро он убеждается в другом: вокруг села тянутся необозримые пространства земли, но не мужичьей, — панской. Земля величайшего плодородия, а рядом нищета, убогость». Шевардина до глубины души поражает сила привычки в крестьянской жизни, мешающая организованной борьбе с врагами.

«Мне все опротивило, — пишет Шевардин сестре, — и сад, и Татьяновки на том берегу и на этом, и сорок верст графского майората, в котором дохнут от голода мужики, и то, что тут все молчит: и лес, и река, и люди. Главное, молчат люди, — и это меня душил, и хочется мне рявкнуть во весь голос с какой-нибудь высокой точки, ну хоть с монастырской часовни на горе: «Да сколько же еще, — сто лет, тысячу лет, вы будете молчать?»

Кто же настоящий виновник, продавший людей, сделавший их темными и нищими? Помещик и весь уклад, с ним связанный», — отвечает Сергеев-Ценский.

«Огромной и пустой землей владел, неизвестно почему, один человек, такой же, как те люди внизу, но не любивший земли и живущий где-то вдали. И там, где он не знал, что делать с огромной землей, в глубоких трещинах от тесноты задыхались люди. В черных провалах жизни дети сменяли отцов, внуки дедов, и в старых зловонных избах ютились они. А... тот, кто владел огромной землей, окутывал тела дорогих продажных женщин матчовыми соснами своего майората и приезжал сюда только послушать, как трубят охотничьи рога в его лесах».

Шевардин убил графа. Старая мысль о господстве зла здесь перерастает у Сергеева-Ценского в политическую тенденцию. Но, совершив убийство, Шевардин погиб и сам. Больше того, остался он чужд и людям, ради которых решился на убийство.

Постепенно мы видим, что «нечто», приводящее людей к гибели, лишается в произведениях Сергеева-Ценского всякого мистического смысла и раскрывается, как гнетущая общественная сила. И одновременно с этим крепнет оптимизм писателя. Он верит в то, что когда наступит прекрасная, полная смысла и творчества жизнь. Эти настроения высказаны в переживаниях студента Хохлова.

Глядя на ребенка, Хохлов восклицает: «Мы были животными — он будет человеком, мы были каторжниками, прикованными к тачкам, — он будет свободен. Жизни нелепых случайностей и нелепых смертей должен быть конец — я верю. Верю!» «Верю» — основной мотив большинства произведений Сергеева-Ценского. «Верю» называется один из его рассказов. «Ты сначала дослужись до человека, — восклицает писатель. — Человек это чин, и выше всех чинов английских». В этом возвеличении человека Сергеев-Ценский перекликается с Горьким. Источник веры в жизнь будет в творчестве Сергеева-Ценского упорно пробивать себе дорогу и, наконец, выйдет на простор. Утверждение жизни станет впоследствии главным мотивом его произведений. А пока его герои еще мечутся и смотрят на мир широко открытыми от ужаса глазами.

Все творчество Сергеева-Ценского проникнуто напряженными поисками нового содержания и новой формы. Новое содержание писателю давала жизнь, действительность, годы, опыт. Новая форма рождалась в противоречиях, зачастую уводивших писателя с широкой дороги. Такой этюд, как «Береговое», роман «Бабаев» вызывали у читателей недоумение, рождали автора с декадентскими наклонностями в литературе. Создание этих произведений совпадает с общественной реакцией после поражения революции 1905 года. Для широких кругов русской интеллигенции перспектива освобождения была на некоторое время потеряна.

В одном из писем к Сергееву-Ценскому Горький сделал следующее замечание: «В прошлом я очень внимательно читал Ваши книги, кажется хорошо чувствовал честную и смелую напряженность Ваших исканий формы, но не могу сказать, чтобы ваше слово целиком доходило до меня, многого не понимал и кое-что сердило, казалось нарочитым эпатажем». Когда читаешь слова Горького о «нарочитом эпатаже» у раннего Сергеева-Ценского, то сразу же вспоминается роман «Бабаев». Свое предельное выражение модернистские приемы у Сергеева-Ценского нашли именно в этом произведении.

Герой романа «Бабаев», по мысли автора, должен был быть крайним воплощением индивидуализма. В свое время критик Горьфельд назвал его истерическим Фаустом XX века. Это очень снисходительное и благодушное определение. Бабаев не проникнут беспоконным и благородным исканием. Он размышляет, как преступник, перед лицом неминуемой расплаты понимающий, что ему нечего терять. Индивидуализм у него переходит в цинизм.

В тогдешней критике можно найти немало попыток истолковать этот образ, как образ выродившегося «лишнего человека», имевшего в литературе свою большую историю. На самом деле, Бабаев не связан с этим образом. Его можно кое в чем сравнить только с некоторыми героями Достоевского, раскрывшего бездну падения человеческого духа, и предателем Климом Самгиным, героем известного романа Горького. Если «лишние люди», даже

«выродившиеся», достаточно наказали себя своей судьбой, то поручика Бабаева, если бы он жил, надлежало судить беспощадным судом народа.

Бабаев — офицер царской армии, бывший помещик, образованный зверь, садист. Во главе карательного отряда в дни революции 1905 года он жестоко расправляется с крестьянами. В характере Бабаева сочетаются противоположные тенденции: с одной стороны, он верный слуга самодержавия, с другой же — он сам презирает то дело, которому служит.

Философствующий мещанин предстает перед нами в роли искателя смысла жизни, больше того, не имея на это широкого права, ее судьей. «Смысла хочу» — зывает Бабаев, становясь в позу обличителя неразумного мира сего. «Почему облака, как горы жемчуга, когда на земле трупы? Почему есть еще вопрос «почему?», когда нет и не будет на него ответа?» — стонет и ноет испуганный Бабаев и, как бы повинувшись мрачной силе, увеличивает число преступлений на земле.

Писатель хотел соединить в Бабаеве два антагонистические начала: сделать из него обличителя темных сил и общественной несправедливости и вместе с тем представить воплощением этих же темных сил, циничным и жестоким воплощением зла.

Но это ему не удалось.

И дело тут не только в патологичности самого образа Бабаева, в литературно модернистских влияниях, сказавшихся на этом произведении. Полусумасшедший Бабаев не просто пародия на человеческую трагедию. Это в какой-то степени порождение мертвенности той среды, которая в эпоху самодержавия поставляла карателей в физическом и духовном смысле. У таких, как Бабаев, нет ни родины, ни близких, ни веры в бога, ни веры в себя, словом — нет никаких жизненных целей. За этим неминуемо следует распад сознания и автоматизм действий. В эпоху революции, когда у господствующих классов почва колеблется под ногами, Бабаев особенно остро почувствовал свою обреченность. У Бабаева есть нечто общее с Климом Самгиным. Но Горький не делал своего героя одновременно олицетворением и зла, и правды.

III

Язык Сергеева-Ценского уже с первых его произведений — яркий и выразительный. У литературы конца XIX и начала XX века была заметная склонность к натурализму. Сергеев-Ценский всячески избегал плоского бытописательства. Стремился уйти от повседневности, писатель порой впадал в крайности. Проявлялась необычайная изоциренность стили, когда многое попросту становилось недоступным для обычного человеческого восприятия.

Психологический излом в характере героя влечет за собой и словесную вычурность. Особенно резко видна она в «Бабаеве», «Береговом». Рука полкового врача выглядит «очень робкой, застенчивой, как красная деревенская девка, которая, фыркая и конфузясь, прячется

иногда в приподнятый фартук». «Солнце «хочет» и «качается, как цирковой акробат». У сумасшедшего голос «повисает в темноте, сверкая как сталактит». Проститутка поет «голосом, как молитва, имеющая запах». «Пахнет зеленой травой, когда садится солнце». На баррикадах голос батальонного командира «распластался, как жаба на воде». Но в этом же романе есть и замечательные образы, характерные для творческого мышления Сергеева-Ценского, как, например, «огромная мужицкая забота, которая никогда не ложилась спать».

Напряженно шли «отчаянные поиски формы» (Горький). Они развертывались во всех направлениях, порой отклоняясь от правильного пути. Для некоторых ранних произведений Сергеева-Ценского характерна крайняя отвлеченность образов. Когда появился этюд «Береговое», критика единодушно высказала о нем свое отрицательное мнение. Сергеев-Ценский ответил критикам в журнале «Лебедь» (1908, № 1). Из его ответа выяснилось, что автор в то время сам ставил себе отвлеченные задачи и не только в этом, но и в других написанных тогда произведениях. «Я ушел из условной реальности в область красок. Из привычных точных понятий в область сравнений, сближений, намеков. Это потому, что такова была моя художественная задача». Что хотел сказать автор? — так обыкновенно спрашивает рецензент.

Автор просто впитал в себя груды красок и солнца, выложил их сырьем на холст и развеял эти холсты по комнате. Но надоела автору эта комната, и он, насколько мог, замаскировал ее стены.

«Я просто художник», — утверждает писатель. О «Береговом» он говорит так: «Горы — мужское начало, море — женское. Береговое — прибой. Две стихии, два пола вечно тянутся друг к другу, чтобы понять и остаться несменными: вечно рядом и вечно одни... Конструкция «Берегового» та же, что и «Лесной топи» — постепенный подъем, вершина, падение вниз. Между постепенно нарастающим стремлением друг к другу двух стихий и двух людей проведена, может быть, даже очень грубо, аналогия и, несмотря на грубость, она не была замечена критикой. Критика с каким-то сладострастием отметила, как были описаны у меня мужчина и женщина в «Береговом». О, конечно, я должен был сказать точно, «бронет, нос умеренный, жилет с полосками», «блондинка, молодости не первой, дорожный костюм». А я сказал: «У него было лицо, как широкая захолустная улица, днем, летом... У нее лицо было, как сеть узеньких тупиков и переулков».

Сергеев-Ценский шел непроторенными дорогами и всегда и всюду старался сказать свое собственное слово. Дерзания сопровождалась ошибками. Сергеев-Ценский знал и муку разочарований. Но писатель не падал духом от упреков, как и не поддавался похвалам из среды незванных единомышленников в области формы — модернистов, а все глубже познавал мир, неуклонно двигался вперед.

В ранних произведениях его речь зачастую

нарочито вычурна. Автор не всегда соблюдает чувство меры. Потом на время он уходит в мир изысканных, изломанных образов.

Бросается в глаза стремление во что бы то ни стало быть непохожим на других, во что бы то ни стало избежать стандарта.

Сергеева-Ценского часто сближали с декадентами. Однако и раннее его творчество всегда легко отличить от творчества декадентов. Он писатель жизнелюбец. За изломанным миром героев в его произведениях всегда ощущается мир самого художника, непосредственного и здорового человека. Один из первых критиков Сергеева-Ценского метко сказал, что писатель принадлежит к тем, которые способны «жизнь полюбить больше, чем смысл ее». Именно такая любовь обнаруживается в любовании красками мира. Неустанные поиски нового содержания, основанные на постепенном постижении действительности, приводят Ценского к все большей вещественности и конкретности изображения.

Вначале Сергеев-Ценский восстал против серости и обыденности натурализма потому, что плоскость и прямолинейность, свойственные этому направлению, лишали художника возможности выразить свое представление о конфликтах действительности, свой кипучий мир. Но в то же время отвлеченность символизма, весьма удобная для выражения неопределенного, мятущегося дисгармонического мировоззрения, не могла удовлетворить Сергеева-Ценского, глубоко любящего природу, окружающий его живой мир. Элементы символического, своеобразного импрессионизма дополнены поэтому у писателя моментами реалистического изображения. В раннем Сергеева-Ценском встретились и причудливо сочетались различные литературные манеры. И это закономерно. Художник, любящий мир, не мог не прорываться к реализму.

На длительное время Сергеев-Ценский определился как яркий и своеобразный импрессионист. Импрессионистическое восприятие мира давало простор в живописании мгновенных психологических состояний. В то же время рамки импрессионистической манеры были слишком тесными для воплощения явлений в полном их объеме и целостности. Импрессионист всегда запечатлевает мгновенное состояние. Естественно, что в живописи это направление оставило гораздо более значительный след, нежели в литературе, призванной показывать движение в социальной жизни, ее изменения, развивающиеся человеческие характеры.

Сергеев-Ценский сплошь и рядом выступает именно, как живописец, перенося в литературу приемы импрессионистической живописи. Изобразительность у него достигает высокого совершенства, особенно в зарисовках пейзажа.

Однако на самом тончайшем словесном произведении цвета и объема нельзя построить изображение социального процесса, дать ответ на глущие вопросы бытия. Яркости импрессионистического воспроизведения внешнего мира, его цветов и оттенков всегда сопутствуют неясные намеки в определении дей-

ствий и чувств человеческих. Импрессионизм в литературе неизбежно сопровождается отвлеченными символическими обозначениями в области переживаний героев. Внутренняя выразительность и определенность образов отступает перед яркостью внешних красок. И не случайно в ранних вещах Сергеев-Ценский вынужден прибегать к сентенциям обнаженно объясняющего характера, тенденциозным обобщениям, должным раскрыть мысль произведения.

Писатель в то время ставил перед собой прежде всего задачи самого искусства. Идеал политический у него не был определен. Лишь постепенно, с течением времени художник все более и более проясняет его. Творческий путь Сергеева-Ценского был в высшей степени плодотворен и плодотворен потому, что он определялся прежде всего непрерывным исканием и высоким непрерываемым интересом к жизни.

Сложность этого пути и писательского облика Сергеева-Ценского хорошо охарактеризовал Горький в предисловии к переводу 1-й части «Преображения» на мадьярский язык:

«Человек оригинального дарования, он первыми своими рассказами возбудил недоумение читателей и критики. Было слишком ясно, что он непохож на реалистов Бунина, Горького, Куприна, которые в то время пользовались популярностью, но ясно было, что он не сроден и «символистам» — несколько запоздалым преемникам французских «декадентов». Подлинное и глубокое своеобразие его формы, его языка и поставило критиков, — кстати сказать, не очень искусных, — перед вопросом: кто этот новый и как будто капризный художник? Куда его поставить? И так как он не вмещался в привычные определения, то критики молчали о нем более охотно, чем говорили. Однако это всюду обычное непонимание крупного таланта не смугило молодого автора. Его следующие рассказы еще более усилили недоумение мудрецов. Не помню, кто из них понял — и было ли понятно, что человек ищет наилучшей, совершеннейшей формы выражения своих эмоций, образов, мыслей».

Творческие шатания Сергеев-Ценский преодолевает своим путем. Он не становится приверженцем какой-либо новой политической доктрины. Определенная социально-экономическая программа у него отсутствует.

Сама действительность разгоняет туман отвлеченности в его творчестве и проясняет его содержание. Все сильнее ощущаю, что в мире присутствует не один злой мрак, а творчество, и радость, и солнце. Писатель говорит уже не только о трудности существования людей в старом обществе, но и о просторах вселенной.

«Есть какая-то на земле своя солнечная правда, — человеку этого не дано знать, — человек только чувствует это смутно, когда вдруг возьмет да поверит сказке о том, например, что никогда не разлюбит, никогда не состарится, никогда не умрет. Сядьте здесь, на большой высоте над морем, избойте голову, как это делают птицы, тогда все вам покажется новым; забудьте, что влево верст за сто такой-то город, вправо верст за сто — та-

кой-то: пусть будет только светлое яркое море перед вами, и на море вон один, вон другой, вон третий, точно в другом мире — так далеко, как лебеди белые, белеют баркас-парусники. Крикните им вдруг: «Эй, кораблики!» Громче кричите: «Эй, кораблики! Вы куда это плывете, кораблики?» Пусть они выплыли из какой-нибудь зачарованной страны, пусть плывут они в страны, совсем несельжанские, пусть паруса у них вечные, матчи вечные, матросы вечные... Пусть не будет хотя бы для них одних так обидно мала земля...»

IV

Повесть «Печаль полей», напечатанная в 1909 году, знаменует собой начало перелома. В ней продолжены жизненные и творческие искания Сергеева-Ценского. Рассказывается о повседневной жизни помещичьей усадьбы. Грустно и безотрадно существование ее владельца Ознобишина и его жены, бесплодной, рожающей мертвых детей.

Они хотели бы продолжить себя во времени, и это не удастся. Печаль человеческая как бы является отзвуком на печаль полей, бесплодных от засухи. Несчастлива жена Ознобишина изнывает в тоске о ребенке, но ее мечта не сбывается.

Все начинания Ознобишиных бесплодны: но зато крепко выросли корнями в землю, не думающие о философии жизни, такие люди, как Никита. Они так же, как природа, спокойны и бездумны: «Жили, точно совершали старинный обряд».

Сюжет повести «Печаль полей» очень прост, но ее лирическое содержание поражает своим богатством. Безрадостна судьба ее героев, но вся повесть воспринимается, как широкая звучная русская песня, грустная, но яркая и полная любви. Лирические отступления в «Печали полей» написаны рукой истинного поэта.

«Поля мои! Вот я стою среди вас один, обнажив перед вами темя. Кричу вам, вы слышите? Треплет волосы ветер, — это вы дышите, что ли? Серые, ровные, все видные насквозь и вдаль, все — грусть безвременья, все — тайна, — стою среди вас потерянный и один».

Детство мое, любовь моя, вера моя! Смотрю на вас, на восток и на запад, а в глазах туман от слез. Это в детстве что ли, в зеленом апрельском детстве, вы глядели на меня таким бездонным взором, кротким и строгим? И вот стою я и жду теперь, стою и слушаю чутко, — откликнитесь!

Я вас чую, как рану, сердцем во всю ширину вашу. Только слово, только одно выжитое слово, — ведь вы живые. Ведь вашу тоску глаза я уже вижу где-то, — там на краю света. Только слово одно, — я слушаю... Нет! Передо мною пусто, и вы молчите, и печаль ваша — моя печаль.

Поля — страдальцы, мои поля, родина моя, — я припаду к сырой и теплой груди твоей и по-ребячески крепко, забыв обо всем, целую».

В свою любовь к родине писатель привносит много печали. Печальны поля потому, что еще они не оплодотворены радостной творческой

жизнью людей. Народ еще не выведен на дорогу счастья и прозябает в нищете и темноте. Все томится в каком-то предчувствии. Земля, поля еще не разродились всеми своими богатствами, мощью, энергией.

«Над полями, уползающими за горизонт, опоясанными длинными дорогами, логами, узкими оврагами, неслышно и невидимо, но плотно и тяжело повисло нерожденное. Что-то хотела родить земля, — что? — не леса, не горы, не тучи, — что-то хотела родить и не могла.

Прижались к ней, здесь и там усадьбы, деревни, села, расстертанные на пустом просторе, робко подняли позолоченные головы церкви, принесло откуда-то с ветром и посеяло песни, унылые, как ветер, широкие, как поля, и пошла, шатаясь, эта голая, ничем не прикрытая жизнь изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, — одна и та же».

Повесть построена на противопоставлении двух начал. Первое — вырождающиеся образцованные помещики Ознобишины, чуждые полям, стране, не имеющие ни сил, ни надежд для дальнейшего существования. Второе — трудовой народ, пока еще темный и вросший в землю, как былинный богатырь, но могучий и полный жизненных сил. Олицетворение мощи и скванности народа — силач из деревни Большая Дехтянка, Никита, существо могучее, темное, пашущее, сеющее, собирающее урожай, — плодотворец полей. Тяжел его ум, однообразна песня, но «поля понимали Никиту, и Никита понимал поля». Впервые у Сергеева-Ценского появляются в этой повести рабочие русские люди — плотники, штукатуры, каменщики, нарисованные свежо и ярко.

В отличие от трудового народа, близкого земле, черпающего, как Антей, новые силы в повседневном труде на полях, Ознобишины во всех отношениях бесплодны и лишни. Могучее плодородие земли — фон, еще более оттеняющий их бесплезность и ненужность. Они не оплодотворяют землю трудом и не могут слиться с природой, участвовать в ее животворящем круговороте. Анна Ознобишина стремится к этому слянино, но оно ей не дано, так как она чужда творчеству, принадлежит к паразитической общественной группе.

Для раннего Сергеева-Ценского типична бросающаяся в глаза неуравновешенность и психологическая изуродованность персонажей. Психика его героев болезненно обострена, преувеличенно подчеркнута в своих проявлениях. Это объясняется непрочностью их положения в жизни.

«Печаль полей» тоже до некоторой степени отмечена психологической исключительностью героев. Они смотрят на мир болезненно расширенными глазами. Как бы после длительного пребывания в темноте, обычный дневной свет больно ударяет по нервам, и обычные предметы и поступки представляются особенными, исполненными таинственного смысла. Патологически обостренная восприимчивость героев Сергеева-Ценского смещает обычные отношения предметов, поднимает незначительное до большого и, напротив, существенное часто оттесняет на задворки.

Вещи, предметы неодушевленного мира начинают двигаться, вести себя, как живые существа, приобретают человеческие свойства. А люди, их проявления, поступки иногда окостеневают, предстают в застывшей форме. Все это придает своеобразную окраску его произведениям. Например, в статье Л. Редько «О С. Сергеева-Ценском» («Русское богатство», 1907, № 11) приведен целый ряд примеров подобного характера: «Белые кровати тихо дыбились»... звуки маятника «ложатся рядом с мальчиком в постель». Высокая часовня на площади «ползет в небо», а минареты в него целятся, у ночи «белый глаз» и «тоненький утиный язычок», которым она через замочную скважину грозит мальчику. Ночь «плет» дневные краски... В тишине чудится замогильный голос, «сседающий тишину»... Пятна света «глотают темноту» и притом — автор считает нужным подчеркнуть это — совершенно «беззвучно», то-есть так, как это делают за столом люди».

Подобное смещение привычных отношений людей и предметов, стремление к одушевлению вещей встречаются очень часто у поэтов XX века, в частности, у Блока и несколько позже у раннего Маяковского. Вещи, дома, мосты показаны, как сила живая, враждебная человеку, торжествующая над ним. Этим приемом подчеркивались вмешательство мира вещей в человеческие отношения, зависимость от них человека в старом обществе. Сергеев-Ценский, как и эти писатели, восстает против угнетения человека вещами. Но чаще у него активным фактором по отношению к людскому существованию выступает не городской быт, как у Маяковского, а природа. Писатель выступает певцом гармонического слияния человека с природой, как основной созидательной творческой деятельности, мощной и устойчивой.

О природе Сергеев-Ценский говорит много и вдохновенно. Описания ее у него превращаются в неудержимые восторженные гимны ее красоте. Прозаическая речь приобретает при этом эмоциональность поэтической; так же произведения, как «Печаль полей», напоминают стихотворения в прозе. Эмоциональность эта придает особый ритм всем произведениям, подчеркиваемый как бы заимствованной из музыки темой единой мелодии. Зависимость человека от природы Сергеевым-Ценским художественно воплощается способом психологического импрессионизма. Духовная жизнь героев, внутренний замысел всего произведения раскрывается писателем обычно с помощью пейзажа, призванного прояснить психологические переживания и настроения. Рисую драму индивидуума, Сергеев-Ценский находит параллели в природе. Человек и окружающий мир предстает перед нами как единое целое.

Много писали о пансихизме Сергеева-Ценского. Внешние основания для этого имеются. Действительно, человек часто у него теряет свои социальные черты. Жизнь, всегда обновляющаяся, вечная, поглощает в своем течении отдельное, индивидуальное существование. Личная человеческая судьба не влияет на кру-

говорит жизни; природа рождает и вновь возвращает к себе отдельных людей. Человек — часть природы, неразрывная, живущая единым с ней дыханием. И чем полнее это слияние, тем герой непосредственнее, сильнее, цельнее. Такая непосредственность и сила выражены в образе Никиты, чуждого волнениям культурного общества. Правда, герой этот интеллектуально совершенно первобытен, и в этом отрицающей сторона идеала человека, не отделяющего себя от природы.

Ценский не мог наделить единой закономерностью человека и природу: слишком большую дисгармонию он видел в человеческом сознании и жизни. Но он всюду подчеркивает и благотворительную власть природы, предупреждающую иногда людские катастрофы, внушающую людям волю к жизни. В отличие от героев декадентской литературы, героев Андреева и Арцыбашева, люди у Сергеева-Ценского умирают неохотно, сдают себя, «как хорошо защищенную крепость». Природа так прекрасна, что от нее трудно, почти невозможно уйти. В повести «Печаль волей» утомленному и несчастному Ознобишину приходит мысль о самоубийстве. Ночью, в спальне, ему представляется она «таким удивительно простым, что можно поставить ружье прикладом на носок левой ноги и нажать курок носком правой, а карточь встретить открытым ртом». Когда же Ознобишин выходит из спальни в блистающий роскошными зимними красками сад, то его план оказывается невыполнимым. Слишком дорог и хорош мир: «Ознобишин всмотрелся во все так внимательно, нежю, спокойно, как глядят, прощаясь, и только теперь почувствовал, как глубоко любит он землю: и утро, и снег, и кудлатого пса, и петуший крик, и ружье с витыми стволами. Точно повернулась какая-то ручка двери и открыла: повисли на сучьях лиловые облака, каких никогда не было раньше; говорилась сказка, которую говорит земля только детству, окутала душу теплотою, мудростью и неясным светом, при котором виднее вглубь, и Ознобишин понял, что не может курка пальцем правой ноги, что нельзя этого сделать в такое утро».

У Сергеева-Ценского действительность предстает в разнообразии и предметов, и красок, и речи. Эта любовь к подлинному, не обедненному миру и явилась для писателя точкой опоры в его исканиях. Он настоятельно тяготеет к солнечному, яркому, подчеркивающему неумолимую деятельность природы, ее творческое начало.

Природа у Сергеева-Ценского жива, она проявляется в своей непосредственности и богатстве красок. Времена года — весна, лето, осень, зима — проходят перед читателем естественно, в своем настоящем облике. Взыскательный художник подмечает самые сокровенные оттенки утра, полудня, вечера, солнечного и пасмурного дня.

Описывая пейзаж, Сергеев-Ценский открывает невиданные красоты русской природы.

У него отсутствуют стандартные определения цветов, запахов. Луг у него не всегда зе-

леный, поле не всегда золотистое, снег — не всегда белый. Вездеи всегда тщательно наблюдается сложное взаимодействие красок и оттенков в зависимости от местоположения, времени дня, освещения. Если Сергеев-Ценский рисует поле утром, то это поле утром. Для полдня и вечера у него найдутся другие краски. Пасмурная погода дает свои оттенки, солнечная — другие.

«Снега лежали палевые, розовые, голубые, — пишет Ценский. — Палевые они были на плоских низинах, розовые — на взлобьях, голубые — под карнизами сугробов.

Все в густом синем инее, липы возле дома стояли пухлые и важные, — боялись пошевелинуться. Галки на их верхушках чернели нахоленные и строгие и никуда не улетали, хотя внизу и ходили люди. Снег был густой, холодный и протяжно мурлыкал под ногами. Пахло снегом».

Многие упрекали Сергеева-Ценского именно за то, что снег у него не всегда белый. Это несправедливый упрек. Подлинный художник не может ограничиваться стандартными определениями цвета или звука. Он обязан углубиться в гамму оттенков. Тонкости цвета переданы Сергеевым-Ценским с неподражаемым искусством. Недаром в начале своего творческого пути он колебался — стать ему живописцем или литератором. Было избрано поприще словесного искусства, но и на нем Сергеев-Ценский остался художником-живописцем. Мало сказать, что он мастер пейзажа: его пейзажи нечто большее, чем поэтические описания, перед нами живое ощущение воздуха, цвета, запахов, пространства.

Мастерство пейзажа у него питается прелестной русской природой. Он — ее вдохновенный изобразитель. И нарисовав ее в незабываемых красках, он сделал большое патриотическое дело, заставив нас еще больше любить прекрасный пейзаж нашей родины.

V

Отрешившись на время от живой действительности в ее вещественности и конкретности, многие русские литераторы очутились как бы в безвоздушном пространстве и вскоре начали испытывать невозможность дальнейшего творческого развития. Сергеев-Ценский оказался одним из первых художников, неудовлетворенных символистической отвлеченностью. В художественном воззрении писателя происходит резкий поворот. Повесть «Движения» свидетельствует о возрождении реализма в его творчестве. Сергеев-Ценский сближается с неореалистами. В «Движениях» гораздо меньше вычурности, нежели в предшествующих произведениях, мир здесь нарисован более выпукло и рельефно, иногда даже, можно сказать, скульптурно. Ясность и отчетливость рисунка не лишают, однако, повесть того лиризма, который характерен для других произведений Сергеева-Ценского. Попрежнему сталкиваются в ней два противоположных начала: здоровое жизнеутверждение, неиссякаемые поиски радости и

ощущение тяжелой неустроенности человеческого существования.

Бедствия героя повести «Движения» Антона Антоновича имеют вполне реальные причины: они скрыты (и находятся) в существе самого героя. Чуждая сила окружающих обстоятельств, случайности теперь уже не таинственные роковые силы, приходящие извне.

Помещик Антон Антонович, обрусевший поляк, — энергичный, полный сил человек. В его характере много привлекательного, главное — он любит дело, и дело у него спорится. Он — вдохновенный поэт хозяйствования, отдающий ему всю душу. Движение, деятельность — девиз его жизни. Фигура Антона Антоновича обрисована в высшей степени выразительно: читая повесть, словно видишь перед собой этого неутомимого, жизнерадостного человека. «Горбом, как сказать, — горбом собственным» нажил... Энергией состояние, как сказать... Все! До единой копейки все, вот, з кулака... Мальчишкой из Кракова через границу пешком пришел: аттестат з училища садоводства, как сказать, сумка вот так сбоку»...

Пятьдесят семь лет жизни Антона Антоновича прошли в бесперывном движении. Нажил миллионное состояние: «ни одной точки не было ленивой, спокойной, усталой во всем его теле». Все время было занято кипучей, не знающей перерыва работой. О ней он говорит с восторгом: «Ро-бо-та! О-о, это большое дело, как сказать!.. Человек ро-бо-тай, лошадь ро-бо-тай, дерево — роботай, трава растет, как сказать, — и траву в роботу, — гей-гей, шоб аж-аж-аж!.. Прело, горело, чтобы пар шел! Вот как надо, добрейший мой!» Даже своих трех сыновей он любит главным образом за то, что они призваны продолжить начатое им: в них он видит только как бы продолжение своей собственной жизни.

Творческая сторона деятельности Антона Антоновича, его трудолюбие, энергия характеризуют жизнеутверждающее начало. На первый взгляд кажется: Сергеев-Ценский своей повестью стремится утвердить, что сущность жизни в том движении, которое заполняет душу его героя. Но с каждой новой страницей все более и более ощутимо доходит подлинный авторский замысел: показать призрачность, никчемность, беспочвенность этого «движения», деятельности Антона Антоновича.

Странное беспокойство овладевает Антоном Антоновичем, когда он, продав свое старое имение на Украине, покупает новое огромное имение в Прибалтике, Анненгоф. Был «страшен продавец имения, человек лысый, с лица желтый, точно костяной, глаза впалые, серые, не смеялся, даже не улыбнулся ни разу, ходил тихо, без скрипа, без стука». Темная сила предстает также в лице соседа по украинскому имению — мошенника Венедияна, — организующего поджог, в котором обвиняют Антона Антоновича. Суд приговаривает героя к тюремному заключению. Наступает жизненная катастрофа. «Движение» останавливается. Стоило жизни Антона Анто-

новича сойти с привычного пути, как сразу же обнажилась ее обманчивость. Тяжелый удар не только губит Антона Антоновича, но и заставляет его по-иному оценить свое прежнее существование. Из жизнерадостного дельца он превращается в запуганного созерцателя. Раньше он не задумывался над своей судьбой и еще меньше испытывал жалость. Теперь у него «показывается откуда-то жалость, непонятная жалость к себе, только к себе, к своим рукам, к каждому из пальцев, на которых такие привычные, свои, круглые ногти... А когда выпал первый снег и прынул в глаза яркими на солнце извивами, полотнами, пятнами, и заиндевели и поднялись отовсюду розовосиние, легкие, как горы, леса, Антон Антонович почувствовал в первый раз холод, — не тот прежний зимний холод, от которого кричали бревна изб, а на душе было радостно и в теле крепко, — а другой, новый, откуда-то изнутри идущий».

События в повести раскрывают символику ее заглавия: стремление к жизни сталкивается с ее эгоистической целью, и терпит крах, не дает удовлетворения. С большим художественным мастерством дана картина смерти Антона Антоновича. В ней отчетливо проявилось стилистическое своеобразие повести. Точность бытовых реалистических деталей сочетается с лиризмом изображения. Социально-экономическая сторона человеческого бытия занимает в этой повести очень большое место. Характер истолкования действительности в этой повести роднит Сергеева-Ценского с прочными традициями русского классического реализма. Критика ее писателем даже в то время имеет иной оттенок, нежели литераторов-пессимистов, в таком изобилии расплодившихся после поражения революции 1905 года. Автор «Движений» не приходит к представлению жизни как безнадежной пустоте, от которой нечего ждать лучшего. Нет. По Сергееву-Ценскому, причина несчастий многих людей и их неудовлетворенности зависит от узости и ограниченности их представлений, от их узкой, эгоистической, накопительской деятельности.

Сергеев-Ценский непримиримый враг духовного убожества и мещанства. Разочарования, катастрофы в жизни накопителей служат писателю для обличения мелочности или эгоистичности представителей этого образа жизни. Бесцельное существование мстит за себя. Одних людей губит жестокость жизни, другие же сами губят себя, выбрав неверный путь, умертвив в себе лучшие человеческие чувства, порвав связь с окружающим. Они воспитали в себе эгоизм и черствость и, несмотря на материальное благополучие, им тоже нет места в жизни. Писатель старается раскрыть людям глаза на неполноценность узко эгоистического существования. Непонимание человеком бесплодных эгоистических взглядов и эгоистических целей жизни является, по его мнению, одним из самых страшных проявлений мира угнетения. И осуждая такого рода существование, писатель по-своему борется за иное творческое отношение к миру, за то, чтобы интересы че-

ловека были слиты с родиной, с интересами миллионов других людей.

Подлинно реалистическое начало в повести «Движения» меньше всего следует доказывать бытовыми реалистическими штрихами. Рождающийся реализм присутствует в самой логике развития образа Антона Антоновича. Как ни скептически Сергееву-Ценскому Антон Антонович, он не идеализирует столь близкого ему героя.

Писатель, вечно ищущий, не мог примириться с действительностью, представленной хотя бы и Антоном Антоновичем, жизнь которого лишена всякого подлинного творчества. «Работа» Антона Антоновича, составлявшая пафос его непрерывного «движения», ведь не приносила никому пользы и радости. В сознании этого и заключен весь трагизм последних дней Антона Антоновича. Суд и его последствия в конце-концов лишь побочные обстоятельства. Энергичный человек мог бы и должен был бороться, если бы сохранял внутреннюю уверенность в своем деле и в себе. Несмотря на то, что все время Антон Антонович строил, наживал миллионы, работал, он был мертв духом. У него не было жизненного идеала, и он задохнулся в пустоте. Лишь благодаря внешним обстоятельствам он смог задуматься над своей жизнью и, когда сделал это, то необходимость всех его «движений» оказалась очевидной и ужасной.

Раскрыв эту сторону существования Антона Антоновича, Сергеев-Ценский проявил себя как настоящий реалист. Писатель еще не отказался от идеи неведомого, гнущего людей в дугу, но вместе с тем как бы говорит нам: «Рок сила большая, но ведь само существование Антона Антоновича дало повод для его вмешательства». Приобретательство стало движущим стимулом существования героя, засушило его чувства, стремления, сделало ничтожными мысли и потребности. Он равнодушен к настоящей жизни, убил в себе человека с большой буквы. И потому гибель и бедствия его уже не кажутся несправедливыми и случайными, а закономерными и отчасти заслуженными.

«Медвежонок» по содержанию близок к «Движениям»: в обоих произведениях главной является мысль об обреченности людей, живущих только собой. Но в повести «Медвежонок» также властно заявляет о себе полным голосом «солнечная правда земли». Она еще более ощутима в дальнейших произведениях — в повести «Недра» и особенно в небольших рассказах «Небо» и «Ближний». В «Недрах» изображена здоровая простая жизнь, необходимый, но мирный конец бабушки в ту пору, когда в сердце любимой внучки зажглась любовь. Жизнь бессмертна, смерти сопутствует предвстник нового существования — любовь. Со времени написания «Бабаева» в писателе произошла большая перемена. На первый план в его произведениях выдвигается светлое, жизнеутверждающее — гуманистическое, еще попрежнему переплетается с реалистическим, но она отходит на второй план.

С наибольшей силой реалистическое начало

проявилось в повести «Пристав Дерябин», одном из наиболее значительных произведений этого периода. В нем Сергеев-Ценский отказывается от символики, приходя к строгому реалистическому повествованию. Дерябин — пристав, конкретный носитель социального зла. Он многим сходен с Бабаевым. Но писатель не наделяет Дерябина вычурной раздвоенностью последнего. Ясно и определенно лицо этого несправедливого врага народа. В этой же повести впервые в творчестве Сергеева-Ценского появляется образ прогрессивного и честного интеллигента, правдоискателя. Его Кашнев — прямой предшественник Ливенцева, основного героя эпопеи «Преображение» и Матийца, героя повести «Наклонная Елена».

Роман «Бабаев» был направлен против царизма: в нем писатель пытался раскрыть мертвенность полицейской основы самодержавия. Однако изощренность и противоречивость характера героя во многом затеняли основной смысл романа. И, естественно, он был встречен критикой неодобрительно. Реалистически написанный «Дерябин» вызвал полное одобрение передовых общественных кругов. Большевистская газета «Путь правды» в статье «Возрождение реализма» с удовлетворением отметила эволюцию Сергеева-Ценского к реализму: «Даже Сергеев-Ценский, — писала она, — один из бывших и несомненно наиболее талантливых русских декадентов — ныне определенно идет к реализму. Свообразным жизнерадостным мировоззрением прикинуты все его последние произведения»¹.

О каких же последних произведениях шла речь? О повестях «Движения», «Недра», «Медвежонок», «Пристав Дерябин», «Наклонная Елена».

В повести «Наклонная Елена» писатель решительно отказывается от присущего большинству литераторов того времени пристрастия к мрачным концовкам. Смерть уже не представляется ему важнейшим атрибутом действительности, напротив, воля к жизни выступает на первый план. Если в большинстве ранних произведений Сергеева-Ценского равномерный ход относительно благополучного человеческого существования неизбежно приводил к катастрофе, то в «Наклонной Елене» ситуация иная. В ней нашли свое открытое выражение приглушаемые ранее элементы жизнеутверждения.

Необычно само начало повести. Она начинается с того, чем обычно кончались прежние вещи Сергеева-Ценского. Герой повести молодой инженер Матиец решил покончить с жизнью. Определены даже день и час, когда должны быть сведены последние счеты. Но всего за несколько минут до того, как должен быть спущен курок револьвера, Матиец встречается с угрозой смерти извне: его пытаются убить уволенный им с работы за грубость пьяный рабочий Божок. И инженер яростно борется с ним. В предсмертный час он инстинктивно ощутил ценность жизни.

¹ «Путь правды», № 5 от 26 января 1914 года.

Писатель далек от идиллического представления о действительности. Она — сурова и неприглядна. Герой «Наклонной Елены» мучается не вследствие каких-либо надуманных коллизий, чем грешили персонажи некоторых ранних произведений Сергеева-Ценского. Решение о самоубийстве у Матийца вызвано, кроме личных неудач, главным образом ужасным положением рабочих, шахтеров-угольщиков. («Наклонная Елена» — название шахты, где он работает.)

Рабочий Божок имеет много общих черт с Никитой из «Печали полей». Сильным и грубым, им чужды искусственные и ненужные сомнения, разобщенность с жизнью. Они сростись с полями и заводами, они сила, они будущее. Божок более человечен, автор старательно подчеркивает в нем положительные черты. Последовавшее за покусением знакомство с Божком, общение с ним заставило Матийца иначе посмотреть на жизнь. Он начинает понимать, что пребывание на земле прекрасно, что надо работать для окружающих, внести свою лепту в общее человеческое дело. Такие мысли совершенно чужды большинству прежних персонажей. В письме к матери Матийец рассказывает о своем перерождении. Он «мало писал о том, что с ним произошло, но зато много говорил о будущем. У него появилась какой-то неожиданный подъем, странная какая-то уверенность в том, что будущим он вполне владеет, и отсюда ясность и спокойная твердость слова».

Но почувствовать себя хозяином будущего не значит ли возмужать? И даже, когда он писал о какой-то «поэзии труда, прубого, — грубейшего земного труда», в которую он поверил теперь, то и это в его письме не казалось пустой модной фразой: было видно, что он что-то нашел прочное, и, пожалуй, у него уж действительно больше не «забурится вагон».

«Наклонная Елена» обозначала новый шаг в поступательном движении творчества Сергеева-Ценского, была новой вехой на пути становления его реализма.

«Наклонная Елена» — внесла идею творческого труда, творческих исканий как основного условия человеческого существования. Поэзия труда несомненно присутствовала и в ранних его произведениях. Она-то и составляла их основное достоинство. Но в ранних вещах человеческий труд изображался главным образом, как антитеза слепой разрушающей силе случая. В «Наклонной Елене» труд представлен как цель людского существования, как главное оружие человека в борьбе с природой, в чем и заключается основное содержание жизни, ее смысл. Это огромный шаг вперед в мировоззрении писателя.

Представление о фатальной обреченности человека, обобщение зла в образе иррациональной темной силы отныне исчезает в творчестве Сергеева-Ценского. Исчезает вместе с ними и отвлеченная символика в изображении явлений.

В «Наклонной Елене» проявляется еще одна сторона таланта Сергеева-Ценского: большая

наблюдательность и способность овладевать в совершенстве новым конкретным материалом. Горький, прочитав «Наклонную Елену», решил, что автор ее — горный инженер. Об этом рассказывает сам Сергеев-Ценский так:

«Я не бывал раньше на Ай-Петри, и меня естественно занимали каменные породы, какие здесь встречались. Заметив это, Алексей Максимович обратился ко мне с улыбкой:

— Давно уж догадывался я, что вы — горный инженер, — ведь так?

— Совсем не так! И почему именно вы пришли к выводу, что я — горняк? — удивился я.

— А как же вы, не будучи горным инженером, могли написать свою «Наклонную Елену»? — в свою очередь удивленно спросил Горький.

Пришлось мне рассказывать, как я писал «Наклонную Елену», проведя для этого всего только два дня в Макеевке, в 1913 году: трудно было в те времена не только опуститься в шахту, но и прожить дольше в шахтерском поселке, так как шахты здесь принадлежали бельгийцам и усиленно охранялись от всех посторонних русской полицией».

Настойчиво пробиваясь писатель к всестороннему изображению жизни. С трудом, но решительно он оправился от болезней модернизма. Восклицание «Верю!» некогда звучало у него, как мучительный крик человека, рвущегося на простор, но затерявшегося во мраке. Теперь писатель вышел из мрака в солнечный мир. Безликим и жестоким казался ему раньше народ, теперь он уже начинает различать среди него живые лица. Идея жизни, побеждающей темноту, становится центральной.

Эволюция воззрений сказалась и на стиле. Для изображения зла, как неуловимой слепой силы, естественно не находилось достаточно рельефных убедительных красок. Подойдя вплотную к изображению живой действительности и реальных общественных отношений, Сергеев-Ценский и для людских судеб и характеров обретает ту же вещественность и осязаемость изображения, какая была ему ранее свойственна в изображении природы.

Накануне первой мировой войны в 1914 г. писатель напечатал еще 1-ую часть эпопеи «Преображение», — роман «Валя», и после этого в его творчестве наступает длительный перерыв. Не сочувствуя задачам войны, он не хотел писать неправду и замолчал. Даже попытка Горького привлечь его к сотрудничеству в «Летописи» не увенчалась успехом. Как впоследствии вспоминал Сергеев-Ценский, свой отказ Горькому он мотивировал следующим образом:

«Продолжая держаться того мнения, что когда говорят пушки, должны молчать музы, — тем более, что из-за свирепости цензуры писать правдиво на мотив войны или взять резко антивоенный тон было совершенно невозможно, — а больше ни о чем думать я не мог, — я ответил, что едва ли что-нибудь пришло».

На это Алексей Максимович возразил так:

«Огорчен вашим письмом, Сергей Николаевич, очень огорчен!

Так горячо хотелось привлечь вас к работе в «Летопись», но что же делать? Может быть, я понимаю ваше настроение, и конечно, не решусь спорить с ним. Скажу только, что никогда еще живое слово талантливого человека не было так нужно, как теперь, в эти тяжелые дни всеобщего одичания» (1916).

Новый творческий подъем начинается в годы гражданской войны и первые годы советского строительства. Писатель возвращается к продолжению своей многолетней эпопеи «Преображение», первая книга которой — роман «Валя» — вышла, как уже сказано выше, в 1914 году.

VI

Замысел еще незаконченного огромного произведения — эпопеи «Преображение» — автор излагает в предисловии ко второму роману эпопеи — «Обреченные на гибель» (1929 г.).

«Три первые части эпопеи, — говорит он, — посвящены довоенным настроениям и переживаниям русского общества в различных его слоях: три следующие его части изображают разгром этого общества в период мировой войны; остальные четыре тома отведены революции, гражданской войне и началу строительства социалистической жизни. Огромное по толщине это, изображающее на фоне масс свыше пятидесяти резко очерченных действующих лиц, разбивается мною, таким образом, на десять почти совершенно самостоятельных романов, в которых только последние главы служат для связи частей в одно целое, как это сделано в настоящей книге».

К настоящему времени вышли шесть романов и несколько этюдов («Валя», «Обреченные на гибель», «Зауряд-полк», «Массы, машины, стихия», «Искать, всегда искать», «Брусиловский прорыв» и другие). Хотя творческий проект писателя полностью еще не осуществлен, тем не менее контуры произведения, общая направленность вполне ясны. Очевидна и его значительность.

«По моему мнению, — писал Горький, — «Преображение» Ценского есть величайшая книга изо всех вышедших в России за последние 24 года. Написана она прекрасным, самобытным, живым языком. Она гармонична, как симфония, проникнутая мудрой любовью и жалостью к людям. Может быть, это очень русская книга: в ней слишком много говорят и слишком мало делают. Написав эту книгу, Ценский встал рядом с великими художниками старой русской литературы» (1925 г.).

Действие первого романа — «Валя» происходит в маленьком крымском городке.

В героях его прежде всего обращает на себя внимание узость их интересов и представлений. Они заняты исключительно личными вопросами. Архитектор Дивеев занят только воспоминаниями о покойной жене и запоздалой мыслью о мести ее оскорбителю.

Актриса Наталья Львовна Добычина, напомнившая Дивееву его жену Валю, мечется между сложными душевными переживаниями и

обыденным женским стремлением устроить себя замужем. Ей некуда идти, она ищет и не находит в среде людей, ее окружающих, возвышенного. Розовые мечтания юности слишком рано и слишком болезненно разбиваются о жестокость и каменный практицизм «краснощечки», самодовольных дельцов.

Надломленности Дивеева и Натальи Львовны, людей, ущемленных жизнью, обиженных людьми, противостоят узкое делячество и бездумность Илья. Делец Илья, «краснощечкий», которому мстит Дивеев, всецело поглощен сделками. Даже свое ранение Дивеевым он воспринимает не как возмездие, а лишь как досадное и неразумное происшествие, помешавшее ему заключить выгодную сделку. Он воплощение жизненной пошлости прозы, источник жизненных несчастий героев романа: Вали, Дивеева, Натальи Львовны.

Все герои живут сами по себе, так же изолированно друг от друга, как разбросаны на берегу их дачи. Существование их не одухотворено какой-либо значительной целью. «Кажется, что оно определено какой-то непонятной инерцией, заставляющей этих людей двигаться, говорить, чувствовать без особой осмысленности и большого желания».

Автор изображает широкий круг российской интеллигенции накануне войны 1914 года, как мир лишенных связи, взаимного понимания людей.

Хорошие жизненные порывы Вали, Дивеева, Натальи Львовны развеялись в жизненных бурях. Герои как бы прозябают в безвоздушном пространстве. Холод их существования еще более подчеркивается контрастом с солнечным крымским пейзажем, который окружает этих «лишних людей» голубым небом и ласковым морем. Очень глубоко чувствует это мальчик Павлик, тоже обиженный судьбой (он потерял вследствие несчастного случая ногу), но сохранивший чистоту и свежесть души.

Сергеев-Ценский каждое движение души своих героев передает старательно со всеми оттенками и полутонами. Произведение проникнуто тонким лиризмом и по настроению полно грусти о людях, не сумевших расправить крылья, найти цель в жизни. Все положительные герои романа — Валя, Дивеев, Наталья Львовна, Павлик — потерпели серьезные катастрофы. Валя, отдавшая безраздельно свое сердце любимому человеку, оставившая ради него мужа и ребенка, была дичинно отвергнута и погибла. Дивеев длительно и мучительно переживает не только измену жены, но, что самое главное, унижение ее другим, самодовольным и недостойным.

Наталья Львовна тоже в глубине души тяжело ранена обманом своего возлюбленного и живет надеждой отомстить за себя. Павлик страдает от сознания своей физической неполноценности и предается прекрасным мечтам. Мир героев романа — это мир несбывшихся надежд, пустоты в настоящем, назойливой и гнетущей власти воспоминаний.

Перед читателем развернута картина постепенного опустошения хороших человеческих

душ. Дивеев, всецело поглощенный мыслью об отомщении и воспоминаниями о жене, опускается, перестает работать, теряет всякий интерес к текущей жизни:

«Это был человек лет тридцати пяти, хорошего роста, длинноголовый, приятные светлые глаза в бурых мешках, рыжеватую бороду подстригал остроконечно, носил фуражку с кокардой и значком, говорил высоким голосом, всегда возбужденно, всегда о себе: с двух рюмок водки переходил со всеми на «ты», ходил быстрым и мелким шагом, а мысли у него были беспорядочно бегучие, тонкие, кружные, со внезапными остановками и неожиданными скачками, точно лопоухий ненацасканный легаш на первой охоте». Таким он предстает перед нами в самом начале, одновременно привлекательный и беспорядочный.

История Натальи Львовны в изложении автора звучит, как лирическое воспоминание о погубленной юности. Вместе с ее отцом, оставшимся полковником Добычиным, Дивеев рассматривает семейный альбом. На фотографии они видят Наташу и в дни ее детства, и в дни юности, когда ее души еще не коснулись губительные удары жизненной пошлости.

«А полковник перевернул уже страницу альбома и, вместо девочки в коротком переднике, показал девушку взбито-модно-причесанную, с таким выражением заorno вскинутого лица, которое бывает только в восемнадцать лет, когда каждый неглубокий юноша кажется себе гением, а каждая молодая девушка смотрит королевой», и сказал: «Это тоже Наташа!» Как мало походит эта Наташа на теперешнюю, опустошенную и усталую двадцатипятилетнюю женщину, которая, наконец, теперь никуда не рвалась, смуглая, большеглазая, строя на вид, в черном, очень простом платье, — точно в трауре, гуляла одна часами, глядела на море (от моря, если глядеть на него долго, голубеет, смягчаясь, душа)».

Судьба Натальи Львовны Добычиной не представляет исключения. Не менее трагичен удел незримой героини романа — самой Вали. Она умерла за полгода до начала событий в романе, но по существу является его главным действующим лицом, так как все действие, его психологические истоки восходят к ней. Сюжет романа определен стремлением Дивеева отомстить за нее. О ней он взволнованно и сбивчиво рассказывает Павлику:

«Перед смертью она написала мне небольшое письмо карандашом... Написала, чтобы я не заболтался о ней и о френке, что она обойдется и без моих забот, — и это в то время, когда Илья ее ведь не принял, — вы понимаете? — когда ей совершенно не на что было жить... когда они приехали к сестре, честной труженице, конторщице, очень бедной... Ею владеет ненависть — почему? Потому, что она сделала шаг неосторожный, рискованный — изменила мне... Но тот, с кем изменила, не принял потом. Она была гордая женщина... И не то, что я ее сделала гордой, — нет, она сама по себе была гордая: она была высокого роста. Величавость у нее была природная, — она хорошей семьи, только обедневшей. И до

чего же была она уверена в том, что делает именно то, что нужно!..»

Жизненные крушения героев романа вызваны столкновением их романтических натур с эгоистическим миром собственников, с пошлостью и грубостью им порождаемыми. Все они погублены «краснощеким» Ильей. Ничего отвратительного во внешнем облике Ильи нет. Но он настолько внутренне беден и пуст, что, столкнувшись с ним, Дивеев перестает его ненавидеть и не убивает. Только брезгливость вызывает в нем его бывший соперник. На заданный вопрос Добычиной, видел ли он Илью, Дивеев отвечает: «Видел... Нет, я его отлично видел... вот, в кого было стрелять. Все-таки не в кого. Нет это только ничтожество, тупое, сытое ничтожество и больше ничего. И когда она умерла, она поняла это... Наконец, поняла».

Конечно, Дивеев натура вялая. Его бездельствие при встрече с Ильей во многом объясняется пассивностью характера. При свидании с Ильей он испытывает досадное чувство нерешительности, неловкости. Тем не менее, он прав в своем определении духовного содержания «краснощеких», и автор всецело на его стороне.

Так же как и Горький, Сергеев-Ценский никогда не мирился с бездушием мешанства. Протест против бездушного практицизма имеет длительную и прочную традицию в его творчестве. В романе «Валя» совершенно четко противопоставляются два мира. Первый населяют люди, пострадавшие от ударов судьбы, неустойчивые, бездельственно проводящие время в неопределенных исканиях. Другой мир — это мир самодовольных черствых дельцов, уверенных в себе, считающих себя хозяевами жизни. Автор выступает страстным бунтарем против бессердечия и пошлости собственнического мира.

Преодоление русским народом в больших духовных и исторических испытаниях несправедливости и темноты составляет тему эпопеи «Преображение».

Поставив эту тему еще в первом ее романе, написанном за год до империалистической войны 1914 года, художник проявил большую чуткость к насущным требованиям действительности. Задолго до Октябрьской революции он почувствовал необходимость «преображения» русской жизни и сделал эту тему главной в своем творчестве.

Конечно, в то время Сергеев-Ценский не предвидел того реального, революционного пути, каким свершилось «преображение». Преобразование жизни писатель ограничивал сферой духовного освобождения людей. Поэтому в романе «Валя» мало действия, анализу подвергается главным образом область чувств, переживаний, роман не затрагивает непосредственно социально-исторических проблем. Но в изображении личного мироощущения, переживаний Сергеев-Ценский достиг высокой художественности. Книга захватывает, волнует, вызывает мучительные размышления, и невольно встают перед читателем вопросы большого исторического масштаба. Главный из них во-

прос о судьбе родины, России, русских. В 1923 году Сергеев-Ценский послал Горькому только-что вышедший отдельной книгой роман «Валя», Горький спешит ответить автору:

«Прочитал «Преображение», обрадован, взволнован, — очень хорошую книгу написали вы, С. Н., очень! Властно берет за душу и возмущает разум, как все хорошее настоящее-русское. На меня оно всегда так действует: сердце до слез радо, ликует: ой как это хорошо и до чего наше, русское, мое! А разум сердится, свирепо кричит: да ведь это же бесформенная путаница слепых чувств, нелепissime убожество, с этим жить нельзя, не создашь никакого «прогресса»! И начинается бесплодное борение двух непримиримых отношений к России: нето она несчастная жертва истории, данная миру для жестоких опытов, как собака мудрейшему ученому Ивану Павлову, нето Русь сама себя научает тому, как надо жить, чтоб каждая минута бытия казалась великим событием, чтоб каждое мгновение было насыщено каким-то русским смыслом, неуловимым для слова, таинственным».

У вас в книге каждая страница и даже фраза именно таковы: насыщены как будто даже и чрезмерно, через край, и содержимое их переплещивается в душу читателя влагой едкой, жестоко волнующей. Читаешь, как будто музыку слушая, восхищаясь лирической, многокрасочной живописью вашей, и поднимается в душе, в памяти ее, нечто очень большое высокой горячей волной».

Безволие Дивеева и других персонажей романа невольно вызывает мысль, что эти лица созданы для исторических и психологических опытов. Они привлекают нас тонкостью своих чувств, но они — русские люди из породы отживающих «лишних людей» — лишены жизнеспособности, творческой активности. Тонкость художественного рисунка в изображении их психологии еще более подчеркивает их обреченность.

Писатель изобразит впоследствии конец своих героев, единственно закономерный, справедливый и бесславный конец. Дивеев еще появится в эпосе, в романе «Брусиловский прорыв», его надломленная психика не вынесет ужаса войны, он сойдет с ума и погибнет. Если Дивеев и ему подобные осуждены на гибель вследствие своей пассивности, то погибнут и Илья, и предприниматель Макухин. Во время войны они устроятся неплохо: Макухин — полковым капитанармусом, а Илья — в тыловом земском учреждении. Но это их не спасет. Бездушные и жестокость деятельности этих накопителей и дельцов восстанут против них, и им не будет места в новом мире.

Тема гибели людей, не имеющих сил или желаний переменить неестественный, несправедливый образ жизни, звучит во весь голос во второй книге «Преображения» — в романе «Обреченные на гибель», но еще раньше сама логика романа «Валя» убеждает нас в том, что необходимо жить иначе, чем живут его герои.

Трагедию широких крутов русской интеллигенции накануне империалистической войны

1914 года Сергеев-Ценский изображает с большой печалью, вызванной доброжелательным отношением к человеку. По поводу романа «Обреченные на гибель» Горький писал Сергееву-Ценскому из Сорренто: «Вчера Екатерина Павловна привезла рукописи, — я тотчас же послал телеграмму об этом. Был день рождения моего, гости, цветы и все, что полагается, а я затворился у себя в комнате, с утра до вечера читал «Преображение» и чуть не ревел от радости, что вы такой большой, насквозь русский, и от жалости к людям, которых вы так чудесно изображаете».

Такое же чувство жалости вызывают и герои романа «Валя».

Особое место среди них занимает мальчик Павлик. Несмотря на физический недостаток, духовно он целостнее и решительнее всех других персонажей романа. В этом образе заложено самое лучшее, что хотел сказать писатель о душе человеческой, полной поэзии, способной и к вдохновенному созерцанию красоты природы, и к героическому делу. Образ Павлика справедливо вызвал восхищение Горького. «И Павлик необыкновенно хорош, настоящий русский мальчик, мальчик подвига», — писал он.

В душе Павлика сочетается специфически детское с ясной зрелой мыслью.

Болезнь располагает его к размышлениям, имеющим много верного, несмотря на некоторую их наивность. Суждения его выгодно отличаются своей широтой от суждений всецело занятого собой Дивеева, они касаются больших жизненных вопросов. Он один упоминает о существовании родины, говорит и думает о России.

Павлик по своему характеру натура волевая и активная. В столкновении с ним обнажается психологическая сущность Дивеева. Она состоит в неспособности к борьбе и творчеству. Творческое созидание во всех областях человеческой деятельности, следовательно, намечает писатель, как дорогу к возрождению, «преображению» родины и судеб отдельных людей. Идея творческой деятельности для родины становится отныне излюбленной в творчестве Сергеева-Ценского.

Много размышлений вызывают первые две книги эпоса «Преображение». Причина этого, как уже сказано выше, не столько в широте воспроизведения действительности, сколько в большой глубине и художественной выразительности образов. И природа и изображенные характеры живут в романах во всем естественном многообразии. Горький восторженно указывал на это: «Сцена объяснения Алексея с Ильей — исключительная сцена, ничего подобного не было в литературе русской по глубине и простоте правды. «Красношейкий» Илья написан физически ошутимо... И Наташа — прерасна, и от церкви до балагана — характернейшая траектория полета русской души. Все хорошо. А павлик, которого Алексей видит по дороге в Симферополь, это, знаете, такая удивительная птица, что я даже смеялся от радости, когда читал о ней. Один сидел и смеялся. Чудесно. И вообще».

много чудесного в славной этой и глубоко русской книге».

Лирическая окраска картин природы Крыма еще более оттеняет мягкость и выразительность образов. Литературная форма описаний превосходна, слог музыкален. Горький с полным основанием писал о первой части «Преображения».

«В этой книге, не конченной, требующей пяти книг продолжения, но как будто по дудочке сыгранной, Вы встали передо мною, читателем, большущим русским художником, властелином словесных тайн, проницательным духовидцем и живописцем пейзажа, живописцем, каких ныне нет у нас. Пейзаж Ваш — великолепнейшая новость в русской литературе. Я могу сказать это, ибо места, Вами рисуемые, хорошо видел. Вероятно, умники и «краснощечкие» скажут Вам: «Это — напсихизм». Не верьте. Это просто настоящее подлиннейшее искусство».

Сила подлинного искусства толкала художника на путь широких обобщений и выводов. Бездейственность героев «Вали», узость их жизненного горизонта не могли не возмущать. «Ведь это убожество, — возмущенно писал Горький. — С ним далеко не уйдешь, не переделаешь мир, от которого они сами страдали». Художественная логика эпопеи убеждает нас, что Сергеев-Ценский и тогда верил в Россию, ее силы, ее будущее, только не знал, каким путем осуществится «преображение».

Задуманная вначале как ряд лирических картин интимного характера, эпопея «Преображение» в дальнейшем под влиянием исторических событий включает в себя историко-общественную тему. Растерянность Дивеева, живущего исключительно личным горем, уступает место в последующих произведениях гражданскому самосознанию самого значительного героя Сергеева-Ценского — прапорщика Ливенцева. Несправедливость Дивеев видит только в тяжелой судьбе Вали, в отличие от него Ливенцев поднимается до понимания горя народного и приходит к идее борьбы.

VII

Три романа — «Зауряд-полк», «Массы, машины, стихи» и недавно вышедший «Брусилковский прорыв» — по существу являются частями одного большого романа, который в свою очередь входит в эпопею «Преображение». Эти три книги связаны единым героем, единым тематическим и сюжетным замыслом.

Автор поставил перед собой серьезнейшую творческую задачу — воссоздать художественную картину русской армии во время войны 1914—1918 годов вплоть до революции.

Русская армия взята им в широком разрезе от рядового до Ставки главнокомандующего. Показаны многочисленные образы солдат, офицеров, генералов, вплоть до унылой фигуры возглавляющего Ставку Николая Второго. Вместе с писателем мы наблюдаем боевые действия и повседневную жизнь в роте, батальоне, полку, дивизии, армии, на фронте, в Ставке. Правда, автор не охватывает всего русского театра военных действий, а ограничивается об-

стоятельным изложением дел на юго-западном фронте, который долгое время верховное командование считало второстепенным. Но для изображения материального и морального состояния русской армии, этого более чем достаточно: наблюдательный художник извлек из имеющегося в его распоряжении материала типические образы, сумел изобразить процессы и выводы, характерные для всей русской армии. Армия же в военное время является концентрированным выражением основных черт государства и общества. И в этом смысле романы Сергеева-Ценского имеют большое познавательное значение.

Достоинство этих романов — в понимании реальных отношений внутри русского общества в годы первой империалистической мировой войны. Сергеев-Ценский раскрывает единство судьбы русского народа, идущего к революционному преобразованию своей жизни. Отправная точка — жизнь армии — вырастает в основу суждений о России в целом.

Писатель правдиво изображает различные общественные группы. Они представлены не в виде стандартных безликих обозначений, а воплощены в живых определенных людях. Отношения между общественными группами далеки от схем: писатель показывает переплетение политических интересов с личными, связь их. В романах мы ощущаем подлинную жизненную реальность, в ее сложнейших противоречиях и связях.

Картина, представленная писателем, очень сложна. В войне участвовали враждебные силы — народ и самодержавие. В ней столкнулись самые различные люди, крайне различные убеждения. В романах выведено огромное количество людей, принадлежащих к самым разнообразным кругам русского общества. Большинство событий и лиц связано с судьбой главного героя этих романов — прапорщика Ливенцева. Многие из них показаны через призму его восприятия. Сергеев-Ценский не отказался от основного героя, не растворил своего таланта среди безликой массы. Тем не менее, тема его произведения по сравнению с предшествующими романами несоизмеримо расширилась. Мучительные долготлетние искания писателя завершились. До сих пор он писал об отдельном человеке, не находящем опоры в жизни. Теперь опора для героя найдена в народе, истории России, родине. Как и у других крупных русских писателей-патриотов, именно эти вопросы становятся во всей широте основной темой творчества Сергеева-Ценского.

Его герой уже не одинок и не беспомощен. Он чувствует поддержку огромной народной семьи, и его счастье зависит не только от него самого. Это не старый герой, излюбленный писателем образ неудачника, а Человек с большой буквы, чувствующий свою силу.

Много еще несчастий, драм, неправды во круг, но новые герои эпопеи «Преображение» уже начинают смело смотреть на жизнь, чувствовать себя деятелями. Они уже готовятся к «преображению» своей родины. Война для них — тяжелая школа, из которой они выйдут зрелыми и мужественными борцами.

Раньше Сергеев-Ценский воспринимал понятие Родины главным образом чувством, эмоционально. Все им изображенное, — это наше родное, русское. И поля, и леса, и реки, и моря. И люди тоже русские, но это одинокие люди, потерявшие себя в жизни. Но не все русские люди таковы. И Горький досадовал, что, читая Сергеева-Ценского, умиляется, плачет сердце, радуется красоте рисунка, а разум протестует против индивидуалистического убожества, не дающего никакой общественно-исторической перспективы. Сейчас же писатель весь зажигается этой перспективой. Сопутствуя горячему чувству, выступает живой, смелый разум, пылливо анализирующий, обобщающий, зовущий к деятельности и борьбе за счастье свое и Родины. Это придало его творчеству, совершенно иной облик: от интимной темы Сергеев-Ценский перешел к изображению огромных исторических событий.

Иногда этот историзм, очевидно, по закону художественного оттапливания, даже подавляет лирическое, песенное начало. Подавляет несправедливо, и будем надеяться, что в дальнейших частях эпопеи лирико-поэтические мотивы не будут так назойливо заглушаться тяжелыми шагами истории, что закончится произведение в том же высоком лирическом строе, в каком было начато.

Сергеев-Ценский развертывает действие своего первого романа о войне «Зауряд-полк» в Севастополе перед войной. Здесь из ополченской дружины формируется полк, в котором начинает военную службу бывший студент-математик, теперь прапорщик запаса Ливенцев. Номер полка обозначен большим трехзначным числом — это один из запасных полков, ничем не выделяющийся среди сотен других зауряд-полков. Перед нами проходит постепенно налаживаемая размеренная жизнь запасной воинской части, различные типы офицеров, солдат, их быт, заботы, интересы. Романы «Массы, машины, стихии» и «Брусилковский прорыв» посвящены непосредственно событиям на фронте.

Освободительные, национальные войны мобилизовали и энергию многомиллионного народа. Героические периоды в истории нашей родины давали возможность людям осуществлять свои патриотические идеалы, без колебаний отдавать за них жизнь. Так в наше время страна живет невиданным патриотическим пафосом. Европейская война 1914—1918 годов была империалистической войной, и романы Сергеева-Ценского раскрывают ее конкретно исторический характер. Она означала величайший кризис в развитии общества. Война обострила явные противоречия, вывела наружу глубоко таившиеся, разорвала все лицемерные покровы, отбросила условности, разрушила гнилые или успевшие подгнить авторитеты. Противоречия между империалистическими странами дополнились глубочайшими противоречиями внутри этих государств. Но это вовсе не значит, что русский народ и армия были лишены тогда своих высоких героических и патриотических черт. Нет. Вопреки характеру войны 1914—1918 годов, в массах проявляются тенденции

нового широчайшего патриотического подъема, озаренного светом грядущей революционной эпохи. Сергеев-Ценский, как и все крупные художники, не ограничивается простым воспроизведением событий: он определяет также и направление, в котором они будут развиваться в дальнейшем. В романах военного цикла читатель находит образы, которые выражают определенные типические общественные тенденции. В то же время каждый образ в полной мере обладает своей ярко выраженной индивидуальностью, и общественные черты персонажей, нарисованные с полным соблюдением художественной меры, обогащают их жизненную конкретность.

Сергеев-Ценский очень обстоятельно вскрывает конкретную историческую сторону событий и характеров. Некоторые офицеры — сослуживцы Ливенцева — захвачены империалистической идеей. Как оказывается потом, они по большей части состоятельные люди — помещики, предприниматели. Ливенцев чувствует себя далеким от них, человеком другого мира.

«И вот еще что он понял: что он сам как будто человек с другой планеты среди остальных; что здесь, в Балаклаве, за одним столом с ним, получающим только свое полутора-сторублевое жалованье прапорщика и больше нигде ничего, сидят все богатые люди. Об адвокате Кароли он знал, что у него прекрасный дом в Мариуполе, что сюда, в Севастополь, он взял свой выезд — красивый кабrioлет и пару дышлового лошадей, неизвестно почему уцелевших пока от мобилизации; трое остальных были помещики, из которых самым богатым оказался самый незаметный на вид и преувеличенно скромный в своих привычках, не захотевший тратить даже двупривленного на третьи звездочки себе на погоны, хотя и мог бы носить погоны поручика так же незаконно, как и Кароли».

Этим людям война нужна для обогащения.

В отличие от них империалистические задачи войны непонятны и враждебны солдатам и офицерам из трудовой среды, хотя они более исправно и смело, чем первые, несут воинскую службу и не роняют чести русского воинства. Вопрос о целях войны все время занимает Ливенцева.

«В голове его вертелись миллионы всех мастей: русские, бельгийские, немецкие, французские, английские... даже какого-нибудь грека Месакуди из Керчи. Эти миллионы принимали в его мозгу, несколько разгоряченном лихаческим вином, странно-уродливые, однако вполне реальные формы. И они сражались — эти разнородные миллионы, а Кирилл Блошница, который пока возится с серыми, секующимися на лопатках конями и мечтает о стаканчике водки, потом когда-нибудь пойдет вместе с ним, математиком Ливенцевым, оборонять русские миллионы против миллионов немецких... А зачем это им обоим?» Так думали тогда многие русские люди.

Русский народ на протяжении своей истории неоднократно проявлял высокий патриотизм, боевой дух, готовность отдать жизнь за родину. У самодержавия в той войне не было

благородной справедливой цели, ведущей массы.

Не мог вдохновить войска и царь, не пользовавшийся популярностью. Его равнодушие и безучастность к солдатам хорошо и убедительно изображены Сергеевым-Ценским. Тем не менее русский солдат бросался в штыки, терпел холод и грязь и отдавал жизнь.

Ленин писал в 1915 году: «Война не могла, не вызвать в массах самых бурных чувств, нарушающих обычное состояние сонной психики» (Соч. т. XVIII, стр. 172). Сложный кругозор этих чувств захватывает и героев Сергеева-Ценского.

Каковы же главные потоки волновавших массы бурных чувств? Это — ужас и отчаяние, ненависть к врагу, ненависть к царизму и господствующим классам. В прихотливом сплетении этих настроений и формируется мировоззрение Ливенцева.

Ненависть к врагам — немцам, и во многом традиция воинского долга двигали солдат и офицеров на подвиг. Русская армия, несмотря на внутренние противоречия, совершила в той войне много славных боевых дел. Поведение прапорщика Ливенцева на фронте вначале ничем не отличается от поведения многих других русских офицеров. Не сочувствуя целям войны, он в то же время требователен к себе в выполнении воинских обязанностей. Не щадя своей жизни, он проявляет в боевых действиях храбрость и самообладание. Его личной инициативе, поддержанной наступательным порывом солдат, дивизия обязана занятием высоты, имевшей большое значение для выполнения стратегической задачи. Ревностное отношение Ливенцева к боевым приказам вызывает даже поощрение не выказавшего к нему особого расположения командира полка Ковалевского. Его поведение в бою, поведение серьезного и дельного командира роты, а затем батальона не меняется и в дальнейшем во время Брусилковского наступления. В нем очень сильна офицерская традиция военного долга, имеющая в русской армии огромное значение. Воспитываемая веками, эта традиция необычайно ценна, несмотря на то, что самодержавие в свое время нередко использовало ее в антинародных интересах. Сергеев-Ценский правдиво и глубоко рисует противоречия, возникавшие в воинской среде на этой почве. Правильные трезвые взгляды у Ливенцева переплетаются с заблуждениями. Эти заблуждения часто мешают ему окончательно разобраться в сложных противоречиях военного времени.

Ливенцев стремится сродниться с солдатской массой. Он чувствует, что жизнь его уже растворяется, даже почти растворилась в тысячах других жизней около него, пусть даже иные, далекие от войны люди пренебрежительно называют их пушечным мясом.

«...Никому из них не хочется умирать, но все в его роте, в его батальоне, в его полку и в другом полку рядом, — несколько тысяч людей, очень твердо знают, что в каждый новый момент могут быть убиты или искалечены, однако же они не бегут в ужасе куда по-

пало от одной этой мысли: инстинкту самосохранения противостоит в них другой инстинкт — сохранения своего жилища; миллионы же их жилищ с семьями в них — это их Родина; они — граждане Родины, пославшей их на свою защиту, — в этом их ценность для них же самих, хотя бы они этого и не представляли ясно, в этом их гордость самими собой; это повышает вес каждого в собственных глазах.

В часовой пробуждается гордость, когда он охраняет полковую святыню — знамя, мимо которого никто в полку не смеет пройти, не отдав ему чести. Но что же такое знамя, как не символ Родины? На часах у Родины, на страже Родины стоит каждый солдат, как и офицер тоже. Во всякого, кто подходит к знамени с целью сорвать его с дюежка, часовой обязан стрелять, а когда выпустит все патроны, — выставить против него штык, и не смеет уходить от знамени, если даже чувствует, что он слабее врага, а стоять и биться за него должен насмерть».

Это сурово, но красиво. Тут если и теряешь жизнь, зато в высшей ее точке, в момент экстаза борьбы за самое дорогое в жизни, за то, что ее освещает, за то, что ее поднимает. Подобные мысли наполняют Ливенцева, но когда у него является потребность поделиться своими чувствами с солдатами, то оказывается, что они не находят отклика у его подчиненных. Солдаты были хорошие, но они хотели сражаться за родину, а не за царизм. Самые решительные разногласия выступают на первый план.

Гражданское, национальное достоинство русских людей было угнетено и оскорблено самодержавием, корыстолюбием правящих классов. Поэтому в массах зрела мысль о нанесении поражения царизму, выдвигалась идея революционного преобразования России. Эта мысль и эта идея были порождены чувством национального достоинства, сознанием своей национальной силы. Не случайно именно в это время Ленин написал свою знаменитую статью «О национальной гордости великоруссов», где говорил:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (то-есть ^{9/10} ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больше всего видеть и чувствовать, каким наследиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты...

...И мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий. Именно потому, что мы хотим ее, мы говорим: нельзя в XX веке, в Европе (хотя бы и дальневосточ-

ной Европе), «защитить отечество» иначе, как борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего отечества, то-есть, худших врагов нашей родины».

Слова эти принадлежат одному из гениальнейших людей мировой истории. Формирование сознания миллионов масс в этом направлении, конечно, совершилось не сразу. Для этого нужна была суровая школа действительности. Вместе со всем народом проходят эту школу и герои романов Сергеева-Ценского. Не все они находят верный ориентир на своем пути. Многие сбиваются, идут по ложным дорогам, игнорируя уроки жизни, пытаются идти против поступательного движения истории. Они губят себя, а зачастую увлекают к гибели и других. Но народ в целом успешно постигает истину и историческую мудрость.

Россия находит путь революционного «преображения».

Именно поиски его русской интеллигенцией воплощены Сергеевым-Ценским в образе Ливенцева. При этом следует иметь в виду, что по мысли автора прапорщик Ливенцев не ограничен чертами, присущими только интеллигенции, а до известной степени воплощает в себе совесть русского среднего человека вообще. Ливенцев располагает к себе с самого начала. По профессии он математик. Его мышление чуждо предрассудкам — социальным, националистическим. Ум — острый, пылкий и ясный. Безупречная честность, нетерпимость к злу и обману, храбрость, отсутствие корыстолюбия, карьеризма, преданность родине и долгу — его положительные свойства. Вместе с тем, его натура отличается мягкостью, скромностью, доброжелательностью к людям. Сергеев-Ценский не наделяет Ливенцева какими-либо исключительными чертами, способными выдвинуть его из ряда ему подобных. Сам Ливенцев понимает это: ему чужды поза и самолюбие. «Настоящий человек на настоящем месте, — говорит он о бывшем абреке Кадыр-агу своим сослуживцам офицерам. — Зато мы тут все какие бесподобные зауряд-люди, — разглядывая и Гусликова, и других, медленно и с испугом в голосе проговорил Ливенцев.

— Значит и вы тоже? — кивнул ему, по-дусонно улыбаясь, Кароли.

— Ну, а как же! Разумеется, — ответил, улыбаясь, Ливенцев. — Разумеется, я тоже — «зауряд-люд».

Скромность, ясность мысли и духовная свобода дают ему возможность наиболее чутко, по сравнению с другими, воспринимать жизненные уроки и делать из них плодотворные выводы. В горниле войны он постепенно избавляется от иллюзий, перестает быть «зауряд-человеком», становится настоящим, зрелым деятелем.

Вначале он еще не может четко разграничить интересы царской монархии и народа в войне. Суждения его отличаются политической незрелостью: слишком много излишней довер-

чивости проявляет он к авторитету высшего царского командования, не замечает бездарности и враждебности некоторых из генералов коренным интересам России. Когда приходит извещение о провале плана генерала Самсонова под Танненбергом и Сольдау, Ливенцев не может сразу его правильно осмыслить:

«Выходя из вагона вместе с Мазанкой близ Малоофицерской, на которой они жили оба, говорил Ливенцев взволнованно:

— Меня это ударило страшно! Совершенно не думал, что это возможно. Самсонов! Опытный генерал! Участник японской войны... О нем писали как о военном таланте, о стратеге... Эх! Какая жалость! Два корпуса! Ведь это — восемьдесят тысяч человек!..

— А что же делал Ренненкампф? Осаждал Кенигсберг? Почему не было согласованности действий? Потому что он — Ренненкампф, — вот почему! — выкрикнул залпом Мазанка, и красивое лицо его стало бледным, только глаза горели. — Может быть, он миллион получил от Вильгельма за то, что не поддержал Самсонова, почему мы знаем? Немец с немцем всегда сговорятся за русской спиной. Это уж будьте покойны!

— Значит, вы полагаете, что дело не в каком-то генерале Гинденбурге, назначенном Вильгельмом на место Притвица, а исключительно в одном только немецком миллионе, предложенном Ренненкампфу?

— Непременно! — очень убежденно отозвался Мазанка.

И внимательно глядя в его горящие на бледном лице глаза, Ливенцев проговорил, запинаясь:

— Вот подите же... Для меня, конечно, ясно, что я подхожу к людям совсем не с того конца, с какого надо...»

Пройдя серьезную боевую школу, Ливенцев начинает подходить к людям более правильно. Его взгляд на сущность войны становится все более зрелым. Все более и более укрепляется в нем убеждение, что русская армия должна стремиться отстаивать границы не царского государства, а свободной от угнетения страны. Он не может стать на капитулянтскую, трусливую точку зрения малодушного Обидина, скатившегося к проповеди подчинения России Германии... Патриотическое чувство Ливенцева глубоко возмущено беспринципностью последнего:

«Вы помните, у Достоевского есть капитан в среде ему чуждой, в среде атеистов, а? — спросил он резко. — Помните, как он бросил на пол свою фуражку и сказал: «Если бога нет, то какой же я капитан?» Как же вы хотите остаться жить на свете и считаться вполне порядочным человеком, если не будет России, если вместо России будет откровеннейшая немецкая какая-нибудь Остланд или как-нибудь иначе, а?

— Ничего в этом страшного не вижу, — убежденно-спокойно отозвался на его горячую тираду Обидин.

— Ну, если так, то... то, признаться вам, я

не хотел бы иметь вас своим соседом по ро-те, — столь же убежденно сказал Ливенцев и отошел от него поспешно...

Если бы перед войной кто-нибудь спросил его: «Как вы смотрите на Россию?», он бы ответил, улыбаясь: «Посмотрите лучше в том словаре Брокгауза, так и озаглавленный «Россия», там вы, наверное, найдете ответ на свой вопрос». А если бы вопрос повторился с нарочитым ударением на «вы», он процитировал бы две тютчевские строчки: «Умом Россию не объять, аршином общим не измерить» и на этом бы кончил. Теперь же слова Обидина показали ему кощунством и по смыслу, и по тону, каким были сказаны: русскому человеку, каким был Обидин, он их простить не мог».

Обидин отрицает необходимость защиты родины вообще, он выступает сторонником сдачи своей страны на разграбление завоевателю. Ясно, что никакой честный русский человек не мог согласиться с такой рабской точкой зрения.

Отказ от военной службы есть простая глупость. Убога и труслива мечта о безоружной борьбе с вооруженным внутренним врагом. А именно к мысли о необходимости борьбы с этим врагом — царизмом — приходит Ливенцев. Постепенно он начинает понимать, что только в свободной стране народ может независимо пользоваться плодами своих трудов и боевых побед. Сама логика событий толкает его к этому передовому воззрению.

« — Теперь это можно сказать, — говорит он в беседе с Натальей Сергеевной. — Теперь ведь и я другой. Тогда ведь я был всего только несправильный математик в шинели, а теперь я уже видел своими глазами эту войну, и проклял войну, и оценил войну, как надо. И для меня теперь всякий, кто не будет стремиться положить конец этой войне, — подлец! И на фронте я буду или в тыловой части, но, знаете ли, я не хотел бы только одного: отсталки. Я не хотел бы, чтобы меня разоружили, потому что, — приблизил он губы к ее небольшому розовому уху, так как они подходили уже к концу лестницы, — потому, что революцию способны сделать все-таки вооруженные люди, а не безоружные!»

Убеждение в необходимости поражения царизма в Ливенцеве крепнет с каждым шагом. Он мужественно переносит тяготы войны, отличаясь в храбрости и инициативе, но не оставая вместе с тем мысли о настоящем «путном» деле.

После ранения, в госпитале он подолгу раздумывает о дальнейшем своем поведении, о своем отношении к родине. Закаленный в боях, он проникается еще большей любовью к родной стране, к ее природе и народу.

«Он старался как-нибудь объяснить себе это и не мог; однако отчетливо представлял, что в любое время раньше, до войны, проехал бы в вагоне вон по той линии, — из Ровно, через Дубно, в Броды, — без особого любопытства глядя по сторонам в окна; может быть, даже и не всматривался бы ни во что, а только скользнул бы взглядом и отвернулся.

Теперь все кругом было для него полно глубочайшего смысла: теперь он думал, что ни один художник не передал еще и в сотой доле того, что таится в самых обычных с виду линиях и красках, но некому было сказать об этом.

Охватившее Ливенцева накануне ощущение всепоглощающего могущества земли, какова она есть, с ее высотами и равнинами, таинственностью леса и текучей воды, не только не покидало его теперь, — но оно выросло даже. И теперь над ним, где-то гораздо выше обычных представлений о жизни и смерти, билась мысль, чтобы выявить какую-то извечную связь человека с землей и в смятение внести ясность».

Трудно было тогда рядовым солдатам и офицерам сразу понять, что именно свободный народ способен избавить страну от различных чужеземных захватчиков. Многие сознательные и бессознательные слуги самодержавия стремились уверить народ, что революционное свержение царской монархии может только усилить Германию. У Ливенцева не сразу слагается определенное мнение по данному вопросу. Но весь ход событий проясняет для него связь русского царизма с кайзеровской прусской монархией. На самом деле, несмотря на внешнеполитические противоречия, германская монархия всегда была важнейшим союзником царизма и зловещим врагом русского народа, в угнетении которого всегда объединялась с русским царизмом. Независимо от исхода войн немецкие захватчики всегда поддерживали монархию против революции в России. Эта тема немецкого влияния в придворной среде получит в свою очередь свое завершение освещение в романе «Брусиловский прорыв».

Образ Ливенцева весьма типичен. Не даром подобные характеры встречаются и в других крупных произведениях советской литературы. Несмотря на различие индивидуальных черт, у Ливенцева много общего с основным героем трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» — инженером Телегиным. И Ливенцев, и Телегин обычные мыслящие, честные русские люди. Сходен в общих чертах и их жизненный путь: от узкого идеала личного счастья через испытания войны к передовому революционному патристическому сознанию и действию.

Сходство персонажей свидетельствует о том, что и Сергеев-Ценский, и Толстой взяли предмет изображения типические процессы в русском обществе. То, что оба писателя ставят в центре своих произведений «среднего», обычного человека, объясняется стремлением изобразить изменения в сознании всего общества, а не какой-либо небольшой группы. «Средний человек» Телегин и «средний человек» Ливенцев — представители широких масс; они призваны, по замыслу писателей, выразить самые существенные изменения в русском обществе за годы войны и революции.

VIII

Сергеев-Ценский в своей трилогии представляет богатую галерею портретов русских офи-

щеров, различных по служебному положению и человеческим качествам.

Писатель не прибегает к примитивному делению героев на «хороших» и «плохих» в зависимости от их социальных убеждений. Напротив, именно разнообразие и сложность индивидуальных характеров представителей различных лагерей дают ему возможность правдивее и глубже показать общественные отношения.

Интересен и удачен в этом смысле образ начальника Ливенцова — полковника Ковалевского. Прежде всего он дельный, умный, храбрый офицер, живущий своей профессией. В нем много хорошего, человеческого, и вместе с тем Ковалевский весьма далек от Ливенцова. Главное различие их в том, что Ливенцов — патриот, связавший свою судьбу с народом, а Ковалевский — службист, живущий всецело интересами полка, строгими уставными нормами. О народе он не думает, поэтому он духовно далек и от солдат подчиненного ему полка. Солдат он замечает, только когда нужно поощрить отличившегося или наказать виновного.

Ливенцов понимает свои воинские обязанности, как служение родине во имя ее преобразования. Слово «границы» он воспринимает не в географическом, а в глубоко социальном смысле гражданской свободы и независимости, которых нужно добиться для того, чтобы обеспечить подлинную независимость своей страны.

«... Теперь ему казались странными даже чужие шутки по поводу целей войны: он твердо знал, что война велась во имя преобразования России, но не оципанной, не обдерганной, не кургузой России, а такой, какую создалась она в силу исторической необходимости. Теперь сам защищая границы государства, он несравненно глубже понимал слово «границы», чем это было раньше».

Ковалевский же воинский долг понимает узко, только как выполнение своих прямых обязанностей, не затрагивая вопроса о том, в какой степени это нужно народу. Он просто неглупый царский полковник. «Армия должна строиться, — говорит он Ливенцову, — не на одной голой дисциплине, а еще на доверии младшего к старшим, а старших к главнокомандующим. Наполеону верили? Верили. Потому-то за ним и шли на Москву. Аннибалу верили? Верили. Потому за ним и шли через Пиренеи и Альпы на Рим». Ковалевский не спит ночей в заботе о размещении и питании своей части, он смело добивается от начальства лучших условий для своих солдат, но движет им при этом простой служебный долг. В нем нет того, что в общечитии называется «душевностью», потому Ковалевскому полностью не верят даже офицеры.

Два различных воззрения на воинский долг представлены в образах Ковалевского и Ливенцова, и совершенно естественен и неизбежен конфликт этих противоположных воззрений. Ковалевский отдает приказ о расстреле пятилетних многолетних пожилых солдат, в прошлом крестьян из Екатеринославщины, по прозвищу

«бабьюков». Ливенцов не может с этим примириться и выступает в их защиту.

«В это время грянул нестройный залп: Привалов скомандовал: «Взвод, пл!»»

— Палач!.. Палач! — вне себя раза три под ряд выкрикнул Ливенцов, и Ковалевский как-то неестественно взвизгнул и выстрелил ему в грудь.

Этот выстрел совпал со вторым залпом по бабьюкам и Курбакину. Ливенцов упал лицом в снег».

Мы наглядно видим, как чуждость народу и сословная связь с царизмом приводят Ковалевского к неизбежному столкновению с передовой воинской средой.

С большой симпатией нарисован Сергеевым-Ценским образ невесты Ливенцова Натальи Сергеевны. Их отношения в сюжете романа занимают важное место: в разговорах с Натальей Сергеевной, в письмах к ней и мыслях герой романа раскрывает самое интимное и сокровенное своей души, вносящее в произведение так необходимое лирическое начало.

Единственный близкий Ливенцову человек, она не только милая девушка, но единомышленница, мужественно, как и он, переносящая тяготы войны. Ради того, чтобы быть «соучастницей войны против войны же», она нашла в себе силы перенести все испытания. Эта цель захватила ее и осветила все.

Безвольные, мятущиеся героини прежних произведений остались позади. Наталья Сергеевна — вначале скромная библиотечкараша в приморском городе, а затем медицинская сестра на фронте — открывает в творчестве Сергеева-Ценского целый ряд образов героических русских женщин, нашедших себе место в общественной борьбе, впоследствии особенно тепло нарисованных Сергеевым-Ценским в «Севастопольской страде». Она — литературная предшественница полных обаяния женских образов в «Севастопольской страде». Ее присутствие вносит в военные романы «Преображения» эмоциональный лирический колорит.

Сергеев-Ценский с самого начала далек от стремления приукрасить своих героев и военную действительность: он сразу ставит персонажей романов «Зауряд-полк», «Массы, машины, стихи» и «Брусиловский прорыв» в круг повседневной жизни войны со всей прозой тяжелых дорог, суставного ревматизма, штабных трений, смерти. Война изображается, как тяжелый труд, где высокое, героическое неизменно сочетается с повседневным, обычным. И именно объединение этих двух внешних противоположных, но всегда существующих сторон военной действительности делает героизм русских солдат, офицеров, заслуги Брусилова материально осязаемыми. Благодаря неприкрашенной правде изображения героя приобретает объективную убедительность.

Сюжетное построение военных романов эпопеи «Преображения» значительно отличается от ее первого романа — «Валя».

Композиция этого романа, как и предшествующих ему повестей, характерна неожиданностью поворотов, какой-то судорожностью,

быстрой сменой ситуаций. Военные романы, напротив, разворачиваются медленно, последовательно, без внезапных поворотов, автор как бы следует течению событий в их причинной и хронологической последовательности.

Эпичность повествования в «Преображении» усугубляется богатством описаний внешнего мира, быта. Писатель стремится к тому, чтобы внешняя среда, условия, воздействующие на людей, были ясны. Описания обстановки, в которой живут и воюют герои, даны очень обстоятельно и ярко. Солдатский и офицерский быт рисуется всесторонне: здесь и окопная грязь, и холод, и неуютность землянок, и сутолока штабов, и чинность приемных высших командиров. Нельзя забыть такие страницы, как, например, описание принесших стюльков бедствий снежных заносов на позициях Юго-западного фронта в 1915 году.

Будни военного быта писатель воспроизводит с такой тщательностью, что некоторые картины вырастают в эпизоды, имеющие самостоятельную ценность. Подлинный реалист, Сергеев-Ценский, однако, никогда не прибегает к описаниям ради них самих, они всегда необходимы для понимания поведения и переживаний героев, для логического разворачивания действия. Так, например, картина снежной стихии, обрушившейся на не подготовленный к зиме полк Ковалевского, служит источником многих драматических событий: попытка бабынок дезертировать, расстрел их, конфликт между Ливенцевым и командиром полка.

Эпопея Сергеева-Ценского богата различного рода острыми драматическими столкновениями. Они приходят быстро и на первый взгляд неожидано. Но во время самого столкновения мы чувствуем, как оно естественно вытекает из реальной обстановки. Писатель чрезвычайно умеренно пользуется свободой художника: он старается, главным образом, оживить действительные исторические факты.

Характеры героев в романах Сергеева-Ценского, равно как и многочисленные описания, тесно связаны с историей России того времени в целом. В романе ощущается живая связь каждой отдельной личной борьбы с судьбой всего народа.

IX

На несколько лет писатель прерывает свою работу над темой «преображения» России. За это время им написана эпопея «Севастопольская страда». Произведение это выделяется своей монументальностью среди всего написанного Сергеевым-Ценским: достаточно сказать, что объем этого труда составляет около двух тысяч страниц. Невверно думать, будто бы писатель отвлекся от своей основной темы «преображения», внезапно захваченный интересным замыслом создания нового исторического романа. Слишком кровной и родной была для Сергеева-Ценского идея художественного воплощения преобразования страны. Никакая посторонняя историческая тема не могла бы его отвлечь от выполнения своей основной творческой задачи. Написание эпопеи «Севастопольская страда» яви-

лось в творчестве Сергеева-Ценского закономерной необходимостью, тесно связанной со всем развитием его творчества. Именно в данном омске следует называть «Севастопольскую страду» итогом сорокалетней художественной деятельности писателя.

Задуманный перед первой мировой войной цикл романов «Преображение», по первичному замыслу писателя, должен был носить интимный характер, замкнутый сферой его старых интересов. Писатель создал свою собственную систему представлений о жизни, выстрадал ее в борьбе и мучительных противоречиях. И вдруг воздвигнутое автором сооружение и сама действительность, на фундаменте которой оно было построено, внезапно распалось, рушилось. Наступила война, годы революции, борьбы с интервентами и контрреволюцией. Писатель ясно увидел очертания новой жизни. Тема «преображения» России предстала в совершенно новом виде и несоизмеримо выросла в своей значительности. Нельзя было не перестроить и план цикла романов «Преображение». Сергеев-Ценский говорит о причинах изменения своего художественного замысла: «Революция показала мне, что преобразование жизни русской, чаемое мною и нашедшее было для моего художественного воплощения образы чисто интимные, разлилось слишком широко, — и для меня, зрителя совершившихся событий, представилась ясная возможность раздвинуть былые рамки романа, чтобы по-сильно отразить происшедшее. И первые части посвящены зарисовке довоенных переживаний, средние — войне, последние — революции». События революции показали Сергееву-Ценскому величайшую силу, активность и мудрость народа. Писатель увидел, что мощь народа ярче всего проявляется в переломные моменты истории. Косное существование безвольных личностей как важнейшая тема навсегда выбрасывается из творчества Сергеева-Ценского. В романах «Зауряд-полк» и «Массы, машины, стихи» уже рисуется история, общий облик народа. Однако русские люди здесь еще не захвачены единым порывом: они еще на подступах к решающему историческому действию, изменившему облик России. Для внутренней подготовки к воссозданию картины «преображения» России писателю нужно было творчески пережить героические традиции в истории русского народа, послужившие основой его дальнейшего поступательного движения вперед. Понятно, что люди уродливо-психологического склада — Ознобишины, Дивеевы, Бабаевы и другие старые герои Сергеева-Ценского — не могли служить основой преобразования Родины. Писатель в истории страны ищет предпосылки к великой ее современной роли. Сергеев-Ценский ищет предшественников современной могучей России, ее творческого народа. Он останавливается на исторически ближайшем событии, где с наибольшей силой сказалась высокая сознательность и патриотизм русских людей, — Севастопольской обороне 1854—1855 годов.

Создается художественная эпопея «Севастопольская страда». Ее герои: вице-адмиралы — Корнилов, Нахимов, генерал Хрулев, офи-

церы — Хлапонин, Бирюлов, Бутаков, солдаты и матросы — Шевченко, Кошка, Мартышин, Чернобровкин — предшественники русских людей, совершивших социалистическую революцию и героически отстаивающих свою родину в наши дни.

Севастопольская оборона — огромное событие, наиболее подсказывающее форму эпопеи. Перед читателем проходит множество действующих лиц, но никто из них не претендует быть главным, основным героем эпопеи. Главным героем произведения здесь предстает весь русский народ. В этом состоит основная черта данного произведения Сергеева-Ценского: она отличает эпопею «Севастопольская страда» от всех предшествующих его произведений. Одиноким личностью в прошлом здесь противостоит народ. В художественном развитии Сергеева-Ценского эпопея явилась необходимым этапом: окунувшись в океан народного героизма, писатель очистился от узости индивидуалистического воззрения своих старых героев-одиночек. Перед Сергеевым-Ценским раскрылись новые горизонты. Храбрость и доблесть защитников Севастополя воспринимается не как свойство одиночек. Автор в образах эпопеи убедительно доносит мысль, что защитники Севастополя представляют всю Россию, и подвиг севастьяпольской обороны — подвиг всего русского народа: «Это были подвиги народа, — читаем мы у Сергеева-Ценского, — а не отдельных людей, народа, который неторопливо, исподволь, хозяйственно занял на планете Земля столько удобных и неудобных просторов, сколько вошло в естественные границы от Белого моря до Черного и Каспия, от Балтийского до Тихого океана, так чтобы хватало этих просторов не только для праправнуков, но и для праправнуков праправнуков тоже.

Севастополь со всеми его бастионами был не больше, как точка в этой неизмеримости, но какая точка зато!.. Не город, а знамя России! И весь великий исторический смысл беспримерной защиты этого города от натиска почти целой Европы, явно или тайно участвовавшей в натиске, состоял именно в том, чтобы отстоять знамя, полотнище знамени, которое отрывает от древка в рукопашном бою знаменщик, чтобы опоясаться им под мундиром и тем его спасти. Пусть изломанное в схватке древко достанется нападшему в больших силах врагу, но не самое знамя».

Писатель создал в «Севастопольской страде» массовый коллективный образ русских людей, защитников Севастополя, защитников чести своей страны. В этом отношении эпопея Сергеева-Ценского, пожалуй, не имела себе равных в нашей новейшей исторической художественной литературе. Образ массового героизма раскрывает типичные черты русского человека, особенно ярко проявляющиеся в моменты опасности, грозящей родине.

Оборона Севастополя длилась одиннадцать месяцев. Во много раз уступавший врагам и количественно и по качеству вооружения севастьяпольский героизм выдержал атаки интервентов и нанес им ряд чувствительных ударов.

После того как город был превращен в развалины, русские войска по приказу командования очистили Южную и Корабельную стороны города. Севастопольцы не сдались. Потерпели поражение в крымской войне царизм, крепостничество, а не народ. Напротив, оборона Севастополя показала патриотизм русского народа и его величайший героизм. Для захвата Южной и Корабельной сторон Севастополя союзники потеряли более полутора тысяч убитыми и умершими от болезней. В итоге гарнизон Севастополя опять стоял перед неприятелем на Северной стороне, непокоренный, готовый к дальнейшей борьбе. Движение дальше для врага было невозможным. Русская земля оказалась недоступной: «слишком трудной, слишком вязкой, слишком непроходимой».

Главнокомандующие союзных армий не могли не задуматься над тем, что огромнейшие усилия и жертвы, затраченные четырьмя союзными державами Европы на совсем маленьком, ничтожно маленьком клочке огромнейшей, как Великий океан, русской земли, привели к ничтожным по существу результатам, а русская армия, переправившись на другой берег Большой бухты, заняла на третьей, Северной стороне того же Севастополя позиции, гораздо более сильные, чем те, насколько сооруженные, которые уступила она после упорнейшей почти годовой борьбы...

Сколько же еще времени, средств и человеческих жизней потребует на то, чтобы овладеть этой третьей стороной, где артиллеристы заняли уже свои места у новой тысячи орудий. И удастся ли это?.. И нужно ли это?.. А если нужно, то кому именно нужно и зачем нужно?..

Главнокомандующие армии англо-французов узнали уже, что представляет собой русский солдат, защищающий родину. Они не преминули дать понять это и своим правительствам, отправляя донесения о штурме восьмого сентября».

Оборона Севастополя в одно и то же время проявила и слабость самодержавия, и огромную силу народа. Падение крепостничества было ускорено поражением царизма в Крымской войне. Героический порыв народа возлил освободительное движение в стране, возглавленное Чернышевским. «Знаменитые в русской жизни девятнадцатого века шестидесятые годы глядели в зияющую брешь, пробитую одиннадцатимесячной севастьяпольской канонадой», — говорит Сергеев-Ценский. Без понимания традиций революционных шестидесятников и героизма севастьяпольцев трудно разобраться в последующем развитии русской общественной мысли. Писатель через севастьяпольскую эпопею подводит нас к историческим предпосылкам «преображения» нашей страны в годы прошлой мировой войны и социалистической революции.

История представлена Сергеевым-Ценским в живых лицах. Здесь и Николай I-й и Наполеон III, командующие войсками союзников маршал Сент-Арно, лорд Раглан, оба главнокомандующих русской армией в Крыму — князь Меншиков, а затем сменивший его

князь Горчаков. Исторические характеристики этих людей сделаны ярко и добросовестно. Самые горячие и заслуженные симпатии писателя проявляет в образах главных боевых деятелей и организаторов севастопольской обороны — Нахимова и Корнилова, Истомина, Хрулева, Тотлебена, Бутакова, Бирюлева, Будищева, знаменитого русского хирурга профессора Пирогова, рядовых защитников Севастополя, солдат и матросов: Кошки, Егора Мартышина, Арефия Алексева, Шевченко, Терентия Чернобровкина, сестры милосердия Графовой и многих других скромных героев. Невозможно в статье охарактеризовать всех многочисленных персонажей произведения и пытаться изложить его содержание. В пределах своей темы и эпохи произведение Сергеева-Ценского является подлинной социально-исторической энциклопедией.

Самая большая удача писателя в эпопее «Севастопольская страда» — это изображение массовой психологии, массового героизма русских солдат и матросов. В произведении среди отдельных персонажей нет главного героя. На это не может претендовать никто из персонажей: все они более или менее равноправны. Писатель не выделяет особо кого-либо из рядовых защитников Севастополя. Ни Кошка, ни даже Чернобровкин, не поставлены в центре действия. Не останавливаясь подолгу ни на одном из этих персонажей, автор раскрыл душу всей массы русских людей, оборонявших знаменитый город. Поэтому произведение Сергеева-Ценского с полным правом и в полном смысле является эпопеей. Писатель взял в основу своего произведения крупнейшее историческое событие, вызвавшее величайший патриотический подъем в его участниках. Он показал массу в ее единстве и действии. А это — главнейшие признаки эпопеи. Первые годы империалистической войны до 1917 года не могли дать материала для эпопеи. Первые романы цикла «Преображение» — «Валя», «Затуряд-полк», «Массы, машины, стихии» — сами по себе еще не представляют эпопеи. Они только подступили к ней. «Преображение» — эпопея по замыслу, в полном смысле таковой это произведение станет, когда будут написаны страницы о революции, захватившей массы, объединившей их в едином действии, вызвавшей небывалый подъем страстей и чувств. Героическую традицию эпоса нашей современности Сергеев-Ценский нашел в яркой главе истории нашего народа — севастопольской обороне.

Трудно сказать, какими изобразительными средствами автор «Севастопольской страды» достиг непревзойденного реализма в воспроизведении массового героизма. Искусство художника нельзя исчерпать указанием на определенные приемы. Нужно найти душу его, то, что Белинский называл пафосом произведения. Пафос «Севастопольской страды» определен патриотизмом и высоким мастерством художника. А патриотизм нельзя понять только разумом: он одухотворен и живет еще в чувстве, гражданской страсти.

Только крупный художник-патриот мог соз-

дать такой широкий, потрясающий образ народного героизма. В этом отношении произведение Сергеева-Ценского имело мало предшественников и мало соперников в советской исторической художественной литературе. Писатель умеет живописать массу в непосредственно боевом действии. Участвующие в воинском деле полки — Минский, Селенгинский, Азовский, Волжский, Одесский, Украинский — выступают не просто как обозначение частей, а как целостные организмы, сплоченные дисциплиной, долгом. Рассказывается в эпопее о повседневном героизме, готовности отдать жизнь за родину, бесстрашии, упорстве. Доблесть на бастионах проявляется под губительными бомбардировками сотен орудий и в стремительных штыковых атаках. Мы буквально чувствуем пороховой дым и специфический для земляных сооружений бастионов запах, прочность людей, их соорудивших. Война воспринимается прежде всего не как ужас, а как долг, повседневность.

Приведем показательный для Сергеева-Ценского отрывок:

«Если закатилась, например, бомба небольших размеров в блиндаж через двери и вертится, и шипит, готовая взорваться и убить, и искалечить осколками несколько человек, то, конечно, должен же кто-нибудь броситься к ней, схватить ее руками и выбросить вон из блиндажа, — как же иначе? Это, конечно, героический поступок, но подобных поступков было много, к ним привыкли, они никого уж не удивляли, — они были просто необходимы, так же, как борщ и каша.

Была, кстати, и такой случай, что ядро, подпрыгивая, катилось по земле и шлепнулось в объемистый ротный котел каши. Посмеялись, что французская «чулулка» прилеплась пробовать русскую кашу — «не иначе — голодная, стерва!» — но не выкидывать же было ради этого целый котел... Выкинули ядро, а кашу все-таки съели».

Матросы, высаженные с кораблей черноморского флота, и солдаты не допускают и мысли, чтобы оставить свое боевое место, даже в самые критические моменты. Перед нами те славные русские воины, о которых даже враги говорили с восхищением. Вспомним слова Фридриха Второго о русском солдате: «Его мало убить, а надо после этого еще повалить». Презрение к смерти в осажденном Севастополе являлось свойством не единиц, а сотен тысяч, всей массы. До какой степени доходила сила сопротивления врагу, свидетельствуют тысячи фактов, описанных в произведении.

Приведем один пример. На бастионах решающего пункта обороны — Малаховом кургане против двух сотен неприятельских орудий осталось только двенадцать, и все равно металлический ураган, обрушившийся на головы их защитников, не смог их принудить оставить бастионы. Севастопольская оборона была войной неравных сил. Тем не менее, мужество русских воинов стало непреодолимой преградой для превосходящих сил врага. Когда Горчаков приказал оставить бастионы, то старшие

офицеры не решались передать приказание солдатам: они посылали на соседние бастионы справляться, получили ли там такой приказ. А солдаты возбужденно кричали: «Измена, братцы, измена».

«Когда солдаты и матросы на бастионах, редутах и батареях убедились в том, что совсем не «измена», а приказ очистить укрепления, отдать их врагам без боя, взорвать то, что защищали они, не щадя своих жизней долгие месяцы, укрепления, на сажень в глубину пропитанные кровью павших на них товарищей и через это ставшие святыней русского народа, то многие из них заплакали... А старые матросы рыдали, ругая при этом и Сакена, и Горчакова.

Это были слезы мужественных людей, всегда готовых к какому угодно увечью и к смерти за то, что доверено было родиной их защите, и ведь только-что, всего два-три часа назад, дрались они за эти бастионы и редуты и отбросили врага!.. Это были слезы кровной обиды, которую нужно было перенести молча. Тут воинская честь столкнулась с военной дисциплиной и должна была уступить ей».

Десятки атак, гигантский труд, затраченный на строительство оборонительных сооружений, ад бомбардировок — все в целом воссоздает общий облик истекающего кровью, но непобедимого и бессмертного русского богатыря, берущего от родной земли неисчерпаемые силы. Картина Инкерманского боя заканчивается характерным примечанием корреспондента лондонской газеты «Морнинг Кроникль».

«Судьба сражения еще колебалась, когда прибывшие к нам французы атаковали левый фланг неприятеля. С этой минуты русские не могли уже надеяться на успех, но, несмотря на это, в их рядах не заметно было ни малейшего колебания и беспорядка. Поражаемые огнем нашей артиллерии, они смыкали ряды свои и храбро отражали все атаки союзников, напиравших на них с фронта и фланга. Минут по пяти длилась иногда страшная схватка, в которой солдаты дрались то штыками, то прикладами. Нельзя поверить, не будь очевидцем, что есть на свете войска, умеющие отступать так блистательно, как русские.

Преследуемые всею союзною полевой артиллерией, батальоны их отходили медленно, поминутно смыкая ряды и по временам бросаясь в штыки на союзников. Это отступление русских Гомер сравнил бы с отступлением льва, когда, окруженный охотниками, он отходит шаг за шагом, потрясая гривой, обращает гордое чело к врагам своим и потом снова продолжает путь, истекая кровью от многих ран, ему нанесенных, но непоколебимо мужественный, непобежденный».

Весь склад души наших людей вел их к подвигу. В самый тяжелый день бомбардировки Малахова кургана, когда его защитники изнемогали от жажды и жары, глазам их представлялось незабываемое зрелище. «Не страшась ядер и пуль, к бастиону шла вереница женщин в платочках. Они несли воду. Дошло только пять матросских жен, — остальные

погибли. Рядом с одной из них шагал семилетний мальчик. Его привела мать, чтобы ее тяжело раненный муж дал сыну перед своей смертью навеки нерушимое отцовское благословение.» Факты добести мы приводим не в качестве примеров, их пришлось бы бесконечно умножать. Смысл их в произведении более значителен: в них воплощается дух эпохи Сергеева-Ценского, ее внутренний смысл. Писатель продолжает отличительную традицию классической русской литературы и искусства — великие заветы боевого товарищества и верности родине. У Пушкина, Гоголя, Л. Толстого, Ропина, Васнецова, Сурикова русские люди в бою живут этим главным чувством. Они не прощают измены товарищам, как не простил Тарас Бульба своего сына Андрея. Герои «Севастопольской страды» сплочены единой мыслью и чувством. Наиболее ярко эта мысль выражена Корниловым в его обращении к солдатам и матросам: «Ретирады не будет! А если услышите, что я вам скоманую ретираду, колите меня штыками». И на самом деле, никто из защитников Севастополя не помышляет об отступлении, а с готовностью, доходящей до самозабвения, они все несут тяжелый воинский крест.

Что же толкало простых, русских людей, угнетенных крепостничеством, на бессмертные подвиги? Откуда выросла всеобщая философия бесстрашия и героизма? Ведь недавно начальство в лице севастопольского генерал-губернатора Столыпина беспощадно расправлялось с беззащитными матросскими женами. Еще невыносимым гнетом давило неправых людей мрачное крепостничество. Беглому крепостному Терентию Чернобровкину попржнему угрожает каторга или беспощадная порка. И все-таки он становится героем, воюет не за страх, а за совесть. Сергеев-Ценский дает на этот важнейший вопрос убедительный ответ. Истоки патриотизма простых русских людей неиссякаемы. Бойцы Севастополя — героические русские солдаты шли на смерть не за царя и помещиков, а за родину, Россию. Севастополь для них есть неотделимая часть их родины, их земли: «Ведь солдаты русские были сами люди деревни: они знали, что такое земля, с кем бы ни довелось за нее сражаться, и без особых объяснений ротных командиров могли понять, что такую уйму земли, как в России, могли добыть с бою только войска, которые непобедимы». Севастополь маленький окранный кусочек нашей огромной земли. Однако он пункт, который приближает врага к другим районам родины. Его нельзя было отдать, так как он неотделимая часть родины и, кроме того, был нужен для спокойствия страны. Город, отстаиваемый героями произведения Сергеева-Ценского, стоял на берегу прекрасного Черного моря. Севастополь — безопасность морских границ родины на Юге. С давних времен жизнь народов России была неразрывно связана с Черным морем. Море и свободные выходы в него являлись ключом к благосостоянию края. И когда пришлые люди захотели обездолить здесь Россию, отрезать ее от моря и залереть в лесах, то народный разум

не мог с этим примириться. Государственная идея необходимости для будущего страны прочного положения на прилегающих морях существовала не только в головах испытанных официальных государственных деятелей и дипломатов: она выросла из положения страны, стихийно укреплялась в сознании многомиллионного народа. Это кровная идея русских, выношенная за время всего исторического существования русского государства. И разумеется государственный, хотя бы и царских правительств, не мог обойти вековую мудрость народа. Поэтому Севастополь стал знаменем, символом чести России, за которые беззаветно сражались герои Севастополя.

Х

Объем эпического произведения зависит от значительности исторического события. Писатель освещает события Севастопольской обороны чрезвычайно широко. По своей обстоятельности и широте привлечения материала эпопею Сергеева-Ценского можно сравнить с некоторыми специальными историческими исследованиями. Детально изображена предистория Крымской войны, все двадцать шесть сражений Севастопольской обороны, дан краткий очерк последствий войны для России. Охарактеризованы движущие международные силы, породившие события 1854—1855 годов, крупнейшие дипломаты, политические деятели и полководцы, принимавшие участие в войне с той и другой стороны.

Поскольку в Севастополе тогда скрестились противоположные интересы ведущих держав мира, действие эпопеи в пространственном отношении не ограничивается одним местом. Из Севастополя оно переносится в Петербург, Лондон, Париж, Москву, в глухую провинцию, в имение помещика Хапонина, поместье славянофилов Аксаковых. Кажется, нельзя найти сколько-нибудь значительное историческое событие того времени, не нашедшее себе места в книге Сергеева-Ценского. От повествования о массе простых сражающихся людей и их делах писатель переходит к освещению тайников хитроумной европейской дипломатии, характеристике облика правителей воюющих держав.

Среди действующих лиц эпопеи главное место занимают лица исторические. Лица вымышленные, без которых трудно, да и, пожалуй, нельзя обойтись в историческом романе, занимают подчиненное положение. Зато солдатская и матросская масса, в отличие от предшествующих произведений Сергеева-Ценского, принимает облик решающей исторической силы. Личные свойства отдельных представителей поглощены историей. Господство истории явилось в творчестве автора эпопеи совершенно закономерной противоположностью внеисторичности его прежних произведений, резкой индивидуальности их персонажей. У писателей, длительное время занятых изображением только личной, частной жизни героев, такой крен в сторону абсолютного историзма является вполне понятным, так как в силу резкого отталкивания от старого индивидуальность и история у них выступают, как полярные противоположности. Такое невольное противопоставление яв-

блюдалось не только у Сергеева-Ценского, но и у других наших писателей. Так, например, можно провести в этом смысле некоторую аналогию между развитием творчества Ценского и Алексея Толстого. После построенного на личной теме романа «Сестры» Толстой написал роман «18-й год», построенный на принципах «абсолютного историзма», то-есть такого метода изображения, когда личные судьбы героев отодвигаются на задний план, и писатель поглощается историческим материалом. Толстому так же, как и Сергееву-Ценскому, пришлось надолго прервать работу над трилогией «Хождение по мукам», чтобы найти творческое равновесие в процессе создания другого исторического романа «Петр I». Толстой так же, как и Ценский, находит в русской истории активную, творческую, героическую традицию, помогающую художнику глубже осмыслить еще более грандиозные события нашей современности и решающую в них роль народа.

В эпопею Сергеева-Ценского все подчинено военным событиям. Основной сюжет «Севастопольской страды» построен соответственно исторической хронологии, от появления у берегов Крыма неприятельской эскадры до заключения мирного договора. Все мышление, интересы и чувства персонажей раскрываются только в связи с главным событием: за пределы его они почти не выходят.

Указанные особенности эпопеи «Севастопольская страда» можно объяснить свойствами эпической литературы. Установившееся деление литературы на роды предполагает, что в произведениях чисто эпического характера в центре лежит историческое событие. Отдельные человеческие образы служат только внешним центром изображенного события, так как герой эпопеи есть сама жизнь, а не человек. «В эпопее событие, так сказать, подавляет собой человека, заполняет своим величием и своей огромностью личность человеческую, отвлекает от нее наше внимание своим собственным интересом, разнообразием и множеством своих картин» (Белинский).

Характер изображения в «Севастопольской страде» полностью соответствует приведенному определению типических особенностей эпического произведения. Все главные герои произведения живут только войной, говорят и думают только о войне. Отграничение мышления и чувствования персонажей «Севастопольской страды» одной военной и отчасти политической областью есть отличительная черта произведения Сергеева-Ценского. Можно было бы ограничиться простым утверждением указанных эпических свойств «Севастопольской страды» и на этом закончить. Но само дальнейшее художественное развитие Сергеева-Ценского побуждает сделать серьезное критическое замечание по поводу «абсолютного историзма», как метода художественного исторического романа. Соотношение личной и исторической жизни в «Севастопольской страде», можно думать, выходит за пределы меры, необходимой в историческом художественном произведении; подавление личного, частного человеческого начала историческим материалом пред-

ставляется в высшей степени спорным. В самые напряженные моменты истории, в бою, на производстве, в политике у человека остается еще свой мир личных переживаний, семья, любовь, наслаждение природой, то-есть то, что называется частной жизнью и составляет источник лирики. Даже гражданская лирика имеет своим истоком личное, человеческое чувство. Личность человеческая в эпопее всегда отодвигалась на задний план. Она не лишалась активности, подвига, высоты духа, но все это занимало внимание, поскольку было связано с историческим событием. Сейчас личность человеческая стоит в центре искусства, следовательно, эпос в историческом романе должен неразрывно сливаться с драматическим и лирическим началом, проясняющим человеческую душу героя и этим обогащая историю. «Севастопольская страда» богата и личным драматизмом, но он нередко подавляется несоизмеримой величиной исторических глыб.

Повествование о судьбах героев в «Севастопольской страде» часто прерывается главами чисто исторического содержания, представляющими как бы широкий познавательный комментарий к роману. Историко-познавательная часть романа чрезвычайно обширна. Отступления имеют место и в «Войне и мире» Толстого. Но там их удельный вес меньше, так как Толстой неизмеримо больше места уделял частной жизни героев—Болконских, Ростовых, Безуховых. Кроме этого, исторические отступления Толстого большей частью преломляются сквозь призму сознания героя или же иногда служат рупором жизненной философии самого автора. У Сергеева-Ценского описание события не всегда озаряется чувством того или иного героя. Автор обычно рассказывает, преследуя прежде всего познавательную цель.

В исторических романах Сергеева-Ценского изменилась и творческая манера писателя. Богатство красок, изобилие пейзажных зарисовок, песенная лиричность языка уступают место точному безметафорному изложению, иногда приближающемуся к публицистической речи.

Огромный исторический материал зачастую отвлекает художника от задач искусства: выдвигает часто на первый план историко-популяризаторскую задачу, отодвигая на второй план художественную. Подлинными документами, выдержки мемуаров, из статей английских газет «Морнинг пост», «Таймс», истории Крымской войны Кинглека, русской официальной истории Севастопольской обороны, иногда выглядывают на общем художественном фоне, как спомранные голые каменные глыбы на прекрасно обработанном поле. Богатейшее познавательное значение эпопеи несомненно. Излишняя обстоятельность в этой части иногда начинает спорить с художественной стороной произведения.

Метод беллетризации истории, примененный автором в «Севастопольской страде», имеет свои и сильные, и слабые стороны. Герои произведения богато обрисованы в делах, чувствованиях и мыслях, касающихся военно-исторической области. Вместе с тем военно-историческая тема оттесняет на задний план задачу

дальнейшего художественного проникновения в душу и быт героев. Белинский, давший классическое определение эпического жанра, утверждает: время эпоса в его чистом виде прошло с тех пор, когда жизнь распалась на две противоположные стороны— поэзию и прозу. Повествование об историческом подвиге без обидного человеческого, прозаического ограничения возможности художника официально исторической стороной. Эпопея новейшего времени есть роман. Великое преимущество романа в том, что его содержанием, наряду с историей, является и частная жизнь. Люди в нем должны предстать не только как герои, солдаты, полководцы, но и как частные личности, со своим индивидуальным миром, с отношением не только к историческому событию, но и к миру вообще. Сергеев-Ценский нарисовал не только полководцев, народ и героев: он показал и человека, но в очень ограниченной сфере проявлений. Его герои не думают ни о чем другом, кроме войны; у них нет личных интимных привязанностей, любви, семьи, взгляда на мир; дальше своих непосредственных служебных или гражданских обязанностей они не идут.

В произведении явно нехватает частной жизни героев, хотя бы в пределах переживаний и размышлений. Ни в какой обстановке, ни при каких обстоятельствах, хотя при самой полной завачченности великими историческими делами, человек не может быть изъят из интимного личного мира. Причем в историческом романе богатство изображения личной жизни не мешает истории, а напротив, обогащает исторические образы.

Искусство ничего не выигрывает от разделения в историческом оомане личного, частного и исторического, героики. Возражая людям, почитающим незаконным соединением исторических событий с частными происшествиями, Белинский утверждал: «Разве в самой действительности исторические события не переплетаются с судьбой частного человека; и наоборот, разве частный человек не принимает иногда участия в исторических событиях? Кроме того, разве всякое историческое лицо, хотя бы то и был царь, не есть в то же время и просто человек, который, как все люди, и любит, и ненавидит, страдает и радуется, жалеет и надеется? И тем более, разве обстоятельства его частной жизни не имеют влияния на исторические события, и, наоборот? Роман отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с частным событием, составляющим его содержание, но через это он разоблачает перед нами внутреннюю сторону, изнанку, так сказать, исторических фактов...»

Было бы неправильным назвать «Севастопольскую страду» только беллетризированной историей. Многие страницы эпопеи дают живые и яркие индивидуальные эпизоды человеческой судьбы. Но все-таки их подавляет груз непосредственно исторического материала.

Кроме лиц исторических, через все произведение проходит судьба нескольких вымышленных лиц, которые могли бы восполнить недостаток в содержании изображения человека, его личной жизни, как, например, у Льва Толсто-

го в «Войне и мире» семья Болконских, Безуховы, Ростовы. В лице капитана в отставке Зарубина, его жены, сына Вити и дочерей, артиллерийского офицера Хлапонина и его жены Елизаветы Михайловны Сергеев-Ценский создал прекрасные русские характеры. Однако в отличие от персонажей романа А. Толстого их значение в произведении Сергеева-Ценского значительно меньше, и их интеллектуальный мир гораздо беднее. Написаны эти образы реалистически живо, но их сознание не освещает историческое содержание эпопеи.

Исторические события в «Севастопольской страде» художественно одушевляются, когда они изображаются в живой связи с Нахимовым, Корниловым, Чернобровкиным, Хрулевым, героями-офицерами, солдатами и матросами. Но огромные массивы историко-военного материала существуют в эпопее помимо живых определенных людей, не согретые их чувством и мыслью. Часто, вследствие этого, прекрасные художественные эпизоды иногда как бы растворяются в массе публицистическо-исторического повествования. История в таких местах лежит перед нами мертвой, не согретой человеческой душой. В данном случае речь идет о главах «Севастопольской страды», не освещенных внутренним субъективным началом, перегруженных историко-публицистическим повествованием. Без человека история в художественном произведении лишается лиризма; лиризм же душа всякого искусства. Для всякого художественного произведения, хотя бы оно и являлось историческим и ставило перед собой задачу освещения деятельности многоотысячных масс, обязательно постоянное присутствие одного героя или нескольких, полно представленных со стороны их внутренней духовной жизни.

Подавлением субъективного лирического начала большим массивом исторического материала, отягочающим ряд глав романа Сергеева-Ценского, объясняет, почему так скупо представлен в «Севастопольской страде» великодушный пейзаж, отливавший раньше вещи автора. Блестящая зарисовка черноморской бури радуется средце, хочется еще ошутимее видеть полную картину природы; на фоне которой идет битва. Но писатель слишком строг и не отвлекается от подробного описания боевых операций. От души был бы обрадован читатель, если бы вместо некоторых военно-публицистических отвлечений события встали в рамке, как всегда яркого у Сергеева-Ценского, крымского пейзажа. Сделанные критические замечания не послужат на признание заслуг автора. Слишком много дал нам в своей прекрасной книге Сергеев-Ценский.

XI

Присутствие общенародного интереса в обзоре Севастополя и дало основу для величайшего массового героизма. Без крупного народного движения в войне Сергеев-Ценский не смог бы создать эпопею. Велика заслуга художника, сумевшего в своем произведении

изобразить в самых различных проявлениях подлинно народное, героико-патриотическое движение.

Писатель не забывает реальных общественных отношений в царской крепостнической России. Внутри России существовало две нации: нация Николая I, Бенкендорфа, Меншикова, крепостников-угнетателей, и нация Чернышевского, гигантского угнетенного народа. История семейства Хлапоновых рисует столкновение благородного боевого офицера с громоздкой и зловещей жандармско-помещичьей государственной системой, возглавляемой Николаем I. Хлапонин подвергается преследованиям за человеческое отношение к крепостному своему родственнику Терентию Чернобровкину. Заслуженного офицера обвиняют не более, не менее как в соучастии в убийстве с целью завладеть имением родственника. Фигура Терентия Чернобровкина очень примечательна. Впервые с ним мы встречаемся в деревне, куда раненый Хлапонин приезжает погостить к своему дяде-помещику. Кстати сказать, деревня по праву принадлежит Хлапонину; лишь пользуясь его бескорыстием и мягкостью, дядя присвоил ее себе. Помещик воспринимает войну по-своему. Узнав, что в Крыму много раненых, он решил заняться для дохода разведением и сбытом медицинских пивков. Зреет у него много еще других подобных коммерческих планов. Первый в округе силач и весельчак Терентий раздражает помещика. Несмотря на то, что у того большая семья, самодур решает отдать крестьянина в солдаты. Терентий, возмущенный несправедливостью, расправляется с бариним. Он бежит на Кубань к казакам и, назвавшись Василием Чумаченко, отправляется воевать в Севастополь. Итти туда его побуждает, с одной стороны, стремление скрыться от жандармского розыска, а с другой—желание принести пользу России. Личные побуждения у него перерастают в патриотические. В сочетании самых различных побуждений заключается жизненность и типичность Чернобровкина, воплощающая в себе удел многих русских крестьян. В рядах защитников Севастополя он совершает много блестящих подвигов, становится кавалером орденов. Положение его, как ж всего крестьянства, остается прежним. Первый храбрец в отряде, он, как и раньше, числится в списках беглых крестьян, подлежащих возвращению помещику и наказанию.

Чернобровкин еще не потерял веры в царя и справедливость. В разговоре с Хлапоным он сознает о том, что не был на месте во время посещения царем полка. Герой войны, беглый крестьянин мечтает, что, увидев царя, он бы ему сказал:

«Ваше императорское величество!.. Пластун Чумаченко Василь — он только считается пластун; а есть он вовсе беглый Чернобровкин Терентий, Курской губернии, Белгородского уезду... А что же он делал в бегах, этот беглый? Русскую землю оборонял, тебе, батюшка наш, служил,—вот что он делал! И сколько через это страдания разных перенес, несть им числа! И сколько исприятелей покарал»

порешил, а которых в плен взял вот этими руками своими, за что от тебя же и награды имею!.. Неужто ж не дозволишь ты, батько наш, нам с жинкой, с ребятими, — как их теперь уже пятеро, — в казаки на Кубань записаться, а вину мою чтобы скостить велеть? Неужто ж я перед тобой, батько, за нее не сквитался?

Терентий даже дрожал весь, когда говорил это; Хлалонин чувствовал эту дрожь, так как он держал его за руку, и глядя на него Терентий такими взволнованными глазами, точно воображал очень живо на его месте самого царя, да не здесь, в землянке под Севастополем, а там, во дворце, в Петербурге.

Отвернулся он, чтобы вытереть пальцем выступившие слезы, и сказал глухо, но решительно.

— Нет, брат Тереха, ничего из этого путевого не выйдет!.. Лучше уж не просить тебе прощенья, потому что... все равно не простят».

Хлалонин прав. Тыл Севастополя еще остается неподвижным и крепостническим, но писатель указывает, что Крымская война встряхнула царизм, ускорила падение крепостничества. Большое народное движение никогда не остается бесплодным, говорит логикой всей эпопеи Сергеев-Ценский.

Созданные Сергеевым-Ценским образы исторических лиц принадлежат к бесспорным достижениям нашего исторического романа. Глава государства Николай I выведен в эпопее в момент самого тяжелого потрясения всей правительственной системы. Образ самодержца в эпопее «Севастопольская страда» вносит много нового, обогащает наше представление о нем. Достигается это не столько беллетризованным пересказом очень занятых исторических анекдотов, сколько раскрытием своеобразной трагедии деспотического императора, перед самой смертью ясно увидевшего порочность всей своей внутренней политики, державшей страну в отсталости. В дни войны вся эта система привела к катастрофе. Нивелировка людей, подгонка их по стандарту, удушение живой мысли и инициативы оказались губительными. Николаевский режим старался воспитать людей, не имеющих собственного лица, или «вытраивал его серной кислотой» длительной наукой служить преуспевая». Внутренняя трагедия Николая I с наибольшей яркостью проявляется в картине его смерти, написанной с исключительной художественной силой.

Отсталость России во время Крымской войны поставила русскую армию в тяжелое положение.

Героизм русских солдат и моряков превосходил все возможности, но внешние обстоятельства не могли не сказаться на общем исходе войны. И если русский народ проявил необычайную моральную силу, то царизм и крепостничество обнаружили свою слабость и потерпели поражение.

Военно-стратегические вопросы в эпопее Сергеева-Ценского неотделимы от политических.

Автор не сочетает их каким-либо искусственным образом: военная стратегия, которой писатель уделяет исключительное внимание, и политика в действительности неотделимы друг от друга. Как известно, великие полководцы русского народа не всегда ладили с самодержавием. Например, Суворов не мирился с прусской мертвечиной, которую усиленно внедрял в русскую армию Павел I; Кутузов не пользовался любовью придворного руководства, да и сам не жаловал знатных карьеристов, бездарных и ничтожных в годину тяжелого боевого испытания. Придворная среда имела своих высоких ставленников в армии и в Крымскую войну. К ним в первую очередь относится первый главнокомандующий русских сил в Крыму светлейший князь Меншиков. Образ его написан очень сильно. Блестящий придворный, любимец царя, остроумный Меншиков считался одним из умнейших людей в руководящей среде того времени. Все положительные качества образованного русского барина присущи ему. Сергеев-Ценский нарисовал художественно выпуклый и яркий человеческий портрет. Меншиков в отличие от многих других царских генералов храбрый и бескорыстный человек, но избалованный судьбой, огромным состоянием, легкомысленный. Привыкнув достигать успеха без усилий, Меншиков не умеет практически серьезно отнестись к делу. И еще хуже то, что он скептически относится к России, русским солдатам. Неверие в бойца уже предвещает неуспех полководца. Война не терпит формализма, а главнокомандующий русской армией в Крыму, вместо того чтобы взять на себя решительную ответственность, больше всего думает о мнении петербургских сфер: царя и двора, — о личной карьере. Сложный портрет Меншикова проясняет разложение русской аристократии, сказавшееся прежде всего в утере патриотических чувств. Начитанный и культурный человек, Меншиков не стоит фактически во главе обороны Севастополя. Из произведения видна отчужденность главнокомандующего от народа, армии. Он заранее уверен в поражении, поэтому для него все «пустяки». В критический момент напряженнейших боевых действий его больше всего занимает мысль о приезде в армию великих князей Николая и Михаила. И по его мнению гораздо лучше проинтрать сражение и потерять половину армии, но сохранить царевичей, чем при условии полной победы потерять хоть одного из них.

При назначении вице-адмирала Нахимова начальником обороны южной части Севастополя, тот счел своим долгом заявить о своей неподготовленности для роли «сухопутного генерала»: Ответ на это Меншикова выдержан в его обычном тоне:

«Пу-стя-ки! — Меншиков сделал гримасу. — «Всякий вице-адмирал равен по своему чину генерал-лейтенанту».

И затем он полушутливо, полусерьезно добавил:

— Древние римляне назначали на долж-

ности полководцев не только адмиралов взамен генералов, а даже людей, никогда не служивших в войсках... Возьмите хотя бы Лукулла, который был только богат и любил хорошо покушать... Однако же он оказался очень удачливым полководцем, не так ли? Почему же? Да по той простой причине, что была у него, как у всякого богатого человека, привычка командовать людьми...»

Меньшиков не любит и не знает своих солдат. Он был и остался, независимо от своих знаний и цивилизованности, отъявленным крепостником. Не задумавшись, бросает он солдат на бесплодную гибель.

Перед самым началом боя на реке Алме по вызову главнокомандующего на позиции пришли два батальона Московского полка, сделавшие за трое суток двести двадцать верст. Генерал Кирьяков велел новоприбывшим батальонам расположиться на отдых и назначил их в резерв. Но Меньшиков через своего адъютанта Грейга передал им приказ немедленно выйти в первую линию левого фланга.

« — Они не могут! Они только-что пришли! Они без ног! — запальчиво крикнул Кирьяков.

— Не могу знать, ваше превосходительство, таков именно приказ его светлости, — отозвался Грейг, отбывая.

Кирьяков повернул за ним коня.

Меньшиков сидел на рослом гнедом донце — сухой, костяной, желтый. Глаза Кирьякова с трудом выкарабкивались из набрякших век, когда он, поднимая руку к козырьку, проговорил жельно:

— Я приказал только-что пришедшим батальонам Московского полка остаться в резерве, ваша светлость!

— А я... я приказываю, — поднял голос Меньшиков, — взять их из резерва сюда, на левый фланг!

— Они устали, ваша светлость!

— Пустяки! «Устали!»... Извольте передвинуть их сюда сейчас же! Немедля!.. Сюда! Вот!

И Меньшиков, отвернувшись от Кирьякова, указал рукой, куда он думал поставить батальон».

Меньшикова на посту главнокомандующего сменил князь М. Д. Горчаков. В отличие от самоуверенного предшественника, он излишне тороплив, неопределен в своих решениях. Фигуры двух главнокомандующих вылеплены с большой художественной рельефностью: они резко очерчены в своей индивидуальности. Разность личных свойств Меньшикова и Горчакова еще более оттеняет их главнейшие общие черты: чуждость народу и твердую убежденность в том, что Севастополь отстоять невозможно. Подслеповатый и суеверный Горчаков вносит в свои приказания путаницу и за это кровью расплачиваются солдаты. В одной из лучших глав романа «Бой на Черной речке» автор показал, как из-за преступной непродуманности распоряжения главнокомандующего уничтожается целый отряд генерала Реада. Весьма характерно, что вершиной военных возможностей Горчакова

явилась блестящая операция по эвакуации Южной и Корабельной сторон Севастополя. Гарнизон был выведен на Северную сторону в порядке и без потерь. Неприятелю осталась лишь пылающие развалины.

При чтении «Севастопольской страды» невольно напрашивается сопоставление образов главнокомандующих вооруженными русскими силами в Крыму с образом Кутузова в «Войне и мире». Кутузов отличается прежде всего своей связанностью с солдатами. Все у него русское, национальное, начиная с внешности и кончая манерой говорить, мышлением. Великий полководец у Толстого внешне мало подвижен и немногословен. Качества эти дали повод к весьма распространенному мнению о фаталистичности его воззрения в романе «Война и мир». На самом деле Кутузов очень силен народной русской мудростью. Во имя народа он принимает смелые решения, погубившие Наполеона. Меньшиков и Горчаков полная противоположность Кутузову. Они пренебрегают солдатами, народом, и история им за это воздала должное. Их не любят солдаты и офицеры. Кутузов дорожит мнением России и менее всего считается с царским двором. Полководец действует с полной ответственностью перед историей, русским народом, потомством. Меньшиков и Горчаков не чувствуют всей тяжести их ответственности перед Родиной. Они чужды народу, так же, как и царизм, который они представляют. Типичен следующий эпизод. Подлинный и талантливый военачальник вице-адмирал Корнилов, получив предписание Меньшикова топить корабли Черноморского флота, пыгается напомнить главнокомандующему об ответственности перед родиной и историей. Меньшиков в ответе Корнилову демонстрирует полное пренебрежение к патриотическому волнению заслуженного вице-адмирала:

«Корнилов не чувствовал, что он бледнеет, становится так же бескровен с лица, как и старый князь. Сердце его начало биться беспорядочно и гулко, и трудно стало дышать.

— Какого же вы ждали еще приказа? Бумажки с моей подписью?

— Да, именно... именно приказа на бумаге, ваша светлость! Оправдательного документа перед государем... перед историей, наконец!

Меньшиков собрал все свое небольшое лицо в очень сложную гримасу.

— История будет писаться потом, сейчас она делается.»

В этой гримасе было и презрение к истории — как она и кем она там пишется, и старая ненависть к своей подагре, которая начала заявлять о себе настойчиво, и борьба с зевотой, которая совершенно его одолевала, но считалась им неприличней, и злость на своего повара, который не нашел в своем арсенале ничего другого, кроме жалкой яичницы с ветчиной ему на завтрак, а ветчина оказалась твердой, совсем не по его челюстям, но вызвать повара и накричать на него было неудобно: мешал не во-время явившийся Корнилов, который созывает какие-то «военные советы», пользуясь его отсутствием. Корнилов же

подхватил только смысл его слов, не обратив внимания на смысл гримасы.

— Совершенно верно, ваша светлость, — горячо сказал он, — история делается на наших глазах, но нужно, чтобы ее делали мы сами, а не Сент-Арно! Мы не должны ждать, что соблаговолит с нами сделать союзники, — мы должны поставить их в невозможность сделать то, что они задумали сделать! Мы должны перемешать и перепутать их карты и ходы!»

Ни Меншиков, ни Горчаков не оказались в состоянии возглавить оборону Севастополя. Народное патриотическое движение выбросило их за свои пределы, как инородное, чуждое тело. Главкомандующие не могли стать во главе великого дела, так как являлись чуждыми ему. Противоречия между русским народом и крепостнической монархией в своеобразной форме проявились и в Севастополе. Традиции Суворова и Кутузова продолжили замечательные русские военачальники: Нахимов, Корнилов, Хрулев, Истомина, Тотлебен. Скромные люди, они были выдвинуты на вершину событий своими военными талантами и патриотическим движением тысяч солдат и матросов, которым они, не в пример официальным высшим руководителям, были так близки.

Основными военными руководителями героической обороны были Корнилов и Нахимов. Почетные лавры славы в первую очередь по праву венчают их. Корнилов и Нахимов не были назначены руководить защитой знаменитого города официальным приказом свыше: на такой почетный и ответственный пост их выдвинул ход самих событий, вся масса защитников города. Старшие по воинским званиям и должности безмолвно уступили руководство Корнилову: начальник гарнизона генерал Моллер добровольно и тихо удалился на задний план; представлявший в Севастополе особу самого императора князь Меншиков тоже самоустранился:

«Когда Корнилов стал во главе обороны Севастополя, он остался прежним вице-адмиралом, только число подчиненных ему судов значительно выросло, и одни из них — старые — на привычных для глаза местах стояли в бухте, — другие — новые, — получившие название бастионов, выстроились с другой стороны города, а моряки были одинаковы здесь и там.

Поставленный во главе обороны не приказом свыше, а доверием к его способностям со стороны старших по службе адмиралов и генералов, как Нахимов, Станюкович, Берх, Моллер, Корнилов в несколько дней развернул все свои недожинные силы.

Он рос у всех на глазах. Он цепко держал в голове все слабые места оборонительных линий и все ресурсы крепости, которые можно было бросить туда, и все возможные способы этой переброски.

Каждый из тех нескольких дней, которые Меншиков с армией провел на бивуаке под Бахчисараем, казался вице-адмиралу неумолимо коротким.

Он стремился бывать везде и видеть всех. Его речи солдатам и матросам, рывшим тран-

шей, устраивавшим блиндажи, устанавливавшим орудия, были коротки, но выразительны, как знаменитая, попавшая в летопись, речь Святослава.

Он говорил, что отступить некуда: позади море, впереди неприятель, и что надо умереть с честью.

При этом бледное лицо его горело таким экстазом, что даже солдаты, не только матросы, кричали «ура» и говорили: «Вот это командир, так командир!»

Что же так высоко подняло на суше старого испытанного боевого моряка? Не только организаторский талант, легендарная храбрость и военное дарование. Корнилов и Нахимов обладали кроме этого решающим качеством великих полководцев: они понимали и любили солдат, и солдаты в свою очередь готовы были за них жертвовать жизнью. Величие образа Корнилова хорошо передано Сергеевым-Ценским. «Гектор новой Трои» — метко назвал подвижника русского флота писатель. Всю жизнь он отдал флоту и родине.

Старший по чину вице-адмирал Нахимов все время проявляет к нему знаки величайшего почтения. Слова Корнилова о том, что он составил в предчувствии смерти завещание, просто пугают Нахимова, презирающего смерть. Так сильно проявляется сознание старого воина о необходимости Корнилова для блага и чести России:

«— Что вы, Владимир Алексеевич! Что вы! — даже с подобием испуга в глазах отозвался Нахимов. — Разве вам можно думать о смерти? Вы только вспомните, как же без вас останется Севастополь! Что вы-с! Вы только об этом, об этом самом подумайте: кем же вас заменить можно?.. Я даже и за себя не боюсь: видит бог, ни вот столько! — он указал на кончик чубука. — А вы Севастополю необходимы, как... как все его орудия и все снаряды-с! И чтобы такой человек погиб в самом начале дела, — помилуйте-с! Вас история выдвинула-с, — сама история-с! Зачем же она вас выдвигала?»

Давно не замечал Корнилов, чтобы герой Синопа так искренно говорил и так разгорячался при этом.

Вера в русских солдат и матросов питает энергию и надежды Корнилова. И они отвечали ему полным доверием и самой искренней любовью. В Севастопольском остроге томилось до тысячи арестантов — бывших матросов Черноморского флота и солдат Севастопольского гарнизона. Людей в городе для обороны не хватало: никому из генерал-чиновников не могло притти в голову привлечь заключенных к защите города. Корнилов пошел на это, и его доверие заключенные вполне оправдали.

С таким же уважением к простому народу относятся и Нахимов — «отец матросов», как называли его на флоте. «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, — говорит он полковнику Желтышеву, — а мы только дружины, которые на него действуют, да-с! Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля, он же бросается на

абордаж, — все сделает матрос, если мы с вами забудем о том, что мы помещики, дворяне, а он — крепостной. Он — первая фигура войны, — матрос — да-с! А мы с вами — вторые-с!». Портрет Нахимова один из наиболее удачных во всем произведении. Он написан автором более подробно и всесторонне, нежели другие, с отличительными психологическими чертами.

Нахимов не отличался красноречием, однако никто из командиров во флоте не мог так говорить с матросами, как он, потому что никто лучше его не знал ни быта, ни нужды, ни сердца матроса, и матросы его любили, хотя он был очень требователен по службе. В разговоре между собою они не называли его ни адмиралом, ни Нахимовым, — он был у них просто «Павел Степаныч».

Воспитанный на парусном флоте, знавший в совершенстве все, что касалось управления парусами, способный часами наблюдать в трубу с Графской пристани не только корабли, входящие на рейд и выходящие в море, но даже и шлюпки, идущие под парусами, Нахимов был повтом паруса, ветропоклонником, и хотя видел все преимущества паровых судов, особенно снабженных винтом, относился к ним более чем равнодушно, и в Англию заказывать и принимать военные пароходы для Черноморского флота мог быть послан Корнилов, но не он. Ему нужно было сначала отвыкнуть от парусного флота, чтобы потом отвыкнуть к паровому, и то, и другое были для него очень длительные и, пожалуй, даже мучительные процессы.

Нахимов — строгий и требовательный начальник, вместе с тем заботливый и в высшей степени человечный. Писатель раскрывает замечательные черты характера этого выдающегося военного деятеля: простоту, исключительное мужество и самообладание, скромность, отвычивость, беспредельную преданность родине. Получив звание адмирала, Нахимов отдает приказ по гарнизону, где свое повышение относится за счет заслуг рядовых бойцов, служивших под его началом. Воздав почесть солдатам и матросам, он еще более укрепляет в их сердцах веру в себя и в свое дело. Изображение смерти Нахимова принадлежит к самым волнующим страницам произведения. Со сдержанной взволнованностью писатель повествует о том, как скромный русский человек Нахимов вошел в ряды бессмертных своей родины. Трогательная картина прощания севастопольцев с тем, которого любили как отца:

«Об умершем ли герое плакали?.. Может быть, только о человеке, который сумел сохранить душевную теплоту, несмотря на свой чин и положение во флоте и в осажденном городе, несмотря на всю обстановку осады с каждодневными канонадами и частыми боями, обстановку, при которой неизбежно черствеет сердце, ожесточается душа».

Углубленность образа Нахимова по сравнению с другими персонажами «Севастопольской страды» подводит нас к пониманию внутренней трагичности последних месяцев жизни замечательного русского адмирала. Всю свою

жизнь и энергию он отдал обороне любимого города. Его заветная мечта дожить до того времени, когда он со своими матросами снова будет водить корабли по морю.

Нахимов не жалеет себя и все, что в его силах, делает для обороны. Он человек активного и решительного действия. И вместе с тем, он чувствует неминуемость отхода, болезненно переживает гибель флота, понимает, кто в этом виноват. Но старый военный, он не может даже в мыслях восстать против высокооплавленных виновников несчастий России. Гибнет на его глазах любимое дело и его самого преследует ощущение обреченности. Многозначительна сцена последнего прощания с Корниловым:

«В последний раз приложились губами к мощному, но холодному корниловскому лбу те, кто был ближе, и вот уже начали забивать крышку гроба.

— А здесь ведь найдется, пожалуй, и для меня местечко! — оглядывая при факеле обширный склеп, неожиданно для нескольких адмиралов, которые удостоились туда войти, сказал Нахимов.

— Ну, что это вы, Павел Степаныч! — укоризненно, вполголоса отозвался на это Истомин.

— А что вы думаете? Не заслужу?.. Пожалуй, и правда, не заслужу-с! — поник головой Нахимов.

— Я совсем не в том смысле, Павел Степаныч, — захотел поправить Истомин.

— А в каком же еще-с?.. Может, вы думаете, что мы из Севастополя живыми выйдем? Нет-с! Не выйдем-с!»

Мужественный воин, он сражается до конца. Не желая видеть торжество неприятеля, Нахимов идет в самые опасные места и находит, наконец, смерть, все сделав для родины, все, что было в его силах.

В образах Корнилова и Нахимова писатель воплощает лучшие традиционные черты великих русских полководцев, преемников Суворова и Кутузова. Родственность их сказывается не только в общности духовного облика, но также и в методах военного руководства. Тема ведения войны, военно-стратегические и тактические вопросы занимают в произведении Сергеева-Ценского большое место. На примерах военного руководства Корнилова и Нахимова и в противоположность им бездарности главнокомандующих писатель доводит до читателя мысль о том, какое важное значение в войне имеет личность командующих, характер руководства войсками, принципы военной науки. Корнилова и Нахимова роднит с их славными предшественниками и отличительные свойства их стратегии. Оборона Севастополя носила в высшей степени активный характер, основанный на инициативе и строгой дисциплине. Не вдаваясь в характеристику методов ведения войны, применяемых Нахимовым и Корниловым, нужно отметить, что традиция русского военного искусства оказалась неумирающей и действенной. Руководители и рядовые участники Севастопольской обороны 1854—1855 годов еще раз прославили знамя

русского воинства. Гордостью за них и патристическим пафосом проникнута эпопея Сергеева-Ценского «Севастопольская страда».

Творческое развитие Сергеева-Ценского, автора исторических романов, движется к художественному единству личного, частного, лирического с историческим, общественным. После окончания «Севастопольской страды» писатель приступил к работе над романом «Брусиловский прорыв», продолжающим цикл романов «Преображение». Роман о Брусилове тоже включает в себя много исторического материала, иногда ясно указывающего на источники его заимствования. Все-таки, в отличие от севастьяпольской эпопеи, писатель в романе «Брусиловский прорыв» рядом с историей уже дает больше места личности, проходящей через все произведение. Образ Ливенцева светом своей индивидуальности, проходящей через весь роман, помогает художественно глубже осмыслить исторический процесс. По своему масштабу роман «Брусиловский прорыв» не может сравниться с эпопеей о героическом Севастополе, но творческая тенденция этого романа, стремление озарить лирикой душу героя, исторические события в его индивидуальном восприятии — очень существенна и положительна.

ХII

Эпопея «Преображение» обогащается романом «Брусиловский прорыв», написанным в 1942 году.

В романе «Брусиловский прорыв» писатель рисует образ замечательного русского полководца Алексея Алексеевича Брусилова и действия руководимых им войск. Писатель затронул серьезнейший исторический материал, еще никем не освещенный в нашей художественной литературе. Заслуга автора не только в открытии нового материала, а и в верном чувстве истории — подсказавшем ему выбор исторического лица, наиболее тесно связанного с изображаемой им действительностью, с поднятыми им вопросами. Сергеев-Ценский картину «преображения» России строит на материале русской армии, на изображении процессов, в ней происходящих. Брусилов — наиболее значительная фигура этих лет в нашем военном командовании. Крупнейший деятель старой русской армии, командующий армией, фронтом, а затем всеми вооруженными силами России в войне 1914—1918 гг., он в те тяжелые годы сумел с достоинством поддержать честь русского оружия и вписать славные страницы в боевую историю нашей Родины. Брусилов воплотил в себе лучшие черты русского высшего офицерства того времени. Художественная картина побед и страданий русской армии в первой мировой войне, создаваемая Сергеевым-Ценским, была бы неполной и односторонней, если бы в ней не нашлось достойного места лучшему в командном составе армии, противостоящему пассивности и бездарности многих царских генералов и немецкому влиянию в правительственных кругах.

Образ Брусилова помогает писателю пока-

зать непрерывность русской национальной военной мысли и воинской традиции. Брусилов старался в новых условиях осуществлять идеи суворовской «науки побеждать». Наиболее яркие и значительные действия русской армии в войне 1914—1918 гг. связаны с его именем.

Роман «Брусиловский прорыв» органически связан с общим замыслом эпопеи «Преображение». Вместе с тем он в высшей степени актуальное произведение, соответствующее переживаемому советским народом историческому моменту. Вышедший в свет на втором году Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, он явился патристическим откликом писателя на события дня. В героях романа правдиво воплощены доблесть, мудрость, талантливость русского народа, его наступательная стратегия. Примером наступательной силы русских войск было серьезное поражение немецко-австрийских армий, нанесенное Брусиловым в прошлую империалистическую войну. Об этом историческом уроке и рассказывает писатель.

Действия русской армии тесно связаны с судьбой героев эпопеи «Преображение». Все они каждый по своему участвуют в войне, в ее грандиозных событиях. Здесь мы видим слияние истории и личности, большого и малого, определяющего и зависящего. Таким образом, изменения в сознании и жизни героев получают необходимую историческую обусловленность и перспективу. История у Сергеева-Ценского представлена не как декорация, а как активно действующая сила, огромная сила, определяющая судьбы Ливенцева, Наташи, солдат, крестьян и других героев произведения. В свою очередь эти незаметные, рядовые люди не выглядят только пассивными жертвами истории. Художник дает почувствовать, что они, то есть народ, — потенциально главная сила, которая призвана в дальнейшем сама сознательно творить свою историю.

Брусиловский прорыв автор рисует как событие мирового значения, изменившее во многом планы воюющих сторон и ход первой мировой войны. Одновременно с этим действия Брусилова и его армии, хотя писатель прямо не говорит об этом, воспринимаются как тесно связанные со всей предшествующей воинской русской историей.

Русская земля всегда была богата военными талантами. Никогда не умрет слава о кюрифеях русского военного искусства — о великих полководцах Александре Невском, Суворове, Кутузове. В памяти народа всегда будут жить имена героев Севастопольской обороны — Нахимова и Корнилова. Война 1914—1918 годов, хотя и протекала в весьма неблагоприятных для русской армии условиях, дала возможность проявиться ряду даровитых и смелых военачальников, среди которых Брусилову принадлежит почетное место.

14 апреля 1916 года военный совет при Ставке верховного главнокомандующего в Могилеве принял решение о подготовке наступления против германо-австрийских войск. Главный удар был возложен на армии Западного фронта. Армии Северного и Юго-Западного фрон-

тов должны были оказывать им содействие, нанося с своей стороны удары с надлежащей энергией и настойчивостью как для производства частных прорывов в неприятельском расположении, так и для поражения находившихся против них сил противника. На деле вышло, однако, так, что решающий удар врагу был нанесен не на Западном, а на Юго-Западном фронте, находившемся под командованием Брусилова.

Царское командование считало Юго-Западный фронт второстепенным и предназначало ему вспомогательную роль. Получилось же иначе, нежели предполагала Ставка.

В отличие от командующих Северным и Западным фронтами (Куропаткина и Эверта), не веривших в успех и старавшихся вообще отклонить верховное командование русской армии от перехода в наступление под предлогом якобы абсолютной неодолимости немецкого фронта, Брусиллов твердо верил в силу русского оружия, в боевой дух русских солдат, в их неустранимость и самоотверженность. И эта вера оправдала себя. Под водительством Брусилова русские солдаты пошли в тяжелые бои и опрокинули считавшего себя неуязвимым врага.

Немцы и австрийцы в течение десяти месяцев создали на Юго-Западном фронте сложную систему укреплений. Но мастерство полководства и мужество русских солдат преодолели их.

Главный удар был определен в направлении на Луцк.

В ночь на 4 июня во всех армиях Юго-Западного фронта русская артиллерия открыла огонь по предназначенным для атаки участкам позиций противника. Артиллерийская подготовка имела полный успех.

Шаг за шагом, героически опрокидывая сопротивление неприятеля, русские солдаты прошли одну за другой линии вражеских окопов, причем перед каждой линией приходилось прорываться через пятнадцать перелетов проволочных заграждений. Во многих местах отступление противника принимало панический характер. Многие части прямо бежали. Растерянность командования противника, как свидетельствовали пленные, не поддавалась никакому описанию. Офицеры нередко первыми уходили в тыл, бросая солдат на попечение унтер-офицеров. От ряда дивизий осталось по 1000—2000 человек. 7 июня VIII армия Юго-Западного фронта взяла штурмом город Луцк, где находилась штаб-квартира армии австрийского эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. Сам эрцгерцог со своим штабом едва успел спастись бегством. 11 июня XI русской армией, опрокинувшей другую неприятельскую армию, был взят город Дубно.

В «Воспоминаниях» Брусиллов сообщает:

«С 20 мая по 1 ноября 1916 года Юго-Западным фронтом было взято в плен свыше 450.000 офицеров и солдат, то-есть ровно столько, сколько в начале наступления, по имевшимся сведениям, находилось перед фронтом русских неприятельских войск. За это же время противник потерял свыше полтора мил-

лиона убитыми и ранеными. Неприятель был принужден перекидывать пополнения с других фронтов».

Больших успехов добилась в это время IX армия, занимавшая левый фланг Юго-Западного фронта. 17 июня несколькими пехотными дивизиям, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, удалось переправиться на правый берег Прута и закрепиться на нем. В тот же день был взят приступом город Черновицы — столица Буковины. В течение ближайших недель части IX армии заняли всю Буковину.

Военные действия продолжали развиваться успешно и в дальнейшем.

Брусилловский прорыв продемонстрировал перед всем миром блестящие боевые качества русских войск. Вопреки обильным утверждениям немецких газет, неудачи 1915 года не сломили духа русских войск, которые остались грозной силой для врага, могли нанести и действительно наносили ему сильнейшие удары.

Немецкая официальная история первой мировой войны, изданная военным министерством, в следующих словах описывает впечатление от брусилловского наступления: «Тогда сверкнула внезапно молния на отдаленном третьем участке (первые два — Верден и Сомма, где ожидалось наступление англичан. — В. Щ.). То, что по мысли генерала Фалькенгайна считалось невозможным, совершилось с неожиданностью и очевидностью опустошительного явления природы. Русское войско явило столь разительное доказательство живущей в нем наступательной мощи, что внезапно и непосредственно все тяжелые, казалось бы, давно преодоленные опасности войны на нескольких фронтах вспыхнули во всей их прежней силе и остроте». («Мировая война», т. X, стр. 674). Генерал-фельдмаршал Гинденбург, с августа 1916 года командовавший Восточным фронтом, телеграфировал кайзеру. «Находящиеся в моем распоряжении войска на юго-востоке недостаточны, чтобы удержать положение, не говоря уже о том, чтобы его восстановить. Решение исхода войны лежит теперь на юго-востоке».

Однако союзники на Балканах опоздали поддержать успешное наступление русских и, воспользовавшись их промедлением, Германия взяла на время инициативу в свои руки. Не поддержали Брусиллова и командующие Западным и Северным фронтами (Эверт и Куропаткин). Брусиллов тяжело мучился тем, что возможность скорейшей победы была упущена.

Брусилловское наступление заслуженно вошло в историю мирового военного искусства. Несмотря на то, что оно не было соответствующим образом использовано, оно оказало серьезное воздействие на дальнейшее течение и конец мировой войны.

Во-первых, как говорит сам Брусиллов, были «расстроены все планы и предположения немцев на этот (1916.—В. Щ.) год»; во-вторых, облегчено положение англичан и французов — Германия оказалась вовлеченной одновременно в три тяжелых крупных сражения (Верден,

Сомма, Юго-Западная Россия); в-третьих, Австро-Венгрия оказалась перед опасностью раздробления, и в-четвертых, Румыния стала на сторону союзников.

Именно в 1916 году была подорвана мощь австро-германских армий. Без этого не могла бы осуществиться победа союзников в 1918 году.

Герои эпопеи «Преображение» временно уходят из своей частной жизни: их дела полностью отданы войне.

Сведения о личности и боевых делах Брусилова в романе не выходят за пределы известных «Воспоминаний» и других более или менее известных источников. Писатель не загромождает роман историко-архивными открытиями, дополнительными сведениями. Часто он ограничивается художественным «переложением» документа, определенного места из «Воспоминаний» Брусилова. Этот метод таит в себе опасность превращения романа в простую компиляцию, не обогащающую нашего представления как познавательно, так и художественно. Читая роман Сергеева-Ценского, мы видим, каким источником пользовался писатель при создании той или иной сцены, но вместе с тем сразу ощущается преобладающая сила художественного таланта. Писатель художественно углубляет исторический материал.

Полководец и его дела представлены в аспекте развития русского общества. Для романа характерна широта всей картины общества. Художник как бы вставляет портрет Брусилова в целостную панораму его времени. На фоне всех противоречий русской действительности, раздирающих и армию, гораздо более полно и всесторонне воспринимается духовный облик и сложность переживаний Брусилова.

Рядом с крупнейшим полководцем, распоряжающимся сотнями тысяч человеческих жизней, воспроизведены типические образы солдат, офицеров, генералов, медицинских сестер. Из этих людей полнее всего показан Ливенцев. Он как бы воплощает в себе армейскую народную массу. Брусиллов и Ливенцев живут одной идеей победы, но понимание путей ее достижения у них не вполне совпадает. Брусиллов не мог сразу разорвать со всем привычным строем мыслей и чувств. Вместе с тем, настроения широких народных масс не прошли мимо его внимания. Для Брусилова после крушения царизма становится ясным народный характер революции. Честный человек, преданный родине, он не поддается авантюристическим предложениям пойти против народа. После Октябрьской социалистической революции бывший главнокомандующий русской армией остался со своим народом.

Для понимания отношения Брусилова к русским солдатам и его взгляда на характер противоречий в русской армии знаменательны следующие его слова:

«Я больше 50 лет служу русскому народу и России, хорошо знаю русского солдата и не обвиняю его в том, что в армии явилась разруха. Утверждаю, что русский солдат — отличный воин и, как только разумные начала воинской дисциплины и законы, управляющие

войсками, будут восстановлены, этот самый солдат вновь окажется на высоте своего воинского долга, тем более, если он воодушевится понятными и дорогими для него лозунгами. Но для этого требовалось время...

В заключение мне хочется сказать, какое глубокое чувство благодарности сохранилось в душе моей ко всем вверившим мне своим дорогим войскам. По слову моему, они шли за Россию на смерть, увечья, страдания. И все это зря... Да простят они мне это, ибо я в том не повинен, предвидеть будущее я не мог¹.

Своеобразие взглядов и положения Брусилова по сравнению с Ливенцевым и другими персонажами романа не затемняет того общего, что роднит его с ними.

Брусилова повергает в мучительные размышления связанность царских кругов с немецкой правительствующей верхушкой. «Перед войной, — читаем мы в романе, — он был знаком больше с Варшавским округом, во главе которого стоял генерал Скалон, — немец убежденный в том, что Германия должна была командовать Россией. Будучи назначен помощником Скалона, Брусиллов оказался окруженным немцами — высшими чиновниками Варшавского генерал-губернаторства. Конечно, это были все русские немцы, из прибалтийских, но тем не менее, часто переходя в разговорах между собой на немецкую речь, они создавали впечатление, будто весь этот выдавшийся на запад округ уже завоеван немцами мирным дипломатическим путем. Впрочем, все эти Тизенгаузены, фон-Минцловы, Грессеры, Утгофы, Тиздели, Эгельстромы и прочие уверяли, что они — подлинные русские патриоты». Всю жизнь чувствовал Брусиллов, что немецкое правительство и Гогенцоллерны — непримиримые и сильнейшие враги его родины, стремящиеся поработить русский народ. Гнусная издательская выходка немцев, свидетелем которой оказалась Брусиллов во время поездки в Германию, произвела на него неизгладимое впечатление. На курорте Киссингене отцы города решили устроить для русских гостей зрелище. На центральной площадке были сооружены декорации московского Кремля и Красной площади. Во время гулянья исполнялись гимны «Боже царя храни», «Коль славен»... премели оркестры. Но вдруг — точно пушечная пальба откуда-то с гор, и летят сверкающие огни, нечто вроде снарядов с дистанционными трубками на декорации Кремля, Василия Блаженного. Все сооружения вспыхивают, горят под звуки увертюры Чайковского «12-й год». Только-что отзвучала увертюра, как все оркестры и немцы заревели: «Дейтчланд, Дейтчланд, юбер аллес».

« — Но замысел-то, замысел был, оказывается, какой у этих степенных колбасников с их увесистыми дражайшими половинками! — возбужденно сказал Брусиллов. Откровеннейший замысел съездить без остатка Москву, при этом со ссылкой на 12-й год!... Если бы вы

¹ «Мои воспоминания». Воениздат, 1941, стр. 238.

видели, как они хлопали в ладоши и как визжали обрадованно, эти Амалии и Берты, — откуда у них и темперамент взялся, когда горел и валится Кремль! Но ведь раньше, чем сжечь Кремль, надо сжечь половину России, — и на это, значит, шли, как и надо, с пафосом, с визгом, с аплодисментами!.. Понаблюдали бы вы их, как они рассаживаются на зеленой лужайке в праздник для того, чтобы по фунту свиного сала съесть и по три бутылки пива выпить: они, эти Амалии белобрысые, без всякого стеснения, как по команде, все задирают верхние юбки, чтобы их не зазеленил травой, и усаживаются на нижние!.. Юбки свои они жалеют, значит, а миллионов русских детей, которые по милости их воинственных настроений, осиротеют, а миллионов калек русских, миллионов нищих, которые лишатся всего, что имеют, — этого никого им, подлым зверям, не жалко! Я говорю об Амалиях, а не о Гансах, потому, что откуда же к нам пришла эта так называемая «вечная женственность», как не из Германии, и казалось бы, Амалия должна была, как Андромаха Гектора, остановить чересчур зарвавшегося Ганса, но в том-то и дело, что этого не было, господа, этого мне видеть не удалось. К ужасу моей жены, господа, Амалия была вне себя от восторга, когда «жег Москву» ее Ганс!»

В романе Сергеева-Ценского выведена лебольшая, но запоминающаяся галерея немцев, обосновавшихся в России, занявших командные посты в русской армии и ей вредивших. В кругах придворных, как известно, существовала немецофильская партия.

Немцы хотели колонизировать Россию любыми способами и изнутри страны. В обычной самоуверенности они считали себя почти хозяевами заманчивой огромной страны.

Даже генерал Гинденбург, будущий главнокомандующий германскими вооруженными силами на восточном фронте, заблаговременно приобрел несколько тысяч десятин земли на Волге. Казалось бы, совсем не под между это приходилось прусскому юнкеру, родовое имение которого было близ Танненберга, но слишком горячила головы всем немцам, — генералы они были или банкиры, заводчики или мелкие лавочники, — идея овладеть Россией вплоть до Урала.

Наглость немцев в России перед войной и во время войны доходила до предела. В этом смысле типична фигура выведенного в романе «Зауряд-полк» полковника Генкеля — интригана и мошенника, с большой протекцией.

Генкелю присущи в полной мере тугодумство и лицемерие пруссачества. Самоуверенный в высшей степени, он презирает все русское. Ему кажется, что он знает решительно всё и все обязаны слушать его. Обнаглев от своей безнаказанности (в верхах у него были титулованные покровители), Генкель отдает приказание избивать нагайками русских женщин, приходящих к солдатам. На этой почве происходит серьезный конфликт Генкеля с Ливенцевым.

В романах «Зауряд-полк» и «Массы, машины, стихи», «Брусиловский прорыв» мы встре-

чаемся с другими представителями немецкого засилья. Таковы полковник Кюн и генерал-квартирмейстер Дитерихс. Командир полка Кюн — трус, которого отставляют от командования. Дитерихс — птица более высокого полета. Командующий армией генерал Щербачев официально сообщал Главному командованию о вредительской деятельности генерал-квартирмейстера.

«У Дитерихса был свой план наступления, но Ставка приняла план Щербачева, и теперь, по донесениям командира седьмой армии, выходило, что Дитерихс делал все, что мог, чтобы провалить наступление: задерживал отправку снарядов для тяжелых орудий, сознательно создавая перебои в снабжении провиантом, отозвал из седьмой армии целую дивизию, без которой нельзя было развить наступление...»

Немецкое влияние вызывало всеобщее негодование, особенно сильное на фронте, где более ошутимо чувствовалась печальные плоды немецкого засилья, поощряемого некоторыми придворными кругами. Возмущение немецким засильем Ливенцев высказывает в следующих словах:

«Кто? Да вот именно те, кто ведает высшей политикой. — Те, кто могут безнаказанно расовать по карманам два миллиарда и оставить фронт без снарядов и пушек ... те самые, кто продает и валенки, и хлеб, чтобы у нас не было ни тех, ни другого, а у немцев, чтобы непременно было; те самые, при ком нельзя даже и заикнуться о том, что у нас в армии подозрительно много генералов немцев, потому что сейчас же они обзовут это «пошлым немецеством».

Сам Брусилов приходит к категорическому выводу: что царя судьбы России интересуют меньше, чем родственные и дружественные связи с кайзером. И Брусилов скрывает свой план от императрицы, открыто симпатизировавшей немцам.

« — Когда же именно, какого числа думаете вы переходить в наступление? — спросила императрица.

Этот вопрос заставил его насторожиться. Он лично считал, что наступление нельзя откладывать дальше 10 мая и чуть было не сказал так, но тут же себя одернул: подозрительным показалось ему вдруг любопытство этой женщины к тому, что касалось только ее мужа, как верховного главнокомандующего, и в то же время не возбуждало никакого любопытства в нем. Кто из них пытался стать вождем русской армии, — царь ли, бегавший из Ставки, она ли, благословляемая на это своим «святым старцем»? Ее симпатии к немцам были ему известны, и он ответил на ее вопрос насколько можно было туманно:

— Пока ничего еще определенного на этот счет мне неизвестно, ваше величество... Обстановка на фронте ежедневно меняется, а момент должен быть выбран наиболее подходящий... Об этом нам главнокомандующим фронтами будет дано знать, я полагаю, только накануне наступления, ваше величество. Тогда мы получим телеграммы из Ставки и начнем...

Ничто немецкое, конечно, не было ей чуждо и все русское непременно должно было казаться ей чужим, — раздумывал над словами царицы Брусилов, — а как же согласовать это с русским конокрадом, пьяницей и сатиром, «святым старцем» Распутиным? Наконец, пусть это — неразрешимый вопрос, но не по желанию ли царицы сделан главнокомандующим Северо-Западного фронта Куропаткин, разумеется, для того только, чтобы фронт его двигался назад, а не вперед, так как он испытанный мастер отступлений? И не действовал ли по тайному приказу царицы Эверт, когда проваливал свое большое наступление в марте и куда остановил в самом начале наступательные действия в апреле?»

XIII

Значительное место в «Брусиловском прорыве» занимают специально военные вопросы. Интерес писателя к ним вполне законен, поскольку роман посвящен деятельности полководца. Как одна из главнейших, предстает перед нами тема управления войсками. Она во многом обуславливает самую композицию романа. Действие последовательно переносится из Ставки в штаб фронта, затем в армию, дивизию, полк, роту. Рота Ливенцева является как бы отдельным коллективным действующим лицом, к которому, как к непосредственно выполняющей инстанции, сходятся приказания вышестоящего командования. Вопрос воинского управления, командования в романе «Брусиловский прорыв» особенно важен еще потому, что за исключением Ливенцева, действия персонажей романа строго ограничены областью непосредственно военной.

Военная деятельность Брусилова является центром, вокруг которого создаются конфликты и коллизии. Поведение людей тесно связано с их отношением к передовой военной мысли своего времени, творцом которой был Брусилов. Сергеев-Ценский очень живо, в конкретных эпизодах излагает основы его стратегического и тактического учения. Острие военной мысли Брусилова направлено против статики и стандартного педантизма немецкой военной науки. Резко возражает он на совещании командующих армиями против аргументов, основанных на слепом подражании немецким военным приемам:

«— Все дело, — говорит Брусилов, — только в тактических приемах, которые наши руководители наступлений стремятся слепо заимствовать у немцев, вместо того, чтобы создавать сообразно с обстоятельствами свои приемы. Прием немецких тактиков грубо прост и остается пока неизменным, а именно: собирается кулак против намеченного для прорыва места, и множество собранной артиллерии начинает долбить позиции, пока не продолбит брешь, в которую бросается пехота, а потом конница пускается по тылам, вот и все. Приказываю, — повысил он голос, — этот немецкий прием при нашем готовящемся наступлении решительно отбросить!» Все, что он высказывал, являлось

новым, и непривычным. Генералы в недоумении переглянулись, но не ожидавший ничего другого Брусилов спокойно и уверенно продолжал:

— В дело должен быть введен другой прием, тоже, разумеется, весьма простой, но почему-то до сего времени никем не применявшийся: каждая из четырех армий вверенного мне фронта должна наметить свой участок для прорыва фронта противника, и, сообразно с тем, какая из армий будет действовать удачнее других, ее успех незамедлительно будет поддержан и развит силами общefронтowego резерва. Но кроме того, некоторые корпуса, — тут Брусилов проникновенно посмотрел на Крымова, — тоже должны будут начать земляные работы, как подготовку к наступлению, причем это, разумеется, неминуемо станет известным противнику и неминуемо же собьет его с толку относительно настоящих направлений прорыва в каждой из армий.

— Между тем, резервов у него немного, это известно нам. Вся сила его заключалась только в том, что эти резервы он умел стягивать к одному, нужному в тот или иной момент пункту, а мы этого не умели делать. Чем же он превосходил нас? Только ли тем, что у него была более совершенная техника и более развитой транспорт? Нет, еще в том, что он держал в своих руках инициативу. Этот-то шанс мы и выйдем у него из рук, когда начнем наступать сами».

Брусилов отверг обычный тогда метод прорыва на одном участке, так как при этом трудно было достигнуть внезапности, и выдвинул метод одновременного прорыва на нескольких участках фронта.

В наше время искусство военного прорыва шагнуло далеко вперед. Но для своего времени взгляды Брусилова являлись передовыми, и осуществление их привело к значительным успехам. Естественно было ждать противодействия им со стороны военных консерваторов. Сторонники пассивной обороны не принимали стратегию Брусилова, отличавшуюся ярко выраженной активностью.

Успех Брусилова зависел от многих причин: «а самое главное от того, как будут вести себя войска». В отличие от многих своих сослуживцев он верил в русского солдата. Ему противопоставлен в романе генерал Куропаткин. Последний не верит в способность солдат к наступлению.

«Отвратительно они себя будут вести — ниже всякой критики себя будут вести, вот как... Охота же вам рисковать своей военной карьерой! — покчал он сокрушительно головой. — Ваше имя стоит очень высоко, Вы получили фронт за боевые заслуги в этой войне, и вам бы надо по-бе-речь свой ореол, а вы сами подвергаете его опасности. Раз о вашем фронте сложилось в Ставке мнение, что он небоеспособен, — и превосходно. В наступление значит не переходить, своим постом не рисковать, шей себе не ломать — чего же вам больше? Какую пользу, скажите мне, желаете вы извлечь из поражения, которое совершенно неизбежно?»

— Польза мне лично? — оскорбленно вскинул голову Брусилов. — Я ищу и желаю пользы только для России, а совсем не для себя»...

Неверие в стойкость войск присуще и другим далеким от народа генералам. Как удалось выяснить Брусилову, генерал Иванов строил укрепленные полосы не вблизи неприятеля, а в глубь страны от Киева, далеко от линии фронта.

Активная военная мысль Брусилова неминуемо резко сталкивалась с противодействием многих консервативных генералов. В романе Сергеева-Ценского, естественно, такие столкновения являются основой конфликтов.

В изображении армейской жизни писатель далек от героической приподнятости повествования. Военная действительность им воспроизводится в ее повседневном течении, где переплетается будничное, обычное с ярким подвигом.

Заслуга автора в том, что борьба социальных, политических, военных направлений показана им в живых образах. Автор бережно относится к внутреннему духовному миру своих героев, к их мыслям и чувствам, тщательно анализирует их. Иначе и не могло быть, так как в центре внимания прежде всего изменения и сдвиги в сознании русского общества, духовное «преображение» русских людей в войне, а затем в революции. Писатель поэтому стремится запечатлеть каждый существенный поворот мысли и чувств героев, показывая причины, толкающие их мыслить так, а не иначе. Такое изображение характерно для всех произведений, рисующих духовную жизнь общества. Всем мыслям героев, будь они записаны, изложены в беседе или даже невысказаны, всем поступкам, а в первую очередь поступкам Ливенцева, Сергеев-Ценский дает всегда обоснование внутреннее или внешнее. Этим его военные романы значительно отличаются от его ранних произведений, где в поступках и мышлении героев произведений на первый план выступало неожиданное и необъяснимое. Внешне случайные поводы возникновения острых сюжетных столкновений или словесных схваток между героями раскрываются, как отражение существеннейших процессов изменения сознания русского офицера и солдата, происходивших под внешне спокойной поверхностью армейской действительности. Все-таки образ Брусилова не нарисован автором всесторонне: он ограничен официально-исторической характеристикой полководца. Перед нами командующий фронтом, изображенный только в проявлениях, связанных с его служебной воинской действительностью. Главным героем романа остается Ливенцев.

Сталкиваются настоящие человеческие, жизненные интересы. В конфликты, происходящие среди сторонников различных направлений, примешиваются личные симпатии и неприязнь, обиды, зависть, трусость, личное благородство и эгоизм, одаренность и бездарность.

Типичны в данном смысле взаимоотношения Брусилова с его предшественником, смещенным с командования фронтом генералом Ивано-

вым. Внешне генерал Иванов, ставя палки в колеса Брусилову, руководствуется лишь чувством обиды и неприязни. Первые слова, которыми он встречает смущенного Брусилова: «За что?» Самозабвенные рыдания смещенного со своего поста предшественника вначале изумляют Брусилова. Он не понимает причины потрясения собеседника и пытается его успокоить. Вскоре, однако, обнаруживается истина. Оказывается, решимость Брусилова наступать, его настойчивость Иванов воспринимает как личную обиду и как причину его отставки.

«— Теряетесь в догадках?.. А разгадка очень простая!.. Разгадка эта — ваше поведение, Алексей Алексеевич!

— Мое поведение? — удивился и даже слегка приподнялся на месте от удивления Брусилов. — В каком же смысле я должен это понять?.. Я против вас никому не говорил ни слова.

— Нет, именно против меня... говорили! — тихо, но упрямо сказал Иванов.

— Когда же, кому и что именно? — еще больше удивился Брусилов.

— Разве вы не говорили, что можете наступать?

— Ах, вот что-о! — протянул облегченно Брусилов и сел на диван плотно. — Да, это я говорил, потому что так именно думал. И сейчас я то же самое думаю».

Тема управления войсками оживает перед нами в столкновениях живых человеческих страстей. Обида рождает ненависть, клевету, зависть. Оставшись наедине с царем после совещания в Ставке, Иванов умоляет его отвергнуть планы Брусилова: «Предотвратите наступление, ваше величество, — выдавил горлом Иванов, так как его душили спазмы. — Брусилов — гнусный карьерист, — вот кто он, — я давно его знаю. Он погубит все армии моего фронта... Он все дело обороны погубит, ваше величество».

Роман Сергеева-Ценского дает ясное представление о тех трудностях, преодолеть которые пришлось Брусилову и русской армии, прежде чем добиться победы. В живых образах он показывает, почему эта победа не была использована в должной степени. Противоречия в военной среде в романе показаны, как результат еще более широких общественных противоречий.

Изображая подлинные исторические лица, Сергеев-Ценский, как и при изображении вымышленных, вовсе не старается тенденциозно очернить или прикрасить их, в зависимости от места, которое они занимают в романе. Он не умаляет положительных качеств отдельных отрицательных персонажей: его исторические характеристики вполне объективны.

Роман свидетельствует о гнилости самого самодержавного строя. Сергеев-Ценский вводит нас в удушливый мир придворных интриг и разложения. Во всей неприглядности предстают перед нами командующий Западным фронтом генерал Эварт, подозреваемый широкими, армейскими кругами в измене, генерал Куропаткин, получивший печальную известность

еще со времени русско-японской войны, генералы Баснин, Истопин.

Портрет самого верховного главнокомандующего — царя — дан писателем с убийственной резкостью. Властелин опромнейшей империи в мире Николай II изумлял всех тем, что «не имел вида». Характерным для него является равнодушие. Меткими деталями писатель подчеркивает духовное убожество этой фигуры. Во время важнейшего совещания в Ставке, на котором решаются важнейшие вопросы войны, царь откровенно и судорожно зевает. Поведение царя поражает даже выдавшего вида генерала Алексеева.

«И когда он (царь. — В. Ц.) услышал, наконец, как Алексеев, дойдя до последней страницы доклада, глухим отнюдь не от усталости голосом и со слезами, нахернувшимися на старые серые глаза, стал перечислять потери, понесенные теми или другими частями пехотных войск, ведших атаки, он улыбулся милостиво и взял в обе руки юмористический журнал».

Отрицательные персонажи Сергеева-Ценского, безотносительно к их личным качествам, чужды новой жизни. Для них характерны косность, связанность со старым, нежелание или неумение прислушиваться к мнениям народа. Генералы Иванов, Истопин, Баснин, офицер Обидин не любят нового и даже в самые острые моменты, способные, кажется, силой фактов потрясти их душу, упорно цепляются за старую, ложную привычку. Эта косность у них проявляется и в военной доктрине, и в социальных воззрениях. Истопин, Баснин — отсталые консерваторы и в военном деле, и в политике. Полковник Ковалевский, талантливый и живой, как военный начальник, не понимает своих солдат, не чувствует нового в настроениях армии и народа.

«Но кроме царской Ставки была Россия. В отличие от царских военных чиновников, герои Ливенцев, Брусилов, Гильчевский — чутки к жизни, к тому, чем живет солдат, народ.

Русский воинский талант этого времени воплощен автором не только в личности Брусилова, но и в образах других талантливых военачальников, которыми всегда была богата наша армия. Чрезвычайно интересен и важен в этом отношении образ командира дивизии генерал-лейтенанта Константина Лукича Гильчевского, военачальника брусиловской закладки.

Гильчевский — полная противоположность Баснину, Истопину — бездушным манекенам, неспособным к боевой деятельности. Он — умный, опытный, знающий свое дело и любящий солдатского быта. Гильчевский обладает также живым военно-тактическим мышлением. Человек нравственно очень порядочный, он после окончания академии генерального штаба отказывается применять свои способности в карьеристских целях. Гильчевский продвинулся бы значительно дальше по службе, если бы не отверг приказание усмирить рабочих в Кутаисе в 1905 году. Гильчевский — справедлив. Правда, его личная заботливость о солдатах не может полностью уличтожить

общее противоречие между командным составом и солдатами царской армии. Этим в частности объясняется неожиданное покаяние на его жизнь одним из солдат его дивизии. Ополченческая дивизия под его начальством вырастает в закаленную кадровую. На ее долю выпадает выполнение ответственной части в общем плане наступления. В составе этой дивизии действует и рота прапорщика Ливенцева.

Людской состав этой роты весьма разнообразен, писатель рисует целый ряд солдатских типов, самые различные характеры. Труды и доблести этих незаметных героев русской армия была обязана таким победам, как взятие Перемышля и Брусиловское наступление.

Многие из солдат по внешности грубы и озлоблены, но хорошая человеческая натура проявляется при первом же случае. Никогда солдаты за искреннюю заботу о них не платят командиру неблагодарностью. Нелюдимый и на вид недоброжелательный рядовой Тептерев спасает Ливенцева во время атаки.

Молодеватрий Лукин, врожденный разведчик, кавалер всех четырех степеней солдатского Георгия, — живое олицетворение боевых черт русского солдата. Удивительно изображен Демка — мальчик, прибавивший к полку, увлеченный военной романтикой.

Хорошо показан автором процесс рождения ненависти к врагу в образе рядового Милешкина. Милешкин, попав в немецкий плен, испытывает жестокость варварского обращения, ясно понял, что представляет собою немец. И с необычайной гордостью осознал себя русским. Его товарищи были расстреляны немцами, но не пожертвовали своим национальным достоинством. Милешкин с волнением рассказывает об этом:

«Завязали глаза Куликову Филиппу, — вопрос к нему: «Будешь работать?» — А Куликов им громко, чтобы всем было слышно: «Нет, не буду!» — И сейчас эти несправедливые кадеты выстрелили в него по команде, и он пал, конечно, наземь. Потом Тищенко Ивана вывели. Опять команду офицер подал, — четыре пули ему в голову попали, — белый платок сразу скраснел от его крови... Упал и Тищенко рядом с Куликовым. Выводят тогда Лунгина Федора... И он тоже младший унтер-офицер, и мы с ним в один год учебную команду кончали... Он же мне верный товарищ был, ваше благородие, — и вот ему тоже глаза завязывают, и должен он наземь пасть, кровью своей облитый...»

В Милешкине рождается непримиримая ненависть к врагу. В бою у него как бы прибавляется силы, эту силу дает ему чувство ненависти, накопленной за долгий плен, и, наконец, нашедшей выход. Бросаясь на венгров, как будто очерта голову, он действует на самом деле осмотрительно, взвешенно, только с быстротой, почти неуловимой глазом.

Многие солдаты, по наблюдениям Ливенцева, оставались равнодушны или враждебны к целям войны. По разному влияла она на сознание солдат. В страшных бедствиях одни закалялись, приобретали политический и воинский

опыт. Созревала идея необходимости социальной революции. Другие же, правда, их было значительно меньшинство, увлекались дешевой романтикой, тупо гибли, или продолжали думать только о своих домашних делах. Темнота и неграмотность придавали политическое и патристическое сознание многих людей. Многие толком даже не представляли России в целом. Ливенцев во время одной из бесед с солдатами был весьма озадачен, когда первый же из вызванных им на разговор взводных, бородастый и расторопный Мальчиков сказал уверенно:

«— До нас, ваше благородие, немец не дойдет, — мы вятские.

И никто из других унтеров не рассмеялся при таких смешных словах, — значит, они даже и не покаялись им смешными. У всякого из них родина была своя: у кого Вятка, у кого Рязань, у кого Саратов, у кого Барнаул на реке Оби, у кого Семипалатинск, у кого Кяхта на границе с Китаем, причем саратовец не имел решительно никакого понятия о Кяхте, а рязанец о Семипалатинске, и каждый по-своему понимал самое слово «Родина.»

Сергеев-Ценский смело и реалистически воспроизводит дифференциацию общественного сознания в воинской среде. Писатель обращает внимание не только на доблесть русского солдата, но указывает на темные силы, мешавшие развитию его общественного и культурного уровня. Царизм угнетал народ и настоящее патристическое чувство. Только недалёковидный человек может воспринять образ унтер-офицера Мальчикова и других ему подобных как нечто дискредитирующее русского солдата. Писатель показывает сложные исторические пути роста сознания русского солдата. Русская армия в конце первой мировой войны переживала кризис, и Сергеев-Ценский мастерски изобразил его.

Когда мы закрываем последнюю страницу романа, то как бы ни были спорны некоторые образы, у нас не остается никаких сомнений, что народ, в солдатских шинелях и без них, — главная направляющая сила истории. Даже на тех страницах, где Сергеев-Ценский не говорит о солдате, а повествует об офицере Ливенцеве, генерале Брусилове, незримо присутствует образ незаметного героя — русского солдата. Жизнь, устроение, чувства Ливенцева направляются движением народа, оно определяет и судьбы полководцев. Чем бы ни были заняты полководец Брусиллов или офицер Ливенцев, пусть личными делами, все равно, прямо или косвенно, их образы связаны с центральной темой эпопеи «Преображение» — темой о путях преобразования жизни многомиллионного русского народа.

XIV

Несмотря на большое разнообразие изображаемых событий, сюжетов и образов, творчество Сергеева-Ценского очень целостно. Раскрепощение творческих возможностей людей — главный предмет длительных исканий писате-

ля. Круг военных вопросов в эпопее «Преображение» входит составной частью в эту более широкую проблему творческого труда, без которого немислымо свободное существование людей. Сергеев-Ценский не выпускает ее из виду и в военных романах, и она придает эпопее «Преображение» целостность и эмоционально-логическую стройность.

В военных романах тема созидательного творчества, как цели жизни, дана нам в переживаниях солдат, в их тоске по труду, по любимому делу. Характер рядового Кузьмы Дьяконова служит автору поводом для восторженного дифирамба благородной привязанности русского человека к работе.

«Кузьма был, что называется, разбитной малый, способный сразу прилипнуть к любому делу в роте вплотную, как муха к липкой бумаге. Притом его не нужно было заставлять повторять приказания, как приходилось это делать с иными сплошь и рядом: он как будто всевозможные приказания заранее знал наизусть, — с двух-трех первых слов понимающе кивал круглым, как яблоко, подбородком и выполнять приказания бросался со всех ног».

Наиболее полное выражение идея свободного и плодотворного творчества находит в романе «Искать, всегда искать».

Когда Ливенцев думает о неизбежности выступления против угнетателей, он еще не представляет, как велико значение социалистической революции для раскрепощения творческой энергии миллионного народа. Он занят всецело настоящим днем. Образы Даутова и Слесарева в романе «Искать, всегда искать» дают возможность автору показать, ради чего же русский народ совершает свое «преображение». Освобождение народа должно расковать его творческие силы.

Раньше человек зависел от стихии. Когда же его творческие силы будут развязаны, тогда стихия будет служить человеческому счастью. Так в конце-концов разрешается одна из коренных тем творчества Сергеева-Ценского — тема взаимоотношений человека и природы.

Глядя на живописный горный пейзаж, Даутов восхищается им и одновременно досадует: «Хозяин сюда не пришел настоящий, — тоскует рабочий. Разве в таких махинах-горах всего только жила несчастная исландского шпата? Нет. Тут разведки делали кое-как, шала-валя. Только и нашли, что бурый уголь, не так далеко отсюда, и копи забросили. Погоните, придет сюда рабочий — он их развевет эти горы — они у него заговорят своими голосами! А здесь, на берегу, каких мы здесь дворцов понастроим современем, и чтобы в них отдыхали шахтеры из какой-нибудь Юзовки, из Горловки, из Штеровки, потому что им отдыхать есть от чего».

В Даутове мы легко распознаем лучшие черты старого знакомого инженера-горняка Матийца, выведенного в повести «Наклонная Елена». Их сходство еще раз подчеркивает единство исканий автора.

Для Даутова, как и Ливенцева, характерна ясность жизненной цели. Здоровое стрем-

ление к творческому труду в них главное. В том их существеннейшее отличие от прежних героев Сергеева-Ценского. Связь с народом делает их мышление живым, кругозор широким, деятельность кипучей.

Большевик Даутов — профессиональный революционер. Мы встречаем его после февральской революции лечущимся в Крыму. Третьяковская его дружба с девочкой Таней. Восторженно говорит он ее матери: «Вот из-за таких малюткиных мы тоже будем вести борьбу с кем угодно!.. Мы не позволим, нет, набивать такие пытливые головы всякой чепухой и вздором. Мы учитываем в каждом человеке прирожденную пылкость и не будем давать вместо хлеба камень! Мы отлично знаем, какая эта сила воспитание молодежи! И здесь наша победа в первую голову обеспечена. Мы с вами тоже получили воспитание, образование, и что же в результате? И в результате вы совсем не знаете, что у нас за партия и вообще вы «не политик». Я очень поздно сбросил с себя всякий мусор, которым меня набили, а другие... другие пошли геройствовать на войне, получать кто крест на тужурку, кто крест на могилу... Зачем им это?.. Человек еще не начинался на земле — вот что надо сказать! Это мы, мы начинаем на земле новый исторический период — период человека».

Даутов, по-существу, тот же Ливенцев, но продолженный в своем духовном развитии, завершивший свое идейное образование в бурях войны и революции.

После идиллического крымского лета 1917 года, подкрепив свое расстроенное сымакой здоровье, Даутов скрывается с нашего поля зрения. Ему нужно довершать революцию, оражаться за Родину с интервентами. О нем остается только воспоминание в сердце матери Тани — учительницы Серафимы Петровны — неизгладимое на всю жизнь. В ее памяти угловатый облик Даутова получает лирическую мягкость. Все дальнейшее существование безвольной и слабой Серафимы Петровны скрашивается страстной надеждой на встречу с Даутовым, исканием этой желанной встречи.

О память сердца, ты сильнее
Рассудка памяти печальной! —

таков эпиграф первой части романа «Искать, всегда искать», повести «Память сердца», проникнутой тонким и нежным лиризмом. Серафима Петровна близка героиням старых произведений Сергеева-Ценского, она как бы вышла из «Печали полей». Поэтому ее искания, перенесенные в область личного чувства, бесплодны и обманчивы. Они могут дать только призрак счастья.

Новые люди, Даутов и ему подобные — мужественны и сильны. Они — люди дела. Однако эти люди не забыли о том, что счастье нужно искать. Только они не просто мечтают,

а реально борются за свое счастье, творчески создают его.

Во второй части романа «Искать, всегда искать» — повести «Загадка кокса» — выводится поколение людей, начавших сознательную жизнь в революционную эпоху. Это поколение вплотную занято покорением сил природы. Аспирант Леня Слесарев открывает «загадку кокса», символизирующую раскрепощение энергии природы для блага человечества. В образе Слесарева воплощена радость свободного творческого труда в освобожденной революцией стране. На первый план выдвигается действительная активная черта в национальном характере русского народа.

Сергеев-Ценский изображает в «Преображении» узел переплетающихся между собой жизненных путей. Писатель изображает людей, вносящих свой вклад в историческое дело; он показывает также тех, чья жизнь проходит бесцельно. В романе Сергеева-Ценского мы находим воплощение и положительного, и отрицательного воздействия войны. Сильных она воспитывает, закаляет; слабых губит. Ливенцев, Наташа, Даутов, несомненно, относятся к числу первых. Обидин, Дивеев — ко вторым. Они гибнут. Гибнет много и других, привязанных к старому, царскому режиму, духовно целиком находящимся в орбите старого, гибнущего. Если не физическое, то гражданское их умирание предрешило. Ливенцев закаляется духовно и политически, он живет с народом, умножившим свой исторический опыт в войне, с народом, идущим к «преображению» своей страны. Закаляется в войне, умножает свой жизненный опыт солдатская масса и передовые офицеры. После революции в стране расцветает творческий труд.

В центре творчества Сергеева-Ценского становится творческий, активно созидательный характер русского народа.

Первый роман эпопеи «Преображение» поставил Горького перед дилеммой: что хочет сказать автор о России? Жертва ли она истории, или страна, жадно впитывающая исторический опыт, активная, полная творческих сил, имеющая право учить, показывать пример другим народам, как надо жить.

Последующие романы эпопеи, созданные после социалистической революции, показали, что Сергеев-Ценский — пламенный апологет второй, патриотической точки зрения. Он — певец величия своей Родины. Тяжела была жизненная школа русского народа, говорит своей эпопеей Сергеев-Ценский, зато и велика его мудрость, огромны творческие силы, вывели его на новые пути, а потому он во многом может послужить примером для других народов, имеет право быть учителем жизни.

Это право в действительности советский народ полностью подтвердил, став в авангарде современного человечества, борющегося с немечскими варварами.

ПОЭЗИЯ ПОКОЛЕНИЯ, СОЗРЕВШЕГО НА ВОЙНЕ

Статья третья: *ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ*

Е. ТРОЩЕНКО



Н аряду с Симоновым и Алигер нашу молодую поэзию предвоенного времени представлял поэт Евгений Долматовский. В ином плане и в ином поэтическом разрезе, чем Симонов, но он тоже отразил в стихах своих свое поколение. Поэзия Долматовского не была «проблемной», как поэзия Симонова, и ей не свойствен был дидактизм, отличавший Алигер. Долматовский — поэт более простодушный и непосредственный. Двигаясь от стихотворения к стихотворению, как от главы к главе, Долматовский рассказал в стихах своих типическую историю жизни советского юноши, начиная с того дня, как он покинул гостеприимные стены десятилетки и кончая днем, когда он стал участником освободительного похода.

Это сочетание повествовательности и лиризма было у Долматовского не надуманным. Жизнь шла, и он шел за жизнью своего героя, чутко вбирая в свои стихи все наиболее важное в ней. Впечатлительность и наблюдательность — вот источник этой поэзии. Именно благодаря своей повышенной впечатлительности, Долматовский сумел высказать поэтически то, что свойственно было советской юности.

Довоенная лирика Долматовского собрана им в книжке «Московские рассветы», прекрасно названной, ибо то, что собрано и рассказано поэтом в этих стихах, было и впрямь только рассветом жизни, ее началом на поэтическом фоне Москвы — города детства и юности, в котором все впечатления бытия органически слились с новым строем и укладом жизни. И в этом также была привлекательность поэзии Долматовского, Будучи по природе своей восприимчивым ко всему светлому и радостному, Долматовский фиксировал в своих стихах прежде всего эти ясные впечатления.

Кто вас счастье строить научил,
Каменщики на рассвете? —

спрашивает он у каменщиков, облицовывающих берега Москвы-реки. («Каменщики на рассвете»). В стихотворении «Самый маленький» он рассказывает:

Нас водила веселая юность
По зеленым дорогам весны.
Были мы, как поток, говорливы,
Как весенняя роща, шумны...

Он пишет песенку «Улыбка»:

Расцвела страна,
И кругом весна,
И кругом весна,
Широка;
И друзья поют,
И легко плывут
Над тобой плывут
Облака.

Этот приподнятый, неизменно жизнеутрачивающий тон дал в свое время повод критике упрекнуть Долматовского в бездумности, в чрезмерной беззаботности. Доля правды здесь была, однако суть дела была не в тоне, не в счастливом ощущении жизни (жизнеутрачивающая, счастливая по мироощущению поэзия может быть не менее глубокой и осмысленной, чем печальная и несчастливая), не в эмоциональной окраске картин, рисуемых Долматовским, а в их содержании. Содержание же это было лишено глубины, упрощено. Лирические картины Долматовского не имели внутреннего плана, были однослойными, основанными на слишком бедных, простых ассоциациях.

Вот первая картина — «Выпускники», открывающая книгу:

Рано-рано с вечеринки,
Взявшись за руки, идут.
Тополиные снежинки
Пролетают там и тут.

Это школьники — десятиклассники возвращаются с выпускного вечера. Птенцы оперились, впереди — жизнь, им и радостно, и тревожно: «ты теперь совсем большая, ты судьбу решаешь сама».

Картинка эта очень живописна и мила, но написана она тоже школьником, десятиклассником. Поэт проходит вместе с героем своим все этапы его жизни, но нигде он не возвышается над созданным им образом и картиной. Он

рассказывает о первой любви своего героя, и стихи эти очень наивны в своей напускной влегической грусти («Где-нибудь на улице чужой», «Помню, что когда она ушла», «Есть в первой любви обреченность разлуки» и т. д.) и своих жизненных подробностях:

... С ней таким же, как с тобою буду.
Почему же десять раз на дню
Из далеких автоматных будок
Я тебе, зажмурившись, звоню?

Долго ли, коротко ли, но через несколько стихов нам сообщается радостная весть о том, что герой женился, что он должен стать отцом: «первенца, подруга, назови Феликсом по имени чекиста, или Таней в память о любви». Но, удивительное дело, пережив эти важные события, он не стал старше душой. В стихах продолжает сохраняться что-то незрелое, подростковое. Не даром воспоминания пионерского детства еще живут в их образах и ассоциациях. И еще одно наблюдение делаем мы: поэзия Долматовского очень близко держится факта, события. Исчерпав его в одной-двух картинках, она движется к следующему событию, — и это также есть не что иное, как проявление незрелости. Вот, к примеру, любовь. Совершенно очевидно, что, пройдя «по цветам и правам», отдав должное «неясным первым впечатлениям» и «первым неоправданным требованиям», любовь юного героя не исчерпалась, а, напротив, окрепла, установилась. Но что же мы узнаем о ней в стихах, где поэт с нежностью говорит о подруге своей, как о жене? Ничего, собственно. Повесть любви окончена, поэт переходит к другой теме.

Перед нами новый цикл — «Мои друзья», — чрезвычайно характерные для поэзии тех лет стихи — впечатления, вынесенные из путешествий. Это был очень здоровый и плодотворный мотив в нашей молодой поэзии. В нем сказались стремление к узнаванию, к освоению, художественному и поэтическому, своей страны. Долматовский так и шел в своих стихах: сначала «малый мир» школьной, юношеской лирики, затем — узнавание большого советского мира, его людей, природы, обычаев, городов. Когда-то в крупных поэтических масштабах дело это начал Маяковский. Он первый стал создавать поэтическую географию Советского Союза, был первым советским поэтом-путешественником, открывателем не только в поэзии, но и для поэзии новых земель. В 30-х годах молодежь продолжала начатое им. Знакомясь со страной, она утверждала в стихах своих новый ее порядок, сопоставляла, сравнивала, искала типическое, характерное для советского стиля и уклада жизни. Этим стремлением проникнуты и стихи Долматовского «Мои друзья». Поэт изображает встреченных им в путешествии людей разных профессий, возрастов, жизненных интересов и у всех находит общие, очень симпатичные черты. Это простые советские люди, скромные и самоотверженные. И вот здесь-то возникает весьма важный вопрос. Люди, изображаемые Долматовским, может быть, и в самом деле были просты, однако,

портреты этих людей вовсе не должны быть уж такими простыми. Конечно, «Мои друзья» — это уже не лирические этюды, нарисованные школьником-десятиклассником. Поэт, несомненно вырос, кругозор его расширился. И все же как еще неглубоки создаваемые им образы. Вот стихотворение «Стойбище Урми». Поэт увидел в тайге, в далеком стойбище, девушку-учительницу, она самоотверженно и с любовью трудилась. Поэт вспомнил жену:

Я в глаза этой девушки
Буду смотреть осторожно,
Чтоб найти на минуту
Твои дорожные черты.
Ведь она на тебя
Чем-то очень далеким похожа.
Хорошо б — на нее
Походила немного и ты.

Все те же однозначные простые ассоциации, и всегда только один смысл в картине — прямой, простой, лежащий на поверхности.

Или другое стихотворение «Бухта Ольга». В основе его — тоже весьма простенькая, поверхностная ассоциация. Бухта названа женским именем, и все, кто стоял на палубе — «строители, радисты, китобои» — вспомнили, как утверждает поэт, своих любимых:

Они придут на берег океана,
Построят все, что снилось, — на яву.
Форты и башни назовут Светланой,
А я свой горд Софьей назову.

И остальные стихи в том же роде — инженер Дальстроя, жадно мечтающий о Москве, а по приезде в Москву тоскующий о суровой жизни в тайге, мальчик, житель нового советского города, пускающий в синеву модель самолета, экзотический «Тигролов». Все это читатель может более или менее предвидеть в подобных циклах и стихах.

Однако пойдём дальше. Мы помним, в какое время живет наш герой и знаем, что в его ясную, благополучную биографию должна войти война. Это еще не война наших дней, великая и грозная, это первые раскаты грома, но герой Долматовского идет своим, предначертанным ему путем, и вскоре мы встречаемся с ним на войне, как встретились уже однажды с героем Симонова. Мы видим его сначала на Дальнем Востоке, потом в Западной Белоруссии, затем в Финляндии. Впечатления этого периода заносятся Долматовским со свойственной ему лирической краткостью в «Походные тетради». И теперь он уже не расстанется с ними. Вплоть до наших дней, до последней, недавно выпущенной книжки «Степная тетрадь», Долматовский будет отмечать все важнейшие даты и факты жизни героя датами сражений и походов. «Не в одном побывал я походе», — скажет он вскоре, как бывалый солдат, и это будет правда. Юноши идут дорогой войны — такова эпоха, такова типическая биография поколения. Они пройдут положенное им; война уже владеет ими, она наложила уже на них свой отпечаток.

Что же находим мы в походных тетрадах Долматовского? С одной стороны, здесь как бы еще продолжение прежнего — идет душевное обогащение за счет накопления впечатлений. Круг их все расширяется. Все новые и новые встречи и наблюдения над теми же рядовыми советскими людьми, но в обстановке военной, лирические картинки и сцены походной жизни и быта. Происходит чрезвычайно важный процесс роста личности, но форма его — все еще э к с т е н с и в н а я. Поэтому-то и картины, рисуемые Долматовским, остаются на прежнем уровне. Они все еще не могут, благодаря своей упрощенности, служить для нас источником познания жизни, сложной и в существе своем противоречивой. Ценность и интерес первых военных стихотворений Долматовского для нас в другом — в размышлении о своей судьбе, о своем месте и назначении в жизни. Это и явится предпосылкой дальнейшего роста поэта. Читатель может спросить — «а разве прежде герой об этом не думал?» Так, как теперь, не думал. Прежде он шел в общем потоке жизни по дороге широкой и свободной, проложенной для него старшим поколением — отцами и братьями. У него было спокойное, обеспеченное детство и счастливая юность. Теперь пришла и для него пора гражданского самосознания, гражданской зрелости, и первым актом этого самосознания было решение вопроса о долге перед родиной, перед вскормившей и воспитавшей его Советской страной. Вопрос стоял не в абстрактной форме, а конкретно: война — и мое поведение на войне, мое отношение к жизни и смерти на войне.

Это серьезные вопросы. Долматовский ответил на них со всей ясностью и убежденностью в заключительном стихотворении Дальневосточного цикла «Твердыня»:

Тяжелей бетона, крепче стали,
Как сыны ее, земля крепка.
Здесь глаза мои темнее стали,
И упорство обрела рука.
Небо синее, как на Востоке,
Пусть всегда сияет надо мной,
Люди сильные, как на Востоке,
Пусть идут в одном ряду со мной.
Жить хочу! Хочу, вставать с рассветом,
Чистым солнцем умывать лицо.
Разве мог я вырасти поэтом,
Если б не был рядовым бойцом?
Никогда!
И нашей чистой правды
Не отдам ни пяди никому.
Может, в яростном бою на травы
Упаду...
Но смерти не приму...

Стихи эти были своего рода программой, декларацией. Сама жизнь создала вскоре те суровые условия, о которых шла речь в «Твердыне». И отражены они в Финляндском цикле стихов Долматовского, подготовившем его серьезную и разумную лирику эпохи Отечественной войны.

Появилось уже нечто новое в самих картинах, рисуемых поэтом. Они говорят о трудностях войны.

Я много видел рек — и узких, и широких.

Запомнится не каждая река.

Но есть одна река — Тайпалеен-Иоки,

Она не широка, не глубока.

А было перейти ее труднее,

Чем жизнь прожить. Но нужно перейти.

Когда понтоны навели над нею,

Сплошной огонь открылся на пути.

И люди шли — сурово, тихо, долго.

И каждый думал — я еще живу...

(«Воспоминания о Тайпалеен-Иоки»)

Рассказывая о смерти товарища, тяжело раненного в бою, Долматовский говорит:

Может быть, я и слов не найду,

Чтоб рассказать о том,

Как родившийся в двадцатом году

Умирает в сороковом.

Происходила первая серьезная проба поколения, первое испытание мужества. И поэт, проверив себя и товарищей своих, не закрывая глаз на тяжкое, опасное и страшное, что он увидел на войне, сказал честно и прямо: трудно, но выдержим. Да, на войне умирают, теряют лучших друзей, покидают, уходя на войну, близких, но есть нечто, что стоит за всем этим, нечто важное и высокое, одухотворяющее человека, скрепляющее его с товарищами на войне и со всей Советской страной. Это нечто — есть долг, идея патриотического долга. Чувство это вошло уже в мироощущение героя, в его восприятие войны. Его отношение к войне неотделимо от идеи долга — чувство долга в нем так же естественно, как и инстинкт жизни. Вот важнейший вывод, который мы делаем из первых военных стихов молодого поэта.

Другой, не менее важный вывод делает сам поэт. Именно в этих стихах он впервые, собственно, осознает себя как представитель поколения. И он весь полон предчувствием его суровой судьбы, ожиданием новых прозных событий.

Лишь мгновение, и в сон, как под воду,
уйду.

Капитан! Хоть часов до пяти не будь.

Много ль сможем мы спать в
наступившем году,

Сколько трудных сражений еще
впереди.

И в другом, заключительном стихотворении Финляндского цикла — «Гроза»:

Так, значит, забывать еще не время

Военных дней. И, может быть, опять,

Не дописав одной строки к поэме,

Уеду... (и тебе не привыкать!)

Слова эти сбывались раньше, чем ожидалось. Молодежь идет дорогой войны. Пожелаем ей мужества и военной удачи.

★

Две книжки стихов, опубликованные Долматовским за время Отечественной войны — «Песня о Днепре» и вышедшая недавно в свет «Степная тетрадь», — на первый взгляд не содержат в себе тех разительных перемен, какие мы наблюдали в творчестве литературных сверстников Долматовского. У Долматовского нет произведений такого ораторского размаха и пафоса, как «Убей его», и нет вещи, столь яркой и крупной по замыслу, как «Зоя». Голос Долматовского — ровнее, глуше. Поэт как был, так и остается скромным рассказчиком-лириком, поэтическим биографом своего поколения. И, вместе с тем, достаточно вчитаться в стихотворения Долматовского времени Отечественной войны, чтобы увидеть весьма существенные и глубокие изменения. Долматовский во время войны стал поэтом. Прежние произведения свидетельствовали об одаренности молодого автора и о его общественной чуткости, но самостоятельной художественной ценности (за отдельными и немногими исключениями) они еще не представляли. Для того, чтобы обрести эту ценность, они должны были утратить свою «иллюстративность» и стать художественными обобщениями. Именно это и произошло во время войны.

В первую военную книгу Долматовского «Песня о Днепре» вошли главным образом стихи, написанные летом и осенью 1941 года.

В книге этой есть строфы и стихи, исполненные такой глубокой печали, что возникнуть они могли лишь в сердце, близко прикоснувшись к народному страданию и несчастью. Долматовский никогда прежде не писал таких стихов, да и не мог бы их написать, ибо никогда прежде на памяти нашей не переживала наш народ такого бедствия. Но беда настала, и поэт — каков бы он ни был, велик или мал — не мог не ответить на нее всем сердцем. «Украине моей» — называет Долматовский стихотворение, в котором рассказывает о том, что пережил он, отступая с земли, ставшей родной.

Я увидел тебя распятою
 На немецком штыке
 И прошел равниной покатою,
 Как слеза по щеке.
 В горбе путника столько горести
 Не легко пронести.
 Землю черную полной горстью я
 Собирал на пути.
 И леса твои и поля твои —
 Все забрал бы с собой!..

Русский поэт Долматовский говорит об Украине как ее сын, и это глубоко истинно, как и самое выражение горя в его стихах. Это выражение передано не только в слове, образе, но и в интонации, в тоне, чутком и точном:

И леса твои и поля твои
 Все забрал бы с собой...

Долматовский стал поэтом, ибо только поэт мог почувствовать и передать всю горечь отступления в таком образе, как образ «птицы счастья» — аиста, нежно названного на Украине «лелекой», улетающего за нашей колонной, и только поэт мог найти такую живую, такую человеческую интонацию для этих стихов:

Середина двадцатого века.
 Полпланеты войною гремит.
 И летит вдоль дороги лелека,
 Украинская птица летит.
 Что летишь ты за нашей колонной,
 Оставляя гнездо на трубе,
 Или хаты в долине зеленой
 Показались чужими тебе?

Этот тон боли и печали, и другой — контрастный ему, звучащий в глубине слов и мотива, еще не названный, но присутствующий как внутреннее напряжение чувства, всегда бдительного, живого, не поддающегося усталости и прусту, улавливаем мы во всех лучших стихах «Песни о Днепре» — в таких, как «Ночлег», «Отпуск», «Музыка», «В окружении». Это стихи, уже поднявшиеся над стихотворным очерком и бытом, над зарисовкой, какую еще нередко можно встретить у Долматовского, хотя возникли они из быта войны, из ее повседневности. В самом деле, что рассказано в стихотворении «Ночлег»?

На хуторе, за выжженным селеньем,
 Мы отдыхали перед наступленьем.
 Всю ночь ворчали мы. Признаться
 честно,
 На земляном полу нам было тесно.
 Но шире не было в селе хатенок,
 По нашим головам ходил котенок.
 И каждый ощущал плечо мля руку,
 Тепло соседа — близкую разлуку.
 В сыром холодном сумраке рассвета
 Вонзлась в небо желтая ракета.
 Был синий день, и красный снег, и
 грохот,
 И гаубица не уставала охать.

И трое из соседей по ночлегу
 Раскинулись по взорванному снегу.
 А вечером мы вновь ввалились в хату.
 Телефонист прижался к аппарату
 А мы легли на пол, сырой и черный,
 Но стала хата прежняя просторной.
 Ночную вьюгу слушали в печали,
 По тесноте вчерашней мы скучали.

Вот, когда стихи Долматовского приобрели тот глубокий поэтический смысл, которого им не доставало прежде. Это просто, очень просто, но уже не однозначно, здесь сказано больше того, что сказано, и заключено больше, чем изображено. И еще есть в этих стихах одна очень важная черта — это интонация раздумья, простор для раздумья. Читатель должен иметь этот простор в стихах. Далеко не всегда нужно докладывать ему смысл сказанного, как это делают сплошь и рядом наши поэты, в том числе во многих стихах и Долматовский.

Как часто прежде за лаконизмом стихов Долматовского не скрывалось ничего, кроме бедности воображения и неумения развить тему. Это был лаконизм ученического сочинения, исчерпывающего мысль в нескольких фразах, и сдержанность не от художественной дисциплины, а от бедности художественных средств. Долматовский и теперь не многословен, попрежнему он не варьирует своих тем. Он дает одно-два стихотворения, исчерпывающих мотив, но теперь они действительно и черпывают ту мысль и то содержание, которое стоит за ними.

Следя за биографией своего героя, Долматовский нарисовал картину, относящуюся к самому драматическому периоду военной жизни — «В окружении». Но стихотворение это дает такой же простор для чувства и воображения, как «Ночлег» для раздумья.

По дорожке по одной
Ходит-ходит смерть за мной.
Ходит-ходит, не находит,
Все проходит стороной.
То промчит грузовиком,
То в лесу блеснет штыком,
То с гармоникой губною
По шоссе идет подком.

Полной мерой хлебнул горя герой Долматовского на трудных дорогах войны, но выбрался, вышел из беды, унося в душе своей глубокую зарубку тяжелого личного испытания. Немудрено, что он стал старше за эти недели, и чувствительнее, и восприимчивее ко многим, прежде, может быть, и не затронувшим бы его впечатлениям. Прочтите стихотворение «Музыка». Оно родилось из одной лишь ассоциации, как будто бы очень простой, и, вместе с тем, столь причудливо поэтической в тех условиях и в той обстановке.

Ночью темною, ночью туманной
Мне не спится от музыки странной.
Ничего я в окошке не вижу.
Только музыка ближе и ближе.
Едут пушки, рубеж свой меняя
В двух шагах от переднего края.
Скрип колес по завьюженному кручам
Показался, как скрипка, певучим.

Всю эту группу стихов в «Песне о Днепре» замыкает весьма серьезное по содержанию стихотворение «Отпуск». Мысль этого стихотворения высказана прямо, но как жизненно и психологически правдиво она обоснована:

В отпуск ездил я в город родной,
И война приезжала со мной.
Нет! Наверно, здесь раньше была
И меня на вокзале ждала.
Ни подруги, ни друга, — одна
На перроне стояла война.
На Арбат зашагал я пешком,
Мимо рельсов и бочек с песком.
Мне открыли тяжелую дверь.
Детским сном здесь не веет теперь,

Только кукла лежит без косы
Да с поломанной стрелкой часы.
Здесь мне нечего делать, — уйду,
По снегам, по несбитому льду.
Переулками первой любви
Проходи, но друзей не зови.
Навеща седых матерей,
Не расспрашивай про сыновей.
На диванах чужих нечевать
Не хочу! — мне опять воевать!
Видно, родина наша и дом
В тех селеньях, куда мы войдем,
На полях, где врага мы согнем,
На дорогах под минным огнем.
Если знаешь, что значит тоска,
Не бери на войне отпуска.

Так найден был Долматовским свой, особый поэтический ход, чтобы высказать общее, очень глубокое и верное настроение: невозможность внутренне, психологически уйти в «отпуск» от войны, пока война идет, пока она не кончена, и пока она не кончена победой. И снова в этих стихах столь знакомое нам и столь важное ощущение неотделимости своей личной судьбы и биографии от биографии воюющего поколения. То, что предназначено историей, будет совершенно — для отпуска еще не настало время. Отпуска история еще не дала, великое дело советской молодежи еще не кончено. Молодежь продолжает идти дорогой войны.

★

Как бы ни был грустен мотив «Песни о Днепре», но грусть эта не переходила ни в отчаяние, ни в безнадежность. В ней постоянно брезжила какая-то светлая точка, неумирающая надежда. Всей глубиной своей души, в самое тяжелое время военных испытаний наш человек верил в то, что военная судьба переменится, что будет еще и на нашей улице праздник. Вот почему горе войны, научив его многому, не придавило его.

И вот почему тема личной утраты, смерти, не раз возникающая в нашей поэзии, исполнена какой-то особой просветленности, порожденной мыслью о жизни, а не о гибели, сознанием осмысленности существования и осмысленности жертвы, которую приносит боец, умирающий за справедливое дело на поле сражения. Нельзя лучше выразить это душевное состояние, чем выразил его Долматовский в стихотворении «Раненые», одном из наиболее поэтических своих стихотворений. Вот последние слова, вложенные в уста двух раненых, ожидающих смерти в поле, на рассвете, перед новым боем, который вот-вот грянет, но уже без них и не для них.

А все же наша жизнь была
— Скажу я перед гробом —
Частицей раннего тепла,
А не ночным ознобом.
Пускай, взрывая ключья тьмы,
Испытаны бедою,
Еще не солнцем были мы,
Но утренней звездой.

Это чувство и это настроение и приводят нас непосредственно к «Степной тетради», второй книге военных стихов Долматовского. Писалась она тоже в нелегкое время. В центре ее — Сталинград, лучшее стихотворение ее «Высота» помечено декабрем 1942 года. И это стихотворение так же, как «Украине моей» в «Песне о Днепре», бросает ответ на всю книгу. Заря победы — вот что забрезжило в этих поэтически приподнятых, и, вместе с тем, уравновешенных, исполненных спокойной уверенности стихах. Когда настанет день полной и окончательной победы над врагом, и поэты будут искать слов и образов для этой счастливой минуты, одним из мотивов нашей поэзии будет, наверное, тот, который прозвучал в «Высоте» Долматовского. Стихотворение это очень ясно и гармонично по своей структуре. Начав с описания факта и обстановки:

Знакомые наши места —
Овраги да степи без края.
А дальше в дыму — высота,
По карте — сто двадцать вторая.
Туда мы смотрели не раз,
Кусая засохшие губы... —

поэт рассказывает об упорном, сосредоточенном настроении людей, не видевших вокруг себя ничего, кроме этого голого бутра и бойниц вражеских окопов, и увидевших целый мир во всем его великолепии, когда высота была взята:

Впервые заметили мы
Высокое солонце над степью,
Хрустальные травы зимы,
Морозное великопенье.
Так вот как поет и звенит
Донскую мелодию ветер,
Как утренний воздух пьянит,
Как славно живет на свете!

В этих стихах ключ ко всему поэтическому содержанию «Степной тетради». Теперь можно уже сказать с определенностью, каковы масштабы, вкусы, художественные стремления этой поэзии. Есть натуры, рост которых совершается в непрерывной ломке, в резкой смене и переходах от одних качеств к другим, и есть другие — в зрелую пору они лишь углубляют и раскрывают полностью то, что было заложено в них первоначально. Долматовский принадлежит к последним. Наиболее удачные в художественном отношении, наиболее содержательные стихотворения Долматовского последнего времени своеобразно повторяют его первоначальные свойства — гармоническое ощущение жизни, стремление к красивому, поэтическому, стремление к поэзии в картинах, а не к лирическим изъяснениям чувств. Таковы «Сенокос», «Станица», «Разговор Волги с Доном», «Мать казака». Это очень поэтичные, чистые по форме лирические «песны», как называли их в старину. Как достигнута художественное обобщение в этих стихах? Наличием некоторой условности, некоторой приподнятости, удалением от факта, но как-раз именно на то расстояние, которое нужно для поэзии. Это вовсе не означает удале-

ния от жизни, напротив, — стихи Долматовского вполне реалистичны и тем ценны, что, оставаясь верны реальному, они показывают жизнь с красивой и благородной стороны. Вот стихотворение «Станица». Поэт говорит в нем о встретившихся в задонской станице бойцах, — русском и украинце, пружине и казаке.

Да, друзья, словно в книге страницы
Сплетены мы в Задонской станице.
За нее мы вступили в бой.
В ней сроднились днепровские лозы,
Подмосковья сквозные березы,
И кавказских потоков струи.
Под раскаты далекого гула
После боя станица уснула.
Сено шепчется под головой.
И под лунным холодным пожаром
Лишь не спят командир с комиссаром
Да глядящий во мглу часовой.

Достаточно бросить взгляд на это стихотворение, чтобы уловить его традиционность. Поэтичность стихов Долматовского жизненна и современна, а поэтика традиционна. Это сочетание мы найдем не только у него, но у всех без исключения поэтов, и у молодых, и у более зрелых — у Твардовского, Суржова, Исаковского, Ципачева. Молодежь своими стихами лишь подтверждает это характерное явление нашей поэзии последнего времени. Прекрасным примером может служить такое стихотворение Долматовского, как «Разговор Волги с Доном». Это вещь почти хрестоматийная. Переключка Волги, сговаривающейся с Доном взятъ немцев в кольцо, — это, как переключка Кавказских гор в «Споре» или разговор Терека с Каспием в «Дарах Терека». Традиционен и одновременно нов, остро современен и сюжет стихотворения «Мать казака». Мать говорит сыну, вернувшемуся с армией-освободительницей в станицу:

«Ты не с той стороны —
Из-за Дона пришел ты не прямо!»
и сын отвечает:
«Но дороги войны
Нелегки и извилисты, мама.
Мы их взяли в кольцо,
Мы от Клетской прошли по излучке». —
И целует лицо
И землистые старые руки.

Стихотворения, о которых до сих пор шла речь, — это лучшие в художественном отношении вещи, новая и последняя по времени отметка роста поэта. Неудивительно, что они оказались наиболее интересными и поучительными и по содержанию. Однако неверно было бы представлять себе дело так, что в любом из теперешних произведений Долматовского мы обнаружим признаки духовной зрелости и глубины. Реальная картина гораздо более пестрая. Среди военных стихов Долматовского есть немало вещей просто слабых, невыразительных, прямо сливающихся с безликой, не обладающей ни поэтической душой, ни мастерством заурядной поэзией. Но есть в:

поэзии его еще и «средняя», если можно так выразиться, линия. Это довольно большая группа стихотворений, в которых он воссоздает свои прежние приемы и способы на новых темах. И так как темы эти сами по себе необычайно богаты содержанием, значительны, то даже одна-две живых черточки, схваченных поэтом, одно-два метких наблюдения придают стихотворению ценность и известную художественность. Так именно обстоит дело в Сталинградском цикле стихов Долматовского. Сталинград! Кому из современных поэтов эта тема была бы под силу во всем своем историческом объеме и во всем героическом размахе? Во всяком случае, когда читаешь сейчас такие стихи, как цикл Долматовского «В осажденном городе», ясно чувствуешь дистанцию между размахом темы и скромным, очень скромным звучанием образа и стиха. Долматовский обладает чувством художественного такта и никогда не преувеличивает своих сил и возможностей. Обратившись к теме Сталинграда, Долматовский начал с того, что отыскал в осажденном городе своего излюбленного героя, недавнего обитателя скромной «студенческой» комнаты, и от его имени повел рассказ. Поэт пошел по знакомому, уже испробованному пути наблюдений и лирических зарисовок, стремясь через детали быта, через отдельные жизненные и даже житейские подробности передать великий смысл происходившего. Этот путь не мог привести его к большой поэзии, но это все же был путь поэзии.

У нас с тобою, правда, не квартира,
Студенческая комната была.
Стоял диван, висела карта мира,
В углу в коляске девочка спала.
Мы говорили — скоро переедем
На новые просторные места.
А эту площадь отдадим соседям.
Смешная довоенная мечта.

... Вокруг углы ощерились, как волки,
И обвалилась лестница в огне.
Фарфоровые слоники на полке
Остались на единственной стене.
Но комната — она цела покуда.
Стальными балками завален вход.
Немецкий автоматчик бьет оттуда:
Стрельнет, затихнет, и опять
стрельнет.

Ужасный час наш поединок длится,
А немец все сидит в моем дому.
Не день, быть может, год придется
биться,
Но комнаты я не отдам ему.

Поэтический эффект стихотворения — в этой неожиданной расшифровке героического сюжета сталинградских боев за родину, за город, как боя за «свою комнату». В первый момент, когда прочитываешь стихотворение, этот поэтический ход кажется оригинальным и многозначительным; но, вчитавшись, остаешься неудовлетворенным — слишком узок символ и

слишком прозрачен намек на то, что, сражаясь «за свою комнату», боец отстаивал целый город и всю свою страну от захватчика-чужеземца. Это художественный сюжет из тех, которые называются остроумными. Но в данном случае нужно было не столько остроумие, сколько глубина, и обобщение не наивно-символическое, а реалистическое и более широкое. Тем не менее, этим стихам нельзя отказать в жизненности, как нельзя отказать в жизненности и меткой наблюдательности стихотворению «Статуя», о разрушенном шрапнелью мраморном воине в одном из скверов Сталинграда и о красноармейце-часовом («В шинели задымленной рядом, небритый, усталый, живой, не кланяясь злобным снарядам, с винтовкой стоит часовой»), как нельзя отказать в выразительности картине, изображающей бомбежку на переправе:

Детей, завернутых в одеяла.
Несли на пристань.
Воронок язвой земля зияла.
Шел третий приступ...
На старой барже огонь косматый
С обшивкой грызся.
Сирена выла, и по канату
Бежала крыса.

Есть в этом цикле стихи, которые являются не чем иным, как романсами, и надо отдать должное Долматовскому — он сумел не преступить границу, за которой чувствительность могла бы показаться неуместной. Это случилось, может быть, потому, что стихи Долматовского не просто чувствительны, но и простодушны.

Атаку отбили
За светлые дали,
За дом, где любили,
Смеялись, страдали.
Мальчишка, с которым
Ты звезды считала,
С тускнеющим взором
Ложится устало.
Сестра наклонилась,
Завяжет, поможет,
Иль это приснилось,
Что так вы похожи? —

читаем мы и спрашиваем себя — почему же нас трогают эти стихи? А они, несомненно, трогают, напоминая нам прежнего, еще довоенного юного героя Долматовского, школьника или студента, сражающегося сегодня за то, чтобы защитить свое право на самое простое человеческое чувство, на простую человеческую радость.

Так и в этих сталинградских стихах возвратился Долматовский к исходным мотивам и образам своей юношеской поэзии, со всей ее незатейливостью и простодушием. Но теперь на этом юном лице лежит отсвет драматических событий, и старящий, и облагораживающий его.

★

Разбором стихотворений Долматовского мы заканчиваем нашу характеристику поэзии молодежи, для которой война явилась суровой школой жизни, а через это и школой искусства, приобщившей ее к более сложным и глубоким формам художественного мышления, научившей смелому выражению, смелым и самостоятельным замыслам. В творчестве избранных нами трех поэтов — Симонова, Алигер, Долматовского — процесс этот сказался наиболее ярко и выпукло, однако наблюдать его можно и во многих других произведениях, созданных молодыми поэтами за время войны. Рассматривая их, как отражение духовной жизни воюющего поколения, мы с большой отчетливостью ощущаем своеобразие самого процесса созревания нашей молодежи.

Наша молодежь не имеет и не будет иметь ничего общего с тем деморализованным, психически надломленным поколением, которое под именем «потерянного» явилось после первой мировой войны на Западе, и о котором рассказали нам такие писатели, как Олдингтон, Хэмингуэй, Ремарк, Дос-Пассос, Уэлс и многие другие. А ведь там также шла речь о «созревании». Со времени Балзакка и во всей истории молодого человека XIX столетия и в дальнейшей истории созревание это было не чем иным, как процессом «утраты иллюзий». Война 1914—1918 гг. была как-раз той катастрофой, которая до крайности ускорила этот процесс, сконцентрировала его в исторически кратком промежутке времени, обнажив скрытое, выведя наружу тайное. Ничем не защищенный морально от смерти, одинокий, разобщенный благодаря своему индивидуалистическому сознанию с другими людьми, наедине со своей слабой и малой личностью и действительно «потерянный», стоял молодой человек XX столетия перед обнаженным, кровавым ликом войны. Вспомним «Последнюю ночь» Багрицкого, с которой мы начали свое рассуждение и которой мы кончим его. Герой поэмы Багрицкого также мог бы принадлежать к «потерянному поколению», он неизбежно очутился бы в его среде, если бы не революция, соединившая его с народом, поставившая перед ним новые, истинно возвышенные цели и идеалы, сила которых была также и в том, что они не разбивались при первом жестком и грубом соприкосновении с реальной жизнью, но опирались на эту реальную жизнь.

И вот теперь, когда мы обращаемся к нашей молодежи, принявшей на свои плечи тяжесть войны с самым одиозным, озверелым врагом, какого только знала человеческая история, —

мы видим теперь, как протекает иное, подлинное духовное созревание. В тяжкие для нас периоды войны в поэзии нашей молодежи была боль, горечь, было ощущение трагедии. Но это не было ощущение только личной трагедии, это было глубокое личное переживание трагедии народной.

Прости меня, родная сторона,
за то, что я, с боями отступая,
тебя в слезах оставил и тревоге,
что в трудный час врагу на поруганье
досталась ты...

(«В тот год суровый». Д. Осин).

Именно так, как в этих искренних и патетических строках смоленского поэта-фронтовика, прозвучала эта тема у всех поэтов воюющего поколения.

За многие месяцы войны наша молодежь не раз глядела в глаза смерти, но не отшатнулась от страшного ее лика. Ей не нужно было заслоняться от смерти ни цинизмом отчаяния, ни равнодушным обреченности. Война вошла в нашу молодую поэзию вместе с темой боевой героики, неразрывно от идеи борьбы и от идеи долга, сознание которого в каждом отдельном человеке и есть сознание своей общественной связи с другими людьми. Именно здесь корни того непоколебимого оптимизма и жизнелюбия, которыми проникнута наша поэзия даже тогда, когда она говорит о смерти, о гибели.

Если бы даже бессмертен я был,
то и тогда бы,
те дни вспоминая,
жизнь эту трудную так не любил,
как ее любят в бою, умирая.

(«В тот год суровый». Д. Осин)

Разве мы не встречались с этим мотивом у Долматовского, или у Михаила Дудина, или у Александра Яшина?

Нашей молодежи, как и всякой нормально развивающейся молодежи, свойствен романтизм. Но это не тот эгоцентрический, безудержно индивидуалистический романтизм, который так превосходно был охарактеризован Багрицким в «Последней ночи» в час прощанья героя со своей юностью. Это романтизм, охарактеризованный Алигер в первой главе поэмы «Зоя», романтизм подвига, мечты о великом и необычайном в своей судьбе и биографии. Этот романтизм выдержал испытание войны, возродившись в ином, уже не поэтически мечтательном, но глубоко жизненном, реальном образе и в военной поэзии Симонова, и в поэме Алигер, и в лучших военных стихотворениях Долматовского.

ТУРГЕНЕВ И ЗАПАД

(К 125-летию со дня рождения И. С. Тургенева).

С. РЕЙСЕР



Учитель, все мы должны пройти через вашу школу.

Жорж Санд — Тургеневу.

1.

Тургенев был глубоко национальным русским писателем. Среди имен русских учителей западной литературы — Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, Чехова, Максима Горького — имя Тургенева — одно из значительных.



Великий русский писатель Тургенев не всегда находил общий язык со своими современниками — революционными демократами: Чернышевским и Добролюбовым. В политике он иногда заблуждался, но художественный талант и острое историческое чутье были выше его житейских политических высказываний. И не даром он возвеличивает Рудина, умирающего на баррикадах Парижа, не даром в стихотворении в прозе «Порог» он воспевает подвиг идущей на страдания девушки революционерки, которой «не нужно ни благодарности, ни сожаления».

Империю Наполеона III Тургенев презирал и ненавидел. Он вместе с семьей Винардо покинул Париж, чтобы не быть не только соучастником, но даже просто свидетелем позора любимой Франции. Падение деспотии Наполеона «доставило мне великую радость», — писал он Я. П. Полонскому, — нравственное чувство во мне удовлетворилось».

Зазнавшееся пруссачество всегда вызывало у Тургенева горячий протест. Оценивая итоги победы немцев после войны 1870 г., он произносил полные пророческого предвидения, актуальные в наши дни слова, о том, что «завоевательная алчность, овладевшая всей Германией, не представляет особенно утешительного зрелища».

И характерно, что в повести «Вешние воды», написанной после фралко-прусской войны, герр Карл Клубер — один из отвратительнейших персонажей. После этой повести немцы отвернулись от Тургенева. «Какими неженками стали немцы после своих военных успехов», — иронически писал Тургенев, — самое лучшее и

самое правдивое в моей повести — это укол немцам». И не случайно в «Накануне» введен такой эпизод: немецкий гуляка-офицер оскорбил русскую девушку и сам же стал нагло требовать удовлетворения у вступившегося за нее Инсарова. Стоило, однако, смело пресечь ее попытки, как спесь слетела с зазнавшегося нахала и он превратился в жалкого труса.

Немецкая литература того времени не оказала воздействия на Тургенева. Германия — победительница Франции — выходила из семьи европейских литератур, последовательно заменяя культуру военно-агрессивной пропагандой, которая не могла быть близка Тургеневу.

Новейший исследователь этого вопроса Л. В. Пумпянский так формулирует итоги его изучения. Немецкая беллетристика бисмарковской эпохи была настолько второстепенным, с европейской точки зрения, провинциальным литературным явлением, что Тургенева она ничему научить не могла...

Сам Тургенев с предельной четкостью формулировал свое отношение к тогдашней немецкой литературе. В письме к Л. Пичу 1876 г. он писал о немцах: «...писать они разучились, да по правде сказать, как следует никогда и не умели. Когда немецкий писатель рассказывает что-нибудь трогательное, он не может удержаться, чтобы не указать одним перстом на свои заплаканные глаза, а другим подать читателю знак, дабы тот не оставил без внимания и самый предмет его растроганности»*.

Не выше и общее суждение Тургенева о немцах и их роли в искусстве. В дневнике Э. Гонкура под 1876 г. записаны следующие слова Тургенева: «Из всех народов Европы, у немцев, кроме как в музыке, наименее правильно чувство искусства».

Провожая прах Тургенева в Россию, известный французский критик Эдмонд Абу, намекая на Германию, поработившую Францию после войны 1870 г., произнес слова, которые он с полным правом мог бы повторить по ад-

* «Письма к Людвигу Пичу», М., 1925, стр. 187—188.

ресу гитлеровской Германии: «Великие государственные люди страны, соседней с нами, знают, какой монумент их ожидает по смерти. Над их могилой воздвигнут величественные статуи, которые будут опираться на плечи скованных пленников, насильно влекомого в неволю».

Борьбе со злом, как он ее понимал, будь то крепостничество Николая I или прусский сапог бисмарковской Германии, Тургенев посвятил всю свою жизнь. Не даром в речи о Гамлете и Дон-Кихоте он так возвеличил последнее: «Дон-Кихот живет для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам, великанам, то есть критическим. Дон-Кихот энтузиаст, слушатель идеи и потому обвешан ее сиянием... Когда переведутся такие люди, пускай закроется книга истории: в ней нечего будет читать».

В молодости Тургенев дал Анибалову клятву борьбы за свободу и сдержал ее навсегда. Тургеневу не могла быть мила последкабристская Россия, полузадушенная рукой Николая I. Но ведь эта самая Россия — его родина, дорожке которой для писателя нет ничего на свете: «Родина без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись...» «Нас хоть в семи водах мой — нашей русской сути из нас не вывести».

Тургенев всегда и прежде всего ощущал себя, как русский.

Многие страны и литературы охотно бы сочли Тургенева своим, и прежде всего Франция, которую Тургенев так любил, в которой прожил почти двадцать лет, с которой он был так тесно связан и личными, и литературными связями. Но без малого два десятилетия, прожитые во Франции, не сделали Тургенева французом. «Тургенев менее всего походил на француза», писал американский писатель Генри Джемс, и эта черта прежде всего бросалась в глаза иностранцу.

«Франция с гордостью усыновила бы вас, если бы вы того пожелали, но вы всегда оставались верным России, — говорил в своей прощальной речи, цитированной выше, Эдмонд Абу, — и хорошо поступили, потому что тот, кто не любит своего отечества, всецело, слепо, до глупости, остается всегда человеком только наполовину. Вы не были бы так популярны в стране, где ждут вас теперь, если бы не были хорошим патриотом».

«Ни один человек не воплощал в себе так полно целой народности. В нем жил целый мир и говорил его устами: целые поколения предков, безмолвные, затерянные в забвении веков, через его посредство обрели жизнь и слово» (Ренан). Верю в русского человека, в русский народ, была одухотворена вся жизнь Тургенева: «Мы народ юный и сильный, который верит и имеет право верить в свое будущее», говорил он. И наблюдая смелый и гордый полет журавлей в небе, «мне пришло в голову, что таких людей, каковы были эти птицы, — как в России, — в целом свете немного» («Призраки»).

Со смертного одра Тургенев послал пос-

ледний привет отечеству: «Родине поклониться, которую я уже, вероятно, никогда не увижу» (Я. П. Полонскому).

В тяжелые минуты жизни, оторванный от родины, больной писатель, незадолго до смерти черпал силу и бодрость в родном языке: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу».

Язык — высшее проявление национального духа и гения народа, и именно эту сторону творчества Тургенева особенно ценил и подчеркивал В. И. Ленин, часто читавший Тургенева и до полусотни раз процитировавший его в своих работах*. Ленин с особым сочувствием отмечал эту сторону его творчества**, и в полемике с либералами бросил следующие гневные слова: «Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч»***.

2.

Проблема взаимоотношения Тургенева с Западом может быть охарактеризована с двух сторон. Тургенев, как популяризатор западно-европейской литературы в России и, с другой стороны, Тургенев, как популяризатор и представитель русской литературы на Западе. Влияние Тургенева на западно-европейские и американские литературы и является основной и наиболее значительной частью этой, второй стороны вопроса.

★

Из произведений западно-европейской литературы, которые Тургенев хотел сделать известными русскому читателю, надо, разумеется, прежде всего назвать «Иродиаду» и «Легенду о Юлиане милостивом» Флобера. Работа автора над ними относится ко второй половине 70-х годов, в период наибольшего увлечения Тургенева этим писателем, «одним из замечательных представителей современной французской литературы». Любопытно, что «Легенда...» была переведена Тургеневым с рукописи и появилась на русском языке (в «Вестнике Европы» в апреле 1877 г.) несколько раньше, чем во Франции, в оригинале.

В 60-х и 70-х годах по совету и рекомендации Тургенева, и большей частью, с его предисловиями, на русский язык были переведены: роман Дюкана «Утраченные силы», очерки и рассказы Леона Кладеля и др. Любопытен выбор этих, забытых у нас теперь, писателей. Леон Кладель, по определению Тургенева,

* Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, М., 1931, стр. 32. Ср. В. И. Ленин. Письма к родным, М., 1931, стр. 102, 164. Цитаты из Тургенева собраны и проанализированы в книге А. Г. Цейтлина: Литературные цитаты Ленина, М., 1934, стр. 68—75.

** См. Сочинения, Изд. 3-е, т. XXVII, стр. 233.

*** Там же, т. XVII, стр. 180.

представитель реалистической школы: она «ведет свое начало от Бальзака и считает своими главными представителями Флобера, Золя, Гонкура и др.». В этой школе для Тургенева особенно ценно «изучение и воспроизведение общественной жизни в ее типических проявлениях. Тщательное и добросовестное воспроизведение народного быта составляет одну из главнейших задач новой школы» (из предисловия к Л. Кладелю).

Однако важно отметить следующее: называя Бальзака родоначальником реалистической школы и, в общем, высоко его оценивая, Тургенев ставит его несравненно ниже русских писателей, например, Льва Толстого.

Сравнивая в предисловии к роману Дюкана персонажей Бальзака и Толстого, Тургенев пишет: «Все его лица (Бальзака. — С. Р.) колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно, до мельчайших подробностей, и ни одно из них никогда не жило и жить не могло: ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в «Казаках» нашего А. Н. Толстого».

Злая сатира на пруссачество — поэма «Германия» Г. Гейне — была известна русскому читателю лишь в сокращениях, и Тургенев счел нужным рекомендовать в 1874 г., — когда пруссачество после победы над Францией показало себя во всей красе, — полный перевод этой поэмы на русский язык. Перевод этот, выполненный В. М. Михайловым (под псевдонимом «Заезжий»), был издан в Лейпциге в 1875 г. Тургенев принимал непосредственное участие в отделке перевода.

★

Несравненно более значительна роль Тургенева в сближении русской и западно-европейской литературы.

Горячий патриот и восторженный ценитель художественных богатств родной литературы, Тургенев настойчиво старался сделать их доступными читателям Запада. И благодаря его инициативе и энергии, личной популярности и влиянию, он стал на Западе как бы послом русской литературы. Если имена Крылова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина, Писемского и некоторых других русских писателей стали известны французскому, английскому и отчасти немецкому читателю, то большая доля этой заслуги принадлежит Тургеневу. Отчасти лично, отчасти с помощью Проспера Мериме и мужа Полинны Виардо, художественного критика Луи Виардо во Франции, В. Ральстона в Англии, Людвиг Пича в Германии, — Тургенев неустанно и настойчиво пропагандировал русскую литературу, вводил лучшие ее достижения в культурный обиход стран Запада.

В 1849 г. он предполагал совместно с Луи Виардо перевести на французский язык «Шинель» Гоголя: этот перевод не был осуществлен, но важен для нас, как устремление, характерное для Тургенева еще в первый период его литературного пути. А еще раньше — в

1845 году — «Тарас Бульба» и ряд других произведений Гоголя, под непосредственным руководством Тургенева и С. А. Геденова, были изданы Луи Виардо по-французски и «Тарас Бульба» был горячо встречен французским читателем (тут сыграла свою роль и пропаганда имени Гоголя Проспером Мериме).

Особенно пропагандировал Тургенев на Западе имя своего учителя — Пушкина. Его перевод (совместно с Луи Виардо) «Капитанской дочки» за 1854—1879 г. выдержал семь изданий — огромная по тем временам цифра — и нашел много тысяч читателей*.

В 1862—1863 г. Тургенев и Л. Виардо перевели «Бориса Годунова», «Русалку», почти все маленькие трагедии и «Евгения Онегина», то-есть, наиболее значительное из наследия Пушкина.

Ряд лирических стихотворений Пушкина Тургенев переводил самостоятельно и совместно с Флобером. Конечно, к Тургеневу же восходит и знакомство Эдмонда Гонкура с Пушкиным: напомним, что в «Братьях Земгано» (1879) цыганка Степанида Рудак поет стихи Пушкина: «Старый мужа, грозный муж...»

Благодаря Тургеневу познакомился с творчеством Пушкина и Эмиль Золя: «Я узнал его в особенности через посредство моего великого друга — Тургенева», — писал Золя 7 июня 1899 г. в письме русским писателям.

Когда в 1880 году Мопассан задумал целую серию статей о великих иностранных писателях, Тургенев в специальном письме рекомендовал ему начать «в России с Пушкина или Гоголя».

Другим поэтом, которого Тургенев постоянно пропагандировал на Западе, был Лермонтов. В 1865 г. он с помощью Мериме перевел на французский язык «Мцыри» и горячо приветствовал изданный в 1875 г. английский перевод «Демона». Отмечая выход этого перевода, Тургенев особенно подчеркивал то обстоятельство, что «внимание Запада обратилось на русскую литературу».

Когда английский критик Вильям Ральстон перевел басни Крылова, Тургенев в специальной заметке радостно отмечал, что «английский читатель начинает находить интерес к его родной литературе... «Можно положительно сказать, не боясь впасть в преувеличения», — писал он, — что иностранец, основательно изучивший басни Крылова, будет иметь более ясное представление о русском национальном характере, чем прочитав всевозможные сочинения, трактующие об этом предмете».

Тому же Ральстону англичане обязаны знакомством с Кольцовым и рядом других имен русской литературы. В письме 1867 г. Тургенев обращал его внимание на Льва Толстого,

* Позднее, когда в русской печати была опубликована одна из глав ранней редакции повести Пушкина, Тургенев снова, вместе с Л. Виардо, перевел и напечатал эту главу в одном из наиболее популярных французских журналов: «La Revue politique et littéraire».

Гончарова, Островского и Писемского. Писемскому Тургенев активно помогал, рекомендуя французскому читателю его романы. (В 1880 г. был напечатан французский перевод романа: «В водовороте»).

Во влиятельном английском журнале «The Academy» Тургенев поместил (в 1871 г.) специальную заметку, посвященную неизвестному еще в Англии Салтыкову-Щедрину и его «Истории одного города». В этой заметке имя Салтыкова было сопоставлено с именами Ювенала и Свифта, то-есть, наиболее значительными представителями мировой сатиры.

Наконец в 1875 г. Тургенев горячо рекомендовал французской публике Льва Толстого, напечатав в газете «Le Temps» заметку о «Двух гусаках» и прокорректировав самый перевод (Шарля Роллина), а в 1880 г. по поводу вышедшего перевода «Войны и Мира» сообщил Флоберу, что этот роман дает «более непосредственное и верное представление о характере и темпераменте русского народа, вообще о русской жизни, чем если бы... прочитав сотни сочинений по этнографии и истории». Любопытно, что основная мысль этого отзыва совпадает с тем, что было приведено выше из отзыва о Крылове. Иностранному читателю особенно важно иметь верное представление о характере русского народа, о его национальных чертах. Именно с этой точки зрения Тургенев и считал Толстого «первым современным писателем». (Из письма к Флоберу в декабре 1879 г.).

Вся эта работа Тургенева не пропала даром: более тридцати лет он пропагандировал русскую литературу на Западе. Выступая в июне 1878 г. в качестве вице-президента международного литературного конгресса в Париже, как бы подытоживая, он имел полное право сказать: «Мы можем не без гордости назвать перед вами имена наших поэтов: Пушкина, Лермонтова и Крылова и прозаиков: Карамзина и Гоголя. Вы сами призвали русских писателей к участию на международном литературном конгрессе на основаниях равноправности».

Действительно: отношение к русской литературе на Западе в 80-х годах было совсем иное, чем в 40—50-х. Если теперь, — говорил в 1883 г. чешский критик Йосиф Пенижек в газете «Politik», — Европа внимательнее относится к русской литературе, нежели 20 или 30 лет назад, если теперь убедились, что новейшая литература России заслуживает стать наряду с французской, — «этим обязаны главным образом Тургеневу...»

3.

Величие русского народа и его борьбы определили то, что русская литература оказалась не только равной, но первой и ведущей в мировом литературном движении. Имена Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, М. Горького определяют этот победный путь, и имя Тургенева должно быть названо одним из

первых. «Никого из современных русских писателей не читали так много в Европе, как Ивана Сергеевича Тургенева», — свидетельствует осведомленный Георг Брандес. «Сейчас... Тургенев известен всему цивилизованному миру, приблизительно так, как Теккерей, как Бальзак, значительно больше, чем Диккенс во Франции, или Флобер в Англии», — пишет один из современных исследователей Тургенева Л. В. Пумпянский*.

Связь творчества Тургенева с мировым литературным движением с наибольшей четкостью и принципиальностью была формулирована Л. В. Пумпянским.

Автор статьи «Тургенев и Запад», указывает, что дело не в том, с кем именно из отдельных писателей был связан Тургенев и на кого именно он влиял в своем творчестве, а в том, что он был связан со всем литературным движением современного ему Запада, и как нельзя понять творчества Тургенева вне соотношения с западно-европейской литературой своего времени, точно так же и все развитие этой литературы соотносится с творчеством Тургенева. Л. В. Пумпянский даже возражает против привычных формул: «успех» или «влияние» Тургенева на западные литературы. «На деле, — писал он, — это не «успех» и не «влияние», а новая глава в истории мирового романа и новеллы, и целая эпоха в литературном развитии человечества».

Следует, разумеется, иметь в виду, что на литературу каждой страны творчество Тургенева оказывало, в каждом отдельном случае, специфическое, особое влияние, и дело будущих исследователей (этот вопрос только намечается) определить его степень и характер.

Не касаясь вопросов художественного мастерства, можно так формулировать то новое, что дал Тургенев общественному сознанию Запада. Прежде всего образ русского крестьянина (и не даром вся «крестьянская» литература XIX—XX века, по методу описания труда и природы, во многом восходит к «Запискам охотника»), затем образ русского интеллигента, русской женщины и русского революционера (не даром революционеры — от «Тартарена в Альпах» Додэ и до Суворина в «Жерминале» Золя — восходят к Тургеневу).

Таким образом, Тургенев дал Западу все то, что представляла собою в то время русская социальная действительность. А художественный талант писателя определил его влияние в культурной жизни Запада.

★

За время своей многолетней жизни во Франции Тургенев близко сошелся с кругом передовых французских литераторов, среди которых достаточно назвать имена Гюго; Жюль Санд, Мериме, Флобера, Готье, братьев Гон-

* Статья «Тургенев и Запад». В сб. «И. С. Тургенев. Материалы и исследования», Орел, 1940, стр. 99.

журов, Додэ, Мопассана, Сен-Бева, Тэна, Ренана и целого ряда других. Мы видим здесь имена писателей и критиков двух поколений: ровесников Тургенева, и молодых, только вступивших в литературу в то время, когда Тургенев уже был признанным мастером. И если первые (как, например, Гюго, Флобер, Жорж Санд) были поклонниками и почитателями таланта Тургенева, то для других Тургенев был писателем, творческий метод которого следовало изучать, как образец.

Передовой круг французских писателей-реалистов группировался вокруг Флобера. Основным ядром этой группы были Флобер, Э. Гонкур, Золя и Додэ. К ним эпизодически или постоянно присоединялись и другие литераторы. Дневник Гонкуров шаг за шагом фиксирует эти встречи и происходящие там разговоры. Имя Тургенева мелькает едва ли не чаще других. Он иностранец, представитель славянской России, о которой знают мало, но которой остро интересуются. Блестящий собеседник и рассказчик, он знакомит друзей с Россией, ее историей и нравами, ее культурой и литературой и быстро очаровывает своих слушателей. Наконец, он писатель той страны, где литература живет неотъемлемо от политической жизни, где писатель уже по одному, тому, что он писатель,—общественный деятель. Не то во Франции: литература и политика здесь раздельны. В России «Записки охотника» оказываются произведением, сыгравшим немалую роль в борьбе за освобождение крестьян. О «Рудине» и «Отцах и детях» спорят с жаром и страстностью, далеко выходящими за пределы литературных споров. Все это вновь и притом так своеобразно и самобытно, что нельзя не увлечься. «Он рассказывает любопытные вещи о русской литературе, объявляя ее, от романа до театра, на широком пути реалистического изучения». «Он очаровывает нас смесью наивности и тонкости... Эта прелесть усиливается у него оригинальностью самобытного ума и знанием огромным и космополитическим. Вот, на выдержку, две цитаты из дневников Гонкуров. И не даром Жорж Санд — она не входит в этот кружок — так восторженно отзывалась о Тургеневе: «Какой талант! Сколько оригинальности и выдержки. Я нахожу, что иностранцы пишут лучше нашего. Они не позируют, а мы драпируемся или валяемся по земле («Флоберу», 1869 г.).

Так же высоко оценивает Тургенева и Флобер: он ищет его общества, советуется с ним о своих литературных планах, делает его своим литературным судьей. «Санд с Тургеневым — единственные теперь мои литературные друзья. Эти двое стоят целой толпы». «Он ослепил меня глубиной и ясностью своего суждения... Если бы все, кто берется судить о книгах, могли его слушать, какой бы им был урок... Он дал мне для «Св. Антония» два или три чудесных совета».

Проспер Мэриме прибегает к помощи Тургенева в работе над повестью «Локис», над «Петром Великим» и «Лже-Елизаветой» и сам

переводит его произведения на французский язык, снабжает их своими предисловиями («Отцы и дети», 1864 г.).

Для старшего поколения французских реалистов был характерен эстетизм литературной формы, культ слова, точного и содержательного. Историзм Флобера и Гонкура был замкнут в себе, был своего рода искусством для искусства, ставя себе задачей художественное изображение прошлого. Тургенев же смотрел на искусство и глубже, и шире. Словесное мастерство (как и пейзаж) были для него лишь одним излагаемых, характеризующим народную жизнь: история не была для него просто сюжетом, но была обращена к настоящему.

Его история вместе с тем была и политической. Другими словами, Тургенев был содержательнее. И этого не могли не почувствовать (а позднее и понять) его французские друзья.

Однако политический роман Тургенева не переходил в чисто тенденциозный. Тургенев создал, так сказать, персональный роман, почти без фабулы, потому что не события, а люди определяют его развитие. События в романах Тургенева не переходят за обыкновенные средне-жителеские нормы. Кирсанов приезжает на каникулы со своим другом Базаровым, жена Лавреуцкого, прокутив состояние, приезжает к мужу, — все это в пределах обыкновенных человеческих поступков. Роман такого типа был мало известен Западу, и именно по этому пути пошло влияние Тургенева. Объем этого влияния еще далеко не установлен, но, несомненно, значительно, чем это казалось прежним исследователям.

Если старшие члены флюберовского кружка и сам Флобер так много получили от Тургенева и испытали его влияние, то еще более значительным было воздействие Тургенева на молодых членов кружка и прежде всего на Золя и Мопассана. Для них (а особенно для Мопассана) Тургенев был непосредственным литературным учителем, о чем Мопассан не раз прямо писал. Предисловие к «Пьеру и Жану», роман «Жизнь», повесть «Дом Телье» — образцы творческой учебы у русского романиста.

★

По сравнению с Францией, влияние Тургенева на литературу Англии менее исследовано: несомненно, однако, что и Теннисон и Дж. Элиот и особенно Диккенс были почитателями таланта Тургенева.

Сразу же после смерти Тургенева, Брейш Ходжеттс — один из лучших знатоков литературы своего времени, — писал в «Атенеуме»: «Европа единодушно дала Тургеневу первое место в современной литературе».

Англо-ирландский писатель Дж. Мур свой известный сборник новелл «Невспаханное поле» написал под влиянием «Записок охотника», народность которых он высоко ценил.

Из новейших авторов сюда необходимо присоединить имена Джозефа Конрада и Голсуорри, которые открыто причисляли себя к уче-

никам Тургенева, «Сага о Фортсайдах» — произведение, в котором это влияние Тургенева сказалося с особенной силой.

В 1924 году Голсуорси писал о Мопассане и Тургеневе: «То были первые писатели, которые сразу же вызвали во мне эстетическое волнение и научили меня ценить пропорциональность сюжета и экономию слов. Под их влиянием я начал свой второй роман: «Вила Рубейн».

Английский писатель Форд Мэдокс Форд в своей недавней (1937 г.) книге «Портрет с натуры» говорит о влиянии «Дворянского гнезда» на всю его жизнь: «Эта книга — прекраснейшая из всех когда-либо написанных книг».

Война с Гитлером и объединение прогрессивных стран в этой борьбе значительно усилили интерес к Советскому Союзу, его культуре настоящего, прошлого, и вот какие ответственные слова были недавно напечатаны по этому поводу в литературном приложении к газете «Таймс»:

«Русская литература дала нам больше, чем заимствовала от нас: ибо никто не станет отрицать, что ее влияние на английскую еще более явно выражено. Если бы мы вздумали перечислить имена крупных английских писателей, заимствовавших многое у Чехова и Тургенева, список бы вышел очень длинным. А между тем в него не вошло бы еще большее число тех писателей, которые в поисках путей к правдивому отображению окружающей действительности и психологии героев испытывают на себе все более властное и более сложное влияние русской литературы. Не будь великой русской литературы, направление и масштабы английской литературы наших дней были бы совершенно иными. Влияние русской литературы чувствуется в творчестве почти всех наших современных писателей, талантливых и неталантливых, даже там, где о нем не подозревает сам автор. И в этом нет ничего удивительного. Невозможно устоять перед поразительной силой таких великих художников, как Лев Толстой с его светлым умом и чудесным свободным талантом, как Достоевский, как Тургенев, Чехов и Гоголь.

Не приходится удивляться тому, что они до сих пор пленяют читателей»*.

★

Америка, как бы соревнуясь с Англией, не раз поднимала спор о том, в какой из этих двух стран выше популярность Тургенева, где значительнее его влияние. Джорж Элиот считала, что победительницей в этом соревновании оказалась Америка: в Англии Тургенева ценили и уважали писатели, но широкие читательские массы знали его недостаточно**.

* См. журнал «Интернациональная литература», № 10, стр. 139, 1942.

** «Минувшие годы», № 8, стр. 7, Ср. «Интернациональная литература», № 10, стр. 151, 1942.

В Америке Тургенев стал известен и популярен, прежде всего, как автор «Записок охотника», неоднократно переведившихся на английский язык и выдержавших целый ряд изданий, начиная с 60-х годов. Была несомненная параллель в политическом значении этого произведения, сыгравшего в России такую огромную роль в борьбе с крепостным правом, с борьбою за освобождение негров (1863—1865 гг.) в Америке.

Этот гуманистический пафос и роднит прежде всего Тургенева с Бичер-Стоу, автором знаменитой «Хижины дяди Тома», произведения, сыгравшего в США сходную с «Записками охотника» роль. Влияние Тургенева не ограничилось, однако, только «Записками охотника». Тургеневский роман оказал столь значительное влияние на ряд американских писателей, что М. М. Ковалевский уже в 1908 г. говорил о тургеневской школе в американской литературе*. Это прежде всего имена Генри Джемса Кебля, Бойлсона, Хоуэлса и норвежца по происхождению — Бойзенена. Тургеневский пейзаж, способ и методы характеристики героев, общий лирический тон и композиционные приемы — вот что заставляло американских писателей учиться у Тургенева. В 1874 г. Бойзен писал, что «в настоящее время Россия определила Америку, ибо в нас нет Тургенева».

Новые люди, новые характеры и их сложная душевная организация — вот что находили американцы в Тургеневе. Вместо экзотической «развесистой клюквы» в повестях и романах Тургенева вставал новый мир большого народа, его борьба за свою свободу, за красоту и высокую идею, ради которой стоит жить, бороться и умирать. «Голос Тургенева был для нас голосом славянства, голосом тех неизвестных нам масс, о которых приходится думать теперь все чаще и чаще», писал в 80-х годах прошлого столетия Генри Джемс.

★

В своей статье мы ограничились несколькими странами. Было бы, однако, несправедливо вовсе обойти другие страны. Так, например, известный исследователь датской литературы К. Тиандер, изучив, в специальной работе, наследие Тургенева в Дании, пришел к выводу, что период развития датской литературы, начиная с 70-х годов, следует называть тургеневским периодом датской литературы. Он называет свыше десятка имен, определивших собою этот период. К 1913 году им было зарегистрировано (начиная с 1856 г.) свыше 30 отдельных изданий переводов Тургенева на датский язык, — цифра для маленькой Дании огромная.

Крупнейший переводчик испанской литературы Бенито Перес Гальдос (1845—1920)

* См. его «Воспоминания об И. С. Тургеневе». «Минувшие годы», № 8, 1908.

прямо заявлял, что Тургенев — «его великий учитель». Поклонницей Тургенева была и популярная испанская писательница 80-х гг. Эмилия Пардо Басан, автор вышедшей в 1887 году в Мадриде книги: «Революция и роман в России».

Имя Тургенева и на Западе, и в славянских странах всегда было связано с революцией: так, например, сербский перевод «Нови» был вместо предисловия снабжен последним словом революционерки Софьи Бардиной на суде.

Эти справки далеки от полноты, но они должны показать силу и разнообразие влияния Тургенева на различные литературы.

4.

19 сентября (1 октября н. ст.) 1883 г. на Северном вокзале Парижа состоялись проводы праха Тургенева на родину. Эти проводы превратились в большую демонстрацию признания мирового значения Тургенева в литературе.

В речах Ренана и Абу, в статьях видней-

ших критиков и журналистов личные заслуги Тургенева оценивались на фоне русской литературы, для мировой славы которой он сделал так много.

Этой личной любви и популярности в еще большей мере соответствовало и признание мирового значения его литературной деятельности. Это не значит, что в творчестве Тургенева не было ничего от Запада: утверждать так значило бы впадать в вопиющее противоречие с фактами. Разумеется, Тургенев не только учил Запад, но и сам у него учился.

Можно и по отношению к Тургеневу говорить «о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература»*.

Эта формула становится для нас особенно актуальной в дни решающих боев с ордами фашистских варваров, пытающихся отрицать вклад России в сокровищницу мировой культуры.

* Ленин. «Что делать». Сочинения, изд. 3, т. IV, стр. 181.

БИБЛИОГРАФИЯ

„БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ“*

Двадцать пять лет ленинско-сталинского комсомола—это двадцать пять лет трудов и подвигов во славу родины. Славные строители Днепрогэса, Магнитогорска и Комсомольска-на-Амуре, комсомольцы и молодежь увенчали себя новыми лаврами в дни Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками. Из рядов комсомола вышли четыреста пятьдесят Героев Советского Союза. Имена капитана Гастелло, Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра Чекалина, Александра Матросова, Олега Кошевого и всех героев Краснодона бессмертны в памяти народа.

На долю советских писателей и поэтов выпала счастливая и вместе с тем трудная задача: продолжить «Историю молодого человека» — серию замечательных классических творений, — обогатить ее произведениями о героической борьбе советской молодежи за счастливое будущее социалистической родины и всего человечества. В создании истории советского молодого человека приняли участие все крупнейшие поэты Союза, от Владимира Маяковского, Сулеймана Стальского, Эдуарда Багрицкого, Янки Купалы до Джамбула, Тычины, Рыльского, Демьяна Бедного.

На наш взгляд подбор стихотворений в сборнике в общем удачен. Но антологический характер сборника позволял включить в него целый ряд и других значительных явлений советской поэзии, отсутствие которых обедняет некоторые его разделы.

Книга открывается стихотворениями Маяковского. Это не просто дань памяти гениального поэта, считавшего сотрудничество в «Комсомольской правде» важнейшей частью своей работы. Стихи Маяковского — действенное средство, обогатившее сердца нашей молодежи мужеством:

Юноше,

обдумывающему

жить,

решающему,

скажу, сделать бы жизнь с кого,

не задумываясь:

— Делай ее

с товарища

Дзержинского.

Составитель сборника В. Перцов отобрал из многочисленных произведений Маяковского о молодежи и для молодежи лучшие образцы. Среди них на первое место надо поставить «Комсомольскую» с ее бессмертным афоризмом:

«Ленин» и «Смерть» —
слова — враги.

«Ленин» и «Жизнь» —
товарища.

Стихотворение «Нашему юношеству» является ярким примером тех задушевных разговоров с молодостью, к которым так любил прибегать Маяковский. Великая тема братства трудящихся поднята здесь на большую высоту:

Да будь я

и негром преклонных годов,

и то

без унынья и лени

я русский бы выучил

только за то,

что им

разговаривал Ленин.

За стихами Маяковского идут стихи Сулеймана Стальского: «Первомайское послание» и «Комсомолу». Великие цели от имени родины ставит перед молодежью вдохновенный народный певец Дагестана:

Чтоб наши светлые сады

Шумели всюду, комсомол!

Чтоб пылы по морю суда,

Чтоб было солнце в городах.

* «Боевая молодость», сборник стихов советских поэтов о комсомоле и молодежи. «Молодая гвардия». 1943.

Он предвидел, что «победный и широкий путь» страны столкнется с фашистским уст-

ремлением к мировому господству, и звал к разгрому врага:

Если встанут поперек,
Мы, точно взведенный курок,
Готовы к бою, комсомол.
Тогда враги (который раз!)
Запомнят грозный битвы час,
Запомнят место, где от нас
Удар получают, комсомол.

Из наследства Э. Багрицкого в сборнике помещена поэма «Смерть пионерки». Это — замечательное произведение о стойкости наших ребят, не умеющих кривить душой, свято блюдущих традиции своего коллектива. Валя Багрицкого — это прообраз пионеров и пионерок, героев Великой Отечественной войны.

В стихотворении «Комсомолу» Янка Купала ярко показал многообразие деятельности передового отряда советской молодежи. Комсомольцы — «свернигоры», сталинские орлята, рубят киркой уголь в подземелье. Их тракторы быстрее других «стелют глыбы в поле». Комсомольцы первыми идут в покосах, прокладывают водные пути на кораблях, поднимаются отважно в воздушные дали. Они первыми грудью отстоят от врага родную землю.

Комсомолец не задремлет
И врага не побоятся.
Комсомолец смел и зорек
И винтовкою владеет.
Шутки плохи — вспыхнет порох,
В порошок сотрет злодея.

Нет возможности и необходимости останавливаться на произведениях всех других пятидесяти трех советских поэтов, чьи стихи о комсомоле и молодежи представлены в «Боевой молодости». Два плодотворных принципа положил составитель при отборе вещей в сборник-антологию: он стремился к раскрытию исторической преемственности традиций комсомола, к созданию образов молодого человека — участника гражданской войны, героя сталинских пятилеток и Великой Отечественной войны. И затем он хотел использовать все богатство поэзии народов СССР, поднять тему молодого человека, как тему характернейшую для развития литературы всех народов, образующих Союз Советских Республик.

Не забудем их,
Лицо в лицо
Видевших и жизнь,
и смерть,
и славу.

Не забудем
наших мертвецов,
Мы на это
Не имеем права!

Пусть они
Напомнят нам о сроках,
Юность вызывающих на бой.

(М. Светлов)

Советская поэзия, кроме поэмы Маргариты Алигер «Зоя», не имеет образа комсомольца, — участника гражданской войны, — равного по выпуклости и силе Павлу Корчагину из романа «Как закалялась сталь». Однако В. Перцов безусловно обогатил сборник, представив комсомол первых лет его истории главным образом стихами А. Безыменского. Безыменский хорошо передал внутренний быт «комсомолии», бурливое биение сердец юношей и «первых девушек». Но ему мало удалась романтика подвигов лет гражданской войны. Ее мы найдем в стихах и поэмах других авторов — в «Наташе Горбатовой» В. Саянова, в «Хлебе» и «Гренаде» М. Светлова, в стихах И. Уткина. К сожалению, тщетно мы будем искать эти произведения в сборнике. Почему-то их там нет.

Из поэзии о молодежи сталинских пятилеток в сборник включены все лучшие образцы. Из них лучший — «Песня молодости» П. Тычины.

Образ проходчицы Лельки из стихотворения Е. Долматовского «Лелька», образы ровесников революции, «берущих барьеры Америк», из стихотворений В. Саянова, образы юношей и девушек из «рабочей капеллы» в «Слав» В. Гусева, образы комсомольцев и комсомолок, «штурмующих науку», в стихах А. Жарова и М. Светлова — все это живые снимки с натуры, олицетворение лучших свойств той советской молодежи, которая, по меткому поэтическому определению Н. Тихонова, построила вместе с отцами и старшими братьями «страну светлой зари».

Три четверти произведений, включенных в сборник, написаны в дни Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками. Именно в этом разделе с особенной силой сказался основной характер сборника — насыщенность его материалом поэзии народов СССР. Но и тут следует пожалеть об отсутствии некоторых характерных произведений этого цикла, — например, отрывков из поэмы М. Светлова «Лиза Чайкина» или стихотворения В. Лебедева-Кумача о пионере Коле Леонтьеве. Все же главной своей цели сборник безусловно достигает: образ молодого советского человека, патриота социалистической родины, отдающего ей все свои силы, раскрывается в нем во всей полноте, юношеской чистоте и непосредственности. В стихотворной повести П. Антокольского «Сын» этот образ предстает в ярком противопоставлении фашистским выродкам, убийцам и рабителям:

Мы на поле с тобой остались чистом.
Как ни вывертывайся, как ни плачь,
Мой сын был комсомольцем, твой —
фашистом,

Герои книги по равному проявляли себя в бою, в труде, в творчестве, но все они — писатели воинствующего социалистического гуманизма, все они исполнены святой любви к советской родине.

Так, молодой писатель-коммунист Николай Островский (очерком о нем Ив. Зырянова открывается книга), — слепой, прикованный тяжким недугом к постели, говорит:

« — Я глубоко счастлив. Моя личная трагедия отодвинута на задний план неповторимой радостью творчества и сознанием, что в твои руки кладут кирпичи для создаваемого нами здания социализма».

Так и юноша-гвардеец, Герой Советского Союза Александр Матросов, сказал своим боевым друзьям незадолго перед смертью:

« — Я буду драться с немцами, пока мои руки держат оружие, пока бьется мое сердце. Я буду драться за нашу землю, презирая смерть...»

Советская молодежь, проникнутая таким чувством самопожертвования — непобедима. Эти ее качества сильно и ярко показаны в книге «Сталинское племя».

★

В собственно литературном плане книга «Сталинское племя» представляет собою одно из наиболее удачных выражений того вида очеркового жанра, который получил очень широкое распространение во время войны. Речь идет об очерке-портрете. Развитие этого вида очерка совершенно закономерно: народ хочет знать о своих героях, и знать, по возможности, все.

Этот жанр таит в себе для писателя немалые трудности, обусловленные, прежде всего, необходимостью совмещения литературного домысла с фактическим материалом. Очерк-портрет далеко не всегда поэтому находится на должном идейном и литературном уровне. Практика его, составляющая сама по себе положительное явление, выработала своеобразные «стандарты», иногда держащие в плену писателя и препятствующие живому и творческому раскрытию образа героя. К таким «стандартам», относится стремление многих писателей во что бы то ни стало найти в биографии героя, — в частности, в его детстве, юности, — черты, которые обязательно являлись бы задатками его последующего героизма. Одним из частных недостатков этого очеркового жанра является также то, что герой нередко показан вне связи его с жизнью коллектива, народа, без социального фона. Он стоит перед читателем великодушный, но непонятно одинокий, и тем самым как-бы отчужденный от жизни.

Если эти основные болезни жанра и имеются в очерках, составляющих сборник «Сталинское племя», то не они определяют его лицо.

Очерки П. Скосырева о Зое Космодемьянской и Герое Советского Союза Малке Габдуллине. А. Дроздова об Александре Матросове, Вс. Иванова о народной артистке СССР

Халиме Насыровой, А. Ерижеева об отважном сыне татарского народа Салавате Карымове, Л. Гумилевского о машинисте Николае Лунине и академике Сергее Соболеве, А. Яковлева о бригадире женской тракторной бригады Дарье Гармаш, В. Шкловского о Дмитрии Шостаковиче динамично и эмоционально раскрывают образ молодого героя наших дней в его становлении, в его непрерывном росте и, наконец, в момент проявления им всего своего духовного богатства и силы, — то-есть, в момент боевого, трудового или творческого подвига.

Эти очерки согреты подлинным душевным волнением авторов, сумевших полюбить своих героев и передать свое чувство читателю. В этом смысле наиболее удачен очерк А. Платонова о пяти героях — северополюских моряках. С необычайно глубоким проникновением в душевный мир своих героев воссоздает Платонов бессмертный подвиг моряков — силой своей любви к ним увлекая и захватывая читателя.

Все эти перечисленные нами очерки-портреты примечательны еще тем, что в них образ героя органически слит с эпохой. В них не только раскрыт пленительный и богатый душевный мир того или иного героя, но и показаны силы, сформировавшие человека, поднявшие его на подвиг. Это необычайно раздвигает рамки образа и делает возможным широкие обобщения.

Несколько особняком стоят очерки Н. Богданова о братьях Глинка и М. Тевелева о героепограничнике Иване Богатыре. В них основное внимание уделено боевым эпизодам, прославившим героев. Эти очерки написаны очень занимательно, в быстром, хорошем темпе.

Слабее других, — именно своим традиционным подходом к теме о герое — очерки Н. Гильярди, Б. Рябинина, А. Калининенко, С. Персова.

В общем, сборник «Сталинское племя» равнообразен со стороны приемов, которые авторы использовали в решении одной и той же задачи — раскрытия образа героя. Рассудительный тон очерков Л. Гумилевского, эмоциональность очерков П. Скосырева, А. Дроздова, А. Платонова, А. Кривицкого, лиричность Вс. Иванова не только не нарушают стройности книги, а наоборот, — создают ощущение ее жизненной свежести, действительности.

★

Книга иллюстрирована рисунками лауреата Сталинской премии, художника Николая Жукова.

Рисунки эти так хорошо легли в книгу, что уже как-то невозможно представить себе ее без них. Они как бы сливаются с текстом в одно целое, становятся органической частью книги.

Н. Жукову удалось графическими средствами разрешить основную задачу сборника — воссоздать образ молодежи сталинской эпохи в момент напряжения всех ее духовных и физических сил.

Как прекрасна Зоя Космодемьянская на до-

просе! Строгим и целомудренным жестом придерживает она одежду на груди и, прикусив губы, смотрит в упор на одного из своих палачей. И какую ничтожной кажется перед лицом этой девушки циничная наигранная развязность поджарого, пустоглазого немца с платкой, с папиросой в тонких, злых губах!

Огромный немецкий танк вздыбл на пригорке свои мощные гусеницы. Прямо под ним — человек с гранатой, один из героев-севастопольцев. Он весь в порыве, он движется навстречу стальной, ревушей смерти, и он, — такой маленький по сравнению со стальной машиной, — непобедим.

Юноша со строгим, решительным лицом лежит на снегу. Это молодой партизан Михась Сельницкий. Он ранен, в пулеметной ленте не осталось ни одного патрона. Его окружают

немцы. Но ни на одно мгновение ему не приходит мысль о пощаде, о сдаче в плен. Рука его тянется к нагану. Он будет биться с врагом до последнего вздоха, до последней капли крови.

Иллюстрации Н. Жукова к книге «Сталинское племя» — большая творческая удача этого талантливого художника.

★

Издательство «Молодая гвардия» сделала хороший подарок советскому читателю, выпустив книгу «Сталинское племя».

Каждый прочтет ее с интересом, с волнением. И хочется думать, что молодой читатель, прочитав эту книгу, сумеет воспитать в своем сердце черты, роднящие его с героями книги.

Б. Сергеев.

★

„ГОРДАЯ ФАМИЛИЯ“*

Краснофлотец Иван Петров возвращается после ранения домой на поправку. Снова вдыхает он полной грудью воздух широких полей и хвойных лесов. С высокой скалы он видит родные алайские горы, острые пики и зеленые сопки. Родина принимает его в свои могучие и бережные объятия. Легкий ветер чуть шевелит льяные его кудри, вечернее солнце освещает его ласковым светом.

«Он весь обмяк душой, повернулся лицом к своей родине: «Магушка, батюшка, родимая землячка», — шептал он».

И чувствуя живительное дыхание родной земли, он, подобно сказочному богатырю, вбирает в себя ее мощь и силу, слышит, как снова наливаются соками жизни его раненное тело, крепнут мускулы, розовеют щеки.

Тема неразрывной кровной связи советского бойца с матерью-родиной проходит через весь сборник военных рассказов Шишкова. Перед глазами читателя встает бескрайняя страна с ее сказочным изобилием, с полноводными реками, горами, подпирающими небо, лесами, полными всякой живности.

Если в ранних рассказах Шишкова сибирская тайга выступала как темное, страшное и враждебное человеку начало, то теперь природа раскрывается перед писателем, как одно из могучих проявлений самого дорогого и близкого человеку — как образ родины.

Природа, рисуемая писателем в таких рассказах, как «Прокормим!», «Гость из Сибири», это не просто «пейзаж», не традиционный прием художественного обрамления рассказа, а нечто несравненно более важное и значительное.

«Янтарные гроздья рябины клонятся книзу. Темные ели в своих темнозеленых шубах не боятся зимы — им мороз не в мороз! Плывут паутинки, порхают пичуги. От костра несет свежим дымком, но лесные трудобы пахнут осенью, гленом. Вот взмахнула ветерок, и жел-

тый лист, шурша, полетел к двум пулеметам, покрытым дерюгой. Патронные ящики, ключья газет, землянки, палатка командирова...

Дед Никита обвел глазами весь этот кусок русского мира и что-то всколыхнулось в его душе. Лицо его сразу стало значительным и даже торжественным.

Старик поднялся во весь рост — высокий, прямой, широкоплечий.

— Вот, сынки, теперь подумайте-ка, ребята мои желанные, кого вы да что ныне защищаете?..»

Неразрывно с темой родной земли, дополняя ее и развивая, в рассказах Шишкова звучит другая тема — братства людей, ставших на защиту своей родины.

Возвращаясь в свой сибирский колхоз, Иван Петров попадает домой не сразу. Он летит на самолете, едет на автомашине, плывет по бурным рекам.

«И где бы он ни появлялся, он всюду был свой человек, родной и близкий. Пожилые принимали его как сына, девушки за брата, старики за внука». Вместе с комсомольцами «чужого» колхоза он строит избу семье красноармейца. Как родного сына принимает его бригада комбайнеров, уже не говоря об односельчанах («Прокормим!»).

Война проясняет и обостряет отношения между людьми, не оставляя места для равнодушия и неопределенности. В другом рассказе старуха-партизанка, остановив группу рядовых бойцов, смотрит на них с подозрением и даже ненавистью, ошибочно принимая их за врагов. Убедившись, что это действительно «наши», а не вражеские переодетые разведчики, она обращается к ним с материнской ласковостью и заботливо объясняет им, как идти дальше («Старуха»).

И еще одна тема, связанная с темой родины и братства, проходит через книгу Шишкова. Это тема нашего прошлого.

В одной из своих статей Алексей Толстой так отвечает на вопрос о причинах перелома в действиях Красной Армии, когда она, остано-

* В. Шишков, «Гордая фамилия». «Советский писатель», 1943.

вившись после отступления, начала бить «непобедимых» немцев. Одной из существенных причин явилось то, что армию, защищавшую Сталинград, начали знакомить с традициями героического прошлого обороны Царицына.

Прошлое связывается с героическим настоящим, земля, пролитая кровью отцов и дедов, зовет к победе, к изгнанию врага с родных земель. Такова сила прошлого. Она раскрывается Шишковым в рассказах «Гордая фамилия», «Прокормим!», «Сусанины Советской земли», «Гость из Сибири». В последнем рассказе 68-летний дед-сибиряк, чья грудь украшена медалью и двумя георгиями, обращается к молодым бойцам с такими замечательными словами:

«Хоть и темен, малограмотен я от рождения, а как раскину умом-разумом да спрошу себя: а где моя родина? И отвечу без запинки: вот и полянка эта родина моя, по родине ехал я восьмью суток, и к западу родина, и к югу, и к северу.

Вся русская земля родина мне из времен вековых. На том стоять буду, на том и умру».

С большой любовью рисует художник различных людей, «сынов земли сибирской», выступивших на защиту родной страны.

Вот красноармеец Александр Суворов, однофамилец великого полководца. Он свято чтит память своего великого предка, образ которого помогает ему в минуту смертельной опасности, поддерживает его силы в борьбе со смертью («Гордая фамилия»).

Вот огромный, широкоплечий дед Андрон. «русский богатырь», первый работник на селе («Прокормим!»).

Вот 14-летний мальчик Сережа, имеющий на своем счету пять добытых «языков» («Сережа»).

Вот, наконец, глухонемой тунгус Сенкича, отдающий для Красной Армии одежду, сшитую из оленьих шкур — все свое состояние («Щедрая жертва»).

Их много, столь непохожих друг на друга по виду, по нраву и возрасту. И все они — люди могучего советского племени, бесстрашные, крепкие, сметливые.

«Сибиряки — прямо скажу, народ отменный

А как войны — первый сорт, — говорит командир. — Я всячески испытывал их и присмотрелся к ним. Да, дедушка Никита, сибиряки твои дорого стоят» («Гость из Сибири»).

Рассказы Вячеслава Шишкова отличаются большим художественным своеобразием. Некоторые из них выдержаны в стиле наивного и неторопливого эпического повествования, характерного для русской сказки («Прокормим!»). О связи с фольклорной стихией свидетельствует также образ путешествующего «молодца», встречающего на пути самых различных людей.

Эта близость повествования Шишкова к народному творчеству не случайна. Идеи о кровной связи человека с родиной, идеи братского содружества, нерушимого товарищества людей, защищающих родную землю, находят органическое выражение в форме, близкой по своим стилистическим особенностям к народным произведениям (сказка, былина, песня).

Действующие лица в рассказах Шишкова предстают перед нами не только в качестве объекта авторского повествования. Они сами действуют, живут, говорят, как бы непосредственно обращаясь к читателю. Отсюда излюбленная у Шишкова форма сказа, которой он так мастерски владеет (блестящим примером сказовой формы является рассказ «Сережа»). Автор любит и прекрасно передает живое, меткое русское слово. Он — великолепный знаток народной речи, в частности, речи сибиряков.

Передача живой народной речи со всей ее естественной разговорностью, во всем богатстве и выразительности интонаций и оборотов осуществляется у Шишкова не столько путем отбора особого лексического материала, сколько синтаксическими средствами, воспроизведением самого строя и склада народной речи.

И, тем не менее, при всей живости и сочности рассказов Шишкова, при всем его умении показать живое лицо героя, дать его живую речь, кое-что иногда в этих рассказах не совсем удовлетворяет читателя. Это касается таких рассказов, как «Люстра», «Печенка» или «Полет», представляющие собою в лучшем случае беллетризованные анекдоты.

З. Паперный.

Редколлегия: М. М. Розенталь, **В. П. Ставский**, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: Известия Советов депутатов трудящихся СССР.

Подписано к печати 29/1—44 г.
А 2897. 11,5 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 3491

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» Москва, Пушкинская пл., 5.